

# КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

МИХАИЛ  
КОЗАКОВ

Слава победы  
мечу, любящие  
Сража не знает  
погибших в борьбе...

Юность  
Жизнь наша песня поётся.

Вперед к славе тебе!...  
Вперед к работе, товарищи! Идите  
в неслыханный бой!  
Рабочие, крестьяне, солдаты — вместе крестим  
Континент французской революцией!  
Делаем больше!

ПРАВА



**МИХАИЛ  
КОЗАКОВ**

---

# **КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ**

**Роман  
в четырех  
частях**

**Часть  
первая  
Часть  
вторая**

ТАШКЕНТ  
«УЗБЕКИСТАН»  
1987

Вступительная статья  
КОНСТ. ФЕДИНА

Оформление художника  
Г. ПРОСВИРОВА

- Козаков, Михаил.**  
К 59 Крушение империи: Роман: В 4-х ч.//Вступит. ст. Конст. Федина; Худож. Г. Просвиров/. Ч. 1—2.—Т.: Узбекистан, 1987.—368 с.

Роман «Крушение империи» Михаила Эммануиловича Козакова (1897—1954) посвящен историческим событиям, происходившим в России с 1914 года по апрель 1917 года. Основная тема романа — участие русской интеллигенции в революционной борьбе народа с царизмом.

P2

№ 520—87  
Гос. б-ка УзССР  
им. А. Навои.

4702010200-202  
К ————— 111-87  
M351(04)-87

© Издательство «Художественная литература, 1986 г.

© Оформление. Издательство «УЗБЕКИСТАН», 1987 г.



МИХАИЛ КОЗАКОВ  
И ЕГО «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ»<sup>1</sup>

I

Есть писатели, которые при своей жизни оцениваются литературной средой либо неверно, либо далеко не исчерпывающе, даже будучи связанными с ней очень тесными узами. Иногда как раз близость писателя к своему профессиональному кругу, прочная общность интересов его с жизнью сотоварищей по литературе порождают у многих из них впечатление, что он хорошо всеми изучен и оценка достоинств его общеизвестна. Привычное мнение о таком близко знакомом, как бы раз навсегда понятом писателе мешает наблюдению за переменами, им переживаемыми, за ростом его художественных качеств. Критика часто скупится на внимание ко всему разнообразию живых литературных явлений, предпочитая уделять свои труды сложившимся, общепризнанным репутациям. Немало поэтому ценного мы теряем из виду в многоцветном богатстве, создаваемом нашими писателями.

Так сложилась литературная судьба Михаила Козакова: он был на редкость щедро наделен общественным темпераментом, был совершенно «своим» в делах и днях коллективной писательской работы, и слишком многие из его литературных ровесников, дороживших этими его выдающимися качествами общественника, забывали, что самым дорогим в нем всегда оставалось дело его жизни — труд по призванию писателя.

И как ни горько, но надо признать, что Козаков однажды в печати справедливо попрекнул критику невниманием к его «основной работе» — к роману, который теперь, вполне законченный незадолго до смерти писателя, выходит под названием «Крушение империи».

«Хотя первая часть этого романа вышла (начиная с 1929 года) пятью изданиями, все же она прошла при полном молчании критики...» — писал Козаков три года спустя после появления книги.

Но, конечно, не без основания переиздавались отдельные части большого романа Козакова: произведению этому принадлежит свое особое место в нашей художественной литературе, и советский читатель не мог не заметить, что в этой книге изображена существенная полоса революционного развития нашей страны, взят важный момент его истории и раскрыты характерные нравы времени в образе нескольких отлично выписанных фигур.

---

<sup>1</sup> Статья написана Конст. Фединым для первого издания романа М. Козакова «Крушение империи» (1956). Впоследствии переиздавалась неоднократно.

В настоящем издании печатается по тексту: Федин Конст. Собр. соч., т. 9. М. Художественная литература, 1973.

Жизненная дорога Михаила Эммануиловича Козакова напоминает нам знакомые биографии советских писателей старшего поколения, встретившего революцию в юности или на пороге зрелых лет, прошедшего гражданскую войну, взявшегося за перо в разгар борьбы за утверждение рабоче-крестьянской власти.

Козаков родился на Украине, и если не считать раннего детства, часть которого протекала в Крыму, где его отец работал весовщиком в порту, то Украине он обязан всем обилием познаний и представлений о человеке и обществе, приобретаемых на первых шагах жизни. Он учился в Лубенской гимназии Полтавской губернии, окончил ее с золотой медалью во время войны, в 1916 году, тогда же поступил в Киевский университет и слушал курс сначала на медицинском, потом на юридическом факультетах.

Еще до февральского переворота он участвовал в революционном движении киевского студенчества, и это ему очень скоро отомстилось. Когда в 1918 году, после провозглашения «гетманом» Скоропадского, Козаков приехал из Киева к своей матери в Лубны, за ним устроили погоню офицеры гетманского «курения» — недавние однокашники по гимназии. Ему удалось бежать, переехавшись.

С этого момента начались для Козакова годы, полные приключений и опасностей, которые бывали так обычны, особенно на Украине, и выпадали на долю не только профессиональных революционеров, но почти всех, кто им сочувствовал и помогал.

Козаков скрывался по городам и селам Украины. Встречаясь с законспирированными коммунистами, летом 1918 года он был арестован по обвинению в большевизме, в агитации против союзных гетману германских войск и заключен в одиночку лубенской тюрьмы. После революции в Германии его выпустили. Но на смену гетманцам пришли петлюровцы. Козаков снова подвергся аресту «за большевистское настроение и русофильство».

Он не был членом партии. Однако захват города Лубны большевистским революционным в январе 1919 года застает его на одной из явок большевиков. Его привлекают к работе в ревкоме, он избирается в Совет рабочих депутатов, в исполнительный комитет Совета, назначается комиссаром труда, становится членом редакции местной газеты и корреспондентом РОСТА.

«В моем архиве остался документ — мандат Совета рабочих депутатов. Любопытно храню эту ветхую бумажку как память о боевом и ярком годе моей жизни», — пишет Козаков в своей автобиографии спустя более трех десятилетий.

В августе 1919 года деникинцы занимают Полтаву. Возникает угроза Лубнам. Козаков входит в штаб обороны города. Его назначают начальником эвакуации рабочих с их семьями. Составляется огромный эшелон эвакуируемых, включающий в себя вагоны из разных городов Украины, и Козаков — комендант эшелона — доводит его сперва до Москвы, затем до Казани.

Здесь в 1920 году он возобновил занятия в университете и продолжал их до своего переезда в Петроград в 1921 году.

Этому городу, о котором Козаков говорил как о полюбившемся ему еще в 1914 году, довелось сыграть решающую роль в биографии писателя. Ленинград был ему школой в литературном труде, был источником воодушевления в непрестанной общественной деятельности, тут появилась его первая книга, тут он сложился как писатель, и тут прошла без малого вся его жизнь. Не было почти ни одного литературного начинания, в котором он не принял бы участия, после того как выпустил в 1924 году книгу рассказов и стал известен в писательских кругах.

Его инициатива и страсть организатора нашли свое выражение в создании журнала «Литературный современник». За время пятилетнего участия в редактировании журнала ему удалось объединить вокруг этого издания писателей, ранее входивших в различные литературные группировки: здесь печатались Алексей Толстой («Петр Первый»), Вяч. Шишков («Емельян Пугачев»), Ю. Тынянов, Н. Тихонов, А. Прокофьев, Ольга Берггольц, В. Каверин, Юрий Гермаи, Эльмар Грин, поэты Украины — П. Тычина, М. Рыльский и многие другие. Журнал сыграл очень заметную роль в годы перестройки литературно-художественных организаций после ликвидации РАППа. Козаков участвовал также в редактировании газеты «Литературный Ленинград», в работе Издательства писателей, отдавая им большие силы и всюду проявляя свое ясное сознание ответственности перед литературой. Как редактор журнала и издательства, он впервые опубликовал немало произведений молодых авторов, впоследствии занявших достойное место в рядах советских писателей.

В то же время Козаков непрерывно продолжал писать. За первое пятилетие своей работы беллетриста, в двадцатых годах, он выпустил восемь книг рассказов и повестей. К началу тридцатых годов были напечатаны четыре тома «Избранных сочинений», куда включена и первая часть его романа.

Но труду над этим романом суждено было занять долгие сроки и сделаться главной задачей всей писательской жизни Козакова. Первоначальный вариант романа (под названием «Девять точек») потребовал целого десятилетия; последняя, четвертая часть вышла в 1939 году. Для самого автора, однако, произведение на этом не было закончено — годы и годы возвращался он к переработке его глав и частей, пока наконец в 1954 году, многое исключив из романа и многое написав заново, не счел свой труд завершенным.

В декабре 1954 года, в Москве, Михаил Козаков умер.

### 3

Из биографии Козакова видно, что жизнь дала ему богатые приобретения, и кладовая писателя была переполнена, так сказать материальными запасами.

Но перед каждым писателем в течение всей творческой жизни — в конце ее едва ли с меньшей остротой, чем в начале, — стоит вопрос о средствах художественного выражения приобретенных жизненных познаний. Иметь что сказать в литературе еще не означает уметь сказать. Борьба за искусство выражения — трудная борьба. Чтобы выйти из нее победителем, требуется не одно природное дарование, не только настойчивость, воля, не только обожание литературы — требуется зрелость понимания целей искусства, зрелость, которая дается опытом художника. Ответ на вопрос «как писать» не может быть дан без ответа на вопрос «зачем писать». Нельзя отыскать средство, не зная цели. Мы видим, что поиски ответа на эти вопросы поглощают у писателей длительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, историей литературы, так еще и неизбежно индивидуально.

Козаков пришел к работе писателя с представлениями о литературе, распространенными среди молодежи в канун первой мировой войны, — со своего рода обязательными вкусами законодателей декадентского течения в искусстве. Литература реализма была в глазах этого течения устарелым видом искусства. Если

сказать, что являлось общим требованием всевозможных вариантов разветвленного декадентства, то главное было в том, чтобы писать не так, как реалисты.

Отход от традиции классиков литературы привел модных писателей в начале века к пересмотру русской стилистики во всех элементах художественной формы. Это коснулось особенно языка и ритмики и вылилось в необычайную изысканность всего строя речи. Само отношение к литературе необходимо свелось к отстаиванию декадентами художественной формы как самоцели искусства. Подспорьем их оказались теоретики литературного формализма.

Молодой Козаков в раннюю пору своих поисков очутился в этих унаследованных от дореволюционного времени потемках искусства. Разумеется, он был не одинок. Многие молодые советские писатели в начале двадцатых годов принесли с собою в литературу наскоро нахвачанные ключья из последнего модернистского, «эстетического» наследия буржуазной России и с долгими усилиями высвобождались из его плена. Козаков принадлежал к тем из них, кто мучительно изживал влияния прошлого, и его первые книги могут служить примером подобных, довольно распространенных в ту эпоху литературных явлений.

Большое число рассказов и повестей Козакова дают нам картину постепенного продвижения писателя от крайне усложненной и потому «туманной» прозы к ясному языку и реалистическому стилю. Если сравнить книгу, с которой он начал, — рассказы «Попугаево счастье», — с тем, что он писал через три-четыре года после нее, — например, с повестью «Мещанин Адамейко», — то и тогда можно говорить о двух разных его литературных возрастах.

Соблазнительная в те времена «сказовая» форма речи безраздельно господствовала во всей первой, да и не только в первой книге Козакова. Здесь были не то что следы, но даже явные сколки с хитрых изощрений стилизатора Алексея Ремизова и его подмастерьев. Зараза была прилипчива, и Козакову стоило труда превозмогать манеру, которой он поддавался, и отучивать себя от напевного, причетнического ритма вперемежку с многозначительно-краткими фразами из одного-двух слов. В книгах, предшествовавших работе над романом, он уже расчистил себе путь к языку и стилю реалиста, значительно освободившись от искусственного построения фразы, надуманности и расточительности в метафорах, отвольного и невольного наисилия над собой, неизбежного, когда писатель во что бы то ни стало стремится к тому, что Горький называл «фигурностью письма».

Но дело не только в овладении формой, будь то форма какого угодно художественного стиля. «Форма никогда не существует без содержания», — говорит Гете в наброске схемы своей великой трагедии, касаясь «спора между формой и бесформенностью». Всякое содержание может быть выражено единственно в присущей ему форме, и если так, то форма вызывает в нашем представлении непременно присущее ей содержание. Произвольно разорвать этот двучлен невозможно. И как только писатель, увлекаясь определенной стилистикой, перенимает внешние приемы и средства каких-нибудь художественных произведений, он не может никуда уйти от подсказки, которая ему навевается содержанием — существом и смыслом этих произведений, увлекших его своего стилистикой.

Тут — закон, «его же не преидеши».

В рассказах и повестях Козакова голоса и отголоски студенческих, юношеских, молодых его литературных божков, естественно, прозвучали и тематикой, и образным миром героев. Мы найдем у него не только сказовую ритмику Ремизова или нервическую патетику с возгласами Леонида Андреева, но встретим и андреевский демонизм, и его устрашающую символику (о которой, как известно, Лев

Толстой отозвался, что, мол, Андреев «пугает, а мне не страшно»), и толкнемся и на мифологически невероятных, отталкивающих уродствами ремизовских персонажей. Карлики физические и карлики духовные, несчастные, жалкие, пригнетенные люди или люди наглые — предатели, властолюбцы, доносчики, воры, истязатели — мир, где гибнет человек с сердцем и честной мыслью, — обычный мир, живописуемый пером молодого Козакова. Его изобразительные силы, литературный дар, само его горячее жизнелюбие и восхищение человеком — все это приносилось в жертву — чему? Созданию призраков, уже прошедших по книгам модной беллетристики, исчезнувших вместе с модой на нее и оставлявших нового читателя в недоумении.

Козаков чем дальше, тем больше чувствовал безжизненность своих старых пристрастий. К счастью, в мужестве своем и действительно беззаветной преданности литературе он нашел силы, чтобы сбросить с себя путы, мешавшие росту. Он понял зависимость свою от усвоенного стиля и сломал его. Понял, что выбор того или иного жизненного материала определяет тему произведения, и отказался от своих мелких, книжных персонажей, обратив взгляд к широкому миру борьбы общественных противоречий. Яснее стала цель литературной задачи, определение ответа на вопрос — зачем я пишу.

Переход от одного качества работы к другому, разумеется, не был волшебным. В новый период были занесены из старого известные навыки и приемы письма, в массе своей уже преодоленные. Козаков превосходно это видел, и потому так сложен был весь процесс труда над романом. Однако новое качество этого труда по сравнению с прошлым было неоспоримо для него, признано было и читателем.

#### 4

Роман «Крушение империи» задуман был сначала как произведение по преимуществу бытовое.

Помню, как на первой стадии работы Козаков увлеченно рассказывал мне замысел будущей своей большой книги. В центре ее должна была стоять история семьи Калмыковых и фигура депутата Государственной думы Карабаева. Жизнь Калмыковых, дедом которых был содержатель почтового двора в глухой провинции, имела для этого замысла стержневое значение — вокруг испытаний старшего поколения, вокруг судьбы детей и внуков вращалось действие повествования, рисовались нравы переходного от царизма к революции времени. Чувствовалось, что в историю этой семьи Козаков намеревался вложить свои коренные знания уходящей от нас старой эпохи, личный опыт пережитого в годы революции, факты своей биографии. На биографичность юного героя романа — Феди — он сам впоследствии указывал. Карабаев интересовал его в плане психологическом, как личность из иного круга, нежели Калмыковы, и только отчасти как выразитель формации русского буржуазного либерализма.

Историчность эпохи, в которой должны были разворачиваться сцены семейной жизни, автору казалась тогда лишь дополняющим центральные бытовые картины моментом.

Так думал Козаков и много позже, хотя финал первой части романа как бы против воли вытолкнул его из довольно замкнутых семейных отношений, личных коллизий героев и заставил очертить некоторые фигуры, взятые из фактической истории времени первой мировой войны. Работая уже над второй частью, Козаков еще не предполагал вполне, какой охват примет в будущем его произведение. Он

говорил в 1933 году: «Роман мой не исторический в строгом смысле слова, однако события такого порядка, как распутиинада, деятельность оппозиционной буржуазии в военно-промышленных комитетах, кадетская партия и ее думская фракция накануне Февральской революции, «работа» охранки, а с другой стороны, подпольная революционная деятельность Петроградского Комитета большевиков — все это требует создания в романе правильного исторического фона».

Важность исторического осмысления событий эпохи для Козакова была очевидной, но если бы ему сказали, что материал истории, в сущности, займет главное место в романе, он не поверил бы. Он утверждал, что исторические моменты в его плане «лишены характера самодовлеющей объективной хроники и жестко подчинены законам развития и показа судьбы отдельных (и главных) героев моего романа». Он считал историю только фоном.

Но история заставила его буквально погрузиться в изучение своих фактов. И когда он перечитал газеты всех направлений за годы 1913—1917, когда засел за труды Ленина, принялся отыскивать по Ленинграду участников свержения самодержавия и взятия Зимнего дворца, прошел по следам подпольщиков-большевиков 1916 года, когда рабочий его кабинет превратился в библиотеку с сотнями книг мемуаров и документов по истории февральского переворота — тогда весь замысел романа был пересмотрен наново, и события истории из отдаления общего фона стали выдвигаться на передний план. Изменилась рама картины. Прежнее намерение написать трилогию, действие которой обнимает пятнадцать или больше лет (Козаков предполагал довести его до 1928 и впоследствии даже до 1930 года), было оставлено. Новые границы романа сузились до изображения неполных пяти лет — 1913—1917. Зато содержание романа, уплотнившись приобрело прочную идейную и композиционную опору: это роман о Феврале.

Является ли он в собственном смысле историческим? Несомненно. Все его основание покоится на подлинно исторических событиях, и весь строй служит изображению великого общественного перевала от России царской к России революции.

Примечательно одно наблюдение, сделанное Козаковым на встречах с читателями первой части романа. Он обнаружил, что историко-общественный материал романа, да и материал бытовой был мало известен аудитории, и больше всего это относилось к молодым читателям, задававшим автору не один «наивный» вопрос. Козаков пришел тогда к выводу, что его книга оказалась написанной для молодого читателя, желавшего основательно знать прошлое, из которого явилась к жизни революционная действительность, окружавшая и воспитывавшая новую, советскую молодежь. Вывод был верен для периода первой пятилетки, тем более верно будет сказать, что теперь, вступая в шестую пятилетку, новое, социалистическое поколение наших читателей воспримет роман Козакова как произведение историческое во всей совокупности материала.

Февраль — это предыстория Октября. Даже старшее поколение, слушая в раннем детстве рассказ о Феврале от своих отцов, воспринимало его как давнее прошлое. Для нынешней молодежи свержение царизма — «преданье старины глубокой».

Для Козакова интерес читателей к событиям февральского переворота был сильнейшим толчком к тому, чтобы перевести свой семейно-бытовой роман на рельсы романа исторического. Но Козаков далек от того, чтобы придавать повествованию характер исторической хроники. Тут он остался верен первоначальной своей установке: роман должен быть подвижным, исполненным происшествиями,

столкновениями, неожиданностями. Сюжетность произведения, интрига, смена мест и обстоятельств действия, разнообразие характеров, контрасты положений — это тоже требование читателя, любящего большую, «толстую» книгу и всегда ждущего, чтобы она сама вовлекла его в создаваемую автором жизнь героев.

Такому требованию читателя, и вместе требованию романиста, Козаков ответил хорошо: книгу читаешь с увлечением, сюжет ее произвольно развивается из столкновений действующих лиц, фабульные моменты интересны разнообразием интриги, все время возобновляющейся на протяжении романа.

## 5

«Крушение империи» — роман с очень большим числом действующих лиц. Главные из них до типической яркости выражают существо определенных общественных слоев и классов России первой мировой войны и февральской революции.

Прежде всего это относится к образу Льва Карабаева — одного из лидеров кадетской партии в Государственной думе и затем министра Временного правительства. По меткости обрисовки и раскрытия образа Карабаев пока единственный в советской литературе тип «настоящего конституционалиста-демократа». Он дан полио, со всеми оттенками внутренних противоречий, — либерал-буржуа, добивающийся своей собственной, кадетской революции и носящий в себе свою же собственную, законченную контрреволюцию с фразами о «политической совести» и готовностью переуступить ее не только англо-французским союзникам в войне, но кому угодно, если дело идет об интересах своей особы. Уже будучи на министерском посту, он, чтобы сохранить свое реиоме, старается замять дело Теплухина, тайного агента царской охраны, служавшего на предприятии родного брата Карабаева — Георгия. Кадетский лидер со своей славой «чистой совести лучших слоев общества», по иронии случая еще при царе разделивший эту славу, сам того не зная, с агентом охраны, вынужден спасать его уже после Февраля, в ореоле кадетского господства. В эпизоде есть нечто символическое, хотя автор романа не думал о символике, а только вел героя по жизни, от одного этапа к другому, всматриваясь в лукавое и злое, иногда драматичное, иногда трусливое приспособление рыцаря российского либерализма к обстоятельствам времени. Фигура получилась рельефной.

Ей под стать рисуется образ Георгия Карабаева. Фабрикант и заводчик делового толка, почитавшегося среди успевающей буржуазии прогрессивным, Георгий Павлович делал все возможное, чтобы наладить предприятие на западный образец, не исключая умеренного заигрывания с рабочими. Избранный им путь должен был вести тоже к свободе — ровню такой, которая облегчала бы быстрое продвижение его к вождьленному миллионерству.

Вокруг братьев Карабаевых вращается плеяда самых разнообразных героев, в числе их — молодежь, играющая в романе важную роль. Новое поколение буржуазной интеллигенции с наступлением революции гораздо глубже своих отцов ощущало неизбежность сделать решительный выбор между столкнувшимися социальными лагерями. Инстинкт жизни обострял восприятие: трагедия войны, народное горе, распад правящей верхушки общества — все это тревожило сознание и чувства молодежи, понуждало искать разгадку причины несчастья, обрушившегося на родину, толкало к действию. Дочь депутата Карабаева Ирина — красочный характер, показывающий облик тех чистых, прямых натур юной русской интеллигенции, которые нашли в себе волю порвать с отцами и отдать себя на службу на-

роду. Мне кажется, Козаков верно закончил роман на том, что Ирина рассказывает в письме своему другу ранней юности Феде Калмыкову о встрече питерским пролетариатом Ленина перед Финляндским вокзалом в апреле 1917 года: картина словно открывает перед молодой Россией дорогу к Октябрю, единственную широкую дорогу к строительству освобожденного от власти Карабаевых нового мира.

Не все, конечно, молодые люди, выходящие из мира старого, ступят на эту дорогу. Федя Калмыков (единственный, кстати, из Калмыковых, проходящий через весь роман) пока так и остается на распутье, так и не может выбрать — идти ли ему с большевиками, эсерами или еще с какой-нибудь «самой» революционной партией. От природы увлеченный, живой, мечтательный, он тоже, как Ирина, ищет правды, пряча вступается за нее, но его стремления неясны ему самому. Как в начале войны, он продолжает все еще неопределенно думать и гадать о своем «месте в мире» и после крушения царского строя, хотя ему даже довелось стрелять при разгроме типографии черносотенного листка «Двуглавый орел».

Другая группа героев романа располагается вокруг Ваулина — организатора подпольной печати большевиков, члена Петроградского Комитета партии. Его жизнь проходит от ареста к аресту, и Февраль освобождает его из «Крестов». Это профессионал-революционер, опытный пропагандист, ведущий свою работу и в заключении. С его образом связана в романе развернутая картина революционной героики, подготовка переворота, методическое, упорное накопление тех усилий, которые привели к свержению царизма и организовали боевое руководство народной революцией. Рабочий Громов, инженер Петрушин, солдат Николай Токарев, политкаторжанин Власов — вот соратники Ваулина, партийцы, действующие в особой атмосфере конспиративных явек, печатания, распространения прокламаций, передаточных пунктов литературы, оружия и постоянной, изощренной слежки охранки. Опасны и тяжелы были приключения на пути к освобождению России, и только цельные, стойкие, испытанные всеми трудностями жизни и самоотверженные характеры в состоянии были их одолеть. Таким характером показывает нам Козаков своего Ваулина.

Два антипода — буржуазная интеллигенция с ее либеральными вождями кадетской партии и люди из авангарда рабочего класса, организовывшие свою партию пролетариата для предстоящих боев с буржуазией, — стоят на переднем плане всего обширного произведения.

Если Козаков достигает того, что читатель на протяжении семидесяти двух глав с нарастающим интересом следит за сплетениями личных судеб героев и быстро сменяющихся исторических событий, то объяснить это надо раньше всего жизненностью главных фигур романа. Действующие на авансцене, они являются не индикаторными обозначениями тех или других общественных классов, но ходячими схемами мировоззрений и политических программ. Постепенное раскрытие характеров, будни героев, слабости и привязанности, быт и события, формирующие душевный склад человека, — отсюда набирает писатель черты живого образа, и эти черты будят читательское доверие к истинности рассказа, вовлекают нас в воображаемую жизнь, как в действительную.

В этом смысле Лев Карабаев не вообще какой-то условный лидер кадетской партии, а определенный человек, которого мы знаем и который был кадетским лидером. Он объясняет самым существом своей личности, что такое кадетский лидер. Если бы личность его осталась не раскрытой, то персонажу по имени Карабаев можно было бы приписать любую партийность. Льву Павловичу Карабаеву не приписывать — он мог принадлежать единственно к кадетской партии и притом не-



прямую к ее «левому» флангу. Он приближается к литературному типу, он именно формация русского либерала эпохи крушения империи.

Раскрывая образы, каждый писатель неизбежно, в той или иной мере, дает им заслуженную моральную цену. Это делается иногда малозаметными приемами, вплоть до едва уловимых оттенков стиля. Козаков чаще идет прямым путем, открыто выражая свое отношение к герою, особенно предпочитая авторскую откровенность в характеристике враждебных его чувствам действующих лиц. Однако в собственно литературном понимании герой — всегда «герой», даже если это ничтожный, падший или подлый человек в жизни. Писатель обязан и «отрицательную» личность проанатомизировать своими инструментами, аналитически вскрыть ее психику. Злодеяния, как всякий поступок, вытекают из личных качеств героя, и они должны убеждать читателя в своей реальности, как бы ни были низки и какого бы осуждения ни заслуживали. Козаков следует этому правилу реалистического изображения и, разоблачая своих отрицательных персонажей с нещадной ненавистью, показывает нам их преступное существо во всей полноте.

Так, он раскрыл в романе предателя Теплухина, выдавшего тайну киевской подпольной организации охранному отделению и ценой этой купившего себе досрочное освобождение из каторги; отталкивающий путь бывшего «политического» заключенного к наемному провокаторству вскрыт и вычерчен автором с убедительной внутренней точностью.

Козаков уделил очень большое место описанию ненавистной наряду царской охраны, этому мерзкому дну абсолютизма с его грязными подонками. Здесь мы сталкиваемся с галереей многоликих мастеров черного дела — от жандармских генералов, своего рода «интеллектуального» класса, до шпиков средней руки, с претензией на «психологию». Мог ли «обойти» автор эту среду в таком романе, как «Крушение империи»? Я убежден, «обойти» ее было нельзя.

Чем стремительнее к концу катилась русская монархия, тем судорожнее она сопротивлялась угрожающей ей участи. С другой стороны, чем выше поднималась волна народной революции, тем меньше оказывалось у царских властей средств сопротивления. Уже и на армию и на гвардию нельзя было твердо опереться — почва ускользала из-под ног царя и его верных и полувверных слуг. Оставался последний опорный пункт: жандармерия, сыск, «охрана общественной безопасности» с ее тюрьмами, каторгой, убийствами без суда. Чудовища, лихорадочно действовавшие на последнем опорном пункте монархии, спасали не только царя, но и свои шкуры. Им лучше, чем царю, было известно, как быстро нарастает вал революции и насколько он уже высок. И они старались за царя и за себя.

Козаков вывел в своих картинах эпохи эти мрачные лики из тайников охраны — отребье в мундирах и без мундиров. Это третья группа персонажей, которая начинает действовать уже в первых главах романа и исчезает с последними: предатель Теплухин, жандармский ротмистр Басанин, сыщик Кандуша, жандармский генерал Глобусов, его правая рука — охранник Губснин. Всех их как бы венчает в канун революции пресловутый министр внутренних дел Протопопов.

Таковы в основном три группы героев, участники которых составляют фундамент всего образного здания романа. Каждую из групп населяют много лиц, и во всех трех выступают на передний план фигуры, органично связанные с темой произведения и представляющие собой выразительные жизненные образы.

Можно выделить еще немало важных герсев, чтобы сказать о многостероинности материала, введенного в «Крушение империи», ис нельзя перечислить всех действующих лиц второго плана и обширного фона, собранного из огромного числа эпизодов. Лиц этих — десятки, и среди них стайовятся в особый ряд действительные участники истерических событий, описываемых Козаковым.

Царские министры, царь с царицей и Распутиным, председатель и депутаты Думы — Родзянко, Милуков, Гучков, Керенский, английский посол Бьюкенен и другие — не только входят составной краской в общий колорит истерической картины, но помогают читателю очень зримо уяснить расстановку сил в борьбе за монархию и против нее. О степени необходимости присутствия в картине именно того или другого реального лица истории могут быть споры. Но лица эти были нужны в интересах общего замысла.

Для меня очевидно, что одним из достоинств, с какими замысел осуществился, является правильная расстановка в романе общественных сил, участвовавших в событиях эпохи, и верное представленные стечение обстоятельств Февральской революции.

Ленин в своих «Письмах из далека» так говорит об этой эпохе: «Если революция победила так скоро и так — по внешности, на первый поверхностный взгляд — радикально, то лишь потому, что в силу чрезвычайно оригинальной истерической ситуации *слились* вместе, и замечательно «дружно» слились, *совершенно различные потоки, совершенно разнородные* классовые интересы, *совершенно противоположные* политические и социальные стремления»<sup>1</sup>. И дальше Ленин разъясняет, какие же именно разнородные потоки слились вместе, чтобы свалить монархию: это заговор англо-французских империалистов, которые в своих интересах передела мира толкали Милукова, Гучкова и компанию к захвату власти с целью упорного и яркого продолжения войны — с одной стороны, и с другой стороны — «...глубокое прелетарское и массовое народное... движение революционного характера за хлеб, за мир, за настоящую свободу»<sup>2</sup>.

Роман Козакова в идейно-общественном, истерическом плане строится на этом ленинском толковании событий Февральской революции. Монархия пала действительно «скоро», потому что у нее не оставалось, кроме разве придворных германофилов, черной сотни и охраны, никаких сторонников. Революция победила действительно лишь на поверхностный взгляд «радикально», потому что, «дружно» свалив с престола царя, вся буржуазия выступила за лютое продолжение войны, а народ, во главе с пролетариатом, — за хлеб, мир и против буржуазии и помещиков. Но это уже был новый период революции, конец «чрезвычайно оригинальной истерической ситуации» Февраля, и этот период не входит в пределы романа «Крушение империи», законченного Козаковым на встрече рабочими Ленина, возвратившегося из эмиграции в Петроград.

Достоинство романа, как обширной картины последних лет Российской монархии, заключается в том, что автор ясно представил читателю всеобычность борьбы антагонистических классов русского общества в этот момент истории. Классовые противоречия не утихали в годы войны и февральского взрыва, а не-престали нарастали до крайней вражды, и, однако, к свержению с престола трехсотлетней династии Романовых враждующие классы пришли как к общей задаче

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 16.

<sup>2</sup> Там же, с. 17.

всей страны. Царя сваливали с престола все вместе — рабочие, крестьяне, солдаты, ремесленники, торговцы, промышленники, но сваливали с совершенно разными целями. И едва только престол рухнул и запорошил своей щепой изношенную машину царизма, как эти разные цели, руководившие усилиями классов в борьбе против него, вышли на свет с небывалой очевидностью для народной массы. Буржуазия не могла терпеть царской власти над своими интересами, требуя себе свободы рук для наживы на продолжении войны заодно с англо-французскими союзниками. Но буржуазные партии с радостью сохранили бы царскую власть над рабочими и крестьянами, открыто показавшими, что они идут к своей собственной власти над буржуазией.

Козаков, изображая «оригинальность ситуации» Февраля, проявил историческую точность взгляда, поставив верные акценты на том, что сближало буржуазные партии с пролетариатом в разгроме империи, и на том, что их исторически разделяло с ним, как выразителей интересов своего класса. Приход к власти Милюковых и Карабасовых означал не победу кадетов, а подлинный конец их партии. Милюков на Миллионной улице, у князя Путятина, умолял думцев сохранить монархию, а по другую сторону Невы, на Петроградской стороне, в здании Кронверкской биржи, ленинцы работали над сплочением рядов пролетариата вокруг Советов, против возможной реставрации империи и во имя победы социализма.

В одной рукописи Козакова, найденной у него в архиве после его смерти, есть такие строки:

«В поле моего зрения попал последний предвоенный и предреволюционный ряд буржуазной и мелкобуржуазной, т. н. «демократической» интеллигенции. Вся она приняла Февраль, громадная часть ее была опрокинута Октябрем.

Октябрь — это начало конца старой, идеалистически мыслящей «традиционной» русской интеллигенции. Поэтому ее последний ряд, увидевший революцию, имеет наибольшие права занять внимание наших современников».

Политически эту интеллигенцию шире прочих партий объединяли кадеты. Поэтому их партии и уделено главное внимание в романе «Крушение империи».

Роман построен на общественных фактах. Этого было бы недостаточно, если бы автор не исследовал факты в их развитии и не оценил бы закономерности этого развития. Писатель отправлялся не от схемы, он шел от изучения действительности, документов политической борьбы, и в первооснове его знания эпохи, конечно, заключены также воспоминания о времени, им лично пережитом. Роман стал историческим по жанру, историко-бытовым и социальным по содержанию.

## 7

Долгий путь, пройденный Козаковым в работе над «Крушением империи», отразил не только этапы написания самого произведения, но и менявшиеся взгляды писателя на свою задачу, требования его к себе как к советскому литератору.

В предисловии ко второму изданию первой части своего романа Козаков говорил, что он оглядывается на прошлое, чтобы распознать и разоблачить его. «Но этого мало: я прощаюсь с ним — без какого бы то ни было сожаления. В памяти это

прошлое неуничтожаемо: уничтожить это прошлое в жизни — таково призвание наше — современников».

Тема прощания долго занимала его. Она, естественно, влекла к воспоминаниям личного характера, а это должно было придать психологическую окраску всему роману. Козаков считал, что уже по одному тому, какой материал действительности выбран для романа, можно судить о мироощущении писателя — выбор как бы объясняет интересы автора, и оттого в любом художественном произведении в той или другой степени звучит «исповедь». Я всегда был склонен тоже так думать, и когда рассматриваю роман Козакова, отчетливо вижу следы влияния материала, выбранного им на первых порах работы: тут много заложено автобиографического начала, очень многое толкает автора к «исповеди», к прощанию с лично пережитым и оставленным в прошлом. Если бы этот материал личного жизненного опыта взял перевес, роман сузился бы до истории отдельных жизней или семейств, переданной описательно либо «психологизированно», хотя бы и на фоне событий эпохи.

Но Козаков постепенно менял свое отношение к задаче и в конце концов переоценил ее в корне, выработав и новые для себя средства повествования.

Общественная жизнь выступила в романе из слитного фона на крупный план, и явления ее показываются целыми главами. Связи героев с событиями укрепились. Уже не один кадет Карабаев со своим братом — заводчиком действует перед читателем, а кадетская партия, думские фракции, буржуазия. Не один Ваулин как революционер интересует автора, но и организующая революцию работа большевиков, рабочее движение, борьба пролетариата. Не в одном жандармском писаре, охраннике Кандуше, воплощается царская машина подавления революции, но вся эта машина, с ее тюремными винтами, кандалными, цепными передачами шестерен, рычагами в руках царских помощников, громыкает под каждой страницей книги, рассказывающей о тоске по свободе и борьбе за нее сильных, чистых героев этой повести. Больше стало в ней драматического напряжения, жизнь личностей уступила первенство противоречиям событий, общая проблема времени вобрала в себя проблемы частных судеб. Появилась народная, объективная интерпретация эпохи на смену «прощания» с прошлой жизнью героев и самого автора. Все меньше оставалось в романе исповеди по мере продвижения работы над ним, все больше занимала места история. И если взглянуть на писательский путь Козакова в целом, то и от прежней манеры его письма уже почти ничего не осталось в «Крушении империи».

Я говорю — «почти», потому что каждая авторская индивидуальность всегда сохраняется в основе стиля, как бы его ни совершенствовать. Козаков освободился от искусственности старых своих речевых конструкций, от умышленной распевности своих ранних стилизаций. Он шел к простоте языка, к ясной фразе, к точному слову, без которого нельзя верно передать мысль, создать образ. Но его стилю присуща нервность, сама натура его настолько подвижна, возбудима, что ему совсем не свойственны были бы, например, обороты речи уравновешенные, ритм спокойный, темп плавный. Он с горячностью отдавался первым, острым впечатлениям действительности, и это накладывало свою печать на манеру, в какой он воспроизводил их в письме.

Длительность работы должна была по-разному отразиться на романе. С одной стороны, она обогатила его широтой материала, разнообразием контрастов. С другой — поставила перед более сложными требованиями в области композиции: материал начал разрастаться изнутри, и чем дальше, тем труднее становилось его

распределять. Вот почему в конце романа историческая тема, взяв перевес, вынудила Козакова к беглым развязкам взаимоотношений между героями. Движение, жизнь главных образов оказались стесненными, для полноты раскрытия характеров не хватало «площади», сюжет мог быть только досказан. Это все очевидно при сравнении частей романа между собой, прежде всего — первой части с четвертой.

Основательная и успешная переработка старой редакции романа, при которой Козаков исключил восемнадцать листов прежнего текста и написал более десяти листов нового, дала очень много для произведения, но не могла дать все. Есть в стиле заметы былых пристрастий то к отвлеченным понятиям, то к некоторой декламационности или риторике. Это касается отдельных мест, но такие места сохранились и в последней, теперь уже посмертной редакции романа. Среди множества лиц второго плана есть хорошо изображенные, играющие необходимые роли, но находятся и такие, которые могли быть удалены, чтобы избежать пестроты эпизодов и прийти к большей выразительности сцен.

Но то, что достигнуто произведением в художественном и конкретно-историческом плане, не может быть умалено в большинстве частными недочетами.

«Крушение империи» — роман своеобразный уже в силу своеобразия писательского видения мира и той страсти, с какой донесены до читателя потрясения эпохи, послужившей содержанием книги. В художественной литературе нашей Февраль почти не нашел такого отражения, которое ставило бы в центр главные противоречия времени и с широким охватом политических обстоятельств истории давало бы ее картины. Поэтому я и считаю, что роману Козакова принадлежит особое место среди советских произведений на историко-революционные темы. С выходом его в свет читатель восполнит существенный пробел на своей книжной полке. Особенно читатель молодой.

Мы живем накануне сорокалетия со дня свержения царизма в России, этого первого победного акта революции. О нем не только не может ничего помнить советская молодежь, но она слишком мало знает о событии даже по книгам. Новое поколение совершенно недостаточно знакомо с условиями народной жизни при царе в период первой мировой войны и, право, имеет чудесную схематичные представления о старой российской интеллигенции во всех ее мастьях и разновидностях. А интерес к истории у нас большой, к истории, которая рассказывается не по схеме — от готовых выводов к тем же выводам, — но ведет к заключениям от фактов.

Художественная литература раздвигает раму исторического факта с помощью обобщенных образов действительности.

Жизнь, раньше неизвестная читателю, возникая перед ним из прошлого, помогает вернее оценить настоящее, смелее глядеть в будущее.

Роман Козакова хорошо послужит советскому читателю своими красочными, образными и познавательными картинами последних дней императорской власти в России и дней начальных новой России после февральского переворота.

Выпуском «Крушения империи» в свет исполняется то дело, которого не удалось довести до конца самому Михаилу Козакову. В роман он вложил лучшие свои силы, но книга эта далеко не вместила в себя всех его сил.

Козаков был, несомненно, прирожденным литератором редкого темперамента. Проза влекла его к себе больше всего, и он жил в ней подолгу и всегда с высшим для него подъемом. Но когда он увлекался другими жанрами, то эти влечения были тоже долгими, исполненными его обычной страсти. Он очень любил театр и больше десятилетия с жаром отдавался работе в драматургии, часто испытывая разочаро-

вания и опять возвращаясь к новым попыткам упрочиться на сцене. Некоторые его пьесы принесли ему успех.

Думаю, характеру его особенно близка была журналистика. Необыкновенно горячо это проявлялось во всевозможных дискуссиях, в которых он выступал как литературный, театральный критик и публицист. Большую полосу своей рабочей жизни он отдал спорам об искусстве, столь обильным и богатым в первой половине тридцатых годов. Это были годы, насыщенные многосторонними замыслами Горького, переполненные новыми предприятиями в издательском, литературном, журнальном мире.

Тут Козаков обретался весь целиком со своим непотухающим, беспокойным интересом к жизни литературных коллективов, к разноречиям, схваткам мнений, вкусов, талантов среди людей искусства. Кажется, от тех времен не осталось в ленинградской печати ни одного отчета о дискуссиях, в котором не было бы названо его имя. Он заявил себя последовательным сторонником общественного, воспитательного назначения литературы и всем своим неутомимым трудом литератора стремился показать правоту этого убеждения. У него не было никакого разрыва между тем, как он понимал задачу писательского призвания, и тем, как действовал в коллективном кругу литераторов: слово его не расходилось с делом.

Он умел жить общественной жизнью, отдавать свою жизнь обществу, и плоды ее сохранились в том лучшем, что он оставил советскому читателю, закреплены и в его книге о крушении Российской империи.

Часть  
первая

---

# ОТ СМИРИХИНСКА ДО ПЕТЕРБУРГА



## *Глава первая*

### **НА ПОЧТОВО-ЗЕМСКОЙ СТАНЦИИ ЗИМОЙ 1913 ГОДА**

Извозчик въехал во двор и остановился у главного подъезда.

Из санок вылез человек в длиннополой меховой шубе и сибирской шапке, глубоко надвинутой на лоб. Он торопливо расплатился с извозчиком и, сняв с санок туго увязанную багажную корзину, взошел на крыльцо. Дверь в стеклянный коридорчик была незаперта, так же как и из коридорчика в квартиру, и приезжий, неся впереди себя корзину, вошел в комнату.

Никто не слышал его прихода: дверь в соседнюю комнату была плотно прикрыта, другая вела в расположенную рядом кухню; оттуда доносился мерный, с посвистом, храп спавшей прислуги и шло густое тепло хорошо истопленной русской печи.

Приезжий поставил корзину на пол, снял шубу и шапку и положил их подле себя на скрипучем диване.

В течение нескольких минут он оглядывал незнакомую комнату.

Это была «комната для проезжающих» в доме содержателя почтово-земской станции Рувима Калмыкова. Назначение этой просторной комнаты полностью подтверждалось мебелью, в ней поставленной.

Два больших старинных, одинакового размера, дивана размещены были симметрично друг против друга. Как и они, тяжелые, широкие стулья-полукресла были обиты черной, уже истрепавшейся клеенкой; из-под клеенки торчали размотавшиеся спирали жесткой пружины и клочья материи и волосяной набивки. Стульев было до десятка, и они вместе с диванами заполняли почти всю комнату. В ней, казалось, разместилось некое, неодушевленное семейство, замечательное тем, что все члены его — близнецы: тяжеловесные супруги-диваны и их такой же массивный и неподвижный черный широкоплечий выводок.

У стены, слева от входной двери, стоял такой же старый, как и вся остальная мебель, громоздкий письменный стол; он тоже был покрыт черной клеенкой. В правом краю она была отогнута, и на этом месте была большая гербовая казенная печать, наложенная на свободные концы шпагата, продетого в ушко тяжелой переплетенной книги; она лежала тут же на столе. Это была установленная традицией и законом «жалобная книга». Тот же закон пове-



левал вывесить на видном месте (над столом) оба промысловых свидетельства, выданных на имя купца 2-й гильдии Рувима Лазаревича Калмыкова, арендатора почтовой станции и земского дорожного пункта в городе Смирихинске.

Желтые бумажки промысловых свидетельств висели в черных рамках под стеклом, и точно в таких же рамках — вышитые шелковистым пестрым гарусом изображения двух львов с неестественно загнутыми кверху хвостами. На этой же стене, над промысловыми свидетельствами и цветистой вышивкой, помещена была тусклая репродукция с картины неизвестного художника: тройка ретивых вороных в нарядной упряжке и бородатый богатырь ямщик в заливчатском облачении.

Наконец, что еще бросалось в глаза в этой просторной комнате — это массивные, шестигранные часы, висевшие в простенке между двумя окнами: длинные крупные стрелки имели форму копы, а циферблат был желтоватый, пергаментный.

Приезжий взглянул на часы, и они мгновенно вывели его из состояния умиротворенного созерцания, в котором он находился несколько предыдущих минут: шестигранная массивная коробка показывала ровно пять.

Приезжий вскочил с дивана и, не заботясь уже о сохранении приятной ему ранее тишины, громко крикнул и шагнул к кухне.

Он понял, что несколько утраченных бездейственных минут прошли впустую потому, что телу его, уставшему от долгой поездки в вагонах, необходимо было, хоть на краткое время, опуститься на этот мягкий чужой диван, откинуться на его услужливую спинку и застыть без движения.

— Эй, кто тут... сонное царство! — окликнул он храпевшего человека, заходя на кухню. — Почтосодержатель мне нужен. Ну, отвечайте!..

Храп на печи не прекращался.

— Да ну же, просыпайся! — еще громче повторил приезжий, заглядывая вверх.

— Га? — на полуслове осекся чей-то сон. — Га?

И приезжий сначала увидел медленно спускавшиеся с печи голые белые ноги прислуги, а потом и ее заспанное, раскрасневшееся лицо.

— Кого вам треба? — спросила украинка.

— Лошадей мне нужно. Зови хозяина или приказчика.

— Подождать трохи, зараз покличу.

Она протяжно звнула во весь свой молодой полнозубый рот и потянулась, распрямляясь, сытым и теплым телом. Подавшись вперед, оно почти коснулось грудью незнакомого человека.

Будущее, совсем близкое будущее, наплыло в воображении приезжего таким же теплым и плотским, доступным и волнующим, как только что увиденная служанка.

— Ну, зови, зови там кого следует... — поглядел он весело, заигрывающе на молодую женщину.

— Зараз Евлантия позову... приказчика.

Она надела высокие мужские сапоги, полушубок, накинула на голову суконный платок и выбежала во двор. Через несколько минут она возвратилась в сопровождении хромого человека, у которого одна нога была сильно искривлена в колене. В левой руке он держал позвякивающую связку больших амбарных ключей, правой опирался на сучковатую тонкую клюку.

— Ось дид Евлантий. Балакайте з им, вин — приказчик.

— Здрастуйтэ, пожалуйста,— сказал тот и посмотрел внимательно своим далеко упрятым, неуловимого цвета глазом на незнакомого пассажира.— А шо скажете?

— Мне, дед, лошадей нужно.

— По проезднему свидетельству?

— То есть как это... по проезднему свидетельству?— почему-то неожиданно пытливо спросил приезжий и заглянул с любопытством в серое, остроносое лицо мужика.

— Ну, як ездют казенны люди?— рассердился также неожиданно старик.— Чиновники и земские диятели имеют свидетельство, с печатью, по хформе. Это вам, господин, не биржа извозчицья, а земска станция! У нас все по закону, все хформальности соблюдаем.

Глаз смотрел по-ястребиному, настороженно и недоверчиво: всяко бывало на Евлантиевом веку,— придет иной раз подкусная собака ревизор из губернии и прикинется дурачком; не раскуси его сразу,— гляди потом, какой крик подымет, а хозяину от того ревизорского крика лишний расход и неудобство!

— Х-хы... х-хы! Лошади у нас, господин, по закону идут. А закон...закон, х-х-и, есть закон,— как казалось самому, неоспоримо и вразумительно объяснил Евлантий.

Голос у него был громкий и всегда сварливый, слово шло чисто и коротко, хотя во рту недоставало уже многих зубов, но вслед за словом, во время пауз, из груди прорывалась одышка и силпый, стариковский выдох — удвоенное сухое «х».

— Так вы не по билету,— це другое дило... х-х! А куда вам ехать? и куда подавать коней?

— Мне нужно в Снетин,— ответил приезжий и присел у стола, возле которого примостился на кончике стула хромоногий приказчик.— Подавайте лошадей сейчас.

— Сейчас? Ни, сейчас нельзя. Нияк нельзя...— разочарованно покачал головой.

Он посмотрел на туго завязанную длинную корзинку, стоявшую у дверей, и вопросительно сказал:

— С поезда? С Полтавы чи с Киева?

— Нет,— уклончиво ответил приезжий.— Я, дед, много верст проехал... много... А теперь в Снетин мне нужно: всего восемнадцать верст не доехал. Восемнадцать, а?

— С гаком! Як по-землемерному считать, так верстов полных двадцать одна. С гаком восемнадцать... х-хы.

— Слушай, дед, вели запрягать да говори, сколько платить надо. Я сразу заплачу, ямщику на водку дам,— торопил приезжий,

поглядывая досадливо на часы, незаметно накинувшие новые пятнадцать минут.

— Сразу... Це уже, господин, у нас такое правило... х-х! Только коней — нема, все в разгоне. Одна пара, правда, стоит в конюшне... х-хы, да с двора я их не выпущу...

— Я хорошо заплачу! — усиливал свою настойчивость приезжий. — Ты спроси хозяина своего, дед...

Приказчик вынул из кармана черную маленькую табакерку и поднес щепотку острой нюхательной пыли к своим плоским, придавленным к хрящичку ноздрям. Втягивая ими привычную поنشку табаку, он, как прислушивающаяся птица, попеременно наклонял голову набок и по-стариковски присвистывал заострившимся носом.

— Хозяина... хозяина, — без отчетливого смысла повторил он, кладя табакерку в карман. — Я и сам знаю, шо говорю. Посидите тут, господин, я это дело выясню, — неожиданно изменил он свое первоначальное решение и поднялся со стула.

Ворчливо покашливая и шаркая по полу искривленной ногой, приказчик подошел к двери в соседнюю комнату.

— Придется, господин, как поедете, полтинник прибавить, бо кони для казны булы оставлены, — добавил он, прежде чем переступить порог. — Сами понимаете, господин. — И он потянул к себе дверь.

Приезжий увидел часть столовой: ореховую мебель, такой же диван с высокой спинкой, обитый красным плюшем, портрет знакомого, сразу припомнившегося старика и завешанный портьерой косяк другой двери, ведущей в соседнюю комнату.

Он видел, как прошел туда хромоногий, а через несколько секунд и услышал его покашливание и невнятно доносившиеся слова деловитой беседы.

Приказчик вернулся вместе с высоким длинноносым и гладко выбритым человеком, на ходу оправлявшим свою русую, слегка рыжеватую шевелюру волнистых, назад зачесанных волос. Он был без пиджака, в жилете.

— Вот вам хозяин, балакайте с им, — отошел в сторону Евлантий.

Блондин смотрел вопросительно, хотя он хорошо знал, о чем должен начаться разговор. Это был Семен Калмыков — сын и главный помощник старого почтосодержателя. Приезжий, не приближаясь к нему, повторил свою просьбу: нужны, сейчас же нужны лошади в Снетин, и будет уплачено столько за них, сколько потребует почтосодержатель; ямщик тоже будет доволен.

— Ну, так как по-твоему, Евлантий: можно ли им дать коней? — советовался Калмыков с приказчиком. — Еще, смотри, черт какой притащится; и доктор Войткевич уже два дня не заказывал?..

Приезжему показалось, не без основания, что все эти опасливые разговоры ведутся лишь для того, чтобы заломить с него большую сумму. Он с нескрываемым раздражением вынул, поспешно кошелек и метнув в сторону резкий взгляд, спросил:

Вот. Пять рублей вам... возьмите. Или сколько?

— Нет, что вы! — растерянно усмехнулся Калмыков. — Пять — это много. Обыкновенно мы берем за такую поездку три рубля. Но вам, вы говорите, нужно срочно ехать, да к тому же мы немного рискуем, отдавая последнюю, запасную пару лошадей... В Снетин — четыре рубля! — коротко оборвал он свое объяснение.

Такая уступчивость и добросовестность были неожиданны и для приезжего, и для станционного приказчика. Евлантий что-то пробормотал в свои щетинистые, неровно подстриженные усы и неодобрительно засопел: не умеет — как бог свят, не умеет! — держать станцию в своих руках молодой хозяин. Куда твое дело — старик Калмыков, Рувим Лазаревич! Один только рост у Семена от отца да фамилия! А ум где?

— Господи! — не утаивая досады, сказал Евлантий, когда хозяин вышел. — Вы х-х... ямщику же не забудьте на водку: дешёво... х-хы... коней взяли!

Постукивая о пол палкой и волоча больную ногу, он ушел отдавать распоряжения. Приезжий остался один.

Как полчаса назад его прельщала сонливая тишина, осевшая в этом чужом теплом доме, так испытывал он подъем духа и радость оттого, что видел и слышал теперь вокруг движение, звуки, голоса. Из глубины квартиры приходили в столовую и уходили какие-то люди — члены семьи Калмыкова; туда же несколько раз пробегала прислуга, и слышно было, как протяжно скрипит отворяемая ею дверца буфета и словно в мелком ознобе дрожит в ее руках на чайном подносе звонкое стекло стаканов; в самоваре на кухне потрескивали сухие, горячие угли, огонь мелькал и гудел в просвечивающейся дырявой трубе, просунутой коротким коленцем в печное отверстие, и крошились, выпрыгивая на поставленный под самовар железный противень, огненные угольки.

Приезжий медленными и широкими шагами ходил по комнате, заглядывая то в одну, то в другую открытую дверь.

Он заплатил уже Калмыкову деньги, и через десять — пятнадцать минут станционные лошади умчат его, усталого путника, по долгожданной, последней дороге...

Приезжий посмотрел на свою корзину: она показалась ему хранилищем его туго завязанного прошлого. Кладь была тяжела.

Он вынул папиросу и хотел закурить, но вспомнил, что в коробке не осталось спичек. Пришлось идти на кухню — прикуривать от уголька, упавшего на противень. Уже приседая на корточки, услышал, как сзади него из сеней открылась, клямкнув рычажком запора, обитая войлоком дверь и кто-то, переступая порог, сказал другому:

— Осторожно, папа.

Приезжий выпрямился и обернулся.

В кухню входили двое: тонкий, худощавый гимназист в наброшенной на плечи старенькой шинели вел за руку плотного, выше среднего роста человека в черном пальто с каракулевым воротником и в каракулевой круглой шапочке. Господин был в очках, но по тому, как медленно и осторожно передвигал он ноги

и инстинктивно, шупающе шарил впереди себя свободной правой рукой, приезжий понял, что вошедший лишен был зрения.

— Пусти... пусти, Феденька, здесь я уже совершенно точно знаю дорогу,— слабо улыбаясь, убеждал он сына.— Тут у меня уже все шаги сосчитаны... Направление выверено. Пусти... Я сам, сам...

Они прошли, не раздеваясь, в калмыковскую квартиру.

— Кто это только что пошел: в очках... слепой, кажется? — спросил приезжий у прислуги, пришедшей в кухню за самоваром.

— Ось тот, шо с Федей? — переспросила она таким тоном, словно приезжий хорошо знал этого Федю.— Так це ж сын нашего хозяина — Мирон Рувимович! Хиба вы не знаете?... словно он обязан был разбираться в родственных связях обширной калмыковской семьи.

— Анастаська! Неси чай,— громко позвал из столовой чей-то грудной женский голос, и прислуга заторопилась.

В комнате уже заметно темнело, все предметы в ней поблекли. Приезжий нетерпеливо ждал Евлантия и его обычных традиционных слов станционного приказчика: «Лошади поданы»,— когда можно уже будет поспешно одеться, взять свои вещи и усесться удобно в широкие почтовые сани, наполненные сеном и накрытые мохнатой овчиной в ногах.

Нетерпение и скука одолевали его. Медлительность, с какой делалось все на этой почтовой станции, раздражала его.

— Скажите, скоро подадут лошадей? — не утерпел он и постучал в столовую.

— Через пять минут все будет готово,— пообещал выглянувший на стук хозяин.— Корм засыпали.

Спустя минуту приезжему показалось, что прошли уже все пять; он хотел вновь напомнить о себе, но в этот момент он услышал в коридорчике чьи-то уверенные шаги, крепкий короткий топот тяжелых ног, отряхивавших снег, а затем и увидел на пороге вошедшего.

Тот был одет в жандармскую форму, а погоны на его длиннополой шинели указывали на его унтер-офицерский чин.

— Крепчает! — бросил пришедший с мороза.— Недаром к рождеству Христову дело подходит.

Он крикнул, вытирая рукой заиндеветшие, полукругом нависшие над ртом усы, и улыбаясь, мельком посмотрел на незнакомого пассажира и на его корзину.

Приезжий насторожился: рыжеусый жандарм по праву и закону мог претендовать на запасную пару почтовых лошадей.

Нужно было действовать немедленно и решительно.

— Послушайте, хозяин... Я готов: пускай подадут к парадному крыльцу! — приказывал он в слегка приоткрытую дверь.

— Семену Рувимовичу — почтение,— ласковым протяжным голосом дал знать о себе унтер, подходя к той же двери и открывая ее перед шедшим уже навстречу Калмыковым.— Прият-

ного чаю вам! — дружелюбно пробежал унтеров глаз по лицам сидевших за столом и, возвращаясь, опять мельком задел незнакомого человека, облачавшегося в северную просторную шубу.

— Здравствуйте... здравствуйте, Назар Назарович, — протянул ему хозяин фамильярно, с высоты, свою длинную руку, но приезжий заметил, как досадливая, искусственная усмешка легла нехотя в уголки калмыковского рта. — Что скажете, господин Чепур? — Неестественно любезно, пусто звучал его вопрос, хотя спрашивать не приходилось: цель унтерова прихода была ясна.

— Ну... так как насчет лошадей: я — жду... — вмешался приезжий в разговор, не обещавший ничего приятного.

— Насчет лошадей у них всегда заторно, — сочувственно ответил унтер, интимно и панибратски мигнув хозяину. — Дело известное — любите денежку наживать на казенных лошадях; ну, да я молчу, молчу... Мне, Семен Рувимович, по делу ехать надо, — уже серьезно и сухо сказал он, усаживаясь грузно и небрежно в кресло, и казалось, было унтеру Чепуру сознать свое начальственное положение, дарованное ему законом. — И сейчас ехать, Семен Рувимович. Обязательно! — наслаждался он еще больше, видя явное замешательство на лицах Калмыкова и пассажира.

— Так поздно, Назар Назарович? — И почтосодержатель обменялся с приезжим многозначительным, красноречивым взглядом: вот видите, опасался я не напрасно, — пришел черт, и от него не отвязаться: и вам и мне неприятность...

— А далеко ехать?

— Лошадям корм — на сутки, а куда ехать — ямщику будет сказано.

Зачем спрашивать, да еще при постороннем: разве не известны Семену Рувимовичу права, присвоенные чинам жандармской полиции, — не называть места своей поездки прежде, чем они там не побывают?... Унтер Чепур неодобрительно покачал головой.

— Простите, господин... — извинительно, беспомощно развел руками Калмыков, обращаясь к приезжему. — Но тут выходит некоторое недоразумение.

— Недоразумение? Я ведь вам уплатил уже...

— Пожалуйста, пожалуйста... Возьмите ваши деньги. Что ж делать... Может быть, за эти же деньги вас повезет в Снетин частный извозчик, с биржи. Я пошлю сейчас Евлантия, приказчика, — он найдет вам лошадей.

— Ну, знаете ли, это безобразие!

— Ничего, к сожалению, не могу поделать. А с биржи, может быть, наймете.

Увлеченные спором, они словно забыли и не замечали жандармского унтера — единственного виновника происшедшей неприятности. Они не видели, как поднялся он с кресла и очутился совсем близко, сбоку.

— Семен Рувимович! Пассажиру, вы говорите, в Снетин нужно? — сказал он, и голос его звучал слегка удивленно и

услужливо.— Так если вы, господин, желаете, может ехать со мной: я доведу вас до места назначения,— неожиданно предложил он.— Это... по дороге. Частный извозчик пока соберется, с... сын,— конец фразы потонул в хриплом, захлебывающемся кашле: унтер Чепур был, очевидно, простужен.

Морщинка заботы на калмыковской переносице исчезла; гнев приезжего осекся, и резкий короткий взгляд его недоуменно и непонятливо остановился дольше обычного на хрипевшем жандарме. Тот с трудом, казалось, справился с душившим его кашлем; лицо его побавровело, жилки на плотных мясистых щеках посинели и вздулись, а выпуклые темные глаза слезились.

К сожалению приезжего, он ничего нужного для себя не мог прочесть в них...

— Вот хорошо! — воскликнул Калмыков, неожиданно введенный из затруднительного положения.— Вы ведь ничего не имеете против? Сани широкие, места хватит.

— Пожалуйста...— уступчиво пожал плечами приезжий и вновь посмотрел на своего случайного спутника: Чепур предупредительно и вежливо кивнул головой.

...В ожидании лошадей они сидели оба на одном и том же диване и молча курили.

Через минуту-другую внимание обоих сосредоточилось на новом человеке, появившемся в комнате. Это был гимназист — внук старого почтосодержателя, Федя Калмыков, которого приезжий видел уже раньше.

Он стремительно выбежал из столовой и, оглядев на ходу присутствующих, быстро направился к телефону, висевшему сбоку над письменным столом. (Кстати, почему-то только сейчас приезжий заметил бурую коробку с зеленым шнурком и слуховой трубкой.)

Гимназист позвонил на телефонную станцию и громко попросил:

— Пожалуйста, квартиру Карабаева,— а приезжий не без любопытства заметил в этот момент, как непроизвольно приосанился согнувшийся на диване жандармский унтер, как учащенной замигали его рыжеватые густые ресницы.

Карабаев — эта фамилия была знакома и приезжему, настолько, что и сам он чуть вздрогнул при ее упоминании.

Он, очевидно, мог и должен будет многое вспомнить, вернувшись сюда, в этот город...

Карабаев вспомнился сразу, без напряжения.

— Простите, Георгий Павлович... здравствуйте,— степенно, но несколько смущенно говорил с кем-то невидимым усевшийся на стол гимназист.— Да, да — Федя Калмыков... Можно Иришу к телефону?... Хорошо, хорошо,— я подожду...

— Ох, барышни... всегда они чем-нибудь да заняты! — пытался игриво улыбнуться неловко вмешавшийся Чепур.

Гимназист даже не обернулся на его голос.

— Лошади поданы! — услышал вдруг приезжий давно ждан-

ные слова: прислушиваясь к телефонному разговору, он не заметил, как вошел через кухню хромоногий Евлантий.

— Ну, кто ж поедет? — спросил приказчик, безразличным взглядом окидывая обоих пассажиров.

— Вместе... По дороге! — в один голос ответили они, шумно поднимаясь с места.

Жандармский унтер вышел первым. Приезжий, подняв свою корзину, последовал за ним.

Когда переступал уже порог стеклянного коридорчика, услышал неясные, сбивающиеся слова гимназиста:

— Могу... Никого нет, Ириша. Сейчас совершенно свободно могу... Знаете, это замечательная штука. Спасибо. Я буду очень рад...

Дверь захлопнулась, вернее — ее захлопнул шедший сзади хромой Евлантий, берегший тепло хозяйской квартиры, — и приезжий не дослушал конца фразы.

Он вышел на крыльцо. Лошади уже поджидали. Поверх сена и овчины лежала черная кавказская бурка. «Чья это?» — невольно подумал приезжий и тотчас же перевел взгляд на Чепура.

— Это вам? — впервые заговорил он с ним.

— Моя, — ответил унтер, набрасывая на себя бурку. — Моя, а то как же? — повторил он, влезая в сани и давая место своему спутнику. — В шинели, сами понимаете, ехать холодно.

Приезжий уже не спрашивал, каким образом бурка оказалась в санях, — он понял: жандармский унтер еще до разговора с Калмыковым заявил его приказчику о своих правах на запасную пару лошадей. Он был предусмотрителен — унтер Чепур!

Может быть, и неожиданная предусмотрительность его не была случайной? Но об этом время будет подумать в дороге.

— Трогай! — ткнул рукой приезжий в широкую спину ямщика и потуже запахнул свою шубу.

Лошади свежей рысцей прошли узкий тупичок заезда в калмыковскую усадьбу, качнули сани на горбатеньком мостике, перекинутом над уличной канавой, и, свернув налево, побежали по утопанной снежной дороге.

## *Глава вторая*

### ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ КАРАБАЕВ

Поезд уходил с Царскосельского вокзала в девять тридцать вечера. За полчаса до отхода поезда Лев Павлович Карабаев был уже на вокзале. Услужливый носильщик подхватил оба его чемодана и понес их по мраморной лестнице на второй этаж к перрону. Лев Павлович на ходу, расстегивая шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его перронному контролеру.

Лев Павлович проявлял поспешность и некоторую суетливость, хотя отлично сознавал, что причин для этого нет: времени до отъезда было еще достаточно, торопиться, чтобы захватить место



поудобнее, незачем было, так как его заранее приобрела канцелярия Государственной думы для него — депутата Карабаева, одного из лидеров кадетской партии. Тем не менее хотелось поскорей добраться до вагона, рассчитаться с носильщиком и расположиться поуютней в теплом и светлом купе.

И, вероятно, он был бы удивлен, если бы мог сейчас видеть себя: широкоплечий, немного грузноватый, в шубе с широким бобровым воротником и в такой же шапке, степенный и солидный человек — не то профессор, не то присяжный поверенный (если не знать еще более высокого общественного положения Льва Павловича) — суетливо и озабоченно расталкивал на лестнице толпу, стараясь обогнать идущих впереди, наступал кому-то на ноги, наткался на чьи-то поставленные на дорогу вещи.

Он никак не походил сейчас на самого себя — человека со спокойной, уверенной походкой, с плавными и четкими движениями, неторопливыми, но, однако, достаточно настоятельными. Он изменил сейчас своей обычной манере держаться; тот, кто хорошо знал Льва Павловича, почувствовал бы сразу, что с Карабаевым происходит нечто такое, что заставляет его обнаруживать взволнованность гораздо большую, чем можно проявить ее в обстановке вокзальной суеты.

Что, собственно, произошло? Что нарушило его душевное равновесие? Известия из дому? Нет, в семье все обстояло вполне благополучно: все здоровы и ждут с нетерпением его приезда.

Его собственное здоровье? Правда, он очень утомлен, в эту сессию пришлось изрядно поработать, иногда пошаливало не совсем спокойное сердце, но ко всему этому, к работе и переутомлению, он привык уже давно, и, конечно, не в этом заключалась причина его теперешнего состояния. Как врач, Лев Павлович был даже доволен собой: в прошлом году и сердце и почки причиняли гораздо больше неприятностей.

Нет, нет — он понимает, что породило это болезненно-досадливое, нервное состояние, что повлияло на его психику!

В сотый раз вспоминая о случившемся (в сотый, потому что полдня непрерывно думал об одном и том же), Лев Павлович с одинаковой силой, как в первый раз, испытывал чувство гадливости и возмущения. Ну, и нравы! Ну, и государственная система!... Становится уже трудно отличить департамент полиции от уголовщины. Боже мой, боже мой, — что делают в России, что позволяют себе делать с ее народными представителями?!

Не ночевавший дома и приехавший днем из Райволы, Лев Павлович не осознал сразу смысла всего происшедшего: в обеих его комнатах все было перерыто, замки были взломаны, однако ничего не исчезло, если не считать кое-каких мелких предметов и пары желтых шевровых ботинок. Это и удивляло, потому что воры имели возможность выкрасть вещи более ценные, находившиеся в этих же комнатах.

Как выяснилось, злоумышленники проникли в квартиру ночью, с парадного хода, когда все уже спали: обе комнаты Карабаева были

близлежащими к прихожей и отделены глухой стеной от всей остальной квартиры. Хозяева квартиры и прислуга приносили извинения Льву Павловичу, хотя они были виноваты только в том, что, как и всегда, крепко в эту ночь спали, — Льву Павловичу ничего не оставалось делать, как отнестись ко всему этому происшествию с добродушной и мягкой иронией: приближаются праздники, православные воры блюдут рождественский ритуал, он требует усиленных денежных издержек, — вот и причина ночного нападения!..

Хорошо, что такой мелочью отделался: или воры чего-то испугались, или — ха-ха-ха! — они оказались снисходительными к имуществу популярного думского депутата?..

Но вот не успел свыкнуться с этой мыслью, как — спустя час — почувствовал всю ее пустоту и необидительность.

Журналист Фома Асикритов — неприятный человек, с «сумасшедчинкой», как думал о нем Лев Павлович, но он оказался на сей раз догадливей и умней, чем он, Карабаев.

Пришедший попрощаться Фома Асикритов сразу сокрушил Льва Павловича своей упрямой догадкой:

— У ваших воров, сердце мое, очень хорошие документы. Очень хорошие!

— То есть?

— Не то есть, а тут суть великолепные кавалеры с Фонтанки, шестнадцать!

— Третье отделение? Да бог с вами...

— Он всегда со мной, ибо где мне, грешному, обойтись без него! Совершенно точно говорю, сердце мое, Лев Павлович: были у вас гости, да не простые. Опричники — вот что-о!

— Какой смысл?

— Ха-ха! — насмешливо сверкнул, перебежав с одного места на другое, маленький, словно клякса, черный зрачок. — Ха-ха! Чай, вы, Лев Павлович, в оппозиции, как выражаются, настоящему режиму? К кадетской партии принадлежите? Пусть она и не революционная... Личность вы известная? Речи в Думе говорите? И все документами настоящий режим изобличаете. *Документами!* — многозначительно сверкнул опять маленький напрягшийся зрачок и быстро отбежал на свое место. — А интересно, откуда документы достали, кто дал их депутату, где крамола сидит? — в упор уже, настойчиво глядел Асикритов на опешившего Карабаева. — Ну, понятно? Бумажки искали, — вот потому и замки во всех ящиках взломаны. Денег не взяли — на что им деньги! А мелочишку да обувь нарочно прихватили — замести следы, симуляция одна, да и только.

Лев Павлович пробовал возражать, пытался исправить асикритовскую догадку, но Фома Матвеевич был непреклонен в своих суждениях.

Впрочем, Лев Павлович слабо защищался. Фома Асикритов прав, — в этом Лев Павлович уже не сомневался.

Ну, и нравы! Ну, и государственная система!.. Что позволяют себе делать с ним — народным представителем, членом Государ-

ственной думы! Выследили, воспользовались его отсутствием и... преступно, воровски пробрались к нему на квартиру, разгромили его ящики, рылись в его бумагах... В его бумагах — известного общественного деятеля страны, члена российского парламента! Больно за Россию, за условия русской жизни, стыдно за правительство, потворствующее уголовщине...

В первую же минуту Лев Павлович почувствовал себя смертельно оскорбленным и в порыве искреннего возмущения решил скандалить, потребовать от полиции строгого расследования, сообщить оппозиционным газетам о всех подозрительных деталях ночного набега. Газеты сумели бы искусно оттенить их так, что русский читатель, эзопов ученик, сразу понял бы, кто и с какой целью взламывал замки у члена Государственной думы Карабаева!.. Но Лев Павлович ничего этого не сделал...

Весь остаток дня он провел в размышлениях. Сегодня правительственными агентами было нанесено оскорбление ему, Карабаеву. А совсем недавно петербургские власти вознамерились ни больше ни меньше, как посадить в тюрьму депутата Государственной думы Бадаева. И за что? За то, что на похоронах рабочих, погибших при взрыве минного аппарата, он сообщил собравшейся толпе, что взрыв произошел из-за преступной халатности администрации: нагоняли экономию и передали аппарат в работу без испытаний.

Бадаеву, как и остальным большевикам, Карабаев отнюдь не сочувствовал. Но беззастенчивое покушение на депутатскую неприкосновенность его возмутило. Нужно было срочно вмешаться, нужно было потребовать объяснений от министра внутренних дел. И он вместе с некоторыми другими думцами-кадетами поставил свою подпись под запросом социал-демократической фракции.

Но почему-то так получилось, что к моменту обсуждения запроса депутаты-кадеты, а с ними и он, Карабаев, сняли свои подписи. Запрос был сорван. Не дали боя министру-реакционеру, отступили...

Сейчас, садясь в извозничьи сани, чтобы ехать к вокзалу, Карабаев не мог не признать себе: да, спрятались в кусты, трусили. Да, боязно связываться с «охранкой», — всяко ведь может быть...

Карабаев чувствовал себя беглецом, малодушным. Его охватила апатия, усталость. У него было одно желание: домой, к семье, к интимным радостям и печалям.

Он не уезжал, а бежал из Санкт-Петербурга.

...Купе было двухместное, в вагоне первого класса; Льву Павловичу принадлежал нижний диванчик.

Верхний заняла — за несколько минут до отхода поезда — молодая женщина, вошедшая в вагон в сопровождении двух мужчин.

Один из них был в зеленой студенческой шинели и в такой же фуражке, другой — в гражданском, узком, старомодного покроя

пальто с каракулевым воротником и в картузе путейского инженера.

— Сюда... сюда, Людмила. Вот твое место,— мельком оглядывая Карабаева, говорил инженер.— А Леонид по соседству с тобой, в другом...

Он поставил чемодан женщины на пол и пропустил ее в купе. Студент с саквояжем в руке прошел мимо — в соседнее. Лев Павлович вышел в коридор, дабы не мешать своей попутчице расположиться.

Он не смог еще рассмотреть ее, но зато успел заметить брошенный в его сторону взгляд инженера, а минутой позже — и взгляд подошедшего сюда же студента.

Глаза обоих едва скрывали почтение и некоторое любопытство.

Вначале он не понял, почему это так. «Неужели мы знакомы?» — подумал Лев Павлович, но потом другая, более точная мысль подсказала истину. Ну, конечно, его — известного, популярного депутата Карабаева — узнали эти люди, узнали по портретам, неоднократно помещавшимся в журналах, а может быть, и запомнили, видя его в кулуарах или на трибуне в Государственной думе. Вот, вот — он вспомнил даже: не так давно ему пришлось побывать в обществе петербургских либеральных инженеров, беседовать со многими из них, — разве не мог этот, с черными подстриженными усиками, с чертами лица, удивительно схожими с Гоголевыми, — разве не мог этот инженер быть там, принимать участие в общей беседе?

И Лев Павлович уже не удивлялся тому, что его узнали. Не желая, однако, останавливать на себе внимание чужих людей, он отвернулся к окну, разглядывая суетившийся на перроне народ.

Дважды ударили в густой железнодорожный колокол, замечались люди в толпе, за окном, заторопился провожающий инженер.

— Ну, с богом! Поезжайте. Отцу передайте «последнее прощание»... Напиши обо всем, Людмила... обо всем.

Он крепко расцеловался с отъезжающими, надел перчатки, поправил соскользнувшую набок, во время прощания, инженерскую, с широкими полями, фуражку и, не глядя уже на обернувшегося Карабаева, вышел из вагона.

В окно Лев Павлович увидел, как инженер, медленно пробираясь в толпе, пошел к выходу. Лев Павлович инстинктивно, а затем и по инерции, следил за ним, пока хватало глаза. Вот видна только спина и фуражка инженера, еще секунда — и они исчезнут, и взор Льва Павловича сможет уже заняться чем-либо другим.

Но что такое? Инженер словно знал, что кто-то неотступно следит за его фуражкой: он слегка приподнял ее, обнажив на секунду черноволосое темя, затем снова опустил на голову и — уже не двигался. Вернее, не двигался вперед: инженер с кем-то поздоровался и остановился. С кем — Лев Павлович не видел.

Но вот толпа, вероятно, оттиснула инженера назад, вся верхняя часть его корпуса попала в поле зрения, Лев Павлович видит его

чуть усмехающееся подвижное лицо, сильно освещенное ширококошким фонарем и теперь, — инженер вновь попятился под натиском толпы, — маленькую фуражку его повстречавшегося собеседника.

— Фу-ты! Неужели?.. — Перед глазами Льва Павловича мелькнуло на мгновение знакомое лицо Фомы Асикритова.

Бом, бом, бом! — ударил колокол, и толпа на перроне отпрянула от вагонов; инженер и Асикритов растворились в ней. Картавый, пронзительный свисток обер-кондуктора — и вагоны осторожно качнуло. Лев Павлович отошел от окна.

Асикритов на вокзале? Зачем? Господи, ну что за странный человек! И со всеми знаком, знает почти всех в Петербурге... И вот с этим «гоголем»-инженером знаком...

Карабаев вошел в купе.

— Виноват, — поднялся с диванчика студент, уступая место Льву Павловичу. — Разрешите остаться, пока я устрою сестру.

— Пожалуйста, пожалуйста, — дружелюбно посмотрел Лев Павлович на обоих. — Устраивайтесь, как хотите.

Женщина тоже встала с диванчика, а брат ее принялся поднимать верхнюю полку. Он ушел к себе, как только помог сестре разместить ее багаж.

— До завтра, Людмила Петровна... до завтра, — прощался он с ней, и Карабаеву показалась, что он умышленно назвал ее полным именем-отчеством, дабы облегчить Карабаеву знакомство, которое так или иначе должно было состояться в течение долгого пути.

Женщина устраивала себе ложе и выбирала из коробок и чемодана вещи, приготавливаясь ко сну. Делала она это молча и сосредоточенно. Присутствие постороннего человека ее, очевидно, не смущало. Лев Павлович читал вечернюю газету, закрывшись наполовину ее листом. Но время от времени он невольно подымал глаза. Да, он не ошибся полчаса назад: женщина эта, Людмила Петровна, была молода, красива, а в ее плавных, чуть замедленных движениях и во всей ее осанке Лев Павлович легко распознал то, что привыкли в обществе называть «породой», а он, доктор Карабаев — выхоленным организмом, не знающим изнурительного труда.

В раскрытом чемодане попутчицы лежало тонкое кружевное белье, аккуратно сложенное шелковое платье, различные принадлежности изысканного дамского туалета и между всем этим — надушенные бумажные подушечки-саше, привозимые, как говорили, для петербургских светских дам непосредственно из Парижа.

Лев Павлович видел, как она вынула из чемодана узорчатый халат и обитый кожей новенький несессер; переложив все это в желтый коробок, она не спеша пошла в конец вагона. Воспользовавшись ее отсутствием, Лев Павлович наскоро приготовил свою постель, разделся и, накрывшись одеялом, улегся на диванчике.

Никакой стыдливости Лев Павлович не испытывал, однако некоторое неудобство ощущал: он предпочел бы иметь спутником мужчину (ну, хотя бы вот этого студента — брата Людмилы Пет-

ровны)... или женщину значительно старше, чем она, и менее светскую, то есть менее требовательную и обязывающую в вопросах этикета и барских привычек.

Утром, когда проехали уже Витебск, состоялось знакомство с ней и ее братом — студентом, пришедшим навестить Людмилу Петровну. Вчерашняя догадка Льва Павловича о том, что спутники узнали его, подтвердилась теперь: в первые же минуты общего разговора студент почтительно сообщил ему об этом. А Людмила Петровна добавила, к немалому удивлению Карабаева:

— Мы — земляки ваши. Вот видите, — вы этого и не предполагали.

— Очень приятно, — улыбнулся Лев Павлович и вежливо заинтересовался фамилией своих спутников. — А-а, — продолжал он, что-то вспоминая, — так ваш батюшка — генерал Величко? Как же, как же, земляки, настоящие земляки... Генерал Величко... так, так.

Действительно, он знал эту фамилию, ему приходилось как-то видеть и самого генерала, но сейчас Лев Павлович тщетно старался припомнить, от кого и когда в последний раз он слышал о генерале Петре Филадельфовиче. (Имя и отчество отца назвала молодая женщина.).

— Отец при смерти, — поведала она, и Льва Павловича поразило спокойствие, почти безразличие, с каким произнесла она эти слова. — Нас вызвали телеграммой. Радостей мало, как видите.

В голосе Людмилы Петровны была не столько печаль, сколько досада, недовольство даже, — или, может быть, Льву Павловичу только показалось так? Большие, серые, в бахроме длинных темных ресниц глаза спутницы смотрели на всех и на все с холодным любопытством и с нескрываемой надменностью. Они каждый раз словно оценивали что-то, откровенно выбирали для себя *нужное* и, — выбирая, оценивая, — не торопились и смотрели беззастенчиво, бесстыдно.

Умирал ее отец, но, сообщив об этом, она тотчас же посетовала на «несвоевременность» этого события: ей приходится раньше предположенного времени покинуть Петербург, где она гостила у старшего брата, инженера Величко. Из Петербурга не хотелось уезжать, Петербург развлекал, а это было совершенно необходимо теперь, по словам Людмилы Петровны.

Только четыре месяца назад она потеряла мужа, артиллерийского поручика, неизвестно почему покончившего самоубийством.

Присутствовавший при этой беседе студент слегка нахмурился, услышав о поручике, с тревогой и коротким любопытством скосил глаза в сторону сестры и словно приготовился услышать из ее уст что-то неожиданное или во всяком случае такое, что должно было прозвучать неожиданно для их недавнего и случайного знакомого — Карабаева.

Лев Павлович заметил это и понял, что молодая женщина имела, очевидно, основания не говорить подробно о причине, вызвавшей смерть ее мужа, артиллерийского поручика Галагана.

Весь остаток совместного долгого пути он старался теперь провести в молчании, избегая общения с Людмилой Петровной и ее братом.

В Жлобине, на узловой станции, сосед студента высадился, и Людмила Петровна перешла в купе к брату, — Лев Павлович, неожиданно получил возможность остаться наедине с самим собой.

Он опустил верхнюю полку, и в купе стало свободней и шире. Теперь все выглядело уютней и приветливей. Эта внешняя перемена сказалась тотчас же и на самочувствии Карабаева. Он мог свободней держать себя, курить, не выходя в коридор, насвистывать, — что делал всегда, раздумывая о чем-либо, — наконец, вот думать, раздумывать без помехи, черт побери!..

Помянув в мыслях черта, Лев Павлович почувствовал облегчение и одновременно приток бодрости, душевный подъем: напряженное состояние вынужденного общения с чужими людьми разрядилось, ничто и никто не мешал теперь его поступкам и мыслям. И — вот странность! — он только сейчас вспомнил вдруг то, что ускользнуло раньше из памяти как неважное и случайное — чужое.

Генерал Величко? Ну да, это у него брат, Георгий Павлович, собрался заарендовать или купить сахарный завод. Соня, жена Льва Павловича, сообщила как-то об этом в письме. А месяц назад та же Соня писала, что брат, Георгий, слишком внимателен, как сплетничают в обществе, к «госпоже Галаган, хорошенькой и молодой вдове из местной дворянской семьи...»

«Значит? — Лев Павлович несколько минут что-то медленно и сосредоточенно соображал. — Так, так...»

Взгляд, усмешка и некоторые фразы Людмилы Петровны, казавшиеся раньше непонятными, когда говорили о Смирихинске и его жителях, были теперь разгаданы Львом Павловичем.

«Дела семейные», — улыбнувшись про себя, подумал он.

... Плавное покачивало вагон. Поезд стремительно пробегал каждый перегон, и, запыхавшись, фырчал, и утомленно дышал на обнесенных снегом остановках.

Еще один перегон, другой, третий, — поезд шел уже навстречу ранней зимней ночи — последней ночи, которую Лев Павлович должен был провести в вагоне.

Он закрыл книгу — перевод скучного немецкого романа — и подошел к окну. Оно и днем было непроницаемо для глаза: наружное стекло было наглухо покрыто вьюжной ледяной корой, — тем реальней и острее представлялась сейчас Льву Павловичу и темная суровая ночь, и потонувшая в ней и в тяжелых снегах близкая его сердцу русская молчаливая равнина.

Он знал, что за окном все уныло, сиротливо, вдово — иначе он никогда и не думал о русской земле. Взор его, упавший на обледенелое окно, стал печален и задумчив.

Сквозь ледяную кору, мешавшую смотреть в окно, он мысленно видел теперь все отчетливо и безошибочно. Мутное зимнее небо. Земля в тяжелых снегах: шатры сугробов, среди них —

прикорнувшие деревянные ящики мужичьих изб, лай недоверчивых мохнатых псов; завывает на ветру непонятная мужику телеграфная проволока, скрипит от мороза березовая роща.

Глаз Льва Павловича проникал за окно и видел то, что мог бы представить себе сейчас любой русский путешественник. Но Лев Павлович этого не сознавал: он был убежден, что воспринимает все глубоко лично, по-особенному.

Он продолжал смотреть в непроницаемое окно, за которым мелькали темнота, выюга и снежная угрюмая пустыня. Он делал это так углубленно, сосредоточенно и проникновенно, что на одно мгновение им овладел внезапный испуг, — Лев Павлович стоял по колено в сугробе, метель сорвала с его головы шапку, засыпала всего колючим снегом, валила наземь, вдувала внутрь его судорожное дыхание, он замерзал, умирал... Он протянул руки вперед, и мимо него промчался, сбивая ветром с ног, безжалостный змеевидный поезд, сверкнувший перед запорошенными глазами изломанной искрой чужого исчезнувшего света.

— О-ох! — непроизвольно простонал, вздрогнув, Лев Павлович и инстинктивно отпрянул от окна.

В купе было тепло, тихо, электрические лампочки излучали в него мягкий приветливый свет, бархатный диванчик был уютен, удобен. В зеркале двери Лев Павлович, повернувшись, увидел свое слегка побелевшее лицо.

— Слава богу... — прошептал он и опустил на дорожную постель.

Уже засыпая, он почувствовал, как сильно устал — и физически и душевно.

Когда проснулся утром, узнал, что ночью поезд простоял на какой-то станции свыше двух часов из-за свирепой метели. В общем, шли с запозданием на четыре часа. В Ромодан, где должна была быть пересадка на Смирихинск, прибыли уже после обеда; поезд на Смирихинск ушел два часа назад.

— А следующий когда? — спросил Лев Павлович у носильщика, поставившего вещи в зале первого класса.

— Ночью, барин. Одиннадцать десять идет.

Старик носильщик искренне разделял досадное чувство своего пассажира. Подумать только — сорок минут езды на машине, а тут изволь ждать чуть ли не полдня!

— Когда понадобится — прикажите, барин! — распрощался он с не на шутку опешившим Карабаевым.

Лев Павлович остался сидеть на широкой скамье, стоявшей неподалеку от буфетной стойки. Станция была узловая, на скрещении двух огромных железнодорожных магистралей, и в часы прихода поездов и ожидания пересадок зал был полон народу. Сейчас же пассажиров было сравнительно мало (дневные поезда прошли уже во все четыре стороны), и Лев Павлович получил возможность в течение нескольких минут оглядеть всю публику. Среди всех этих лиц инстинктивно хотелось найти хоть одно знакомое лицо, и он искренне обрадовался, увидя вдруг вблизи, у бу-



фетной стойки, недавних своих попутчиков: Людмилу Петровну в бархатной шубке и меховой шапочке и студента Леонида. Лев Павлович подошел к ним и посетовал на свое вынужденное ожидание.

— И у нас неприятность,— медленно и глухо сказала молодая женщина, опустив глаза.

— Что такое?

— Отец умер сегодня утром.

Лицо Карабаева выразило удивление и — тотчас же — учтивое соболезнование, а сам он тихо, почти шепотом произнес:

— Ай-ай-ай... Действительно, горе. Но откуда вы знаете, Людмила Петровна?

Она кивнула в сторону человека, стоявшего тут же у буфета: на человеке был кучерской тулуп, в руках — кнут и баранья шапка в одной, в другой — пузатая рюмка с водкой. Кучер, повторяя скороговоркой: «Покорно благодарю... покорно благодарю, барин», медленно подносил ее ко рту. Студент был занят тем же самым делом.

— Нас ждут здесь лошади, управляющий прислал из Снетина,— пояснила Людмила Петровна.— Вот и узнали сейчас. Печальная новость...

— Да-а...— протянул Лев Павлович и посмотрел в ее глаза: серые, большие,— они были сухи и холодно блестели, как новое серебро.— Да-а,— повторил он, не зная, что сказать.— Так вам в Снетин? Верно, верно. Отсюда совсем близко...

Когда распрощался с ней и студентом, опять уселся на скамью у стола с пальмами и филодендронами в деревянных кадках и заказал обед. Откушав, он только что намеревался пройти на телеграф — сообщить в Смирихинск о часе своего приезда, как был неожиданно остановлен незнакомым молодым человеком в порывавшей студенческой фуражке, вежливо склонившимся перед Карабаевым.

— Очень прошу простить меня, Лев Павлович,— не спеша водворяя фуражку на ее место, заговорил почтительно ее обладатель, и Карабаев удивился, откуда незнакомый человек так точно знает его имя и отчество.— Я не смел тревожить вас, пока вы обедали,— продолжал студент,— но теперь я позволяю себе предложить вам...

— Что? — прервал его Лев Павлович.

— ...поехать вместе со мной в город на лошадях. Я ведь тоже еду, из Петербурга домой, в Смирихинск. Я вот только что звонил по телефону в город, домой, и узнал, что сейчас здесь, в Ромодане, на заезде двора находятся наши лошади. Через полчаса они отправляются порожняком в Смирихинск: к шести часам мы будем там. Я уже сговорился с ямщиком. Я очень прошу вас. Лев Павлович, не отказать...

Студент говорил гладко, без запинки; кончик продолговатого носа при этом вздрагивал несколько раз, а языком, едва высунув его, студент почти после каждой фразы облизывал то одну, то

другую свою губу. Он говорил гладко, не робея, но был заметно взволнован.

— Вы меня знаете? — спросил Карабаев, не отвечая прямо на неожиданное и приятное предложение своего любезного земляка.

— Ну, еще бы! — с непонятной гордостью улыбнулся тот. — Я часто слушал вас в Государственной думе, бывал на ваших лекциях... Я читал вашу книгу о вымирающей деревне, я ссылался на нее у нас на семинарах... в институте. Как же! Помню ваше недавнее выступление вместе с Максимом Максимовичем Ковалевским, знаю отлично вашу речь на пироговском съезде...

— Ваша фамилия? — дружелюбно прервал его Лев Павлович и протянул руку, освобожденную от меховой перчатки.

— Калмыков! — ответил студент и, вновь учтиво сняв фуражку, осторожно пожал протянутую руку известного депутата Государственной думы.

«Умный и серьезный молодой человек», — думал Лев Павлович о своем новом спутнике, сидя уже вместе с ним в просторных с поднятым верхом санях, выехавших на смирихинский тракт.

Ехали молча; в поле было холодно и ветрено, и оба глубоко уткнулись в поднятые воротники шуб. Лев Павлович знал старика Калмыкова, знал хорошо его двух сыновей, земских врачей, — своих бывших товарищей по университету и работе, и новое знакомство с членом той же семьи, младшим братом этих приятелей-врачей, обещало оставить о себе такое же приятное впечатление.

«Калмыков...» — мысленно повторил он фамилию своего спутника и вдруг невольно (а он вспомнил в этот момент что-то заинтересовавшее) повернул голову к студенту.

— Вы меня спрашиваете? — встрепенулся тот и отогнул край теплого воротника. — Простите, я не расслышал на ветру...

— Нет, нет, — покачал головой Карабаев, приняв прежнее положение.

Однако через несколько минут он окликнул студента:

— Скажите, у вас есть еще один брат... младший брат?

— Нет.

— Позвольте, как же это?.. Брат-гимназист у вас есть?

— В Смирихинске?

— Да.

— Это не брат, Лев Павлович. Это мой племянник... Есть, есть. Кончает вот весной, — старался поддержать разговор Гриша Калмыков, не решавшийся, однако, спросить, почему вдруг не известный никому Федька мог заинтересовать члена Государственной думы Карабаева.

Жена подробно, слишком подробно писала всегда о всех семейных делах, — оттого несущественное (то, что казалось несущественным по крайней мере там, в Петербурге, во время работы...) быстро забывалось, переставало интересовать. Другое дело — теперь, когда через какой-нибудь час он, Карабаев, будет сидеть в кругу своих родных, включится в этот милый сердцу круг семейных радостей, забот, интимных домашних новостей. О, те-

перь, нужно быть внимательным ко всему этому, нужно вспомнить все то, о чем так подробно и старательно сообщала в своих письмах Софья Даниловна, Соня — преданная, любящая жена и такая же любящая и нежная мать Ириши и Юрика!.. Иначе — можно незаслуженно обидеть ее, а вместе — и всю семью.

Впрочем, Лев Павлович Карабаев без всякого принуждения к тому целиком отдал сейчас свои мысли предстоящей встрече: в его любви к семье была, как сам объяснял, не только здоровая биологическая тяга, но и то, что называл чувством «необходимой связи с вечностью». Этой связью были его, карабаевские, дети. Если бы их не было или, боже упаси, он потерял бы их, — мир стал бы наполовину уже, короче, темней: словно кто-то выколол бы Льву Павловичу один его глаз.

И сейчас он думал о детях. «Калмыков... так, так...» — вновь повторил он про себя эту фамилию и, вспомнив, знал уже, почему вспомнил. Софья Даниловна писала: «...А у Ирки нашей роман. К ней неравнодушен один здешний гимназист-восьмиклассник, по фамилии Калмыков... Я не придаю пока особого значения...»

«Так, так... Ириша, — ах ты, дочка взросленькая, — любовь?.. Ну, ну, — посмотрим твоего уездного Ромео... посмотрим, Ири-нушка! Уж от отца скрывать нечего... А Юрка тоже, наверно, на гимназической парте перочинным ножиком имя своей Джульетты вырезывает? Любовь...»

Лев Павлович улыбнулся долгой, добродушной улыбкой.

Мир, Россия, жизнь, желания — все покорно сбежалось в один — вставший перед глазами и мыслью — светящийся приветливо фокус; все, раздробившись неожиданно, уместилось в нем.

Этой точкой, вобравшей в себя все отраженное и преломленное в сознании Льва Павловича Карабаева, была теперь семья.

Точка была теплой и мягкой.

— Въезжаем в город, — прервал молчание студент и отогнул ворот шубы.

Лев Павлович высунулся из саней.

На углу какой-то домохозяин зажигал у ворот свой керосиновый фонарь.

### *Глава третья*

#### **ФЕДЯ КАЛМЫКОВ, БРАТЬЯ КАРАБАЕВЫ И ДРУГИЕ**

На двубортной гимназической тужурке уже не было маленьких серебряных пуговиц — этих немых хранителей благообразия казенной русской школы. Пуговицы Федя Калмыков недавно срезал, и, к его немалому удовольствию, тужурка приняла цивильный вид. Сейчас вольность этого поступка была еще продолжена: был надет высокий гуттаперчевый воротничок с полукруглыми отогнутыми концами; они высунули свои белоснежные, твердые, надломленные язычки, и, чтобы не стеснить дыхания, пришлось отстегнуть на воротах верхний крючок застежки. В тот же час, когда надевался франтовской гуттаперчевый воротничок, было учинено еще одно преступление против правил

министерства народного просвещения и высочайше утвержденного положения о форме воспитанников среднеучебных заведений: был поврежден, испорчен вколотый в темно-синий околыш фуражки старый гимназический герб... Жестяные, скрещенные внизу веточки должны были, казалось, вот-вот друг от друга отпасть: скреплявшие их в середине герба две буквы «С» и «Г» (Смирихинская гимназия) были выломлены и брошены на пол. Жестяные веточки на фуражке, как и лакированный пояс с медной, посеребренной бляхой, все же оставались принадлежностью туалета Феда Калмыкова.

Традиция, этот не писанный, но священный закон, руководила теперь его поступками; за полгода до окончания гимназии можно срезать пуговицы на тужурке, выламывать буквы из герба; перед выпускными экзаменами должно уже оставить в гербе только одну веточку, сбросить пояс, демонстративно показать инспектору свой портсигар.

Золотые пуговицы с накладными гербами российской державы, сине-голубая фуражка должны были вскоре заменить собой опротивевшую гимназическую форму. В студентстве предвкушалась радость освобождения и недоступная до сего вольница жизни, суждений и поступков.

Золотые накладные орлы на пуговицах не представляли этому никакой угрозы; напротив, было теперь так, что этот символ державной империи на тужурках и косоворотках молодежи служил приметой «внутренних врагов» самодержавного престола. Федя Калмыков уже видел себя в их рядах, хотя не надевал еще студенческой фуражки.

Сегодня ощутил это с большей силой, чем всегда, хотя и без всякого повода к тому. Вернее, повод — косвенный — был: предстоящее знакомство с Львом Павловичем.

Пусть Карабаев и не социалист (а он, Федя, считает себя социалистом), он даже не знает, республиканец ли Лев Павлович по убеждениям, но все же в своих выступлениях и в Думе и в печати, об этом всегда с гордостью говорила Ириша, он ратовал за «лучшее будущее» России и этим вызывал Федину приязнь.

— Вот и все, — без всякой цели и смысла сказал Федя, не слыша своего голоса. Это был секундный перебой в мышлении, а мать, Серафима Ильинична, всегда принимала его за исключительную рассеянность своего безусловно нервного, — как уверяла всех, — сына.

Жизнь семьи сложилась так, что она, Серафима Ильинична, всегда должна была с опаской и скрытым подозрением следить за каждым проявлением характера своих детей и состоянием их здоровья: неразгаданная и неожиданная слепота мужа внушала боязнь перед возможным наследственным недугом. Оттого близорукые глаза сына — тревожили, а вспыльчивость его — казалась предтечей нервного заболевания. Повышенное самолюбие, какое проявлял в отношениях почти со всеми товарищами Федя, вызывало всегда потом — видела Серафима Ильинична — долгие часы

упрямого тяжелого молчания и болезненной замкнутости, а такое душевное состояние сына больше всего пугало ее. К сыновней рассеянности она относилась тоже подозрительно.

— Чего это ты, Феденька, сам с собой разговариваешь? — посмотрела она внимательно на бормочущего сына.

— Это он считает, сколько хорошеньких гимназисток сегодня встретит... — улыбнулся слепой отец, молчаливо сидевший все время у горячей натопленной печки. — Покоряй, покоряй! — продолжал он улыбаться своими теплыми карими глазами, неуверенно перемешавшимися в узком продолговатом разрезе слегка собранных складками век. — Придешь, Феденька, — Расскажи нам все: как Новый год встречали, какую наливку пили. Эх, и сам бы я выпил наливочки; попросить бы, Серафимочка, у Семена! У него гости сегодня будут, угощение припасено. Нас с тобой, Серафима, не приглашают...

Улыбка на лице отца быстро исчезла, теплые слепые глаза чуть сощурились и на минуту усталились в одну невидимую для них точку.

Начавшийся разговор ничего, кроме досады и огорчения, не мог принести, а этого больше всего опасался сейчас Федя. Не отвечая родителям, он заторопился.

Мать держала уже наготове носовой платок и помятую, как блин, Федину фуражку с оторванным в одном углу козырьком, конец которого небрежно свисал всегда на Федин лоб; можно было аккуратно пришить козырек, но разве посмела бы сделать это Серафима Ильинична вопреки священной традиции восьмиклассников всея Руси?..

Федя поспешно прошел узкий калмыковский тупичок и очутился на улице.

В кармане пальто лежал листок за подписью инспектора, разрешавшего сегодня гимназисту Калмыкову «прохождение по улицам» позже восьми часов вечера, так как оный гимназист направлялся в гости, в «семейный дом господина Карабаева, проживающего на Завадчинской улице».

Биографии обоих братьев — Льва и Георгия Карабаевых — существенно стали различаться с момента окончания обоими университета.

И тот и другой кончили курс на естественном факультете, и Льву было предложено готовиться к профессуре по кафедре ботаники. Но Лев Карабаев уклонился от открывшейся перед ним научной карьеры; он захотел быть врачом и сделался им, окончив курс медицинских наук. Вторично карьера приветливо улыбалась ему: знаменитый профессор Остроумов оставлял его при своей клинике. Но вновь Карабаев-старший отказался от этого многообещающего пути.

Он был в ту пору народником, его влекло к себе подвижничество, жертвенное служение «темному мужику», перед которым чувствовал себя виноватым и обязанным. Народ! Это слово было избранным, наилюбимейшим в русском словаре.

Отказавшись от научно-медицинской деятельности, Лев Павлович, женившись на Софье Даниловне Асикритовой, отправился в одну из южных губерний на вольную врачебную практику. В первые годы своей работы он даже отказывался от жалованья, предложенного уездным земством.

— Сколько тебе, батюшка, за труды твои? — спрашивала баба у карабаевского фельдшера Теплухина, готовившего микстуру, и фельдшер Теплухин отвечал строго и деловито:

— Рубль, да не забудь доктору отдать пятачок!

Так начинал свое поприще будущий народный представитель в российской Государственной думе, ставший верно служить там отечественному капиталу.

Иной путь нашел для себя младший брат — Георгий.

По окончании университета он тоже женился — на бывшей гимназистке, дочери крупного железнодорожного подрядчика, у которой был репетитором в студенческие годы. Тесть остался доволен своим зятем: Георгий Павлович оказался человеком практического ума, с деловой сметкой и крепкой волей, нужной человеку его круга, как клык волку.

— Жоржа — молодец, — отзывался о нем тесть Аристарх Николаевич. — За два, три года так мое дело понял, что всю линию не беда на него оставить. Делок — одно слово!

Действительно, Георгий Павлович вскоре стал правой рукой своего тестя, а сделавшись неизменным помощником его, стал и участником в крупных делах и заработках железнодорожного подрядчика. Когда Аристарх Николаевич умер, руководство всеми работами перешло к Георгию Павловичу, а одновременно перешло к нему и наследство тестя, оставленное единственной дочери, Татьяне Аристарховне.

Федя Калмыков знал, что в то время отец, Мирон Рувимович, служил заведующим строительной конторой у Карабаева, однако за все годы службы материальный достаток Калмыкова составляло одно лишь жалованье, строго определенное деловитым Георгием Павловичем. Когда постройка последней в районе железнодорожной линии была закончена, Калмыков остался без службы, а Георгий Павлович переселился в Смирехинск, чтоб стать уже владельцем сначала одной лишь махорочной фабрики, а позже — и выстроенного заново кожевенного завода.

С тех пор благосостояние карабаевское росло и увеличивалось с каждым годом, и городская молва не прочь уже была величать его «миллионером», хотя такой суммы у Георгия Павловича еще не было. Но он был уже одним из тех немногих людей в городе, которые, — помимо лиц должностных, — значились в толстых министерских справочниках как руководители местной промышленности, торговли и финансов, как обладатели крупного имущественного ценза.

Культурность и многосторонняя образованность Георгия Павловича сообщили ему черты и привычки, резко отличавшие

фабриканта Карабаева от многих людей равного с ним социального положения.

В среде местной интеллигенции он слыл «просвещенным буржуа», среди купцов и промышленников — «немцем», европейцем, и он сам всячески и во всем, но без какого бы то ни было бахвальства, подчеркивал и утверждал это мнение о себе.

Он одевался не так, как все, — на это прежде всего было обращено внимание здешнего общества. Ему и Татьяне Аристарховне шилось все у лучших портных Киева, а иногда и Петербурга, куда оба время от времени наезжали. Шилось все из лучших заграничных материй, покупалась обувь, изготовленная там же по специальному заказу известными мастерами.

Но скромный, невзыскательный Смирихинск не мог, однако, упрекнуть Карабаева в хвастовстве и нарочитом щегольстве: костюм он носил так привычно непринужденно и умело, так внутренне небрежен был к своему платью, что, обратив внимание сразу на изящную обновку Георгия Павловича, забудешь о ней вскоре же, разговаривая с ним, потому что никакой костюм, никакая обновка не могли существенно изменить ни внешнего облика Георгия Павловича Карабаева, ни представления о нем как о человеке и собеседнике.

Костюм, галстук, ботинки, превосходная заграничная панамма — не столько украшали его, сколько служили ему: вещи — рабы его желаний и вкуса. Служили ему — ну, вот так, как остальное в его доме: мебель, шкафы с книгами, белый двухтысячный рояль, мраморная ванна, домашние служанки.

Он сделал большие затраты на эту самую мебель, на оборудование дома, он сам выбирал каждый предмет для каждой из восьми комнат, он, как придирчивый к себе художник, смысывающий по несколько раз краски с полотна, заботился о стильности комнат, о их соответствии предназначенной цели, он проявил в этом деле не только педантичность и деловитость, но и вкус. И когда пришли гости в новый, заново обставленный дом, все были поражены удобствами оборудования и богатством обстановки, но никто не удивился тому, что все это стоит, лежит, висит в таком именно порядке, на этом именно месте, что все это принадлежит Георгию Павловичу Карабаеву, *служит* ему, создает его, карабаевский стиль!

Да ведь иначе не могло и быть! — казалось всем присутствующим.

У себя на кожевенном заводе он сделал то, на что вряд ли решился бы кто-либо из остальных смирихинских промышленников. В течение почти целого года он не получал никаких прибылей, напротив — вложил новые капиталы в завод, значительно затратился, переоборудовывая его, выписывая новые машины, достраивая заводские корпуса: Георгия Павловича Карабаева не напрасно прозвали «немцем».

Проще и привычнее было довольствоваться тем, что и так уже давал завод без тех новшеств, которые ввел Карабаев. Осторожные люди подсчитывали с карандашом в руках затраты Георгия Пав-

ловича и приходили к выводу, что все нововведения его в лучшем случае только оправдают эти затраты, не обогатив, однако, его. И если так, то стоит ли возиться со всем этим делом.

И уже совсем необычным и неоправданным показалось людям еще одно карабаевское мероприятие: он предложил своим кожевникам построить для них в кредит удобные, освещенные электричеством дома.

Почти все рабочие жили вокруг завода, верстах в трех-четырех от города, в деревушке Ольшанка, — в избах многосемейных родных, в тесноте, — и предложение Георгия Павловича на первых порах казалось заманчивым. Новая заводская динамо-машина, впуская тратившая избыток мощности, должна была вскоре дать свет в близлежащие домики выросшего рабочего поселка.

Электричество не было разорительно для рабочих, но выплачивать стоимость домиков им предстояло ежемесячно в течение ряда лет, и Георгий Павлович сообразил, что это и есть наилучший путь спокойного, экономического прикрепления кожевников к его, карабаевскому, заводу.

«Кому из рабочих придет на ум бастовать, рискуя быть выброшенным с семьей на улицу из теплого, уютного домика?» — так думал Георгий Карабаев.

Промышленник, умный и культурный делец, Карабаев был по-своему прозорлив во всех своих поступках. Он считал себя передовым человеком в среде того общественного класса, которому, — искренне веровал, — должно было принадлежать будущее руководство страной.

Эх, ему бы, Георгию Карабаеву, не здесь, не в маломощном Смирехинске, быть, — ему бы распоряжаться рудниками и шахтами, сталелитейным гигантом или богатейшей мануфактурой где-нибудь под Москвой или в самом Петербурге! Разве не хватит умения, разве не станет распорядительности, энергии и воли?.. Ого-го!

Не мудрено, что дом Георгия Павловича стал самым интересным местом встреч тяготевших по-разному к нему знакомых друг другу людей. Однако и здесь все подчинилось незаметно отбору, строго и умело произведенному хозяином дома: он принимал тех, кто нужен был ему (по-разному нужен) или был приятен тем, что признавал его, Карабаева, ум и общественную значимость.

Он стоял в центре, — радиусами его влияния служили люди, составлявшие его, карабаевскую, среду.

И вот теперь, когда приехал Лев Павлович, — брат, знаменитый брат, «политическая совесть» русской интеллигенции, как называли депутата Карабаева в буржуазно-либеральных газетах, — Георгий Павлович сумел и сейчас сохранить за собой *свое* место в глазах собравшихся гостей.

Лев Павлович знаменит? Им льстит знакомство с таким человеком?.. Но у кого другого, как только у Георгия Павловича, эта встреча может состояться?.. К кому еще так близок этот известный в государстве человек, как не ему — Георгию Карабаеву? Брат достоин брата.



Так или иначе приезд Льва Павловича, пребывание его в Смирихинске, доступность встреч с ним — все это лишний раз как бы подчеркивало исключительное положение в здешнем обществе Георгия Карабаева.

Юноша, Федя Калмыков, меньше всего думал сейчас о человеке, в дом которого он пришел. Мысль его почти всецело занимал знаменитый депутат и... отец героини его романа — Иринushки. Правда, он уже был знаком с Львом Павловичем Карабаевым, еще в самом начале вечера Ириша показала его отцу, — но разве достаточно одного рукопожатия, десятка ласково сказанных слов и мельком брошенного доброжелательного взгляда?.. Да и вообще Федя чувствовал неловкость: во время знакомства с Карабаевым присутствовала Софья Даниловна, и ее насмешливые, «посвященные» глаза невольно смущали Федю.

«Вот, молодой человек, — папа Ириши: так и знайте! — словно говорили эти глаза. — А вы думали, что все так просто, молодой человек?..» — И он почувствовал в этом неслышном вопросе заранее вынесенный приговор, осуждение, отказ.

«Дурак! Сробел! как гимназист!» — с досадой подумал он о самом себе, лишь только Карабаев с женой прошли в другую комнату. — Как я держал себя? Что-то бессвязно отвечал — как мальчишка, как гимназист...» — мысленно повторял он это сравнение, не чувствуя в этот момент его правдоподобности и неоспоримости.

И теперь, когда Ириша и Федя, покинув гимназическое общество, вышли в гостиную, где сидело большинство гостей, Федя тотчас же заметил Льва Павловича. Он стоял, покуривая, у самых дверей в братнин кабинет, стоял, окруженный собеседниками, среди которых один был незнаком Феде.

— Кто это? — спросил он свою спутницу, указывая глазами на круглоголового, гладко выбритого человека в рябеньком, нескладно сидящем костюме и в черной, — как носят рабочие, — косоворотке, резко бросающейся в глаза среди белорудых манишек остальных мужчин.

— Политический! — шепотом ответила Ирина. — Дядин знакомый... политический, ей-богу! — повторила она и не прочь была бы рассказать о нем все немногое, что узнала сама час назад, но Софья Даниловна позвала ее в этот момент, и Федя остался один.

Чувствовалось, что человек этот сегодня не только не потерялся во внимании собравшихся, но и отвлёк его столько же, сколько почтенный гость в Смирихинске — Лев Павлович Карабаев. С особенным интересом и острым любопытством всматривались присутствующие в его лицо, слушали его речь, многим льстила бы его дружеская расположенность к ним, но вместе с тем далеко не каждый решился бы открыто, на глазах у всего города, укреплять свою дружбу с этим человеком.

Присутствие его здесь, — как и Льва Павловича, — делало сегодняшний вечер необычным, волнующим, но... одно дело поддерживать общение с оппозиционным депутатом Карабаевым, другое

совсем — принимать у себя в доме бывшего политического ссыльного социал-революционера Ивана Теплухина!

Близкое и открытое знакомство с ним может бросить тень на доброе, «доляльное» имя доктора Коростылева — старшего врача земской больницы. Адвоката-еврея, Захара Ефимовича Левитана, наверно, уже после этого не утвердит судебная палата присяжным поверенным, и придется ему всю жизнь числиться в помощниках, а место городского инженера Бестоятова станет зыбким, ненадежным, как осевший в прошлом году выстроенный им мост на здешней речке...

Один лишь Георгий Павлович мог пренебречь всеми этими не без основания высказанными опасениями. Встретив сегодня в городе Ивана Митрофановича Теплухина, когда-тошнего репетитора карабаевских дочек — Кати и Лизы, Георгий Павлович не замедлил пригласить его к себе на вечер: бывший «политический преступник», к тому же легализированный теперь правительством, — о, это могло быть интересным для гостей Георгия Павловича и придать его вечеру некоторое своеобразие.

И невольно случилось так, что присутствие Льва Павловича и Теплухина не только скрасило, но в значительной мере и насытило все разговоры в этот вечер политикой.

Мужчины продолжали уже свою оживленную беседу, перешагнув порог кабинета, а заинтересованный Федя занял их место у тяжелой синей портьеры. Некоторое время можно было не менять позиции: один из карабаевских пятнисто-серых догов разлегся тут же, у порога, и Федя, старательно лаская собаку, почесывая у нее за ухом, искоса наблюдал в то же время расположившихся в кабинете собеседников.

— ...Уж у нас, думцев, цифры... цифры. У нас сотни сообщений с мест, — мягко гудел голос Льва Павловича. — Если хотите, — мы вступаем в полосу оскудения. Правительство тупоумно, реакционно и — при нынешнем курсе — беспомощно предотвратить расхищение народных благ. Эта бюрократия — бездушная и подлая машина. Помните, Гончаров, лучший знаток ее, сказал о русской бюрократии: «Одни колеса да пружина, а живого дела нет...» Ведь замечательно сказано, правда? Эта бюрократия печется о сохранении полицейского государства — и только, господа! А вы приглянитесь, например, к деревне. (Вам, вам, говорю! Иван Митрофанович...) В деревне давно пропал внутренний мир: обезземеление привело к междоусобице, сын идет на отца, брат на брата, а крестьянская земля треплется на рынке. И это называется землеустройством?! Сын убивает отца за то, что тот продал надельную землю, — хорошо? Ведь это же факты, факты... А приходится продавать, потому что нечего есть: продают на хлеб, от голода. За два года, оказывается, продано до двух миллионов крестьянской земли...

Его никто не перебивал, и, выдержав вынужденную паузу, затянувшись папироской, Карабаев продолжал:

— И вот получается... Куда идти этим несчастным людям,

у которых не осталось ни клочка земли, ни хаты? Ведь банк-то «крестьянский» последний пуд хлеба забирает за недоимки. Куда идти? На фабрику? В город? Хорошо... Но к чему может привести такое скопление ожесточенных людей в городах? Кто-нибудь над этим задумался? При таком положении можно ожидать всяких крайностей. У нас нет разумного социального законодательства по рабочему вопросу. А оно нам сейчас необходимо... (Лев Павлович многозначительно, доверительно посмотрел на своего брата.) Вот вам экономический «подъем». Все это плюс реакционная остревенность политического режима — вот судьба России, если...

— Если? — подхватил кто-то и Федя узнал по голосу круглоголового, в черной косоворотке «политического», сидевшего в тени комнаты, на широком кожаном диване.

— ...если только наша общественность, Иван Митрофанович, не сумеет выступить энергично, объединенной против произвола.

— Как это «выступить»? Выступит — посадят.

— Протестовать во весь голос... мобилизовать общественное мнение, все демократические элементы страны — все, что есть прогрессивного в населении. Меня удивляет, что вы задаете эти вопросы!..

— Ладно, не торопитесь удивляться, Лев Павлович... Я вот и спрашиваю: а если мобилизация прогрессивного да просвещенного не поможет, не подействует, бессильной окажется, — что тогда?

— Ну, тогда... Тогда двор и правительство могут дожидаться такого, ого-го!

— А именно? — словно поддразнивал голос круглоголового, и Федя видел, как все сидевшие в кабинете привстали вслед за Теплухиным и, насторожившись, переводили взгляд то на него, то на сидевшего у стола Льва Павловича, словно вот-вот произойдет что-то такое неожиданное между ними обоими, что потребует вмешательства и всех остальных.

Это же состояние настороженности невольно передалось и Феде: он подался вперед, а рука, поглаживавшая дога, ухватилась за портьеру, раздвигая ее, чтоб лучше видно было все, что происходило в карабаевском кабинете.

— Тогда... тогда...

«Революция!» — захотелось крикнуть Феде, но услышал тихий, размеренный, хотя и взволнованный голос Льва Павловича:

— Видите... история знает различные формы возмездия, и не всякого возмездия следует желать. Я не боюсь слов, не уклоняюсь от точных определений, понятий, — я говорю сейчас в кругу лиц, для которых родина одинаково дорога, так ведь? — и поэтому я скажу вам совершенно искренне: если Горемыкин, Маклаков и Кассо делают бессознательно все, чтобы вызвать в России революцию (а дела их подлы и преступны), это еще не означает, господа, что только революция может избавить Россию от этого режима! Да, вот так... Скажите, Иван Митрофанович, как здоровье вашего батюшки? Как у него с земством дела?... — неожиданно прервал он разговор, подходя к Теплухину.

Все поняли, что Карабаеву захотелось переменить тему беседы: то ли он устал и не считал нужным продолжать ее — говорить все время о политике, то ли почувствовал, как и все остальные, что она должна закончиться непременно спором, а спорить, очевидно, не хотел.

Это не огорчило и не разочаровало всех остальных участников разговора. Напротив, все они почувствовали, что обрели вдруг для себя, для своих поступков свободу.

Кто скажет, что трем-четырем провинциальным смирихинским интеллигентам не интересно было слушать час-другой знаменитого думского депутата или рассказы вернувшегося из Сибири «политического» — Теплухина? Разве не должен быть отмеченным день этот в памяти знаком цветным, фосфорическим — на путях их обыденных встреч, забот, печалей и радостей, повторяющихся множество раз, схожих во множестве дней, как колья в знакомой, стоящей перед глазами изгороди? И тем не менее каждый в душе был доволен сейчас тем, что общая для всех беседа прервалась и разговаривать и слушать друг друга должны были теперь только оба приезжих гостя, отошедших в сторонку. Незыскательны русские провинциалы! И так уж много впечатлений за этот час-другой, уже каждый из присутствующих чувствовал себя посвященным во что-то необычно важное, значительное, что никак неведомо простому смертному смирихинцу, — и этого было уже совершенно достаточно, по крайней мере для сегодняшней встречи.

Так чувствует себя молодой студент, побывавший на первой, затянувшейся, как показалось с непривычки, лекции профессора: сиди, молчи, благоговей! И впрямь и здесь так было: вели все время разговор только Лев Павлович и Теплухин, да Георгий Карабаев вставлял иногда к месту свое спокойное, деловое, как всегда, замечание; остальные же слушали и запоминали. Теперь же обрели для своих поступков свободу. Этому помогла еще хозяйка дома, Татьяна Аристарховна, приглашая всех к ужину.

Федя не успел еще отойти от дверей, как услышал рядом с собой голос круглоголового, в черной косоворотке:

— Вот и вы здесь, молодой человек. Я вас знаю, видел вас недавно — познакомимся.

И он, улыбаясь, протянул Феде руку.

Федя поспешно пожал ее, с любопытством и недоумением глядя на никогда раньше не встречавшегося человека.

— Где вы меня видели?

— У вас в доме. Вспомните, а ну-ка? На почтовой станции, ну, да, да... вы говорили с кем-то по телефону, с какой-то барышней.

— А вы?..

— А я... я, милый друг, дожидался лошадей.

— Такой бородатый... и с усами?..

— Ну, да! — рассмеялся Теплухин, — и все, и бороду, и усы, сбрил. Помолодел.

— Вот оно что! — воскликнул Федя. — Так это были.

Теплухин, пожав его локоть, хотел уже отойти, но Федя, удержав его руку, быстро, сбиваясь, неожиданно для самого себя сказал:

— Я слышал ваш разговор с депутатом Карабаевым... Я знаю, вы его спрашивали, будет ли революция, а он не захотел... побоялся прямо ответить. Я читал социалистические газеты... литературу. Я за социалистов... У меня есть знакомые товарищи, — они тоже за!

Резкий внимательный взгляд упал на Федино лицо, заполз в его раскрасневшиеся, возбужденные глаза. Заполз и несколько мгновений держал их испытующе в повиновении, так что им стало больно, как от резкого, близко придвинутого света.

— Вы — серьезный, должно быть, юноша, — вполголоса сказал Теплухин и, приветливо кивнув головой, отошел от Феде.

В том, что сказал это негромко, сдержанно и без улыбки, что посмотрел как-то по-особенному проникновенно, — во всем этом почудилась Феде неожиданная интимность, которая должна была сопутствовать, очевидно, дружескому расположению к нему Теплухина. И если это так, то должен ли был бы Иван Теплухин сомневаться хоть на один миг в том, каким искренним чувством симпатии и преданности отвечает ему в этот момент наш молодой герой?

Ах, бедная, ничего не подозревающая Ириша! Если бы она склонна была проявлять ревность, если бы девичье сердце было слишком капризно, — то могло бы, по справедливости, упрекнуть Феде: весь остаток вечера мысли его были заняты встречей с Теплухиным. Правда, знакомство с Львом Павловичем Карабаевым льстило юношескому самолюбию, но Карабаев казался недоступным, недостижимым «петербуржцем», а Теплухин — более простым и близким, и манера, с какой он держал себя на людях, — демократичней и «провинциальней», как оценил ее про себя Федя. И, стоя в сторонке в гостиной, и позже, после ужина (во время ужина молодежь сидела в другой комнате за отдельным столом), он преданным взглядом следил за каждым движением, за каждым словом Ивана Митрофановича. Иногда их взгляды встречались, и всякий раз Феде казалось, что тайком от других Теплухин кивает ему или улыбается улыбкой друга и заговорщика.

#### *Глава четвертая*

#### **РЕЧЬ СМИРИХИНСКОГО ЗЛАТОУСТА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ**

Перед каждым из сидевших за столом стояли наполненные вином бокалы, но никто еще не пригубил. Все дожидались традиционного торжественного момента, когда со стены раздастся бой часов, возвещающий наступление нового года. До прихода его оставалось всего лишь три неполных минуты, и этот короткий срок заполнился нетерпением и волнением присутствующих.

— Дуня! — возбужденно отдавала приказания Татьяна Арис-

тарховна молоденькой горничной.— Станьте у выключателя и тушите свет, как только я вам крикну... Ради бога, не опоздайте, но и не торопитесь.

— Вы не находите,— нагнулся Теплухин к своему соседу, адвокату Левитану,— что нашим гостеприимным хозяевам вряд ли стоит желать в новом году чего-либо, чего не хватало им в этом?

Левитан повел своими выпуклыми близорукими глазами из-под очков в золотой оправе и, остановившись взглядом на пышной фигуре блиставшей драгоценностями Татьяны Аристарховны, одностолжно, загадочно буркнул:

— Да. Утопают... Утопают...

Остаток фразы: «...в богатстве, довольстве, благополучии» — оторвался и застрял в мыслях. Впрочем, это, пожалуй, объяснялось тем, что Захар Ефимович Левитан испытывал сейчас волнение, истинную причину которого знали только он да жена его Фаня Леонтьевна.

— Полторы минуты... минуты, господа,— приготовьтесь! — распоряжался поступками гостей сдержанный, как всегда, но улыбающийся сейчас Георгий Карабаев.

На его тарелочке все положено было с образцовой аккуратностью, и соседи украдкой поглядывали на эту тарелочку, следя за тем, что он делает, исправляли допущенные ими погрешности.

— Минута, господа...— отсчитал он и протянул руку к бокалу.

Словно наэлектризованная этим ожиданием, жена инженера Бестопятова быстро, раньше времени поднялась со стула и увлекла этим всех сидевших за столом.

— Что ты, Машенька! — успел только укоризненно бросить ей лысый, двухподбородный муж, от неожиданности чуть не уронивший вилку на пол.

Все расхохотались, и смех, как всегда, согнал царившую до того условную чопорность.

— Дуня, тушите свет.

— Рано, рано еще, господа.

— Вот уж поистине таинство!

— Еще несколько секунд — последний вздох тринадцатого года...

— Дуня! Тушите свет! — раздался голос Татьяны Аристарховны, и все умолкли.

Столовая погрузилась в темноту, и только из соседней комнаты молодежи на край стола падал молочный свет. Но и он через мгновение погас: молодежь делала то, что и взрослые. «Как бы не поцеловались еще в темноте...» — озабоченно думала в этот момент Софья Даниловна о Калмыкове и о своей дочери и в душе посетовала на Иришу, казавшуюся ей сегодня почему-то несдержанной и легкомысленной.

— Тс-с! — словно предостерегал ее шепотом кто-то неподдающему стоящий, но это короткое восклицание относилось к Ивану Теплухину, в темноте вышучивавшему торжественность, с которой все готовились услышать бой часов.

Последние секунды молчания, а затем короткий трескоток рычажка в стенных часах, и вслед за ним — первый, мягкий и глухой, бой часов. И когда пробило двенадцать, та же Дуня вернула всем свет и голос.

— С новым годом, с новым годом, с новым годом!.. — поздравляли все друг друга одной и той же фразой, и звон хрусталя побежал вприпрыжку по столу. Каждый старался обязательно чокнуться со всеми.

— С новым годом, с новым годом! — влетело из соседней комнаты, и на пороге показалось молодое поколение, держа в руках маленькие бокальчики — все, что разрешено было им выпить в сегодняшний вечер.

— С новым годом! — шумели гимназистки.

— С новой жизнью! — выкрикнул Федя Калмыков, держа за руку раскрасневшуюся Иришу, и ему казалось, что все должны понять, какой смысл вкладывает он в эти слова.

— Хороша молодежь, ясна... хороша, Соня, — улыбнулся Карабаев рядом сидевшей жене. — Иринка наша какая хорошая!

— Красивая... — И Софья Даниловна опять озабоченно и ревниво посмотрела на дочь и ее спутника. «Ах, мальчишка! Неужели позволила поцеловать себя? Так и есть: наверно, позволила...» — сокрушалась она, заметив, что Калмыков держит в своей руке Иришину руку.

— Ирина, поди-ка, голубка, на секунду ко мне! — позвала она дочь, но та не услышала и вместе с другими вернулась к своему столу.

— Итак, девятьсот четырнадцатый, господа! — сказал кто-то, осушая бокал, и по интонации его нельзя было понять, радуется ли его новогодняя дата, или он выражает тому свое сожаление.

— Что-то принесет он? — заглатывая свежий балычок, к которому питал пристрастие, спрашивал самого себя хирург Коростелев, обладатель круглых «шевченковских» усов, и думал: «Надо обязательно выдрать у земства десять новых коек и порвать связь с фельдшерицей Волинской!»

— Господа! — вдруг громче обыкновенного раздался срывающийся тенорок Левитана, и все повернули головы в его сторону. — Господа... — повторил он свое обращение и обвел присутствующих своими выпуклыми близорукими глазами.

Он встал и уперся обеими руками о стол.

— Мне хотелось бы сказать несколько слов...

— Просим, просим...

— Мне кажется, Захар Ефимович волнуется, — не смогла не поведать своей тревоги жена его Татьяне Аристарховне.

— Что вы, что вы! — ответила шепотом Карабаева. — Захар Ефимович — наш Златоуст.

«Это я знаю, Заря мой — умница... — с гордостью подумала Фаня Леонтьевна, — но ведь тут сидит депутат Карабаев — известность, оратор...»

— Господа, — начал свою речь Левитан. — У каждого челове-

ка бывают в жизни такие моменты, когда ему хочется жить не только днем сегодняшним — ступать ногой по знакомой, вымощенной буднями дороге, но хочется также занести свою ногу в стремени воображения, предчувствия. Ну, словом, *желаемое* становится на место *существующего*. Господа... (Он чуть не сказал по привычке: «судьи и присяжные заседатели».) В этом разрыве между настоящим и будущим и заключается, по существу, причина того, что и каждый человек в отдельности, и общество в целом испытывают необходимость борьбы, преодоления существующего, необходимость, иначе говоря, — прогресса. («Говорю скучно!» — прислушиваясь к словам, с неудовольствием, озабоченно подумал Захар Ефимович.) И вот, господа, есть ли у современного общества тяга, тенденция к тому, чтобы расстаться, — но расстаться не только на словах, но и на деле! — с косными, унылыми буднями сегодняшнего бытия? Есть ли духовный «порох в пороховницах» у всего русского демократического общества, чтобы стрелять им... это только вольный образ: «стрелять!» — словно испугавшись своих неожиданных слов, разъяснил адвокат, — чтобы пустить его, как в мишень, в эту самую косность воззрений и поступков? Есть ли это у всего современного демократического населения? Господа, да позволено мне будет ответить на эти вопросы искренне и с полной ответственностью за свои слова: нет, нет и нет. Лучшие представители нашей радикальной и демократической мысли, лучшие рыцари-интеллигенты, как дорогой наш и уважаемый Лев Павлович...

— Браво! — захлопала опять, не сдержав себя, юркая, экзальтированная жена Бестопятова, и все вслед за нею обратили свои взоры на Карабаева и наградили его почтительными аплодисментами.

Ободренный тем, что сумел воздействовать на настроение собравшихся, ибо аплодисменты Карабаеву были в то же время, как думал, наградой и ему, Захару Ефимовичу, — адвокат Левитан, уже радостно поблескивая глазами и все больше и больше овладевая собой, продолжал:

— ...Лучшие люди страны, не щадя себя ни в каком отношении. Зовут Россию, ее передовое общество на борьбу за право и справедливость, против произвола и насилия, к прогрессу и процветанию. Это так, господа... А мы, — мы что делаем? И если делаем, то в той ли мере, в какой нужно делать? *Horribile dictu!* — не в ироническом, а в прямом значении употребил он, выкрикивая эти слова, и тотчас же пояснил их, вспомнив, что дамы не обязаны ведь были знать латинский язык: — Страшно сказать, но мы — российская провинциальная интеллигенция, — мы не только немые, но и глухи. Какая-то атрофия, полупаралич, безволие и, в лучшем случае, прекрасодушничанье, порыв и гнев у себя дома, за самоваром, — и только. Не будем говорить об исключениях: всякое исключение только резче оттеняет общее, типическое положение. А это типическое, общее — вот каково... Господа, вы позволите мне привести, как пример, наш город, нашу местную интеллигенцию.



Где та весна чаяний, надежд... гражданское чувство свободы и любви к ней, в условиях которой только и возможно было самопожертвование и служение народу таких отважных и правдивых людей, как пострадавший Иван Митрофанович? (Все повернули головы в сторону Теплухина и наградили его печальной и доброжелательной улыбкой.) Где это все? Тюлевые занавески мелкого себялюбивого уюта заслоняют наш глаз от резких огневых вспышек народного негодования против того позорного произвола, в который ввергнута после тысяча девятьсот пятого года вся страна. Это так, господа, это жестокая правда. Вот сегодня, сейчас, наступила еще одна «календарная дата», — впереди, может быть, еще один год кровавого беззакония. Да, господа, — кровь, кровь обильно сочится из ран всех народов России...

Захар Ефимович сделал короткую паузу, в течение которой мысль слушателей должна была, по его мнению опытного оратора, достичь зенита взволнованности и заинтересованности, и, проведя аккуратно сложенным беленьким носовым платком по слегка вспотевшему маленькому выпуклому лбу и торопливо спрятав вновь платок в карман, сказал тише обыкновенного, протяжно:

— Простите меня, господа... Под новый год не принято говорить печальных речей, но лучше вспомнить свою настоящую печаль, дабы знать, где именно пролегает дорога радости и удовлетворения... Мы обязаны крикнуть друг другу это слово, ибо всей нашей безвольной, косной жизнью за «тюлевыми занавесками» мы способствуем тому, что власть имущие управляют в стране огнем и мечом, а всему нашему народу угрожает бесславная гибель. Вы понимаете меня... И потом я хочу закончить свое краткое слово («Краткое ли действительно?...» — переспросила осторожная мысль), свою речь выражением надежды, что наступивший новый год принесет нам сознание нашей подлинной ответственности, — демократического, свободолобивого общества, — перед Россией, нашей родиной. Почувствуем же все так! И пусть присутствие в нашей среде глубокоуважаемого Льва Павловича, совести лучших слоев общества, и Ивана Митрофановича, — пусть будет символическим знаком того, что наши надежды оправдаются. Вот с таким новым годом мне хотелось бы поздравить нас всех в лице наших дорогих хозяев, Татьяны Аристарховны и Георгия Павловича, собравших нас в этот памятный день. С новым, *новым годом*, господа...

— Bravo, bravo... спасибо, Захар Ефимович! — откликнулся первым Лев Карабаев и крепко, через стол, пожал мягкую теплую руку адвоката.

— Bravo, bravo! — загудели все остальные, дружески рукоплещая.

Захар Ефимович сел и вновь вытер платочком свой лоб и — осторожно, едва прикасаясь, как учили тому приличия, — свои пухлые, как у женщины, уставшие губы.

В течение всего ужина он уже не переставал думать о том, какое впечатление произвела на всех его речь. Как и всякий оратор, он не помнил и не мог помнить ее всю.

Но он старался перебрать в памяти если не все сказанное им, то во всяком случае то, что считал главным, что должно было запомниться слушателями.

«Сказал ли я про тюлевые занавески? Кажется, не плохо...» — думал он и, вспомнив, что сказал, остался собою доволен. Впрочем, он тут же поймал себя на том, что «тюлевые занавески» он упоминал уже раз и не так давно в своей речи в окружном суде по делу о мешанине Бегунцов, из ревности облившем свою жену серной кислотой, но тогда же успокоил себя тем, что речи этой в окружном суде никто из присутствующих не слышал, и потому никто не упрекнет его, адвоката Левитана, в самоповторении.

«Ах, про Рошфора забыл... Рошфора надо было процитировать: совсем бы кстати», — укоризненно подумал Захар Ефимович и на мгновение так расстроился, что не донес ко рту вилку с куском отличной, жареной, в яблоках, утки, пролившей (к счастью — на тарелку...) тяжелую слезу жира.

Французский публицист, однако, пригодился получасом позже, когда разговор зашел о молодом поколении, в котором, по словам Георгия Павловича, сильны теперь «вольные идеи», недостаточно привлекающие к себе внимание и родителей и общественного мнения. Захар Ефимович нашел момент подходящим и, улыбаясь, уверенно и авторитетно вернул:

— Если верить, знаете ли, Рошфору, то нашему режиму опасаться этих настроений не приходится. Рошфор как-то так охарактеризовал обыкновенную эволюцию среднего человека: до тридцати лет — либеральствует, после тридцати — канальствует!..

Слово «канальствует» произнес, как-то по-особенному смакуя, жадно; зубы, коротенькие, плотно друг к другу поставленные, обнажились влажной желтоватой дужкой; золотистые густые усы, сбритые по углам, но не подстриженные и округлые, прятали в своем волосе добродушную, но и самодовольную улыбку, и она же бесцеременно покоилась в близоруких выпуклых глазах, за стеклом очков, словно очки эти делали непроницаемыми для других откровенные сейчас глаза Захара Ефимовича.

Самому Захару Ефимовичу было уже далеко за тридцать, — и Теплухин подумал об этом, когда адвокат заговорил о Рошфоре... Новое выступление Захара Ефимовича было признано всеми удачным, как и весь сегодняшний вечер у Карабаевых.

Георгий Павлович и Татьяна Аристарховна справедливо оценили тот такт, с каким адвокат сумел упомянуть имена их обоих в самом конце своей речи, когда, казалось, уже не представлялось возможности это сделать без того, чтобы не вышло упоминание фальшивым.

У Льва Павловича были свои соображения быть довольным: его все еще ласкала семейная обстановка, уют и отдых, внимание и любовь, которыми его окружали в этом тихом провинциальном городе, — это с одной стороны; другое, что удовлетворяло его, общественного деятеля и одного из вожakov политической партии, — это то, что он услышал сегодня из уст скромного провин-

циального адвоката. «Хорошо, хорошо,— думал о чем-то неопределенно Лев Павлович, поглядывая на свои карманные часы, потому что немного устал и ждал, когда все начнут уходить.— Мы еще позвоим... да, да, Россия спит тревожным сном, спряталась, как он сказал, за тюлевой занавеской (слова Левитана, оказыва-ется, не пропали даром). Но не издевайтесь над ней чересчур раз-вязно и бессовестно (он вспомнил вдруг черствое, презрительное лицо министра внутренних дел на трибуне в Государственной ду-ме), потому что вы не знаете («Ириша вот сюда идет... голубка моя»,— перебил он сам себя...), не знаешь ты, прохвост! — пере-шел он неожиданно на «ты» с министром,— не знаешь, когда придет час твоего падения».

Лев Павлович даже кашлянул гневно при этой мысли. Чтобы отвлечь себя от политических раздумий, он, докурив немецкую сигаретку, предложенную ему братом, пошел вслед за всеми в гостиную, где гости слушали музыку Татьяны Аристарховны: умиротворяющий Шопен был любимым композитором Татьяны Аристарховны.

Войдя в гостиную, Карабаев обвел всех взглядом, заметил от-сутствие жены и Теплухина (они разговаривали с моло-дежью) и, сразу же забыв об этом, опустился в кресло слушать Шопена.

Игра Татьяны Аристарховны должна была заключить сего-дняшний вечер: время было позднее, и притихшие, немного устав-шие гости собирались уже уходить. С той же почтительностью, с какой была выслушана игра, они, каждый по очереди, подходили теперь к Карабаевым и благодарили за гостеприимство и внимание.

— Заря! — шепнула в прихожей Фаня Леонтьевна своему мужу.— Теплухину, кажется, с нами по дороге... Уйдем скорее без него! Пока он прощается со всеми...

Он молча посмотрел на нее и заторопился к вешалке, не до-жидаясь услуг карабаевской горничной. Фаня Леонтьевна была уже одета, а он никак не мог надеть свою правую галошу с мягким, загнувшимся внутрь задником, а нагнуться и придержать пальцем задник — в шубе было тяжело и неудобно. Почти с ожесточением он тщетно старался всунуть ногу в измятую галошу и тут же вспомнил, как легко это всегда удастся в вестибюле суда седень-кому аккуратному члену гражданского отделения Мгальцеру, у которого,— заметил он,— на задниках галош набиты дужки ме-таллических пластинок.

Уж уходя первым (догадался поднять ногу и на весу отогнуть пальцем задник), перешагнув порог, он услышал вдруг позади продолжительный телефонный звонок и удивился, кто бы мог так поздно звонить Карабаеву.

Впрочем, удивление сказалось и на лицах оставшихся в пе-редней — и гостей и хозяев.

«Новогодний звонок. Но нужно быть в очень коротких отно-шениях, чтобы звонить ночью»,— недоуменно посмотрела Татьяна Аристарховна, отыскивая глазами мужа.

Георгий Павлович направился в кабинет, к телефону. Гости умышленно задержались, любопытствуя и строя догадки.

— Я у телефона! — снял трубку Георгий Павлович. — А-а. Благодарю, благодарю. Вас также... Никак не думал... счел бы своим долгом, приятным долгом это сделать при личном свидании. Да, никак не думал... Слушаю, сейчас это сделаю...

Он действительно не ждал, не мог предполагать этого звонка, и сейчас он был ему приятен, хотя этот звонок был сейчас, по мысли Карабаева, и неожиданным. Неожиданность еще заключалась и в другом: Людмила Петровна Галаган спрашивала, у него ли в доме ее «односельчанин Теплухин» и может ли он подойти к телефону? Она встречала новый год у здешнего предводителя Масальского, «полувековое вино ее очень развеселило» («Больше, чем следует», — решил Карабаев), и она боится, как бы завтра ей не проспать весь день, а с «односельчанином Теплухиным» она должна условиться о деле.

«Какое может быть дело?» — подумал Георгий Павлович и позвал к телефону Теплухина.

— Меня? — заинтересовался тот. — Подождите меня две минуты, — кивнул он уже одевшемуся Феде Калмыкову. — Я живу недалеко от вашего тупичка. — И он прошел в кабинет.

— До свидания... до свидания, — уходили гости, и мужчины протягивали каждый заранее приготовленные полтинники карабаевской горничной.

Все Карабаевы вернулись уже в комнаты, причем Георгий Павлович поджидал в гостиной последнего задержавшегося гостя — Теплухина, а Ириша оставалась в прихожей с Федей.

Оглянувшись и не видя никого постороннего, он торопливо схватил ее руку и слегка привлек к себе девушку.

— Ира... — шепнул он. — Завтра ты не уедешь еще в Ольшанку. Позвони мне по телефону... Я хочу услышать твой голос. Твой! — повторил он подчеркнуто и улыбнулся.

В этот вечер, час назад, они впервые сказали друг другу «ты».

Ночь была лунная, морозная. Снег лежал сухой, легкий, коротко скрипевший под ногами.

Безлюдная, застывшая во сне узенькая улица, наполненная, почти в рост человека, снежными обледелыми сугробами, казалась еще уже, сдавленной, и разобщенные друг с другом кособокими заборами низкие дома — еще мельче и незатейливее. Неподвижная исполинская серьга молодой луны — желтой, прозрачной — отсвечивалась на обледелых сугробах голубато-фиолетовой, в дымке, тенью, и девственный тихий снег мерцал вдали печальным фосфорическим светом. Деревья из-за заборов протягивали к улице свои причудливо длинные, мертвые ледяные кисти в изорванных кое-где, казалось, мохнатых снежных варежках. Лунный свет падал на дорогу прямо, отвесно, и сбоку деревья глядели угрюмо, по-кладбищенски, а приютившиеся между ними, вдавленные в снег дома казались чуть-чуть приподнятыми могильными плитами.

Кособокие заборы и мертвые холодные сады были неприятны Федю, и он старался не смотреть по сторонам. Ему никогда почти не приходилось видеть такую позднюю и безжизненную зимнюю ночь, и покоившаяся на всем морозная тишина если и не наводила страха, то ощущалась теперь какой-то загадочной, колдовской.

Вначале шли молча, быстрым, деловым шагом, и Федя с трудом поспевал за своим спутником: Теплухин, слегка наклонившись вперед и втянув голову в заострившиеся плечи, далеко выбрасывал по тротуару свои крепкие ноги.

«Почему он молчит?.. Забыл о моем существовании,— сбоку посмотрел на него Федя и узнал на нем ту самую широкую меховую шапку, которую видел уже на Теплухине в комнате для приезжающих на почтовой станции.— Не хочешь — не надо»,— обиделся в душе гимназист и вернулся в своих мыслях к только что оставленной Ирише.

Теплухин же в это время думал о своем. Ему приятно было сознаться самому себе, что краткое знакомство в Снетине с дочерью скончавшегося помещика-генерала, две-три встречи с Людмилой Петровной в ее доме — привели к тому, что и здесь, в городе, где у нее есть свое давнее общество, он, Теплухин, не забыт. «Да еще как! — улыбался он своим мыслям.— Среди бар была, другого барина ночью потревожила... и все для того... Любезно, любезно — что и говорить...»

Он живо представил себе, как завтра («Нет, это уже сегодня, выходит»,— поправил он себя), воспользовавшись приглашением Людмилы Петровны, сядет в ее крытые «генеральские» сани, рядом с ней, как два часа они будут вместе в пути и два часа он будет видеть близко подле себя ее красивое неразгаданное лицо...

«Ну, Иван Митрофанович!..» — едва не крикнул он вслух. И крикнул бы, толкаемый радостным возбуждением, если бы не вспомнил в этот момент об идущем рядом с ним гимназисте.

— Я недалеко от вас живу, у тетки своей,— вторично сообщил он юноше, тотчас повернувшему к нему свою голову.— Если таким шагом — минут через пятнадцать будем дома. Как вам понравилась новогодняя встреча? — спросил он, не придавая значения вопросу и еще продолжая думать о своей поездке с Людмилой Петровной.

— А я все-таки доволен...

— Чем? Кем? И что значит «все-таки»? — не уменьшая шага, коротко спрашивал Теплухин.

— Доволен тем,— простите мою откровенность,— что я познакомился с двумя людьми: с вами и депутатом Карабаевым.

— Так ли это важно?

«Скромничает, что ли?» — подумал Федя и ответил:

— Для меня интересно.

— А «все-таки» к кому относится?

— «Все-таки»... — ко всем остальным. «Кроме Ириши, конечно», — не сказал вслух.— Все это лица знакомые и понятные... Тюлевые занавески! — повторил он насмешливо чужие слова.

— Вы тоже слышали речь господина адвоката?

«Ага, расшевелился!» — подумал Федя, заметив, что спутник сдерживает свой шаг и все чаще поглядывает в сторону.

— Сколько вам лет? — неожиданно прервал его Теплухин, не поворачивая головы.

— Девятнадцать! — прибавил себе Федя. «Какое значение имеет мой возраст? — хотел он спросить. — Я достаточно уже сознательный человек, чтобы понимать все. Какой странный...» — Дело не только в молодости, но и в убеждениях, — в меру всплыв, сказал Федя, — а у таких, как Захар Ефимович, нет по-настоящему убеждений.

— Это справедливо сказано вами.

— А речи, — о, их легко научиться говорить! Смотрите-ка, Иван Митрофанович: еле бредет человек. В таком состоянии он, пожалуй, еще замерзнет на улице...

Они поворачивали за угол. Впереди них, качаясь из стороны в сторону, бессвязно разговаривая сам с собой, плелся в тулупчике солдатского покроя человек. На нем была шапка с свисающими наушниками, и он неверными, пьяными руками тщетно, казалось, старался почему-то поднять наушники и связать друг с другом болтающиеся тесемочки.

— Ишь согрелся как! — почти поравнявшись с ним, пошутил Федя и незаметно для себя ощутил радость и от того, что в этот поздний глухой час повстречался наконец человек и что незнакомого этого человека встретил все же не один, а вместе с Иваном Митрофановичем.

Человек в тулупчике, по всему видно было, не расслышал Феदिного замечания: он продолжал что-то говорить себе под нос, не оборачиваясь на чужой голос. Пройти мимо пьяного, опередив его, не удалось сразу: неожиданно, переваливаясь то на одну, то на другую сторону, он, плутая, заслонял узкий путь своим отяжелевшим, неповоротливым телом. Дощатый полуразрушенный в этом месте тротуар, из-под которого уже несколько лет как утащили поддерживавшее его поперечное бревно, протяжно скрипел под спотыкавшимися ногами пьяного.

— Ну, ты... новогодний пассажир! — старался обойти его Теплухин, протискиваясь между ним и выпиравшим на улицу ветхим забором. Задетый плечом забор качнулся слегка и обсыпал затылок и щеку Теплухина холодной снежной пылью. — Э, не пропускает еще!.. — вдруг рассердился он и с силой толкнул в бок плутававший тулупчик.

Под кожаным рукавом он ощутил неожиданно твердое, мускулистое плечо пьяного, — словно тот приготовился заранее к этому толчку, чтоб оказать сопротивление. Впрочем, назнакомый прихожий, секунду устояв на ногах после толчка, как-то неловко поскользнулся и, протягивая обе руки вперед, повалился на дорогу, в сугроб.

— Ай-ай! — невольно вскрикнул Федя, в первую минуту гибаясь над упавшим, чтобы ему помочь, но, увидя быстро заша-

гавшего дальше своего спутника, тотчас же изменил свое намерение и догнал Теплухина.

— Чего это вы его так?.. Он и так едва на ногах держится...

— Чего? — зло усмехнулся Теплухин и оглянулся назад: человек уже вылез из сугроба и стоял неподвижно. — Так, знаете ли... По заслугам. Падающего толкни! — не то шутя, не то серьезно ответил он.

Опять шли молча, не обращаясь друг к другу. Шли в ногу, мерным, одинаковым шагом, откидывая носком в сторону сухой и легкий снег.

— У моей тетки гимназисты живут. У вас есть там товарищи? — возобновил Теплухин разговор, когда они недалеко уже были от калмыковского тупичка.

— У госпожи Шелковниковой? — оживился Федя, поняв тотчас же, что именно Шелковникова могла быть родственницей Ивана Митрофановича, так как вторую в городе гимназическую квартиру содержала еврейка Бобовник. — Да, там живут мои одноклассники. А что такое?

— Зайдите иной раз туда, — спросите меня. Буду в городе, — приятно будет побеседовать. Хотя, наверно, неудобно будет моей тетке давать часто мне приют! — усмехнулся он. — Как бы квартиру ей не запретили из-за меня... Ну, до свидания, друг мой. Приятно было познакомиться.

Он крепко пожал Федину руку.

— В улочке вашей не страшно, а? Скажите...

— Ну, что вы, Иван Митрофанович!

— Ладно. Шагайте. А я не один пойду, — озлобившись, насмешливо сказал он. — Обернитесь-ка: пьяненький, — ведь тот самый! — смотрите, как быстро догоняет нас... меня.

— Неужели шпик? — прошептал Федя.

— А вы думали! — И он, махнув рукой, пошел прочь.

По тупичку Федя пустился почти бегом. Он не считал себя трусливым, в эту минуту ничто, собственно, не могло ему угрожать, но необъяснимое и едва ли преодолимое в этот момент чувство, — если не страха в полной мере, то боязни, — погнало его к дому. Он знал, что никто за ним не гнался, не мог гнаться, но он несколько раз оглядывался назад, желая не столько успокоить себя, сколько, напротив, найти несуществующую причину своей боязни.

Но вот уже и дом.

И, не добежав еще до дедовского крыльца, Федя вдруг успокоился и устыдился минутного испуга.

Из конюшни доносилось мерное фырканье лошадей, стук о стену подтянутых на веревках яслей и отрывистый топот конских застоявшихся ног.

Братья остались одни. Дом постепенно затихал, отходя ко сну. Только из столовой еще доносились сюда, в кабинет Геор-

гия Павловича, голоса и шаги служанок, занятых уборкой комнаты.

Карабаевы сидели в креслах за низеньким круглым столиком, на котором стояла в плетеной соломке четырехгранная бутылка французского коньяку с двумя такими же четырехгранными тяжелыми рюмками и горячий кофейник с белыми фарфоровыми чашечками.

И коньяк и черный кофе по-турецки, за умелым приготовлением которого следил обычно сам Георгий Павлович, были предложены сегодня Татьяной Аристарховной. Лев Павлович заметил, как счастливо улыбалась она от похвалы мужа, учтиво, но снисходительно, как показалось, отпущенной ей Георгием. «Самодержец в семье...» — шутливо подумал о нем Лев Павлович.

И — об обоих пятнисто-серых догах, разлегшихся в кабинете: «Телохранители самодержца!» Собаки лежали с боков кресел, полукругом, морда к морде, откинувшись на цветистом текинском ковре, выставив каждая напоказ свое одинаково гладкое брюхо, вытянув длинные мускулистые лапы. Доги дремали, но при каждом новом и потому неожиданным для них жесте Льва Павловича косили в его сторону свои сторожевые угрюмо-спокойные глаза.

— Поздно уже... — поглядел на часы Лев Павлович и перевел взгляд на кушетку под картиной какого-то художника, где устроена была ему, гостю из Петербурга, постель на сегодняшнюю ночь.

— Хороша? — кивнул в сторону картины Георгий. И, не дожидаясь ответа, тут же сказал: — Прелестная женщина! Этот портрет я приобрел осенью в Киеве у одного маклера. Репин говорит: волосы надо писать так, чтобы видна была голова.

— Умная мысль! — оценил ее Карабаев-старший.

— Да. И скажу от себя, Левушка: платье женщины надо писать так, чтобы умственному взору нашему видно было ее тело. Во всяком случае, я угадываю тело этой молодой незнакомки. А ты? — улыбнулся брату Георгий Карабаев.

Краски крымского солнечного пейзажа — зеленого и багряного, кипарисы перед высоко поднятой над землей белой террасой, и на ней, в дачном плетеном кресле, — женщина в волнах легкой летней одежды, закрывающей наглухо круглолицую и краснотелую красавицу от шеи до кончиков ножек. И только в одном — скромном, маленьком — месте не успела она укрыть себя от жадного подглядывания Феба: лучи его проткнули легкие ткани чуть пониже плеча этой женщины, — и уже можно было угадать не только ее загорелую полную руку, как бы ждущую прикосновения губ, но и всю силу ее скрытого телесного ожидания.

— Да, хороша... — скромно, конфузливо признал Лев Карабаев.

Ему вспомнилась сейчас Людмила Петровна в купе петербургского поезда. Вероятно, потому, что она тоже была хороша по своему и всего лишь минут двадцать назад заявила о себе по телефону. Он нескладно заговорил о ней и, ожидая какой-либо легкой-мысленной мужской реплики в ответ, услышал вдруг от брата слова деловитые и серьезные:



— Представь себе, Левушка, я теперь каждый день думаю о смерти генерала Величко. Приезд сюда его молодых наследников породил в моем уме некоторые... сладкие планы. Нужны, конечно, капиталы. Что ж...

— Я тебе не понимаю, дорогой,— сказал Карабаев-старший.

— Сахарный завод,— кратко пояснил Георгий. Глотнул коньяку и налил себе вторую по счету чашечку кофе.— Надо думать, что вопрос о продаже завода будут решать не эти двое молодых — Людмила и студент, а старший их брат, который в Петербурге... Кстати, ты не знаком ли с ним? — осведомился Георгий Павлович.

— Нет.

— Жаль.

— Но если тебе это надо будет...

— Ты найдешь путь к знакомству? Спасибо тебе, Левушка.

— А тебе под силу такой завод? — заинтересовался Лев Павлович. И подумал: «Видимо, Егор-то наш прорезывается в подлинники капиталисты. А? Делец, вижу!» («Егорка» — так называл некогда сына-гимназиста Карабаев-отец, преподаватель арифметики в четырехклассном городском училище.

— Силы надо подсчитать,— вздохнул и потрогал свой смолянистый ус Георгий Павлович.— Подсчитать... подсчитывать, брат,— с разной — осторожной и усилительной — интонацией повторил он, и Лев Павлович понял теперь, что именно этим-то был занят главным образом его брат в новогодний вечер.

Понял, что Георгию были глубоко безразличны, в сущности, все сегодняшние гости, примостившиеся как бы под навесом его здешней славы и благоденствия, что потому он был сегодня скуп в общении не только с ними, но и со всеми домашними и даже с ним — Львом Карабаевым. И что вот сейчас, в тиши ночного кабинета, брат решил, видимо, «замолить свой грех» пред ним, оставшись для беседы.

«Ничего, ничего, Егорка»,— прощал его в душе Лев Павлович, называя брата давнишним семейным словом.

Георгий, словно невзначай, спросил:

— Что ты скажешь о Теплухине?

Вопрос этот удивил Льва Павловича. Неужели брат перестал думать об единственно интересовавшем его деле, о предмете столь практических мечтаний? Почему вдруг спрашивает о чужом, выключенном, казалось бы, сейчас из памяти человеке?

— А что такое? — вопросом на вопрос ответил Карабаев-старший.

— Проверяю себя,— сказал младший, но, что именно хотел проверить, не пояснил.

— Один из многих теперь,— бесстрастно отозвался о Теплухине депутат Государственной думы.

Он снял с себя державшийся на резиночке черный шелковистый галстук, открепил от воротника белую пикейную манишку и вместе с воротником, манжетами и запонками положил все это

на пуф возле братниного письменного стола. Сам удивился, почему раньше не сделал этого, не «рассупонился»..

— Очень хорошо, что таких, как Теплухин, стали освобождать,— продолжал он, зевая.— Чем меньше правительство будет мстить революционерам, тем больше у него шансов теперь не бояться их. Ты согласен со мной?

— Меня меньше всего интересуют глупые,— сказал насмешливо Георгий Павлович.— За здоровье тех, Левушка, кто должны быть умными!

Он налил себе коньяку и широко глотком опорожнил рюмку: словно янтарная жидкость из маленького сосудика вылилась в огромный, с далеким дном.

— Вспомни, Левушка, что ты сам сегодня говорил о бездарном, глупейшем нашем правительстве. Вам там в Петербурге не потерять бы своего ума — вот в чем дело. Надо быть умными политиками, Левушка.

Георгий Карабаев встал и заходил по комнате.

Возвращаясь к своему креслу, он перешагнул через одного из раскинувшихся на ковре догов, и тот даже не пошевелинулся. Но стоило Льву Павловичу привстать и протянуть руку к никелированному кофейнику, чтобы отодвинуть его от края стола, как тот же дог вскинул свое срезанное, остроконечное ухо и медленно, предостерегающе повел по полу длинным тяжелым хвостом.

«Ну, это уж свинство... Это, зверь ты эдакой, прямо деспотизм!» — возмутился и, признаться, устрасился Лев Павлович. Он решил потребовать у брата, чтобы тот избавил его от надзора этих «чудищ» — собак...

Однако не прерывал сейчас Георгия и выслушал его до конца. А тот говорил, как всегда, очень точно и неутомительно.

— Государственная власть, Левушка, находится у Николая и его правительства. Но экономика России ускользает из их рук. Мы, деловые люди, мы, промышленники, это хорошо знаем. Отдавать Николаю то, что нами завоевано естественным ходом вещей, мы, конечно, не намерены. Шиш! Мы, Левушка, как ты сам понимаешь, необходимы России. Чем скорей правительство приобщит нас... то есть вас, прогрессивных думцев... к государственной власти, тем лучше будет и для самого государя. Если только он... не окончательный болван!.. Нам... и вам там в Думе! надо поугрожать его величеству. Поугрожать всему правительству новым возрождением революционных настроений в России. А этим, Левушка, уже сильно опять пахнет. Не поручусь, что даже среди рабочих такой дыры божьей, как наш Смирихинск. Кто, брат, не слышит до сих пор длительного эха расстрелов на Ленских приисках,— кто? Только глухой.

— Поугрожать, говоришь? — оживился, как и всегда во время политических разговоров с единомышленниками, Лев Павлович.— Мы, знаешь, иной раз и прибегаем к такой тактике,— откровенен был с братом один из лидеров думской кадетской фракции.— Мы используем рабочие брожения в наших открытых и

конфиденциальных предостережениях господам министрам. Увы, эти чиновники мало внемлют...

— Ты знаешь, что я тебе скажу? — прервал брата Георгий Павлович. — Ты не удивляйся моей мысли. Ваших кадетских «предостережений» — мало! Я бы изменил стратегию и тактику... Тебе, может быть, смешно слышать это из уст «провинциала», а?

— Да что ты, милый!.. — искренне запротестовал Карабаев-старший.

— Ты послушай, Левушка. Рабочий класс в России нельзя нам отдавать всем этим социал-демократам, всем этим подражателям, сторонникам Карла Маркса, и прочим, и прочим. Пожалуй-ста, только не преуменьшай их значения, Левушка!.. Почему умная, благожелательная интеллигенция занимается только своими узкими интересами? Почему?.. Культурный промышленник — это тоже, брат, интеллигенция. Такие, как я, знаем, как и куда следует направлять интересы рабочих. Надо их делать своими подчиненными союзниками в нашем споре с этой варварской, глупейшей монархией.

— Подчиненными союзниками... — улыбнулся не то одобрительно, засопев в усы, не то почему-то жалостливо Лев Павлович.

— Да, Левушка!

И вдруг Георгий Карабаев добавил:

— А почему теперь... ну, при нашей смирихинской обстановке... Теплухин, например, не может стать вот таким человеком... подчиненным моим союзником? Тебе, кажется, пришлось по душе эти слова, Левушка?.. Ну, я вижу, ты, дорогой мой, устал не мало. Спать, спать, Левушка!..

— Теплухин... Гм... Ты, Жоржа, смелый человек! — поразмыслив минуту, сказал Карабаев. — Послушай, они что... они здесь так и останутся? — указал он на недвижимых собак, растянувшихся на полу двумя огромными тушами.

— О нет! — успокоил брат, улыбнувшись. — Да они тебе и шагу не дадут сделать без меня или кого-либо из моих.

Он тихо свистнул, и доги мгновенно вскочили, бия хвостами о кресла.

— На место! — не повышая голоса, скомандовал Георгий Павлович. — Выйти вон, на место!

И собаки, не оглядываясь, ткнув мордами дверь, послушно покинули кабинет.

— А пил-то, выходит, я один? — сказал Георгий Павлович, глядя на столик.

И верно: и первую рюмку коньяку, и первую чашечку черного кофе Лев Павлович так и не допил. Можно было думать, что Георгий заметил это и раньше. Но нет, он, очевидно, целиком отдал свое внимание только собственным действиям, желаниям и мыслям.

Ротмистр Басанин проснулся сегодня позже обычного часа. Маленькие карманные часы, лежавшие поверх брюк на стуле, показывали десять с половиной. Но прежде чем взять со стула часы, ротмистр Басанин протянул руку к лежащему там же серебряному портсигару и спичкам и закурил, по обыкновению, натошак.

Всегда почти случалось так, что эти пять — семь минут утреннего курения в постели определяли уже на целый день настроение ротмистра. Первые думы приходили неслышно, крадучись, словно не он сам зарождал их под влиянием каких-либо обстоятельств и впечатлений, а возникали они произвольно и, возникнув, как бы говорили ему, Басанину: «Ведь мы что?.. Мы ведь только сообщаем тебе, обращаем твое внимание, а дальше — ты уж сам рассуди...»

Сегодня внимание ротмистра ни на чем долго не останавливалось.

Прямо перед его глазами висело большое овальное зеркало в коричневой раме. Оно было очень наклонено вперед, и ротмистр увидел себя лежащим на маленькой, почти детского размера, кровати с высоко поднятым изголовьем; на подушке покоилась его, басанинская, голова, но сильно уменьшенная, игрушечная. Он поднял руку, — и рука в зеркале сделалась короткой, ребячьей. Высунул из-под одеяла теплую, согревшуюся за ночь ногу, поднял ее, — но она не видна была в капризном зеркале, и ротмистр шутя пожалел своего игрушечного двойника, лишенного важнейших конечностей...

Он перевел взгляд в сторону, на стену, смежную с другой комнатой, и увидел на стене знакомые портреты родителей — бородатого полковника Басанина и давно скончавшейся матушки, а под портретом — двух мух: уснувших, едва подававших признаки жизни.

«Зачем мухи?..» — пришла пустая, нечаянная мысль, и он схватил вдруг носок и бросил его на стену, но попал в портрет полковника. Родитель не обиделся и продолжал смотреть из-за стекла куда-то вбок, гордо и молодежато подняв седую, коротко стриженную голову.

«Обошли его, — вспомнил о нем ротмистр, — неуживчив больно старик, независим... Одна радость теперь старику, что в столице жить». Здесь ротмистр умышленно заставил себя не думать больше об отце и сделал глубокую затяжку папиросой; как только вспоминался отец, невольно приходили в голову мысли и о своей не совсем удавшейся карьере, а часто возвращаться к этому вопросу ротмистр не любил.

Он слегка приподнялся и повернул голову к окну. Ясный солнечный день играл на затянутах морозным узором стеклах, тонкая ледяная слюда была в холодном золотом огне. «Умыться!» —

приказал сам себе Басанин, но не вскочил, а вновь откинулся на подушку, бросив докуренную папиросу на железный лист, набитый на пол у печки.

Приятно было чувствовать под одеялом сухую теплоту своего собственного тела, достаточно насытившегося здоровым сном, но, как всегда, немного ленивого и избегавшего резких движений. Полежал еще две-три минуты бездумно, позевывая сладко и роняя на щеку пустую, истомную слезу довольства и безделья. Часы показывали без четверти одиннадцать. «Спешат, наверно», — усомнился ротмистр, хотя сознавал, что спал сегодня дольше обычного.

И потягиваясь в последний раз, — хрустя суставами и громко побряхывая, так, что слышно было в соседней комнате, — он еще раз посмотрел на себя в зеркало и, улыбаясь забавному двойнику, отогнул одеяло.

— Ма-а-ка-ар! — крикнул он денщика, опуская босые ноги на коврик и стараясь, вытянув одну ногу, зацепить ею лежавший неподалеку носок, которым раньше сгонял неудачно мух.

— Здесь, ваше благородие! — раздался знакомый услуживый голос.

В дверях показались сначала придерживаемые большущей узловатой рукой аккуратно начищенные ротмистровы сапоги, а затем и бесстрастное коротколобое лицо Макара.

Ротмистр Басанин, упираясь руками о кровать и подав все тело свое вперед, зацепил носок большим пальцем ноги и, вытянув ее, старательно приближал теперь ногу к кровати.

— Не мешай, не мешай! — строго крикнул он денщику: тот сделал движение прийти на помощь барину.

Нога благополучно достигла середины своего пути, и тогда Басанин ловко подбросил ею высоко кверху злополучный носок, упавший теперь на кровать.

— Видал?.. — задорно смотрел ротмистр на непонятливого Макара.

— Рукой скорейше было бы дело. Не изволили б беспокоиться... — деловито возразил тот, опуская на пол сапоги.

— Чудак! — усмехнулся ротмистр и в душе презрел солдата за его неспособность понять спортивный характер его, басанинского, веселого каприза.

«Мужик и есть мужик, — подумал он о Макаре. — Прямолинеен в желаниях, расчетлив и скуп в своих поступках».

Мужичья непонятливость чуть было не испортила ему беспечного настроения, в которое он пришел после удачи с носком. Но вовремя остановил себя — и к завтраку вышел со свежим, спокойным лицом и надушенный.

Жандармские унтер-офицеры, писарь и Макар знали уже, что господин ротмистр должен быть сегодня утром «в добрых чувствах»: только в таких случаях ротмистр Басанин употреблял крепкие английские духи.

Рука медленно свернула по загибу сложенную вчетверо хрустящую бумагу, и так же медленно, в раздумье, ротмистр Басанин положил ее перед собой на письменный стол.

«...11 августа 1908 года происходило совещание о более рациональной охране города и производстве в Седлеце повальных обысков: последнее требовалось телеграммой главного начальника края. Подполковник Тихановский тут же требовал указать ему несколько граждан г. Седлеца, которые хотя сами и не принимают активного участия в революционном движении, но так или иначе способствуют ему. Подполковник Тихановский высказал намерение посадить этих лиц в тюрьму, считая их заложниками, и хотел объявить им, что в случае покушения на кого-либо из государственных служащих они будут лишены жизни. На вопрос же, каким образом заложники будут лишены жизни, подполковник Тихановский обратился к полицмейстеру с вопросом, не найдется ли у него стражника, который, прикинувшись или фанатически приверженным престолу, или сумасшедшим, перестреляет заложников в тюрьме или подсыплет им в кушанье мышьяку. Если не найдется такого стражника, — говорил подполковник, — то можно будет застрелить заложников «при попытке к бегству». «На террор революции мы должны ответить еще более сильным террором», — добавил подп. Тихановский.

Так готовились мы к производству мирных обысков, а драгунские офицеры, — как стало известно затем уже, — в тот же вечер, будучи в обществе, потирали руки и с самодовольной улыбкой заявляли громогласно: «Уж мы устроим им погромчик, пощады не будет».

Начальник жандармского управления полковник Выргалич на другой день... заболел и слег. Я же, бывая у губернатора, неоднократно обращал его внимание на настроение подполковника Тихановского и советовал не давать ему воли, открыто заявляя, что это может вызвать грабеж и ненужное кровопролитие, как это уже имело место в феврале после убийства полицмейстера капитана Гольцова. Губернатор, по-видимому, внимательно прислушивался к моим доводам и, делая заметки для памяти, обещал принять нужные меры (за три дня до погрома он также «заболел»).

В первую же ночь стрельбы в городе, около трех часов на 27-е, подполковник Тихановский с целью «поднятия духа войска», как потом сам объяснил, вызвал из драгунских казарм хор трубачей и песенников — и среди трескотни выстрелов, кровопролития, грабежа и пожаров в городе раздавались пение и трубный глас...

Началось же все дело так. 26 августа около восьми с половиной часов вечера в городе раздалось несколько револьверных выстрелов, в ответ на которые немедленно открылась беспорядочная стрельба войск. Пулями были побиты стекла в общежитии при местной женской гимназии, откуда уже, наверно, никто не стрелял по государственным служащим. Войска подполковника Тихановского беспощадно расправлялись с мирными жителями и рабочими, не вышедшими на работу. Я был свидетелем, как драгун

явился за патронами и подполковник Тихановский сказал ему: «Мало убитых».

Остановить подп. Тихановского порывался, кроме других лиц, также молодой подпоручик артиллерийского полка Галаган, кричавший потом: «Позор, позор для русской армии!», но на все свои доводы получил ответ: «Не ваше дело».

27 августа, с наступлением сумерек, отряды подполковника окончательно разнуздались, перейдя к грабежу мирного православного населения, а также пивных и винных лавок.

...О том же свидетельствует приказ по гарнизону за № 77, с надписью: «Не подлежит оглашению».

Ротмистр *Басанин*.

Да, все это он писал в свое время... Пять лет назад он послал этот доклад своему высшему краевому начальству. «Дурак!» — насмешливо и горько подумал он потом сам о себе. Его поступок оказался непростительно наивным и роковым для карьеры. В официальном документе начальство усмотрело, хотя и сдержанное (как подобает офицеру жандармской службы), чувство возмущения тем, что пришлось наблюдать в разгромленном польском городе и что было, — понял, — не только неуместным, но и вредным для его собственной судьбы.

Подполковника Тихановского хорошо знали и ценили в Санкт-Петербурге: подполковник был произведен в полковники и переведен в особый корпус жандармов, а на докладе ротмистра Басанина была, — передавали враги, — начертана интимная резолюция: «Пошли дурака богу молиться...»

Он был назначен на юг, несмотря на то что просился в Центральную Россию (полковник Тихановский зорко следил за его судьбой), а год назад переведен в Смирехинск — ротмистром на три смежных уезда.

«Глупо. Все вышло очень глупо», — неоднократно думал он о своем поступке и в душе сам себе признавался, что бывшее возмущение седлецкими событиями — досадная оплошность и только. Служить — так служить, делать карьеру — так делать по-настоящему! *Кому и чему служить, какую карьеру делать*, — ведь он это отлично знал, вступая в жандармский корпус...

Возмущаясь Тихановским и донося на него, он, жандармский офицер Басанин, уподобился неловкому кучеру, который стегая лошадей, бьет нечаянно кнутом по лицу седока, сидящего сзади в коляске.

...Словно подстегнутый кнутом этой насмешливой мысли, ротмистр Басанин, очнувшись от минутного раздумья, схватил копию своего доклада и швырнул бумагу в глубь выдвинутого ящика. Беспечное настроение, в котором пребывал с утра, уже исчезло. Злополучная бумага, попавшаяся на глаза в то время, как рылся в ящике, ища служебную секретную корреспонденцию, омрачила настроение ротмистра, и то, о чем он меньше всего любил вспоми-

нать, — но если вспоминал, то всегда с горечью, — озлобило его сейчас и сделало придирчивым. Вместо того чтобы погасить в себе это настроение, он сознательно, нарочито поддерживал его и так же сознательно подыскивал теперь в уме лиц, на которых мог бы сорвать это настроение.

— Кандуша! — крикнул он писаря к себе в кабинет и услышал, как в тот же момент пишущая машинка умолкла на полуступке, и в канцелярии раздались мягкие, торопливо шепчущиеся шаги писаря, обутого в глубокие кавказские сапоги.

— Я здесь, Павел Константинович, — сказал тихий услужливый голос, и ротмистр увидел сбоку знакомое, изученное хорошо лицо писаря.

— Да... — начал Басанин, — вот что, милый человек... — но он не знал, как продолжать начатый разговор, потому что и сам не понимал, зачем, собственно, позвал служащего. «Спросить разве, почему Чепура и Божка нет, — но откуда он может знать?.. — подумал ротмистр. — Хотя... этот прохвост, кажется, все знает, — тотчас же возразил себе, оглядывая писаря. — Ведь догадывается мерзавец, что никакого дела у меня к нему нет». — Я хотел спросить, Кандуша, насчет того...

— Пакет, Павел Константинович, еще вчера послан, если об этом изволите напомнить, — почтительно перебил Кандуша и, выждав секундную паузу, в течение которой не последовало никаких возражений ротмистра, уже смело и уверенно добавил: — Пакет за № 31/2007 по делу о пребывании здесь члена Государственной думы Карабаева.

— Да, да... — обрадовался Басанин подсказанному разговору, но в то же время чувствуя, что на аккуратном и предусмотрительном Кандуше ему не излить своего дурного настроения.

Больше того: Кандуша был именно тем человеком, с которым (ротмистр вынужден был в этом сознаться) ему было интересно иногда не только разговаривать, но и часто советоваться, и не только по служебным делам, но и в делах личных, интимных. Причем и в том и в другом случае ротмистр осторожно наводил только на разговор, а сообразительный и словоохотливый Кандуша уже вел его так, что Басанину оставалось лишь слушать и делать для себя выводы.

Но это возможно было только тогда, когда хотел того ротмистр Басанин, когда он *молчаливо* позволял своему писарю выходить из рамок его прямых служебных обязанностей. Так во всяком случае считал ротмистр. Другого мнения (для одного себя) держался Кандуша.

Он, — как и предполагал Басанин, — безошибочно понял сейчас, не зная причины, душевное состояние своего начальника: души-то духами, но вот упрямо, тщетно старается же Павел Константинович поймать передними зубами и откусить махонькую заусеницу на скорчившемся мизинце, а глаза смотрят исподлобья также упрямо и растерянно, словно негодуя на то, что он, тихий советник Кандуша, не облегчит ему борьбу с куценкой заусени-



цей... Да и слова-то Павла Константиновича — не собранные что-то, нетвердые:

— Пакет отослан, значит... Да, да — важный пакет... Надо иметь в виду... важный.

— Господи, боже мой! — с таинственной важностью сказал Кандуша, чувствуя, что вот сию минуту он сможет заговорить о том, что в последнее время его так живо интересовало. — Господи, боже мой, этот ли не важный? Дело, — позволю высказаться, Павел Константинович, — государственное, ответственное. Вот верите? — позволю себе сказать, — трепещу ведь. Господи, боже мой! Мне ли не оценить? Дураком надо быть, дураком, чтобы не уразуметь. Унтер, скажем, — одно, а Кандуша — другое... О-о! Сами вы, Павел Константинович, отличите, смею надеяться?

— Болтать много любишь, — насмешливо, но беззлобно посмотрел на него Басанин и отнял палец ото рта.

— Беседовать? — осторожно подменил Кандуша пренебрежительное слово «болтать» и подошел к столу. — Но с кем? — позволю себе спросить.

— Со мной хотя бы, — тем же насмешливым тоном ответил ротмистр и не решил еще: прервать ли ему словоохотливого писаря, или слушать его болтовню, которая, знал, должна, как всегда, таить в себе что-то новое, не высказанное еще Кандушей.

Он, не вставая с кресла, отодвинул его вместе с собой от письменного стола и, откинувшись на мягкую высокую спинку, закинул широко ногу за ногу: шпора на весу тихо, нерешительно шевельнулась.

Умышленно выждав эту секунду, покада ротмистр поудобней усаживался, Кандуша совсем вплотную подошел к столу и легко облокотился на него одной рукой.

— Правы, Павел Константинович, — виновато улыбнулся он. — Но я — для пользы дела, посильный долг я исполняю. Тут, позволю себе высказаться, большой микроб в здешний организм всунулся, козырной туз к маленьким картишкам привалил. Козырной туз пришел, — тут тебе, Павел Константинович, и семерочка и восьмерочка на одной руке заиграют! Неправду говорю? Господи, боже мой! — захлебнулся он этими словами. — Ведь трепещу, трепещу! Фельдшера Теплухина сын — микроб? Микроб! А туз в членах Государственной думы ходит. Например, поднадзорный Теплухин если с тузом известным соберутся, политический разговор между собой, конечно, имеют и все такое. А? Которые значатся в адвокатах — речи, понятно, навстречу, то да се, про народ, конечно, беспокоятся...

— Ты о ком это? Откуда все знаешь? — встрепенулся ротмистр.

— Речи кто говорил? Господин жид Левитан, который по доброте вашей и доверчивому благородству клички даже у вас не имеет!.. Битой семеркой считали, а при тузе тоже козырем смотрит! Вот ведь и унтер и филер — что молотобоец при кузне: учись еще только, а Кандуша хоть и писарь только при государственном

человеке, но, позволю себе сказать, с полной душой служит... У кого какие чувства, Павел Константинович,— а у меня все пять верноподданные!

— Погоди, погоди! — выпрямился в кресле ротмистр, и нога, быстро опущенная на пол, громко звякнула потревоженной шпорой.— Да ты рассказывай все подробно. Значит, под Новый год речи говорились... да? И ты все знал и не говорил мне? Почему? Ты понимаешь значение всего этого? — рассердился ротмистр, отплевываясь и бросая недокуренную папиросу, от которой вдруг начало горчить во рту.— Брось ты ревновать к унтерам и филерам. Твоя преданность делу известна, милый человек, в губернском управлении: я оплачу ее дополнительным месячным жалованием... Ведь «туз», как сам понимаешь, не простой. Это один из тех, кем интересуется правительство!

— Золотые слова, золотые мудрые слова, Павел Константинович. Ведь подумая только, позволю себе высказаться: за что деньги некоторым людям платите? Приходит и сообщает: день есть день, ночь есть ночь. Тыфу! Изобретатели! Скучно, позволю себе сказать, живем. Никакого тебе волнения на струнах душевных. И вдруг, Павел Константинович, событие приходит — вознаграждение за скуку нашу... Господи, боже мой, да разве можно не трепетать от восторга, когда неожиданно орел на болото сядет?! Незримо... незримо, Павел Константинович... отметить себе поведенье орла, перышки пересчитать, незримо одно-другое перышко выдрать, и — удержать, удержать при себе. Полетит орел в гнездо, в Петербург, — тут-то перышки куда след дослать, доставить в известный вам адрес. И, позволю себе сказать, выйдет, что незримо... незримо, Павел Константинович... за крылья сего орла державшись, прибыть можно в Петербург — сразу чин заслужить, жизнь веселую.

— Ты, я вижу, не плохой птичник! — усмехнулся ротмистр.— Только, Кандуша, данные... данные надо иметь, понимаешь?

— Факты в коробочке... Вот где факты — в коробочке все собраны! — мягко ударил себя несколько раз по лбу Кандуша.— Прошу разрешения вашего — официально сообщить, письменным документом, за полной своей подписью, позволю выразиться? За полной, как есть: Пантелеймон Никифорович Кандуша.

— Как хочешь!

— Так лучше будет. Имею наблюдение, — сознаюсь, — почти постоянное и для умственных заключений вполне полезное и отличное. Разрешите восвояси вернуться? — закончил Кандуша разговор и снял руку со стола.

— Иди, — кивнул ротмистр. И он с любопытством посмотрел на писаря.

Кандуша был такого же роста, как и Басанин, — выше среднего, широкоплечий, но плечи казались уж больно широки и мягки: мешковатый пиджак лежал на них немного свисло и топорщась. Копна под скобу подстриженных темно-русых длинных

волос, разделенных сбоку пробором на две неравных части, была тяжела и густа: волосы были смазаны какой-то пахучей маслянистой жидкостью и аккуратно приглажены щеткой. Покрытая длинными тяжелыми волосами голова казалась непомерно большой и раздуто-круглой.

Землистый, зеленоватый цвет лица никогда не пропускал сквозь себя иной краски, и хилый, редкий волос на щеках и подбородке пробивался меж овальными прыщами и прыщиками, как выжженный вереск среди камней и кочек. Но прыщи не всегда были сухи: то под ухом, то на скуле синел кровавый след,— это вчера еще, наверно, Кандуша выдавливал прыщики, а сегодня присыпал их тальком.

Темные глаза были мутны, как разбавленные чернила, а зрачок мал и совсем незаметен.

«Прохвост, ах, какой прохвост,— подумал Басанин, отпуская от себя писаря.— Ну, пойми ты что-нибудь по таким глазам египетским!»

— Погоди! — окликнул он Кандушу, подходившего уже к дверям, и оглянулся быстро.

— Слушаю! — обернулся тот.

Взоры их столкнулись: Кандушин блеснул на мгновение короткой отсыревшей спичкой усмешки и радости.

— Мечтаешь слишком,— сказал вдруг ротмистр холодно, непристеливо.— Далеко залаезешь, брат. Ты не о Петербурге мечтай,— слышишь? Ты — об Ольшанке, слышишь? Об Ольшанке думай! — сбрасывал ротмистр с небес на землю своего писаря.— Ты мне наших кожевников подай — вот что. Их! Их! — стал покрикивать Басанин.— Ты что: батьку своего родного Кандушу... ольшанского Кандушу не можешь там приспособить? Не можешь, что ли? Можешь. Теперь время такое. Собрать мне все дела об Ольшанке! — распорядился ротмистр. Он не хотел повторять ошибок прошлого.

Унтер-офицер Чепур не знал истории, унтер-офицер Чепур обязан был знать только служебный устав.

Это ротмистр Басанин кончал в Петербурге жандармские курсы и потому должен был изучить законы и повеления всех императоров; унтер Чепур, бывой кавалерист, знал повеление только одного существующего — в России царствующего: ищи, следи, унтер-офицер Чепур, за недругами моими внутренними и доноси о них по начальству, и жизнь тебе тогда, Назар Назарович,— калач с маслом и мед ковшом!..

Легко уверовал в это повеление Чепур, и жизнь пошла с тех пор теплая, добротная — как царева шуба. Под горой, у самой реки, стоял крепко сколоченный, небольшой и немалый дом Назара Назаровича; сад в полдесятины давал сладчайшую вишню на варенье, вишню эту продавала жена на базаре. По двору Назара Назаровича бродила без счету всякая живность, и свинья и порося-

та — отправь их на выставку — могли бы принести славу своим весом и тучностью. Весной и летом приносили немалый доход мужская и женская купальни, выстроенные тут же у дома, на реке, и десяток лодок для катанья; купальнями и лодками ведал тесть-приживал, рыбак, прибылью — унтер Чепур.

Жена была тихая и покорная, в дела мужа не вмешивалась и только оставила за собой право следить за обоими детьми — мальчиками — и воспитывать их. И гордостью Назара Назаровича был старший сын Ваня — темный рыжик, низенький, близорукий, в очках, приносивший каждый год похвальные листы и награды и кончавший теперь смирихинскую гимназию. Учился Ваня бесплатно, на казенный счет, благодаря тому, что отец числился в табеле государственных служащих, которым повелено было давать всякие льготы, и был особенно любим инспектором гимназии как юноша «чистосердечный и патриотически настроенный». И то что, начиная с пятого класса, Ваня носил очки, как у инспектора Розума, аккуратно ходил на все гимназические молебны и мало с кем дружил из товарищей, — все это казалось Назару Назаровичу лишним предзнаменованием того, что сын — умница, в недалеком будущем станет не то инспектором, не то каким-нибудь ученым человеком, а может быть, пойдет и дальше в своей карьере: важным чином в министерстве. Для младшего Петьки — второгодника и буяна — о большем, чем служба околоточного надзирателя, Назар Назарович и не мечтал.

Унтер Чепур любил своих детей, семью, свой дом, поросят, вишневый доходный сад. Родная страна, Россия, была для Назара Назаровича Чепура не столько отчизной его народа, сколько необозримо-великим хозяйством его царя. И если вспоминал о ней в будничном разговоре и говорил слово «Россия», — разумел искренне государя (верней — портрет его, так как самого никогда не видел), власть имущих государственных чиновников и офицеров, православную церковь и себя самого. Выше этого понятия мысль никак не возносилась: как выпускающий воздух, утерявший свою форму мяч, не перелетающий больше через забор.

Унтер Чепур знал и видел только Смирихинск да два смежных уезда — ротмистровы владения, почитал людей высшего звания и строго нес службы русского жандарма.

«Чур! Наше место свято!» — в испуге, в испуге крестился и кричал на всю Россию из года в год призрак революции синодский и министерский Санкт-Петербург; «свято, свято...» — зловещим предостерегающим шепотным эхом словно откликались гробницы-усыпальницы сторожевой Петропавловской крепости; «чур, чур — наше место свято!» — одержимый падучей и безумием страха надрывался тогда Санкт-Петербургский Зимний дворец и крестил Россию острой казацкой шашкой.

Тогда вставал ночью унтер Чепур, брал земских лошадей, выезжал в уезд и привозил оттуда в ротмистрово управление малокровную, с горящими глазами, сельскую учительницу, мужика,

плюнувшего в бороду волостного старшины, или заводского парня, читавшего товарищам запрещенную литературу.

Привозил, сдавал их господину ротмистру, закручивавшему при встрече упавший,низу растопыренный, как у кота, жесткий ус, и отходил в сторонку, дожидаясь приказаний. Ротмистр подзывал к столу арестованного, всматривался, щурясь, в растерянное, взволнованное лицо. И, нервно играя приподнятым плечом, шевеля им серебряный с красным просветом погон, начинал медленно допрос: «Сознайтесь во всем для облегчения своей участи...»

Потом, вспомнив, что унтер-офицер Чепур ждет распоряжений, ротмистр поворачивал в его сторону голову и милостиво кивал ему:

— Можешь отдыхать, Чепур.

— Слушаю, ваше благородие! — признательно и с достоинством (чтобы оценил арестованный...) отвечал Назар Назарович и выходил из комнаты, легко, почти на цыпочках ступая по полу.

Уже по канцелярии управления и по коридору он шагал в полную ногу, четко позванивая шпорами, но еще сохраняя свою походку, выверенную и созданную долголетней солдатской службой, — походку прямую, грудью вперед, твердо ставя ступню. Но когда выходил из управления, — по четырем ступенькам с крыльца спускался замедленно, самодовольно и лениво покачивая тяжелое тело, — невольно подражая тем походке своего начальника ротмистра, кривил оттого каблук, и шпоры звенели коротко, но громко и внушительно.

Возвращаясь домой, съедал целую миску жирного борща с пшенной кашей и сладкой фасолью, потом пил чай с вареньем и медом и, взглянув на икону, но не крестясь на нее, ложился в теплую, со свисающей к полу пышной периной, постель.

«На бога положиться — не обложиться», — учил и себя и свою семью обласканный жизнью унтер Чепур.

Возвращение в смирихинский уезд «политического» Ивана Теплухина несколько нарушило обычное течение жизни Назара Назаровича: вот уж когда пришла неожиданно-негаданно забота и служебная ответственность!

Департамент полиции сообщил, что в вверенный ротмистру Басанину район направился отбывший ссылку сын фельдшера смирихинского уезда — Иван Митрофанович Теплухин, за коим учинить бдительное наблюдение со дня его прибытия на место жительства, донося впредь все относящееся к жизни сего Теплухина по принадлежности в Третье отделение. Ротмистр отдал Теплухина под усиленный надзор унтер-офицера Чепура и его секретной агентуры.

В душе Назар Назарович подосадовал, что «политический» этот поручен ему, а не унтер-офицеру Божко, который, казалось, всегда избегает длительной и хлопотливой работы; но мысль о том, что эта работа принесет в случае успеха награды не унтеру Божко, а ему, заставила Чепура с первого же дня наладить наблюдение тщательно и, — по оценке ротмистра Басанина, — добросовестно.

В течение полутора месяцев каждую неделю ротмистр Басанин получал подробную рапортичку о жизни Ивана Теплухина в Снетине, у отца, и в городе, куда иногда приезжал. Поведение и занятия «Неприветливого» (такова была кличка Теплухина) также подробно освещались ротмистром в донесениях, которые посылал к пятому числу каждого месяца в губернское жандармское управление и в департамент полиции.

Последнюю свою рапортичку, прежде чем отнести ее ротмистру, Назар Назарович внимательно просмотрел несколько раз, вспоминая, все ли он вписал в нее, что стало ему известно о жизни поднадзорного за истекшие дни.

«...Еще сообщаю,— читал он про себя,— что бывал Неприветливый много раз в снетинском доме покойного его превосходительства генерала Величко, Петра Филадельфовича, с каковой дочерью Галаган видали их также вдвоем гуляющими по величинкой экономии. Первого сего месяца февраля Неприветливый с указанной выше госпожой, а также житель города фабрикант Карабаев ездить-ездили на сахарный завод и обедали там на квартире г. управляющего. Про что разговор был, установить точно не удалось. Житель города Карабаев поехал из завода на станцию Ромодан, к поезду, двое же остальных лошадьми вернулись в Снетин. На заводе Неприветливый со служащими разговора не вел и держал себя вполне конспиративно...»

На этом месте своей рукописи Назар Назарович задержался глазом дольше обычного: начертание последнего слова, которое должно было так точно говорить о *существе* всегдашней его, унтера Чепура, службы и занятий, каждый раз тем не менее вызывало в нем сомнения. Вместо «конспиративно» писал то «конспрактивно», то «конспрективно». Хотя сын Ваня учил писать правильно.

«Еще сведения про Неприветливого давали бессознательно родичи его, а именно, что желает будто проситься на официальную службу, по какой специальности — неизвестно».

Кладя рапортичку в карман и одеваясь, чтобы идти к ротмистру, Назар Назарович с надеждой подумал о том, что хорошо было бы, если бы Иван Теплухин устроился где-нибудь на службу в городе: не вызывал бы такой тщательной заботы. Чепур знал, что в городских учреждениях у ротмистра Басанина имеются «свои люди», которым и будет передан надзор за «конспрактивным» Теплухиным... Назар Назарович искренне желал им удачи.

Ротмистра не застал в управлении.

— Куда? — кратко спросил Назар Назарович, обращаясь к писарю.

— Эстафеты позади себя не оставляют, Павел Константинович... — иронически усмехнулся Кандуша, недолюбливавший ротмистровых помощников. — Но, между прочим, предполагать могу. Умозакляю, что ушел по делам не официальным и прямо противоположным.

— Не егози, брат! — поморщился Назар Назарович. — Я по-служебному спрашиваю: где могу видеть господина ротмистра?

- Срочно?
- Мое дело!
- Новости?
- Господина ротмистра дело!

— Э-эх! — вздохнул укоризненно Кандуша и подошел поближе к унтеру Чепуру. — Вот вы всегда так, Назар Назарович... Я к вам вполне с чистосердечием, а вы до меня, — извиняюсь за выражение, — унтер-офицерским тылом. А я не такой, амбиций не строю. На амбицию, говорят, чина не спросишь. Да-а... Вы меня про Павла Константиновича спрашиваете? Ну, почему действительно не сказать своему человеку. Ушел господин ротмистр по делам не официальным, а прямо даже противоположным. Мог бы потому не говорить, а скажу. Вам скажу: по делам женским.

— Фью-фью! — свистнул Чепур и свистом этим сорвал свой официальный до того тон беседы. — Среди бела дня да по женским?

— Ну да. С известной вам дамой. Потому фигурировала эта женщина однажды в донесениях ваших Павлу Константиновичу. Господи, боже мой! Чему удивляетесь... Сказать бы — новичок вы... На машинке кто донесения по принадлежности переписывает?.. кто? Я! Доверие имею — сами знаете. А раз доверие — значит, могу умозаключить, какие голуби в чьей голубятне. Так?

— Я зайду еще к господину ротмистру, — сказал Чепур сухо. — Прощай. Часы дослуживай! — И, не оглядываясь, он вышел из управления.

— Эх, дурак! — уронил громко Кандуша, как только захлопнулась за унтером дверь. Мысленно он обругал жандарма еще крепче.

Впрочем, так он относился в душе не только к Чепуру. Он недолюбливал и другого унтер-офицера — Божко, он почти презирал и своего начальника — ротмистра Басанина.

Двое первых казались всегда Кандуше приспособившимися к делу служаками, без инициативы и без внутренней преданности *идеи* своей службы, и к тому же людьми, ограниченными по своим умственным способностям и немало жадными к благам, дававшимся им этой самой службой. В его представлении это были *ремесленники*, иногда умеющие, а иногда и не умеющие выполнять работу «на заказ».

К ротмистровым унтерам Кандуша и не хотел, в сущности, предъявлять больших требований. Но другое дело — жандармский ротмистр Басанин...

Ротмистр Басанин разочаровал Кандушу: он оказался таким же ограниченным, лишенным инициативы человеком, как и оба ему подчиненных унтера. Он тоже представлялся только ремесленником — старшим по чину, а скрытая мысль Пантелеймона Кандуши, еще никем не оцененного сотрудника провинциального и заурядного охранного отделения, искала и ждала не будничного ремесла, а таинственного, волнующего искусства.

Он видел явную несправедливость судьбы.

Дворянское происхождение? Да, он — Кандуша — должен

был родиться дворянином, сыном какого-нибудь полковника, а не мальчишкой в семье ольшанского мужика, отдающего теперь всю жизнь свою чужому кожевенному заводу.

Образование и служба? Он мог бы, как и ротмистр Басанин, кончить корпус и специальные курсы, получить чин жандармского офицера, а не учиться только в четырехклассном городском училище и служить теперь писарем и машинистом в бесталанном ротмистровом управлении.

И если бы все это басанинское было у него, Пантелеймона Кандуши,— о, как смог бы он показать свое старанье и таланты! Правда, он не отчаивался: то, что не было дано ему до сих пор судьбой, могло быть завоевано жизнью. Можно завоевать — но не здесь, не в тихом и скучном ротмистровом управлении!

Сыскная служба представлялась Кандуше наиболее острой и интересной из всех иных. Она требует изощренности и ловкости, хитрости и коварства и — полного проникновения в настроенную психику врага. А враг казался притаившимся, расползающимся по всей России, и находить его, угадывать и обезвреживать — для этого требовалось своего рода искусство.

Ротмистр Басанин не владел этим искусством, по мнению Кандуши,— он не старался даже постичь его,— и не оцененный пока никем писарь презирал в душе своего бесталанного и ленивого начальника.

«Филером... филером не годится — не то, что начальником района,— думал с досадой о нем Кандуша.— Куда ему ротмистром быть: на кота широко, на собаку узко».

И он вспоминал департаментскую, хорошо заученную инструкцию по организации наружного наблюдения. Господи, боже мой,— да разве такой ротмистр Басанин, каким *филер* должен быть по департаментской инструкции?!

«Филер должен быть,— писалось там,— политически и нравственно благонадежный (Кандуша, обдумывая, загибал один палец), твердый в своих убеждениях, честный, смелый (одной Кандушиной руки уже не хватало), ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый (обе руки сжались в слабый, беззловбный кулак), настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности — с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устранила бы напоминание его наблюдаемыми. Но при всех достоинствах чрезмерная нежность к семье или слабость к женщине — качества, с филерской службой несовместимые и вредно отражающиеся на службе...»

Двадцать три качества насчитывала инструкция для простого филера, а было ли их хоть пяток у *ротмистра* Басанина?!

У него не было нежно любимой им семьи, но слабость ко многим женщинам он питал чрезмерно и без разбора... И сколько уже



раз аккуратный и услужливый писарь был бескорыстным помощником в этих неловких интимных делах?..

Но иногда презрение его распространялось не только на одного ротмистра и его сотрудников, но и на весь ротмистров район, на все три города и уезда, отданные ротмистру под надзор.

Кому знать еще, как не Кандуше, тихостную и неспешливую жизнь трех одноликих Смирихинских. Господи, боже мой, сколько людей втихомолку *думают* противоправительственно, но ни один не *действует*.

И когда время от времени унтеры привозили какого-нибудь «политического», Кандуша с жадностью всматривался в его лицо, в его одежду, в его походку, ища во всем этом чего-то необыкновенного, еще не виданного, что должно было отличить этого человека от всех остальных знакомых и понятных людей. Но незнакомцы ничем не разнились по внешнему виду от сотен других горожан и мужиков, — и Кандуша уже с озлоблением думал о том, что тихостные ротмистровы уезды, неспешливый, притаившийся Смирихинск ловко обманывают его, Кандушин, глаз, его догадливость тайного *ловца* человек.

И каждый раз после привода нового «политического» Кандуша с удвоенным вниманием и упорством, долгими часами рылся в громадном, во всю стену, плоском шкафу, в котором помещалось тайное тайных всего ротмистрова управления. Кроме Басанина, только он один имел право, по обязанности своей службы, обозревать заключавшееся в шкафу. Это было последнее изобретение охранного отделения — «дуга сведений о домах и лицах наблюдаемых».

На дугу надевал Кандуша листки трех цветов — в порядке номеров домов по каждой улице. На первый — красный — заносились все сведения о доме по агентуре и делам. Второй — зеленый — служил ротмистру сводкой всего наружного наблюдения: на нем аккуратный Кандуша отмечал отдельно, кто, когда и кого посетил в этом доме. А на последний — белый — были нанесены фамилии лиц, живущих в доме. Все три листочка накладывались по порядку один на другой. Сотни человеческих жизней, тысячи людских поступков отмечались — неведомо для этих людей — на таинственной дуге, собравшей на себе всю ловкость и рвение продажных доносчиков и шпионов.

Ротмистров сотрудник, Пантелеймон Кандуша, занимался этой дугой, как настройщик — клавиатурой рояля. И как тот по несколько раз проверяет чистоту и правильность звука, так и Кандуша неустанно следил за клавиатурой доносов.

Стоя у шкафа, он отгибал и просматривал каждый цветной листочек.

«А... вот, вот: о тебе, голубок, и забыли! Нехорошо, нехорошо... — неслышно разговаривал он с кем-то, почему-то вдруг начинавшим интересоваться его. — А мы напомним... мы про тебя, пипль-поплъ, напомним. А мы пощупаем, пипль-поплъ, проверим...»

Слово «пипль-поплъ» было выдуманно самим Кандушей. Что точно оно означало — он и сам не знал, но употреблял его часто (особенно в разговоре с самим собой) и по самым различным поводам. Произносить это слово вошло уже в привычку, но тем не менее он все же вкладывал в него то тайное, не поддающееся пониманию со стороны содержание, о котором можно, при каждом отдельном случае, только догадываться по той *интонации*, с какой произнесено это слово.

И на следующий день Кандуша говорил ротмистру Басанину:

— Позволю себе сказать, Павел Константинович, давно что-то о господине Ставицком из городской управы ничего не известно... Не освещается, позволю себе высказаться... Как у покойничка будто благонадежность получается. Хорошо бы сию «могилочку» открыть... да проверить...

— Ты думаешь? — встрепенувшись, спрашивал Басанин.

— Умозакляю так, Павел Константинович, по личному «делу» господина Ставицкого. Не прозрачен человек и сомнителен все же. А всякого человека, позволю сказать, надо сквозь хребет просмотреть, нервик каждый выузнять, слово на пластинку взять — во!

Когда на сикофантской дуге появился новый, свежий листок Ивана Теплухина, а на белом листке фабриканта Георгия Павловича Карабаева появились отметки о брате его — члене Государственной думы, Кандуша ощутил вдруг такое возбуждение и радость, каких не испытывал уже очень давно.

— Трепещу, трепещу ведь, Павел Константинович! — говорил он ротмистру Басанину и был искренен в своих чувствах. — За крылья сего орла (он разумел депутата Карабаева) державшись, прибыть можно в Петербург... да, да! Господи, боже мой! Чин заслужить можно, жизнь веселую.

Все это относилось как будто только к ротмистру Басанину, — на самом же деле в этот момент Кандуша мечтал о своей собственной удаче.

Он был спокоен и не ждал сейчас этой встречи, хотя все это время предполагал, что рано или поздно она может произойти.

Он заканчивал свои служебные дела, — как в этот момент в коридоре послышались чьи-то незнакомые шаги, и спустя секунду в канцелярию жандармского управления уверенной быстрой походкой вошел человек и, сделав несколько шагов от двери, остановился посреди комнаты, мельком оглядывая ее. Он увидел тотчас же настежь распахнутые дверцы дубового канцелярского шкафа, между которыми стоял Кандуша: внизу, за дверцей, видны были только его близко поставленные одна к другой ноги, не спеша повернувшие теперь носок в сторону.

— Могу я видеть господина ротмистра? — заметив движение этих ног, спросил вошедший.

Левая дверца медленно, с гнусавым скрипом захлопнулась, и Кандуша, повернув голову в сторону вошедшего, натолкнулся на его встречный любопытствующий взгляд.

— Пантелейка!.. Пантелеймон... ты? — вскрикнул вошедший человек, шагнув к Кандуше.

И как камень о камень высекает короткую, мгновенную искру, так память обоих, столкнувшись друг с другом, уронила ее брызгами первых сорвавшихся слов.

— Что? Как? — отступил слегка Кандуша. — Здравствуйте... Совершенно верно: это я, Иван Митрофанович... я, — заставляя себя успокоиться, сказал он, прищурившись, скрывая свои встревоженные глаза. — Я... я, — повторил он опять, и это «я», как он произносил его сейчас, усиливая каждый раз, каждый раз все тверже, как будто служило ему средством не то самозащиты и собирания самого себя, не то наступления в одно и то же время на так неожиданно появившегося здесь противника — Ивана Теплухина.

— Ты... в охранным отделении?

— Письмоводительствую... всего лишь, Иван Митрофанович. Служу по бедности, а распоряжаются другие, как вам известно...

— Однако...

— Упрекаете? Что ж, упрекайте, Иван Митрофанович. Презирайте. Не всем в Сибирь мучениками ходить: мы люди маленькие, нестоящие... Сломило... сломило нас, силенки надорвало, — сознаюсь, конечно. Да вы шапку... шапку снимите: жарко тут... Да и портрет царский, пипль-попль, обязывает! Не так?

Он уже в полной мере овладел собой и вел свою привычную игру, как вел ее почти с каждым собеседником, подсовывая ему, как силки птице, сразу несколько фраз различного содержания, чтобы тот, растерявшись, не знал, на какую ему в первую очередь ответить. И тем временем всматривался в нерешительности топтавшегося на одном месте Ивана Митрофановича.

— Да вы садитесь... садитесь, пожалуйста. Честь и место.

Нет, не очень изменился за эти годы Иван Теплухин. На присланной из департамента фотографии он был бородат, и борода, обрамлявшая все лицо, настолько преображала его, что Кандуша в первый момент не узнал тогда своего близкого знакомого, земляка. Но сейчас... сейчас Теплухин был таким, каким знал его четыре года назад.

Тот же резкий короткий взгляд серых глаз, круглое лицо с маленьким, слегка вздернутым носом и чувственные, расстегнутые губы — большеротый человек...

— Честь и место! — повторил он, садясь за стол и приглашая туда же Теплухина. — Эх, пипль-попль, долго не виделись! Судьба играет человеком, позволю себе высказаться.

— Откуда столько наглости у тебя — у Пантелейки? — не скрывая нарочито насмешливого и недружелюбного отношения к нему, подошел поближе Иван Митрофанович и, секунду поразмыслив, снял шапку и опустил на стул.

— Оттуда же, Иван Митрофанович, откуда у вас теперь порядочность и натуральное, как говорится, спокойствие, — также под-

черкнуто невозмутимо ответил Кандуша. — Зачем пришли к господину ротмистру? Давно мы не видались — это верно...

— Доложи ротмистру Басанину, что мне нужно выяснить с ним один вопрос.

— Касательно?

— Касательно того, что может интересовать только меня.

— Не доверяете... мне не доверяете? Господи боже мой! — как-то неожиданно печально и серьезно вздохнул Кандуша и перегнулся через стол к Ивану Митрофановичу. — Воля ваша, конечно, а напрасно не доверяете. Теперь можете доверять. Смысла мне нет вас обманывать: вы мою планиду видите, а я — вашу. Так? Вражды, — как, например, вражды личной, — нет у меня к вам? Нет. Уважал я вас? Уважал. Эх, вспомните только, Иван Митрофанович... Пойдите, не перебивайте... Верил я вам? Верил. Пить-попить! Атаманом своей души считал драгоценного Ивана Митрофановича! Может, вру? Сами знаете, так оно было, так... Брошюрки, прокламации по всем углам разносил, нелегальные листки чуть не городовому на спину наклеивал...

— Вот именно — городовому. Наверно, в руку ему совал да называл тайком наши фамилии.

— Не смеет! — вскрикнул Кандуша, и черные фитили его глаз зажглись на мгновение неподдельным гневом. — Не смеете так говорить, слышите? «Пантелейка»! Презрительно теперь называете, — а раньше? Кто раньше не щадил себя, позволю себе высказаться? Кому важную, опасную работу поручали? Мне, Пантелейке. Только называл тогда так — с дружбой, с любовью даже...

— Напрасно, значит.

— Нет, тогда — не напрасно. Не перебивайте, дайте досказать. Если уж встретились, выслушайте до конца. Вас и всех ваших товарищей по каторжной дороге увезли, а я остался. Кто знал меня? Никто, никогда. Что я емь, что был тогда? Ну, что? Ну, ноготь с пальца вашего, Иван Митрофанович... Не больше. Кому ноготь срезанный во вред пойдет, — не так? А срезали тогда всех начисто, под самый корень... Революция или послабление государственной власти? Не будет ничего такого в России нашей — крышка! Выдуло сие помышление, как пыль с камня. Видали теперь Россию? А-а... то-то же!

— Мне нужен ротмистр, — перебил его Теплухин, хмуря брови и нетерпеливо поглядывая на плотно прикрытые двери в соседнюю комнату. — Болтай, болтай, — на язык пошлости не ставят.

— Доскажу, доскажу вам, Иван Митрофанович...

— Хорош охранник, который так исповедуется! — вдруг зло усмехнулся Теплухин. — Смотри, Пантелейка, выдует и тебя отсюда... Смотри.

Кандуша выпрямился на стуле, но через секунду вновь перегнулся через стол и, прищурившись, посмотрел вызывающе на собеседника. Иван Митрофанович увидел близко перед собой очень реденькие и жесткие, как мочало, Кандушины сероватые усы — словно не живые, не растущие на губе, а натканные в нее каж-

дым волоском порознь, и среди усов — свежий выдавленный прыщик. «Гнилушка какая», — невольно отодвинулся Иван Митрофанович.

— Господин Теплухин, — медленно выговаривал слова ротмистров писарь. — Господин Теплухин, глупо и напрасно пугаете меня — государственного верного служащего. Понятно? Заблуждения своего молодого прошлого не имею надобности скрывать от своего начальства. Понятно? А вам говорю: выдуло всякие болезненные помышления, потому вижу и убеждаюсь, как ваше собственное, Иван Митрофанович, буйство умертвилось. Умертвилось окончательно и с пользой для вашей личной жизни... Не так разве? Выходит, буйство всякое требуется своевременно пресекать, — и польза будет и человеку этому и нашему государству. Жалею, что так гордо отвергли, позволю себе сказать, душевную нашу беседу по-приятельски: в противном случае мог бы пояснить вам свою исправленную биографию. Пожелаете когда — не откажусь. Вот и все! Господина ротмистра нет, кстати, а когда придет — доложу: приходил господин Теплухин Иван Митрофанович — не то за советом, не то...

Но продолжать было уже бесцельно: услышав, что ротмистр отсутствует, Теплухин, не говоря не слова, поднялся со стула и быстро вышел.

— Пипль-поплы! — проводил его непонятно звучащим словом ротмистров писарь и в сильном раздражении переломил надвое попавшийся под руку карандаш.

## *Глава шестая*

### ОБЕД В ЧИНОВНИЧЬЕМ КЛУБЕ

Как условлено было с Людмилой Петровной, ротмистр Басанин зашел в чиновничий клуб и занял, поджидая ее, отдельный столик в боковой комнате. Днем в клубе бывало сравнительно мало посетителей, так как почти все члены его обедали дома и приходили сюда к вечеру — к зеленым карточным столикам, чтобы «записать пульку», или сыграть в макао, или иногда посмотреть спектакль на устроенной здесь же сцене, или — по воскресным дням — послушать концерты, даваемые смирихинским «Обществом культуры и разумных развлечений».

Ротмистр заказал обед для двоих, но попросил повременить с ним, покуда не прикажет.

Толстый седой буфетчик Семен Ермолаич, тридцать пять лет кормивший сначала дворян, а после — чиновников и всех именитых и благонамеренных горожан, знал не только вкус каждого, но и капризы его желудка, почек и печени так же хорошо, как и материальные и личные дела посетителя. Многие из них были, тайком от других, его постоянными, а иногда и долготелыми должниками, но старый буфетчик никогда не давал им этого чувствовать. Проигравшемуся в карты он вручал поспешно золо-

тую пятирублевку — так, словно он сам был должником неудачника:

— Прошу прощения, прошу прощения, Иван Андреевич. Мне бы, неучу, и самому бы след догадаться...

И нетерпеливый и благодарный в душе Иван Андреевич брал золотую монетку и быстро, двумя пальцами, опускал ее в нижний кармашек своего потертого, с золотыми чиновничьими пуговицами жилета и этой же рукой похлопывал потом по плечу добрейшего буфетчика:

— Так вы не забудьте, Семен Ермолаич: теперь пять да в прошлом месяце десять...

— Уж вы не надейтесь, — отвечал старик. — Забуду, обязательно забуду: на такие дела памяти нет.

Он, старый буфетчик, считал себя близким, тесно связанным всей жизнью, всем ее прочным укладом со всей этой средой бар, помещиков и чиновников.

В свое время, многие годы назад, благодаря балам и кутежам этих людей он составил себе приличное состояние. Но, составив его, он не стремился к дальнейшему обогащению; к тому же обмельчание и значительное материальное оскудение обслуживаемого им сословия сказалось и на делах самого Семена Ермолаича. Он не искал уже прибылей и потому не ушел купечествовать, как сделал бы другой на его месте. Он остался верен не только своему первоначальному занятию, но и той традиционной среде, неустрашимым свидетелем жизни которой он был в эти годы. Он жил ее интересами, потому что они стали как бы его собственными. Иное отношение ко всем этим Иванам Андреевичам он почитал бы недостойной изменой со своей стороны. Он никогда не проявлял к ним уголивости и лакейского низкопоклонства, а они, начиная от старшин клуба и кончая случайным посетителем, были всегда с Семеном Ермолаичем учтивы и доброжелательны, — и потому он считал свое долголетнее занятие почетным и несомненно полезным.

— Обед изволили, Павел Константинович, заказать на двоих? — спросил он медленно, не спеша подходя к столику.

— Да, да... но не сейчас.

— Уведомлен, уведомлен официантом. Однако позволю себе доложить: заходил часом раньше господин студент один, сынок покойного его превосходительства Величко, и заказал сервировку на четверых, притом сказал: «Обедать будет с нами господин ротмистр». Просил передать, пусть самостоятельно, значит, господин ротмистр не заказывает. Как прикажете теперь, Павел Константинович?

— Четыре нас будет? А кто же это четвертый? — недоумевая спросил ротмистр, отбрасывая в сторону последний номер «Нивы», который читал здесь, чтобы убить время ожидания. — Вам не называли?

— Никак нет, Павел Константинович, не упоминали.

— Что ж... ладно, — согласился ротмистр, пожав плечами.

— Считал обязанностью, считал долгом...

Семен Ермолаич так же вперевадку, не спеша, как подошел раньше, двинулся к дверям.

Ротмистр Басанин мог предполагать, что вместе с Людмилой Петровной придет ее брат — студент, но еще об одном своем спутнике она не предупреждала Басанина, и он теперь тщетно пытался предположить, кто бы мог оказаться этим человеком. Уже было три часа, а Людмила Петровна не появлялась. Он взял опять журнал и углубился в чтение какого-то неизвестного до сего романа; иллюстрации он бегло просмотрел еще раньше.

Во владениях Семена Ермолаича царил тишина. Только из бильярдной комнаты доносился сухой, костяной звук шаров да изредка позванивала, вздрагивая от провалившегося в нее шара, дряблая луза; то упражнялся в игре скучающий здешний маркер.

За дверью, в театральном помещении, шла репетиция какой-то пьесы, и десяток раз одни и те же, неестественно взведенные голоса повторяли одни и те же — очевидно, плохо понятые актерами — фразы. И Басанин, невольно прислушивавшийся к ним, запоминал почти каждое громко произнесенное слово. Несколько раз он хотел вникнуть в их смысл, но его мысль и внимание были все время отданы другому: читая журнал, слушая репетирующих актеров и прислушиваясь к каждому новому голосу, раздававшемуся в вестибюле клуба, он думал только о предстоящей встрече с Людмилой Петровной.

И когда он услышал неподалеку уже ее голос, быстро встал, сделал несколько шагов, но тотчас же остановился, сдержанный лукавой и осторожной советчицей мыслью: «Подождем, подождем. Излишняя инициатива вредна-с... Да, да».

Он сделал вид, что не предполагает даже о ее присутствии здесь, и, приняв небрежную позу, — широко расставив ноги, заложив руки за спину и сцепив их там пальцами, покачиваясь на одном месте и посвистывая, — он слегка закинул голову, уставился в зеленую афишу, извещавшую об очередном спектакле. Времени было достаточно, чтобы пробежать ее глазами всю, но Басанин только и видел перед собой то, что бездумно, бессмысленно повторял сейчас про себя: «Рюи-Блаз», драма Виктора Гюго... «Рюи-Блаз», драма Виктора Гюго...

— Да вот ведь где господин ротмистр! — громко сказал, переступая порог, студент, и тогда только ротмистр Басанин оглянулся, выпрямился и шагнул к входившей Людмиле Петровне.

Она протянула ему руку, и он чуть задержал ее, прикладываясь к ней губами.

— Вы, кажется, знакомы? — улыбались глаза Людмилы Петровны, и она, не оглядываясь, прошла вперед, давая дорогу своему спутнику.

Это был Георгий Павлович Карабаев.

— Знакомы, Людмила Петровна.

— Так точно. Встречались раза два-три в присутственных местах.

— Два раза,— поправил и уточнил со свойственной ему привычкой Георгий Павлович, здороваясь с ротмистром.

Басанин сначала коротко пожал теплую, слабо ответившую руку Карабаева, потом — длиннопалую и порывистую студента и направился вместе с ними к столу, за который села Людмила Петровна.

Официант проносил на ладони кому-то в соседнюю комнату открытый судок, из которого шел пар: запахло томатом, кореньями.

— Голодна, голодна ужасно!— живо, простодушно говорила Людмила Петровна, по-ребячьи хмуря брови и вытягивая свои тонкие, вырезанные серьгой ноздри, словно хотела вобрать в себя запах всей кухни Семена Ермолаича.

— Я заказал...— поспешил сообщить о своей распорядительности ротмистр Басанин, но студент перебил его:

— Все уже готово: Людмила Петровна как хозяйка выбрала уже меню... вот видите, господа, уже несут, несут тарелки, ложки... Действительно, есть хочется...

Официант нес сервировку, а следом за ним, плавно переваливаясь, плыло тяжелое, медлительное тело старого буфетчика. Да, тут требовалось его, Семена Ермолаича, неперменное участие: разве суметь простому официанту примирить и сочетать вкусы на вина столь различных господ, как эти?

Вина предлагал и выбирал Георгий Павлович: он заказал наиболее дорогие. Буфетчик спокойно, как всегда, но с особым вниманием и почтением прислушивался сейчас ко всем указаниям Карабаева. Георгий Павлович сидел вполоборота к нему, но Семен Ермолаич смотрел не на него и ни на кого из присутствующих, а в сторону, на белый кафель печки — как будто там, на ней, запечатлялись кем-то подробные распоряжения барина-заказчика. Георгий Павлович Карабаев говорил повелительно, мерно, не повторяя дважды своих желаний,— и неприятно и совестно было старому буфетчику ошибиться перед ним.

Нечто схожее испытывал сейчас и ротмистр Басанин.

Он с досадой подумал о том, что фабрикант сумел так незаметно и неоспоримо руководить сегодняшним обедом и, следует ожидать, предстоящим разговором в эту встречу. Ясно было, что Карабаев решил оплатить весь этот обед и потому выбирал самое дорогое вино и фрукты,— и ротмистр Басанин не мог счесть для себя возможным как-нибудь вмешаться в этот выбор.

Присутствие здесь этого, независимого по своему положению, богатого человека некоторым образом подавляло ротмистра. Это состояние подавленности, неудобства он всячески старался скрыть от Людмилы Петровны.

«Зачем пригласила меня?»— досадовал ротмистр.

— Мы немного задержались,— говорила Людмила Петровна.— Дела, дела! Тяжело быть наследниками какого-то хозяйства, какой-то земли, завода. Ни я, ни Леонид, конечно, абсолютно не приспособлены заниматься всем этим. А вот приходится.



— Если не ошибаюсь, — вставил ротмистр, — Георгий Павлович может предложить вам свою авторитетную помощь?

— Да, да. Это верно. Он мог бы лучше распорядиться заводом. Но надо еще подумать, надо еще посоветоваться с Михаилом Петровичем, со старшим братом. Леонид уезжает сегодня в Петербург. Ну а там посмотрим... Ведь правда, так лучше будет? — обратилась она к Карабаеву, отпустившему уже буфетчика.

— Простите, я не слышал. Людмила Петровна, вашей беседы.

— Это все продолжение сегодняшних наших деловых разговоров. Все о том же заводе.

— А-а... — протянул Георгий Павлович. — Завод хорош, может давать прочную прибыль, но требуется коренная реорганизация всего хозяйства его и руководства. Основное: свекловичные плантации должны быть собственностью завода, а не в аренде постороннего человека. И чем умней и предприимчивей этот человек, тем по существу опасней он для заводского хозяйства.

— Почему? — спросил студент, хотя он меньше всех интересовался этим разговором.

— Очень просто: он, заготовитель сырья, будет всегда держать вас в зависимости от своих собственных расчетов. А если еще договорные отношения с ним оформлены не слишком строго... — Карабаев мягко, но иронически улыбнулся в сторону обоих nasledников... — если не совсем предусмотрительно, то...

— Ах, боже мой, все верно, верно! — словно отгоняя от себя какую-то неприятную мысль, воскликнула Людмила Петровна. — Надо прямо сказать: никуда наши помещики не годятся. Никуда.

— Вы так серьезно думаете? — вмешался ротмистр Басанин.

Он был задет сейчас не сутью признания, а тем, что оно сделано в присутствии человека, откровенно и умно насмехавшегося над чуждым ему дворянским сословием.

— Однако кто же, как не ваш почтенный покойный батюшка, строил этот завод? Наша отечественная промышленность зачалась именно на дворянских, помещичьих капиталах. И другое дело, конечно...

— Ну-с? — внимательно и выжидающе смотрел на него Георгий Павлович.

Это был предостерегающий вопрос. Ротмистр Басанин собирался сказать, что другой вопрос — почему этими капиталами овладевают теперь люди другого сословия (в этом заключался бы выпад против фабриканта Карабаева), но, поняв сразу, что тем самым обязательно заострит разговор и вызовет недовольство присутствующих, продолжал фразу не так, как раньше думал:

— И другое дело, господа, надо сознаться, было создано в России теми же людьми: это — искусство, литература, просвещение. Есть какая-то духовная прелесть в этом петербургском, господа, периоде нашей истории. Именно — петербургском! Настолько все это было хорошо, что обаяние этого... да, Георгий Павлович, обаяние, — ну, как бы это лучше выразить... незримо (почему-то вспомнился писарь Кандуша, словно он подsunул сей-

час это слово...), незримо прелесть и обаяние всего этого вошло в душу культурного привилегированного общества... А тени этого Петербурга, так сказать, вызывают мистическое, что ли, состояние преклонения...

— О, вы — поэт, господин ротмистр! — одарил его черствой улыбкой Георгий Павлович. — Но, простите, — традиционный поэт и эпигон. Вы не обижаетесь, конечно, любезный Павел Константинович? Ведь не Аполлон же ваш шеф?! Я потому позволил отнестись критически к вашим поэтическим эмоциям, что не они суть ваших повседневных, деловых занятий, — не правда ли?

— Я вскользь упомянул о Петербурге...

— Совершенно верно. А я говорю: представление об этом прекрасном ученом и промышленном городе как о болотистом рассаднике какой-то мистики и прочих измышлений пора сдать в архив. Петербург так же реален для нас, как вот и маленький Смирихинск: и там и здесь фунт сахара стоит одиннадцать с половиной копеек.

— Прозаично...

— Не спорю, Людмила Петровна. Я позволил себе привести этот житейский грубый пример в доказательство своей, отнюдь не порочной, с точки зрения современной культуры, мысли... Отнюдь не еретичной, господа. Кто это решится сказать, что для нас, для России, не существует общих законов экономики?

— Но Петербург символически, так сказать...

— В первую очередь он ведет эту экономику. И если говорить «символически», как вы, то следует сказать: вы цепляетесь за Елагины острова, Петергофы и живописные Стрелки и музеи: вы прикладываетесь, расслабленные, к нежной ручке прошлого, а у того же Петербурга давно уже, — вы этого почему-то не замечаете, — у Петербурга давно уже, говорю я, выросли здоровенные мускулистые руки и плечи промышленности, техники, исследовательских лабораторий.

— Боже мой, да и вы поэт, оказывается! — не утерпела Людмила Петровна, принимая из рук официанта наполненную тарелку. — вот, вот, я так «взволновалась», господа, что чуть-чуть не пролила сейчас суп...

— Никак не претендую на это звание. Я не поэт, не мечтатель. Я — только русский промышленник.

— И вы гораздо лучше знаете те западные доктрины, которые были сотворены не столько в интересах промышленников, сколько для «просвещения», так сказать, работающих в промышленности? — решился ротмистр перейти в наступление против Карабаева.

Георгий Павлович хлебнул супу, положил ложку на нижнюю, мелкую тарелку, как будто ложка мешала ему сейчас, и, ухмыляясь, посмотрел на Басанина.

Тот поднял голову. «Да, да... — я жандармский офицер, черт побери, а ты не смеешь игнорировать мое положение! — пришла вдруг своевольная, упрямая мысль. — Язык твой попридержи...»

И он не отвел, как раньше, своих выжидающих глаз.

— Видите,— ухмылялся уголками рта Георгий Павлович,— я лишен (от природы, очевидно, и благодаря своему занятию) тех способностей, которые в такой, право, лестной мере присущи вам, любезный Павел Константинович. Я не умею догадываться и читать в сердцах. Не знаю — равно как и того, какие источники питают вашу уверенность — что эта доктрина господ европейских социалистов оспаривает пользу и значение промышленности.

«Не знает, а говорит... Хитер!» — озлобился ротмистр Басанин: тон, в котором отвечал фабрикант, был подчеркнуто вежливым, но самый ответ заключал в себе немалую долю неприязни и колкости.

— Я не понимаю никаких доктрин, и мне становится скучно,— сказала недовольно Людмила Петровна.— По крайней мере сегодня мне не хотелось бы слушать такого спора.

— Виноват, Людмила Петровна, но в этом «доктринерстве» я, право, не повинен. Свою же мысль позволю все же высказать до конца. Я так привык, господа. Вернемся к «символическому» Петербургу... Я уже сказал: некоторым любви Стрелки и музеи,— и я большой поклонник всего этого. Но что такое музеи? Музей — это застывшие в истории шаги нации. Застывшие, господа. А нация идет вперед и во главе своего движения ставит в каждую эпоху новое общество, новые, так сказать, производительные силы. Вот и все, господа. Но если это положение мое может вызвать спор, я согласен оставить его сейчас без защиты... дабы не омрачать нашей встречи. Вино неплохое,— тотчас же переменял он тему разговора.— Разрешите, Людмила Петровна, ваш бокал?

Конец обеда прошел в ничем не примечательной беседе о местных, смирихинских делах, и ротмистр Басанин тщетно старался понять, для чего, собственно, его пригласили сюда. Единственно, что было ему приятно — присутствие здесь Людмилы Петровны. Ротмистр давно уже определил свое отношение к ней.

Красота и женственность Людмилы Петровны всегда волновали Басанина — притягивали к себе своей недоступностью и воспаляли его воображение. Ее молодость и богатство дочери крупного помещика сулили немало радостей и удобств в жизни, а ее неожиданное вдовство и независимый характер облегчали задачу сближения с Людмилой Петровной.

Если бы ротмистр Басанин узнал ее только сейчас, если бы этот обед был бы их первой встречей, Басанин с одинаковой, вероятно, силой испытывал бы желание этого сближения. Он никогда по-настоящему — преданно и глубоко — не любил, у него не было ни к кому раньше интимной привязанности, которая располагает к чувству длительному и внутренне оберегаемому, и, сойдясь с женщиной, он стремился прежде всего сделать так, чтобы остаться независимым от нее и свободным. Встречаясь же с Людмилой Петровной, он думал: Людмила Петровна его, ротмистра Басанина, жена — вот что было его конечной целью!

Его страстное, но внешне скрытое желание обладать этой женщиной сочеталось в то же время с трезвым и верным расчетом: женитьба могла принести удачу и в карьере.

— Я хотела вас кое о чем попросить,— словно вспомнив о чем-то, обратилась к нему Людмила Петровна.

— Приказывайте!— И ротмистр поднял плечом свой серебряный с красным просветом погон.

— Вот видите, Георгий Павлович, какая у меня власть,— рассмеялась она.— Вы мне так не отвечали! А моя просьба, милый Павел Константинович, состоит в следующем... Господи, как бы это проще сказать. Словом, вот что... Вы имеете представление о господине Теплухине? Да или нет?

Ротмистр быстро обвел глазами всех присутствующих: Людмила Петровна и студент смотрели на него с нескрываемым любопытством. Карабаев, закулив папиросу, старательно пускал колечки и, казалось, только и был поглощен этим занятием.

— Да,— медленно ответил ротмистр, тихо пощелкивая пальцем наконечник своего серебряного аксельбанта.— Имею представление о господине Теплухине. «Ага, вот оно в чем дело. Но почему это так интересно ей?»

— Господин Теплухин имел желание явиться к вам.

— Вот как!

— Да. Но после нашего разговора с вами этот визит, я думаю, будет излишним. Дело в том, что Теплухин имеет возможность поступить на службу... на завод Георгия Павловича.

— Это обоюдное желание?— подчеркнул ротмистр.

— Теплухин ищет заработка, я имею возможность предоставить ему службу,— спокойным и безразличным тоном ответил Карабаев.

— Кто же запрещает уважаемому Георгию Павловичу благодетельствовать?

— Я говорю не об этом,— сощурились серые, обещающие, улыбнувшиеся глаза, и, на минуту загнипнотизированный и обласканный ими, ротмистр перевел свой разгоряченный взгляд на капризные губы слегка наклонившейся к нему Людмилы Петровны.— Теплухин понимает, что он находится под надзором полиции,— так он говорил мне.

— Он никому не опасен,— вставил Карабаев.

— Совершенно верно. Я того же мнения,— продолжала она.— Но вы, господин ротмистр особого корпуса жандармов (Людмила Петровна с нарочитым и шутивым пафосом произнесла титул Басанина), вы должны мне откровенно сказать: вы против того, чтобы Теплухин служил в Ольшанке, или нет?

— Господа, вы как-то превратно судите о моих официальных обязанностях,— попробовал уклониться ротмистр.

Он протянул руку к бокалу с вином и безмолвно чокнулся им с Людмилой Петровной. «Для вас... для вас я все могу сделать, знайте...»— говорил его взгляд.

— Право же, это так, господа. Разве мы кому-нибудь запрещаем или мешаем заниматься законным делом? Напротив, мы призваны оказывать наипосреднейшее содействие таким подданным империи. Мои слова не нуждаются ни в каком подтверждении,

потому что они говорят о том же, о чем говорит высочайше утвержденный указ о характере нашей службы... И я думаю, что, например, Георгий Павлович не откажется засвидетельствовать пользу этой службы. Кто у вас работал в той же Ольшанке под фамилией Сенченко? Бежавший и долго разыскивавшийся преступник, калишский рабочий, стрелявший в своего хозяина. Мы его обнаружили.

Ротмистр Басанин уже не скрывал того, насколько приятно ему сознание своей силы — жандармского офицера, которому вверена охрана имперского режима хотя бы и на столь незначительной территории.

Пощелкиваемый небрежно наконечник аксельбанта подскакивал все выше и выше.

И от сознания ли своего, ротмистрова, положения, или, может быть, от того, что крепко играло выпитое, лукавое вино и хотелось — инстинктивно — казаться красивей, лучше и значительней перед Людмилой Петровной, — Басанин именно *таким* почувствовал себя в эту минуту.

Свой собственный голос показался ему необыкновенно плавным и выразительным. Улыбка, все время не сходявшая с лица, блуждала по нему так легко, как безукоризненно ловко пудрящая пуховка, и, как она, была мягка и нежна ротмистрова улыбка. Кисть левой руки, непринужденно лежавшая на ослепительно белой, выкрахмаленной скатерти, нервно и быстро играла всеми пальцами, — он испытывал сладостное, почти *осязаемое*, возбуждение; оно должно было или передаться другим, или подчинить их себе...

Ротмистр почувствовал, как тело его, весь он, от головы до пят, стал мускулистей, подвижней, свободней и плавней в своих движениях, — и ему невольно захотелось встать во весь рост и показать всего себя наблюдавшей его женщине.

Он с радостью подумал о том, как отлично лежит на нем темно-синий двубортный сюртук с красным кантом по воротнику и обшлагам, гордо выпячивающий его, басанинскую, грудь; как туго и ровно натянуты на штрипках безукоризненно выглаженные диагональные брюки, как обманно-небрежно волочится по полу спущенная на серебряной портупее скосаревская шашка в притупившихся — да, притупившихся! — в конце ножнах и нежным колокольчиком звенит великолепная савельевская шпора с чарующим малиновым звоном.

— Господа! Я говорю вам: ничто нам не страшно, ничто не поколеблет нашу государственную власть. И поэтому, Людмила Петровна, если вы почему-либо хотите протезировать Теплухина, — пусть поступает на службу, пусть... Я не хочу вмешиваться в это дело. Не имею формальных оснований для вмешательства. Тем паче, господа, что Теплухин досрочно помилован и возвращен на родину.

— Досрочно? — удивленно поднял брови Георгий Павлович.

— А почему это вас так поразило?

— Ну, да... ему было зачтено предварительное сидение, вероятно?

Ротмистр Басанин вдруг сдержал себя, остановленный быстрой и короткой мыслью: «Ага... Ты мне Ольшанку подай, Кандуша!»

— Словом, Теплухин освобожден теперь, прав не лишен и следовательно...

Ротмистр не закончил фразы и развел только руками.

— Вот и хорошо,— спокойно сказала Людмила Петровна.— Мне очень приятно, что вы не оказались чиновником. Скучна... ах, как скучна у нас, господа, эта пресловутая «буква закона»!

— Но если я оказался вам приятен,— спасал себя Басанин,— то только потому, что я в данном случае никак не нарушал ее. Я пока не имею никаких формальных оснований для вмешательства в дело господина Теплухина.

— Только потому?— иронически смотрели теперь отдалившиеся серые глаза.— А я, грешным делом, думала, что моя просьба... Леонид, ты, голубчик, ужасно много куришь. Вы не находите этого, Георгий Павлович?

«Ч-черт! Я поскользнулся на апельсинной корке»,— с тревогой подумал ротмистр о своем неловком ответе. Улыбка еще оставалась на лице его, но была уже ненужной, лежала на нем, как неряшливо оставшийся после бритья, прилепившийся волосок из облезлого помазка.

Резко приподнятое настроение Басанина так же резко изменилось: он несколько раз пытался вернуться к утраченной теме, но, как только начинал этот разговор, Людмила Петровна искусно отводила его.

Ему стало душно вдруг, не по себе в отлично сшитом мундире, который показался теперь почему-то узким, а рукава — безобразно короткими; он с досадой заметил сейчас, что стул под ним немного расшатан и при нерассчитанном движении скрипит и, вероятно, издавал все это время малопонятный окружающим звук. Глядя исподлобья и скосив глаза в сторону небрежно расплачивавшегося с официантом Карабаева, он увидел свой закрученный вверх, растопыренный рыжеватый ус, на котором торчала — предательской свидетельницей его, басанинской, небрежности — не забранная салфеткой жирная крошка пирожного. Он снял ее незаметно длинным ногтем мизинца.

«Для чего пришел сюда?— спрашивал себя.— Ну, захотелось им вместе после деловых разговоров пообедать... А меня зачем позвала? Чтoб о Теплухине узнать, просить меня о нем? Этот миллионщик-либерал взятку мне обедом дал... или как?»

Он тяжело поднялся из-за стола вслед за другими.

— Вы разрешите мне к вам приехать в имение?— спросил он, прощаясь с уходившей Людмилой Петровной, и почувствовал, как грустно и виновато смотрят сейчас его глаза.

— Конечно, я буду очень рада: у нас так скучно,— приветливо улыбнулась она, подавая руку для поцелуя.— Вы давно уже

ко мне не приезжали и потому не имеете права желать, чтобы я о вас помнила. Но вот видите: когда решила увидеть вас, Павел Константинович, я нашла способ это сделать... Не правда ли? Господа, я сию минуточку иду!— крикнула она стоявшим у вешалки Карабаеву и брату.

— Вы знаете,— тихо сказал ротмистр,— что я хотел бы вас видеть всегда.

— Да? Фу, какие здесь грязные ступеньки в чиновничьем собрании,— смеялась она, спускаясь к вешалке.— Вы, значит, остаетесь здесь, господин ротмистр? До свидания!

Басанин остался один. Растерянность уже исчезла, но оттого, что не мог еще разобраться во всем, что произошло в конце обеда и после, был зол и придирчив, как и сегодня утром, когда наткнулся в столе на свой давнишний неловкий доклад.

«На улицу, черт побери! Душно мне...»— быстро сбежал он в вестибюль.

— Шинель!— громко крикнул он глуховатому здешнему швейцару, заматававшемуся у вешалки.— Живей, старик!

— Резвости, резвости-то сколько, ба-а-атенька!— услышал Басанин знакомый, погружающийся в одышку голос и оглянулся.

Здоровенный, тучный исправник Шелудченко стоял в другом конце вешалки, протирая запотевшие стекла очков большим красным платком. Синие маленькие глазки исправника добродушно посмеивались.

— Драгоценному Павлу Константиновичу — мое искреннейшее почтение, уважение, красотой восхищение, любовь моя без сомнения, примите заверения и всякие томления...

Исправничья туша подвигалась на Басанина, протягивая мягкую руку и расточая на ходу привычные шуточные приветствия.

В другое время ротмистр Басанин ответил бы, как всегда, схожей шуткой, но сейчас ему было не до этого.

— Здравствуйте, Иван Герасимович,— сухо сказал он, влезая в подбитую ватой шинель, поддерживаемую швейцаром.— Тороплюсь.

— Вижу, вижу,— тем же тоном продолжал исправник.— Ну, а все-таки, что нового? Тишь да гладь, да божья благодать... а? Да вы что это на афишку загляделись, словно императорский театр на ней помечен?

Он был прав: ротмистр Басанин смотрел каким-то странным взглядом на зеленую афишу, висевшую на стене.

— Тишь да гладь?— вдруг, обернувшись, насмешливо и зло сказал он.— А-а...— уже почти застонал он, чувствуя неожиданную радость от того, что может сорвать сейчас свое раздражение.— Я не видел раньше этого безобразия... но вы полюбуитесь, что это такое.

— Что?— недоумевал Шелудченко, вскидывая голову вверх и вглядываясь в афишу.

— Вот вам ваша тишь да гладь... Сорвать, заклеить эти афиши! Это черт знает что!— не унимался уже ротмистр.— Читайте-

ка, Иван Герасимович, если раньше, давая разрешение, не читали...

— Ну, читаю... читаю,— не совладав с одышкой, взволнованно сказал исправник.— «Рюи-Блаз», драма Виктора Гюго...

— Гюго!

— Ну Гюго... «Рюи-Блаз». А что есть этот «Рюи-Блаз»... а?

— Да не в том дело!— презрительно смотрел на него ротмистр.— А дальше... помельче шрифт... вот... сбоку...

— Сбоку? Ага... вижу.

*«Так вот они, правители страны, министры бескорыстные народа, так вот у нас дела какого рода...»*— медленно, с расстановкой, обдумывая каждое слово, читал исправник, оглядываясь по сторонам.

— Ну?— процедил ротмистр, чувствуя удовлетворение после приступа гнева.— Ну-с, Иван Герасимович?

— Думаете?— односложно спросил исправник и мигнул смешливо Басанину.

— А по-вашему, как же?

— Думаете, присочинили актеры... а? Или научил кто?

— Не присочинили, а напечатали нарочно. Цитату напечатали «со смыслом». Оштрафовать типографию на сто целковых да проверить паспорта у актеров! Это ваше, ваше дело, Иван Герасимович... Губернатор бы увидел сию минуту афишку...

— Так вот у нас дела какого рода...— повторил, пытая, Шелудченко.— Изречение! Действительно! Виктора бы мне сюда этого Гюго — поизрекал бы у меня! Да ведь не в моем уезде, прохвост! Распоряжусь, распоряжусь насчет типографии, Павел Константинович. Что говорить — легкое упущение!

Ротмистр Басанин козырнул и выбежал на улицу.

## Глава седьмая

### ДРУЗЬЯ ФЕДИ КАЛМЫКОВА

Последние месяцы гимназического курса пробежали в подготовке к выпускным экзаменам, начинавшимся в конце апреля. И по мере приближения экзаменов Федей все сильней и сильней овладевало новое чувство, отодвинувшее в его сознании все существовавшие до сих пор интересы и даже влечение к Ирише Карабаевой, с которой — по той же причине — редко теперь встречался. Это было чувство *ответственности* перед самим собой, перед всем продолжением своей жизни будущего российского интеллигента.

Получить золотую медаль, пропуск в университет — это стало уже вопросом чести для Федеи.

Часто он уходил после обеда к товарищам, жившим в гимназических общежитиях Шелковниковой и Бобовник, и просиживал там долгие часы за тригонометрией и физикой — науками, не-



охотно постигаемыми и никогда не привлекавшими его внимания.

Дома, в семье, все было по-старому; будни вывязывались мерно, одним цветом, как неразличимые петли в чулке.

Райка утром отправлялась в гимназию, слепой, скучающий отец — на смежную половину старика Калмыкова, а Серафима Ильинична занималась хозяйством и уборкой своей маленькой квартиры.

Из ее окон были видны стоящая напротив просторная, широкая ямщицкая изба, плотно прижавшаяся другой стороной к станционному амбару, и почти весь большущий калмыковский двор, уставленный летом фазонами и шарабанами, а зимой — санными различными фасонов и размеров; во всю ширину двора, в конце его, поставлены были высокие конюшни, за которыми уже шел фруктовый сад.

Как докучливо знакома Серафиме Ильиничне картина калмыковского двора!

Весной раскрываются окна в ямщицкой избе, и вывешиваются на подоконники грязные, блошинные зипуны и тулупы, на которых укладываются кошки с котятами или старая дворовая шавка с подбитой ногой. Из избы потянет кислым запахом щей из котла и опарного теста и удушливой цвелью. Вспотеет на солнце навоз, горой набросанный возле конюшен, и пар от него тяжело пойдет сизыми теплыми клубами по двору, в раскрытые окна калмыковского дома. Зажужжит у навоза густой хоровод больших и жирных зеленых мух. Мушинные стаи заполнят все комнаты в доме и только под вечер утихнут, покрыв сплошной черной сыпью выбеленные стены.

От первых дождей вспухнет и размякнет земля и утонет станционный двор в многопудовой жидкой грязи — иссиня-черной, маслянистой, как колесная мазь. Лошади, проваливаясь в нее, кажутся низкорослей и мельче; двор засыпают жуелицей и кирпичами, но пройдет новый дождь — и насыпи эти смываются.

Ямщики ссорятся из-за очереди на дальние поездки, пьянствуют, грозят прибить сварливого, хромого старосту Евлантия, — скачет по двору крепкая и свободная ямщицкая ругань. Не остается в долгу и молодой хозяин — Семен Калмыков.

«Что видят, чему здесь научиться детям?» — скорбно думает Серафима Ильинична.

Она терпеливо живет здесь с тех пор, как ослеп муж. И когда это случилось, приехали из соседних уездов братья МIRONA Рувиновича, оба врачи, — устраивать судьбу его семьи. В то время старик Калмыков отошел уже от дел и всем ведал Семен — старший сын от второй жены. Старуха и он, боясь участия слепого МIRONA в общих станционных доходах, поспешили выделить ему долю: были куплены лошадь и фазтон, был нанят ямщик, который стал выезжать на извозничью биржу и кормить тем самым семью МIRONA. Теперь ее существование зависело от ямщика — Карпа Антоновича.

Старый, благообразный Карп Антонович, с шелковой седой бородой, приезжал под вечер чаще всего пьяным и неразговорчивым. И еще за час до его возвращения домой Серафима Ильинична, ведя под руку мужа, выходила на улицу и усаживалась на скамеечку в ожидании своего кормильца. Вот следом за десятком других извозчиков показывался и он из-за поворота. Боже, с какой тревогой и надеждой всматривалась она в его лицо, в то, как крепко сидит он на козлах, как держит в руках вожжи, — рысью, или понуро бредет взмыленная или сухая лошадь!..

Он, словно не замечая своих хозяев, взлетал на горбик мостика и въезжал по улочке во двор.

— Карпо вернулся, — сообщала она тогда невидящему мужу и торопила его домой.

— Да, да... мне так и показалось. Ей-богу, Симочка, мне эти новые очки, кажется, помогут, — неожиданно оживлялся он. — Я тебе правду говорю: я смутно заметил его длинную бороду. Скажи, у него ведь борода длинная?

— Да, да, родной... длинная, — печально улыбалась она: «О, если бы он видел!»

Слепой — он жил только памятью. Иногда она ласково обманывала его, и ему казалось мгновениями, что он прозревает. Тогда его уверенность была особенно болезненной для окружающих.

— Смотрите, смотрите... — задышался он от непостижимой радости. — Вот... вот смутно я вижу свои пальцы... очертания... очертания. Вот указательный... особенно указательный ясней всего. Смотрите, смотри, Симочка, — вот ведь он. Я вижу! — почти безумный, гипнотизирующий шепот вырывался из его уст.

Он держал перед своими открытыми мертво-лучистыми глазами дрожащую руку с растопыренными пальцами, а другой — осторожно ловил эти пальцы, нежно притрагиваясь и скользя рукой по ним, словно боясь, что от прикосновения к ним они могут исчезнуть. И как будто их можно было вспугнуть громким голосом, и они могут уплыть из его неподвижно, настезь открытых глаз, — он уже только тихо, перехватывая дыхание, шептал:

— Я вижу... Вижу туманно... Я могу, я хочу прозреть...

Он ничего не видел.

— Хо-хо-хо! — смеялся кто-нибудь из дворовых, наблюдавший такую сцену. — Хиба так видют?.. А вы скажите, Мирон Рувимович, чи стриженный я, чи бритый? Не-ст, ни дули вы не видите!

— Уходите вон! — налетал на того Федя. — Как вы смеее вмешиваться?

— Тю! — плевал дворовый. — Хиба можно обманывать человека? Человеку свою судьбу не переспорить.

Калмыков бледнел и низко опускал голову.

— Феденька... не надо. Я видел... видел, — подкатывалась спазма. — А теперь... я разволновался, я опять слеп. Мне нельзя волноваться. Мне профессор Гишман сказал еще.

— Ты видел, отец! — горячо, не понятным самому себе убежденным тоном говорил Федя.

...Надо было ждать, покуда Карпо Антонович распряжет лошадь, засыплет ей овса в конюшне и отнесет свою извозчичью одежду в избу. Потом он приходил в кухню Серафимы Ильиничны и приносил, как всегда, на сохранение снятую с лошади упряжь, вожжи и свой «батюг» — кнут, которым больше всего дорожил.

И опять с тревогой и надеждой смотрела молча на него Серафима Ильинична: «Хоть бы два рубля привез, — Архип два десятка привез Семену...»

— Выручка, барыня, одно дело... простите за выражение. Кобыла моя подкову потеряла! Ну, в кузню пришлось, конечно, — час и пропал, да и деньги тоже. Околоточный на два часа взял — в долг, конечно. Не везет! Прямо говорю вам — не везет! Верьте не верьте, а вот больше, как рупь сорок, не заработал. Н-да!

Хмельной — он тряс своей длинной шелковистой бородой, добрыми глазами смотрел на хозяйку: «Н-да...» Он выворачивал в доказательство грязный широкий карман своих штанов, и оттуда падали на подставленную ладонь серебряные гривенники и пятиалтынные вместе с мелким мусором черно-серой махорки, обломков спичек и кусочков измятой папиросной бумаги. Половину выручки Карпо Антонович крал, — но разве можно было его проверить?

И Серафима Ильинична покорно говорила:

— Рубль сорок пять... спасибо. Вы уже завтра, Карпо Антонович, постарайтесь... пожалуйста, постарайтесь...

— Да, конечно, — тряс он бородой. — Понимаю положение... это верно.

И случалось иногда так, что, сдав уже выручку, он вновь приходил через несколько минут и — удивлял:

— Хозяйка... а хозяйка! Извиняюсь за ошибку, недосмотрел; пятнадцать копеек еще ваших у меня завалялось. Получайте.

И никто не понимал: упрекнула ли ямщика его совесть, или дарила пятиалтынный ямщицкая хитрость.

Жизнь жужжала надоедливо, докучливо, как зеленая муха на теплом перегоревшем навозе. Серафима Ильинична все эти годы была в ожидании: вырастет, окрепнет Федя — увезет ее и всю семью из этой калмыковской улочки, так символически загнавшей всех ее обитателей в семейный калмыковский тупичок... Она мечтала переехать с семьей к своим родным в Петербург, где Федя станет врачевать, женится и начнет подлинно культурную жизнь хорошего русского интеллигента.

И, прячась от калмыковских будней, она часами читала мужу рассказы Короленко, газеты и «Русское богатство» и застенчиво играла на рояле Мендельсона и «Молитву девы».

Она уже любила свою грусть, потому что ее больше всего было в смеси чувств и ощущений, наполнившей уготовленный стакан ее, Серафимы Ильиничны, судьбы.

Давнишние мечты ее обманули, и она покорно приняла свой жребий. Согласовать судьбу со своей свободной волей — это было недоступно для нее, человека минувшего века.

Максим Порфирьевич был педагогом, математиком смирехинской гимназии. Внешне угрюмый, иногда и придирчивый в классе, он был добродушен у себя дома.

Эту черту характера математика Токарева, как и многое другое, что было ему присуще, Федя и некоторые его товарищи хорошо узнали за последний месяц своего пребывания в гимназии.

Максим Порфирьевич тайком от начальства «натаскивал» по математике группу гимназистов-выпускников, которых вел в этом году не он, а другой педагог. Тайком приходилось это делать не потому, что Максим Порфирьевич брал за это занятие деньги («натаскивал» совершенно бесплатно), а из опасения перед начальством. Оно строго следило за тем, чтобы не поддерживалось между гимназистами и педагогами какое-либо иное общение, кроме предусмотренного гимназическим режимом и особыми, секретными наказаниями господина попечителя учебного округа.

Поэтому и случилось так, что вместе с Федей приходили к Токареву на квартиру еще только двое, которым Максим Порфирьевич и Федя могли довериться, — братья Вадим и Алеша Русовы, кончавшие гимназию в один и тот же год.

Для «натаскивания», собственно, было достаточно двух-трех посещений математика (гимназисты быстро постигли все каверзные премудрости, которые могли встретиться на экзаменационном испытании), но так уже сложилось, к их удовольствию, что встречи с Максимом Порфирьевичем превратились в встречи «духовные», как называл их Вадим Русов.

В доме Максиму Порфирьевичу мешала его многочисленная семья, и он уводил гимназистов в сад, к полуразрушенной беседке, посреди которой стоял вкопанный в землю круглый стол на толстом трухлявом столбике, а вдоль стенок — такие же старые, полукругом, скамейки с выползшими из дерева — крючковатыми, проржавевшими — гвоздями. Все усаживались осторожно, стараясь не зацепиться брюками об эти предательские гвозди, и Максим Порфирьевич начинал занятия.

— С логарифмами совсем плохо орудуете, господин медалист без пяти минут! — насмешливо говорил он Калмыкову, засматривая сбоку в его тетрадь.

— Не люблю вашей математики, ваших логарифмов... Ох, не люблю, — вздыхал Федя. — Мозговая сухость и только.

— Скажите, пожалуйста!

— Вы не смейтесь, Максим Порфирьевич, — подхватывал старший Русов, Вадим. — Разве можно симпатизировать, так сказать, этому слову... понятию, которое вкладывается в это слово?..

— А ну, что есть сия скучная ерундистика — напомни, я всегда забываю этот замечательный выверт! — насмехался, в свою очередь, Алеша, подталкивая локтем брата.

— Мозговая сухость — верно сказано. Вы подумайте только, Максим Порфирьевич... Показатель степени, — глядя в одну точку перед собой, стараясь не сбиться, вспоминал Русов, — ...степени, в которую следует возвести число, принятое за основание, чтобы по-

лучить данное число... Вот чертовщина! Кому это надо, Федя... а?

— Кому?— сбегались одна к другой сердитые брови математика.— Кому? Образованным людям, молодой человек.

— Не всем,— сказал Федя, предчувствуя, что сейчас начнется, как всегда, спор, в котором злополучные логарифмы уже будут забыты.— Я вот, например, буду врачом, стану заниматься к тому же общественной (хотел сказать, «политической») работой,— зачем же мне тратить время на всю эту ерундистику, простите, когда я лучше буду изучать то, что меня действительно интересует? Не так, Вадя?

— Врете вы, молодой человек,— упрямо сказал Максим Порфирьевич.— Всем это нужно: инженеру, физику, архитектору, математику...

— Это еще не значит, что всем!— в три голоса прерывали гимназисты.— Вот, например, вашему соседу — адвокату Левитану,— на кой ему черт помнить о логарифмах? А таких примеров уйма.

— Нас, кучку привилегированных людей, учат всяким ненужным тонкостям, а от простого народа прячут начальную грамоту!— Алеша Русов откинулся к стенке беседки и хмуро посмотрел на присутствующих.

— Наивничаете! Книжничаете!— разгорячился Максим Порфирьевич, вскакивая и шаря инстинктивно рукой по брюкам: «слава богу, не порвал...»— Да, да, молодой человек... Я вам говорю: книжничаете и... и провоцируете на спор! Какая уж тут математика?!

— Верно, верно,— посмеивался старший Русов, складывая тетрадь.— И грянул бой — Полтавский бой, Максим Порфирьевич.

— Ах, вот что, господа? Значит, провокация... Действительно?

— Допустим.

— Из искры — пламя!— многозначительно подмигивал Федя своим товарищам, и оба они отвечали ему таким же многозначительно-таинственным кивком головы.

— Какие искры?— ворчал Максим Порфирьевич.— Никакие искры вас не должны увлекать, господа хорошие. Ибо искра — играл он словами,— может казаться яркой в каком-нибудь погребке, а на свету — пропадает... блекнет — вот что! А сами вы — люди необразованные, на фуфу люди и, как все интеллигенты, падки на всякие словесные фейерверки.

Так начинался спор, в котором исчезал уже ворчливый педагог Токарев и появлялся перед тремя юношами Максим Порфирьевич: друг, но не признанный ими проповедник и учитель.

— Вы интеллигентщина, я — настоящий, лучшего волевого образца (волевого, молодые люди!) россиянин — человек,— говорил он, обводя строгим взглядом своих слушателей.— Меня фейерверком не соблазнишь,— шутишь! Мой батенько и сейчас еще крестьянствует, а братуха самый младший — дубильщиком на карабаевском заводе. Не верите? Хотите — позову? В квартире у меня сидит. Жена моя просвещением его занята... Вы — интеллигентщина необразованная, мечтатели. А я образованный мужик... Ага! Никто

из вас, господа, не думает о самом простом, но и самом важном: как правильно устроить свою личную жизнь... Чтобы она не была праздной, неряшливой и некультурной. Вы совсем не думаете, какими вы должны быть инженерами или врачами, но зато отлично болтаете об «общественном долге», о народе, о политике. Ерунда! Служение народу? — грозно вопрошал Токарев. — Пустая, фальшивая фраза! Я вот, мужицкий сын, заявляю вам: мужик, господа хорошие, идет другим путем. Кто живет на гимназических квартирах? Мужичьи дети. А для чего мужик тратится на них, последние деньги и сало посылает своим сыновьям? А вот зачем... Пускай Иван да Трифон одолеет науку, пускай Иван да Трифон станет агрономом, техником и врачом... Пускай потом нужное мужику *дело делает*. Для мужика разный там фуриеризм, позитивизм, марксизм, вся эта интеллигентщина — пустой звук.

Но и братья Русовы не оставались в долгу. При всем уважении и приязни к Токареву — ну и «костили» же они его во время таких домашних споров!

Особенно старался суровый острослов Алеша Русов. Федю всегда удивляли его исключительные по объему познания — будь то литература, политика и даже философия. И его-то Максим Порфирьевич решается причислить к «необразованной интеллигентщине»? Кого, — Алешу?!

Или Вадима? Да имеет ли понятие Токарев о его благородной, мягкой душе поэта?

Недавно Вадим читал в дружеской гимназической компании свои стихи — «Невеста сокольничьего»:

Закричали в поле кречеты,  
А на сердце — смерти тень.  
С милым другом нежной встречи ты  
Ждешь напрасно целый день.

У царя рука гневливая,  
Умоли ты божую мать,  
Встала утром ты счастливая,  
Горькой ляжешь почивать.

Принесут его застольники,  
Ветер взвевает злую пыль,  
И расскажет, как сокольнику  
Грудь пронзил царев костыль.

Федя предполагал, что стихи эти написаны не без влияния кого-либо из признанных поэтов (в поэзии Федя Калмыков мало разбирался), но разве сам-то Вадя не настоящий талант? Да и за словом в споре он в карман не полезет. А Алеша — тот безжалостно припирает в спорах к стене Максима Порфирьевича. Берегитесь, Максим Порфирьевич!

— Так, как ругаете вы нашу интеллигенцию, поносят ее теперь литераторы и философы, испугавшиеся насмерть недавней русской революции. Они — *возвеличители* нашей буржуазии, они — *перья* кадетской партии, они — зазывалы церковного и помещичьего мракобесия.

Да, да, да, Максим Порфирьевич! Почитайте-ка их писания в разных сборниках, выходящих в Петербурге и расхваливаемых кадетами и октябристами. Не читали? Напрасно. К сожалению, вы, Максим Порфирьевич, иной раз говорите нам то же самое, что и авторы этих сборников. Ей-ей.

Когда господа Бердяевы, Струве, Булгаковы, Гершензоны... («Откуда Алеша знает всех их? Я убежден, что Максим Порфирьевич о них понятия не имеет!» — думал Федя)... выступают против интеллигенции, они ополчаются на самом деле против демократической части ее. Против той интеллигенции, которая вместе с рабочими участвует в освободительном движении.

Помните ли вы, Максим Порфирьевич, письмо Белинского к Гоголю? Помните. Ну, так вот: разве страстность Белинского не зависела от возмущения крестьян крепостным правом? А нынешние предатели освободительного движения называют письмо Белинского «интеллигентщиной». Крестьянам, видите ли, письмо это было «ни к чему». Вот ведь какая гадость, Максим Порфирьевич!.. Знаете, что пишут теперь люди, которые, как и вы, насмеются над материалистическими «измами»? История нашей публицистики после Белинского, в смысле жизненного разума, — сплошной кошмар! — говорят они... Ну, так вот: интеллигенция интеллигенция — рознь, Максим Порфирьевич!

— Да, мы станем интеллигентами в Алешином смысле, — подавал свой голос и Федя Калмыков.

— Вы хотите нас убедить, Максим Порфирьевич — не унился Алеша Русов, — что самое важное — это, став врачом или инженером, *устроить свою личную жизнь*, как чеховский Ионыч, например. По вечерам вынимать из всех карманов кредитки, добытые за день от пациентов, покупать дома и имения...

— Я вам совсем о другом говорил, — негодовал Максим Порфирьевич.

— Ну, конечно, конечно о другом, — смиренно язвил Алеша. — Вы громили бескультурье. Личную жизнь надо устроить *культурно*. Чтобы в гостиной на столе стоял бронзовый Мефистофель, лежали переплетенные комплекты «Нивы», а на стенах развешаны репродукции Бёклина. У Ионыча, наверное, так и было... А на нищую, бедственную жизнь масс — наплевать, а с неслыханным произволом — мириться...

Да, Федя преданно любил братьев Русовых. Он целиком полагался на их вкус, знания и суждения.

...В доме Максима Порфирьевича Федя познакомился с его братом — Николаем Токаревым.

У молодого рабочего были такие же, как у Максима Порфирьевича, густые и колючие, словно подстриженные, рыжеватые брови и глубоко уползшие светлые глаза. Они всегда были направлены на собеседника, всегда с некоторым любопытством рассматривали его.

От Николая Токарева всегда пахло кожей. Запах ее пропитал всю его одежду. В руки вьелся дубильный экстракт, с которым

приходилось иметь дело на заводе, и на пальцах, на сгибах суставов, оставались и после работы зеленовато-желтые заеды-пятна.

С одной поры дубильщик Токарев приобрел известность на заводе, стал популярен среди рабочих. Это случилось тогда, когда приехала днем в Ольшанку полиция и арестовала нового рабочего, Сенченко, — такого же дубильщика, как и Николай.

Рабочего увезли, но в тот же день Токарев созвал в своем отделе несколько рабочих и подбил их пойти к Карабаеву.

— Что вам нужно? — заинтересовался Георгий Павлович, невольно обращая свой вопрос к Токареву, выдвинувшемуся вперед.

Николай стоял посреди директорского кабинета, нервно зачесывая наверх растопыренной пятерней свои непослушные, растрепавшиеся волосы.

— Пришли насчет товарища нашего узнать: за что под бляху попал? Родни у него нет тут, никто за него не побеспокоится. Просим, Георгий Павлович, объяснить.

— Да, Сенченко арестован. За что — не могу сказать, не знаю.

Георгию Павловичу неприятно было посещение полиции, но еще неприятней то, что на его запрос по телефону о причине ареста — исправник не пожелал ему ответить. Теперь, когда пришли рабочие, ему еще более неприятно стало оттого, что в их глазах он мог уронить свой авторитет всемогущего смиринского фабриканта, перед которым должны были быть открыты все двери.

— А вы, может, узнаете? — напирал Токарев. — А потом вызовете кого-нибудь из нас и скажите. Может, Сенченко помощь какую сделать, — так мы, рабочие, скупиться не будем. Верно я говорю, старики? — обратился он к молчаливо стоявшим товарищам.

— Правильно он говорит, Георгий Павлович... На чужой стороне человек работал. Не здешний он, Сенченко.

Через некоторое время Карабаев узнал: арестовали скрывавшегося «преступника» Ржосека, стрелявшего в Калише в хозяина фабрики, где раньше работал.

Георгий Павлович вызвал к себе Токарева и рассказал ему все.

— А за что стрелял? — насупился Токарев. — Может, по заслугам пуля.

— То есть как это? — возмутился Карабаев и строго посмотрел в озабоченное лицо Николая. — Ты мог бы оправдать его за убийство человека?

— Не знаю, — упрямо сказал Токарев. — Убийство бывает разное. Эх, да в судьи нас не позвали еще! — повернулся он к выходу. — Так и скажу заводским нашим, арестовали, мол, политического человека, — запомните, значит, товарищи...

Однажды, при встрече с Федей, он немало поразил его.

— У меня к вам просьба есть, — оглядываясь по сторонам, сказал он и устался, уже улыбаясь, в лицо гимназиста. — Читайте, знаю, литературу. Мне бы на денек — верну непременно в сохранности. Уж у меня не пропадет.



— Вам, Николай, роман дать или отдельные рассказы?

— Да нет же! — хитровато заулыбался Токарев. — Мне политическую литературу — вот что!

— Почему вы у меня просите? — растерялся Федя и, в свою очередь, посмотрел теперь по сторонам.

— Да вы не беспокойтесь, не подозревайте. Я — рабочий! — как показалось Феде, с гордостью проговорил Токарев. — Для меня ведь это писано. Да вы не беспокойтесь: мне про это Иван Митрофанович... ну да, Теплухин сказал. На заводе с ним встречаемся. У меня, говорит, к сожалению, ничего нового нет, да и получить неоткуда. А вот, говорит, у гимназиста Калмыкова должно быть. Будто вы ему хвалились. Если, говорит, знакомое какое с ним имеешь, — попроси. Знаком, говорю. И брат мой, говорю, ему хорошо знаком. Так что прошу вас: дайте почитать...

— У меня нет сейчас, но я вам достану... непременно достану, — прощаясь с ним, пообещал Федя.

«У Вадки Русова возьму», — сказал он сам себе и обрадовался, что может оказать эту услугу знакомому рабочему.

Токарев был тем единственным «настоящим» рабочим, с кем удалось познакомиться Феде Калмыкову.

Рабочий был известен ему до сих пор лишь по книгам, по литературе. Этот источник сведений, однако, не давал ясного и полного впечатления. Искомый образ двоился, рассекался надвое в Федином представлении: в политических книгах писалось о целом классе рабочих, художественная литература, которую читал Федя, мало говорила о рабочем, живущем интересами своего класса. Так по крайней мере казалось Феде.

Внутренне считая себя верным социалистическим идеям, Федя по тем же книгам знал, что всякий социалист должен вести политическую работу среди рабочих. Он готов был ее вести, готов был, как только станет студентом, сдружиться с какими-нибудь рабочими, но как это сделать — он точно не представлял себе.

Всю жизнь он видел вовне людей иных занятий и профессий. Некоторые сразу стали ему чужды. Это был мир чиновников, средних и мелких купцов и городских мешан; он знал эти семьи, потому что в них воспитывались его товарищи по гимназии. Иные люди вызывали симпатию и казались ему близкими по духу. Помогла тому дружба с детских лет с братьями Русовыми.

Отец Вадима и Алеши был земским врачом и местным общественным деятелем. Но еще больше, чем он, Николай Николаевич, была общественным деятелем его жена — Надежда Борисовна. Сестра знаменитого адвоката и публициста, вынужденного после поражения революции эмигрировать, она, как и брат была недюжинно талантлива и умна, культурна и духовно активна, и эти качества Надежды Борисовны быстро завоевали ей широкую популярность не только среди врачебного мира в уезде, но и в среде местной интеллигенции и среди местного населения. Почти ни одно культурно-просветительное и общественное начинание не обходи-

лось без ее участия, никто и нигде не принимал решения по этим вопросам, не посоветовавшись с Надеждой Борисовной. А уж когда случался врачебный съезд или земское собрание — квартира Русовых переполнялась съехавшимися из уезда, и многие, многие дела решались здесь до официальных заседаний. Здесь творилась в значительной степени уездная земская «политика».

Надежду Борисовну любили и уважали еще и за другое. Она умела быть серьезным и внимательным до мелочей другом и советчиком для всех этих врачей, учителей, землемеров, закопавшихся на всю свою жизнь в тяжелый сугроб русской деревни. Всем им — врачам, учителям, землемерам — было приятно и радостно, что в доме Русовых не только помнят о них, не только оказывают каждый раз широкое гостеприимство, но и проявляют живой интерес к их человеческой судьбе. Все чувствовали себя обласканными.

Туберкулезному учителю Николай Николаевич доставал десятки порошков тиокола и при случае досылал еще какое-нибудь заграничное патентованное средство. Землемеров детей всегда устраивала в гимназию и следила за их успехами Надежда Борисовна, и она же деловито ходила по магазинам с молодыми и старыми сельскими врачами — «бирюками», отыскивая им наиболее модный галстук или шляпу, а газеты и журналы (литературные и специальные, медицинские) они получали в деревню неожиданно для себя.

— Я решила выписать вам, потому что все это для культурного человека и врача необходимо, — говорила она некоторым при встрече. — Сами небось поленились бы потратиться: лучше в копилочку класть! Вам бы курицей да поросенком обжираться. У, бирюки! — журила Надежда Борисовна. — Бирюки! Что будет, если вы не будете просвещаться и народ вокруг себя не будете просвещать? А еще «прогрессивный элемент!» — укоризненно смеялись ее черные живые глаза.

Это «просвещать и просвещаться» стало внутренним знаком для всей семьи Русовых и в первую очередь для их обоих сыновей. Уже в средних классах гимназии Вадим и Алексей хорошо знали старую и современную литературу, позже познакомились с рядом философских и политических течений, чему немало способствовал отец — незаурядный эрудит.

Семья Русовых духовно воспитала и Федю Калмыкова — их частого гостя и закадычного друга их сыновей. Больше того: считая своих друзей даровитей и образованней, чем он сам, Федя иногда жил отраженным светом их мировоззрения, устремлений и вкусов. И подобно тому, как родители Русовы, воспитывая своих сыновей, считали, что их жизнь должна быть несравненно шире и значительней рамок уездной жизни, так и он, Федя, видел свою будущность примакающей к будущности своих друзей. Но, как и они, он не видел еще ясно ее контуров. И если ее можно было бы изобразить графически какой-нибудь фигурой с каким-нибудь условным центром, то этой идейной, смысловой и целенап-

равляющей точкой в жизни должна была стать политическая и общественная работа.

Нет, нет! Не убедить насмешливому Максиму Порфирьевичу молодых русских социалистов, готовящихся плыть к далеким, но уверованным берегам...

Знайте, уважаемый, но консервативный Максим Порфирьевич, что у вас есть брат — Николай Токарев — рабочий, социалист, что крепнет, к вашему удивлению и неудовольствию, столь осмеянная вами российская демократия!

И однажды он, Федя, принес Николаю Токареву (пришлось идти в Ольшанку) обещанную литературу. Но прежде чем успел вручить своему другу взятый из руковской библиотеки томик Салтыкова-Щедрина, Токарев с торжествующим видом протянул Феде какую-то газету и сказал:

— Новое название «Правды». В петербургской газете «Путь правды» напечатали мою заметку. Здорово? Моя, моя, только подписи не поставили. Но вот видите — мне же прислали!

— Какая же ваша? — разглядывал Федя малознакомую, очень редко попадавшую ему в руки газету социал-демократов большевиков.

— Глядите — «Песня под запретом». Это — моя. Мне брат рассказывал об этом случае — я и написал в рабочую газету. Читайте.

«Академия наук, — читал про себя Федя, — послала в Полтавскую губернию комиссию для изучения народной песни. Но по повелению: «Куда ни глянь — всюду начальство» — комиссия наткнулась на него и около песни. («Не очень грамотно тут», — подумал гимназист Калмыков.) Оказалось, что за пение Коляды и песен на Купалу певцы попадают в... холодную. А на станции Ромодан начальство разрешило послушать песни, но только... в уединенном помещении и при закрытых шторах.

Пожалуй, скоро выйдет такой приказ:

«...лиц, поющих «сухой бы я корочкой питалась», подвергнуть денежному взысканию не свыше трехсот рублей или аресту до трех месяцев».

— Молодец! — одобрил Федя. — «Куда ни глянь — всюду начальство». Молодец!

— Эти слова редакция написала, — сознался Николай. — Может быть, потому и нельзя было мою фамилию печатать? Как скажете, Федя?

— А я думаю — это по другой причине.

— Какой?

— Я думаю, не хотят вас подвергать риску. «Охранка» — она ведь за всем следит. Смирхинск?.. Николай Токарев?.. А ну, кто такой? Так. Рабочий. В социал-демократическую газету пишет. Запомним!

— И то резон, — согласился счастливый автор печатной заметки. — Из Петербурга просят присылать корреспонденции. Шик-блеск, — а?

— И хорошо. Не надо оставлять это дело. Стиль надо немножко улучшить. Я бы только дал вам, Николай, один совет.

— Какой, Федя?

— Надо быть в таких делах осторожным,— сказал назидательно Федя.— Охранка... она ведь такая...

— Шука — что и говорить!

— Шука, вот именно. Во-первых, выберите себе какой-нибудь псевдоним.

— Ага.

— Например: «Т. Николаев». Понятно? Наоборот.

— Ага. Подходит.

— А во-вторых, корреспонденцию бросайте в почтовый ящик только на вокзале. Там вынимают почту перед самым приходом киевского поезда.

— Сами отправляли куда? По опыту знаете?— дружелюбно улыбнулся Николай, не осознавая всей наивности калмыковского совета.

Федя промолчал и тоже заулыбался. Никуда он, конечно, и ничего не отправил скрытно, но если иное подумал сейчас Коля,— пусть! Чем больше доверия будет питать он к Феде — тем легче будет крепнуть их дружба.

— Вот!— И он вручил Николаю книжку Салтыкова-Щедрина.— Завтра, кстати, исполняется двадцать пять лет со дня смерти этого великого писателя-сатирика. Прочтешь — увидишь, в самую точку бьет!— добавил он, вспоминая слова Алеши Русова.

Ну, и смеха и разговоров было, когда в одной из рабочих хат собрал Николай Токарев человек пятнадцать кожевников и стал читать им щедринский рассказ «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою»...

— Вин, ты кажешь, помер двадцать пять рокив назад?— недоверчиво спрашивали Токарева.— А не брешешь?

— Нет, не брешу. Рассказ этот, знаете, когда написан? Еще в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году он написан,— рассказывал рабочим Николай Токарев.— Есть такая рабочая газета «Правда». Наша это газета. В Петербурге издается.

— Читав я. У позапрошлом году читав. Но не больше, чем два раза,— подал реплику дубильщик Вдовиченко — человек с добродушно-лукавыми темными глазами и краснощеким нетускнеющим лицом, не сдвинувшимся еще отраве карабаевского завода.— Но, говоря, «Правду» эту саму жандармы прихлопнули. Чи нет, Коля?

— Она печатается теперь под другим названием... Писатель Салтыков-Щедрин этот будто многое предвидел еще тридцать один год назад. Царская Россия-матушка. Она и сейчас такая.

Собрались в ольшанской хате и второй раз, другие рабочие и среди них — опять Вдовиченко,— и Токарев вновь читал им с равным удовольствием полюбившийся всем сатирический рассказ великого писателя.

«С в и н ь я (кобенится). Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?

П р а в д а. Правда, свинья.

С в и н ь я. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?

П р а в д а. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создавая, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!»

В ольшанской хате грохотали так, что казалось, от сотрясения воздуха вот-вот погаснет жестяная керосиновая лампа, висевшая над голым, почерневшим от времени столом.

Токарев продолжал:

«С в и н ь я (*продолжает кобениться*). Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?

П р а в д а. Правда, свинья... Так ты и читаешь, свинья?

С в и н ь я. Почитываю. Только понимаю не так, как написано... Как хочу, так и понимаю!.. (*К публике.*) Так вот что, други! в участок мы ее не отправим, а своими средствами... Сыскивать ее станем... сегодня вопросец зададим, а завтра — два. (*Задумывается.*) Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем. (*Сопя, подходит к Правде, хватает ее за икру и начинает чавкать.*) Вот так!

Правда пожимается от боли. Публика грохочет. Раздаются возгласы: «Ай да свинья! Вот так затейница!»

С в и н ь я. Что? Сладко? Ну, будет с тебя!.. Теперь сказывай: где корень зла?

П р а в д а (*растерянно*). Корень зла, свинья? Корень зла... корень зла... (*решительно и неожиданно для самой себя*) в тебе, свинья!

С в и н ь я. А! Так ты вот как поговариваешь! Ну, теперь только держись!.. Точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходнее?.. Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать?..»

— Одинаково обеспечивать... Держи карман — «одинаково»! Одинаково меня, тебя, Вдовиченко да нашего Георгия с догами-собаками! — зажег кто-то острой репликой давно созревший и не раз повторявшийся разговор.

Слово «одинаково» было в этой среде наиболее раздражительным и неуместным, коль скоро заходила речь о жизненной справедливости. Слово это произносили поэтому иронически и озлобленно. Какая, к черту, справедливость тут!

И не только с жизнью хозяина, фабриканта Карабаева, сравнивали они свою собственную жизнь (фамилия Георгия Павловича упоминалась, естественно, чаще других), но и вели речь шире, переступив очерченный для них самих круг смирихинской жизни.

Так, например, из газет, — в частности, из петербургских телеграмм в «Киевской мысли», — они узнали о недавнем приезде в Россию известного бельгийского социалиста Эмиля Вандервельде. Писалось, что он приехал для ознакомления с русским рабочим

движением. Цензура ни разу, ни в одной из газет, не выбросила информации о суждениях Вандервельде (в противном случае на газетной полосе оставалось бы белое место — столь выразительный след вмешательства государственной власти...) — и карабаевские рабочие рассудили справедливо и не без юмора:

— У этого Эмилия не опасная царю фамилия. Факт!

Два года назад, когда залпы Ленского расстрела разбудили совесть и гнев во всех закоулках Российской империи, смирихинские кожевники, махорочницы и мельничные рабочие вслед за питерцами, москвичами и соседями-полтавчанами бастовали один день, а заработки второго дня пожертвовали семьям расстрелянных на Лене.

В маленьком, уездном Смирихинске не существовало никаких партийных обществ или групп, кроме официального, черносотенного «Союза русского народа», возглавлявшегося вечно пьяным стариком, штабс-капитаном в отставке Сливой. Политикой в чистом виде карабаевские рабочие, по сведениям жандармского ротмистра Басанина, не занимались, партийных связей с иногородними подпольными кружками, а тем более — организациями, упаси бог, не имели, профессионального, ремесленного содружества — для защиты своих экономических интересов перед Георгием Карабаевым — тоже как будто для себя не искали.

Везде, казалось, тишь да гладь, — а вот-вот иной раз задумаются вкупе ротмистр Басанин и тугодум-исправник Шелудченко об этой тиши да глади: да подлинно ли это так?

Нет, нет, тишина здесь, слава богу, подлинная, без начальственной ошибки — тишина, но... следить все же надобно!

Во-первых, как-никак эта история с защитой карабаевскими кожевниками беглого польского рабочего из Калиша. Во-вторых, конечно, присоединение их к протесту всех российских пролетариев против кровавых ленских событий.

Правда, с тех пор в общественной жизни смирихинских рабочих ничего не произошло, но на примете и у ротмистра и у исправника остались не без причины брат гимназического учителя — Токарев (первым номером в списке), дубильщик Вдовиченко, однажды давший почитать газету «Правда» старику Кандуше, старик Бриних — мастер кожевенного завода: потому что — чех, а чехи все свободолюбивы, — и ряд других ольшанских рабочих, из тех, что пришли слушать теперь щедринский рассказ о свинье.

Заводские рабочие Ольшанки — люди в основном деревенского уклада с полукрестьянской психикой — проявляли еще малую политическую активность. Но завод все больше и больше делал их пролетариями по образу мыслей, и ясно было, что в какой-то — общий для всех рабочих — час эти мысли приведут их к необходимым классовым, революционным поступкам.

И часто приходило на ум Токареву:

«Ничего, ничего... Пусть это еще «малая закваска». Но ведь говорят: малая закваска, а квасит, однако, все тесто?..»

.....

Первым выпускным экзаменом была письменная работа по русскому языку — сочинение.

Сквер, разделявший обе гимназии — мужскую и женскую, уже с самого раннего утра был наполнен гимназистами и гимназистками. (У семиклассниц в этот день была письменная работа по математике.) Еще по старой привычке, созданной годами строгого школьного режима, юноши и девушки держались сначала порознь, по скверу плыли живые сцепляющиеся пятна серых гимназических курточек и праздничных, свежих и белых передников гимназисток. Но вскоре эти пятна смешались: все были друг с другом знакомы, и волнение, царившее сейчас в молодых сердцах, вылилось в общую шумную беседу, растекшуюся теперь в разные концы гимназического скверика. Гимназистки вслух, наперебой, вспоминали в последний раз заученные формулы, и чему равен злополучный «П», или как следует применять «С» из «т» по «п»; гимназисты переводили разговор на возможные темы предстоящего сочинения: из Тургенева будет или из Гончарова?..

Еще почти час оставался до начала экзамена, но каждую минуту друг у друга проверяли время и напряженно всматривались в обе стороны улицы: не идет ли уже кто-нибудь из сегодняшних экзаменаторов — один из вершителей их судьбы.

Некоторые уединялись на скамеечках или, прислонившись к дереву и держа перед собой учебник или «подстрочник», жадно перелистывали его, стараясь наспех взобрать в себя коварную, ускользающую из памяти науку. Но стоявший кругом шум возбужденных громких голосов мешал сосредоточиться, отвлекал, и тогда уединившийся закрывал вдруг книгу и бежал к товарищам. Эх, читай не читай — все равно теперь: перед смертью не надышишься!

В сторонке оставались одиночки: это были экстерны, все — евреи; их было всего лишь два-три человека, и можно было сразу отличить среди всех остальных экзаменующихся. Они были значительно старше обычного гимназического возраста и носили штатские костюмы. Перед этими людьми закрыли в свое время двери казенной средней школы, потому что пятипроцентную норму для школьников их нации уже заполнили другие. Это случилось лет пятнадцать назад, и за это время они успевали делаться фармацевтами в аптеках, конторщиками и бухгалтерами в кредитных обществах, но мысль об «аттестате зрелости» упорно не покидала их. Они становились экстернами.

Они знали свою судьбу: на экзаменах их нещадно «резали», но через год и еще через год они вновь приходили, чтобы переспорить свою судьбу. Так навешают и тревожат иногда призраки убиенных совесть непокаранного преступника. Убийца иногда сожалеет о содеянном, — царская казенная школа лишена была и этого минутного чувства. Упрямых экстернов пропускали на всех

экзаменах, но «резали» уже на последнем — на Тите Ливии или Овидии!

Придя в сквер позже других, Федя тотчас же начал разыскивать среди отдельных группок Иришу, но ее не было среди присутствующих.

— Ты не видел... вы не встречали Карабаеву?— спрашивал он почти каждого, обходя все аллеи.— Ну да, Ирину Карабаеву,— чего вы так смотрите?

— Кому что, а ему Ириша на уме!— смеялись ему вдогонку.— Нашел время, брат, играть в Ромео и Джульетту, Федул ты лучше скажи: по Тургеневу будет или по Гончарову?

— Ему мало беспокойства: медалист — за год все пятерки. Словесность — конек его...

— Федул!— подтрунивали над ним другие.— Может, тебе инспектор Иришу заменит: вон, гляди,— идет Розум!

— Идите к черту, парни!— беззлобно отмахивался он.

В душе ему было сейчас приятно. Это чувство имело двойную причину. Он был сегодня уверен в себе, не в пример очень многим своим товарищам, боявшимся важнейшего экзамена, за исход которого он, Федя, был спокоен. Он ловил себя на том, что даже умышленно играл перед всеми своим легким, небрежным отношением к предстоящему сегодня испытанию. Это не было бахвальством или кичливостью «первого ученика», какую нередко, например, проявлял в классе тихий во всем остальном Ваня Чепур,— этому воспротивились бы натура, характер Феи. Но сознание своей отличной подготовленности к предстоящему испытанию позволяло уже быть уверенным в себе и проявлять свою уверенность в легкой *игре* ею. Но, может быть, не было бы и этой свободной, непринужденной игры, если бы в то же самое время, в те же минуты он не испытывал и другого чувства. Ему было приятно сейчас еще и оттого, что он мог не скрывать перед своими товарищами и подругами Ириши свое интимное отношение к ней, свое откровенное желание встречи с ней. Они любили друг друга,— и пусть знают теперь все об этом!— думал Федя.

Наконец он увидел Иришу: она только что подъехала к скверу на заводской, карабаевской линейке, всегда доставлявшей ее и брата из Ольшанки в гимназию. Федя пошел ей навстречу.

— Здравствуй,— сказал он, нежно пожимая ее руку.— Я соскучился по тебе.

— Вот как!— лукаво улыбнулась она.— А я — ничуть. Ну, ну... вот уж и поверил. Пойдем, пойдем туда, ко всем. Федик, я так волнуюсь сегодня. Воображаю, какие задачи придумал для нас Максим Порфирьевич? Ай-ай, он уже пришел. Смотри, как окружили его все наши... Федик, дорогой,— я не провалюсь сегодня?

Схватив его за руку, Ириша увлекла его в сквер, где, окруженный гимназистами и гимназистками, беспомощно топтался на одном месте математик Токарев. Он старался казаться, как всегда, хмурым и строгим, но сегодня это ему мало удавалось. Взволнованность молодежи передалась ему.



— Да чего вы, в самом деле, пристали ко мне?— говорил он нарочито грубым тоном.— «Намекните, намекните!» Да разве, господа, я имею право это делать? Вот еще выдумали... Пропустите меня,— я пойду в учительскую.

— Ни за что не выпустим!— шумели гимназистки.

— Нам с вами спокойней, Максим Порфирьевич,— созналась Ириша.

Токарев оглянулся.

— А-а, спокойней,— добродушно усмехнулся он, глядя на Иришу.— Со мной, говорите, спокойней? Так зачем же вы, мадемуазель Карабаева, так уцепились не за мою руку, а за руку сего молодого человека? Или он вас не отпускает, а?— мигнул он в сторону Феда.

— Поймались, голубчики?— расхохотались товарищи.— Отпусти, отпусти, Калмыков! Вот так, так...

— Намекните, ну, хоть немножечко намекните, Максим Порфирьевич,— умоляюще смотрел на него десяток девичьих глаз.

— Не могу! Не имею права! Да, наконец, комиссия будет выбирать задачи,— чего вы пристали? Отстаньте! А то дам вам нарочно такую задачу, что и в сутки не решите. Правда?— поймал он взглядом стоявшего вблизи Калмыкова.— Вот подшучу над ними и — оскандалю,— обороняясь от настойчивых гимназисток, старался он отвлечь их внимание.— Иные прочие серьезные «умы» уже оскандалились, господа. Спросите Русова или Калмыкова... Задача как будто простая.

— Максим Порфирьевич, скажите... ну, скажите, пожалуйста.— Многим показалось, что Токарев решил все же «намекнуть», выдать частицу экзаменационной тайны, но не сам, а устами названных им гимназистов, которым, очевидно, уже приходилось решать эту или аналогичную задачу.

— Калмыков! Русов! Где вы? Да скажите скорей, в чем дело... Ведь это свинство же, господа! Раз Максим Порфирьевич разрешает...

— Не волнуйтесь,— разоблачал Федя математика.— Максим Порфирьевич пошутил. Он напрасно ссылается на меня и Русова.

— Как не стыдно скрывать!— возмутился кто-то.

— Ерунда, господа!— вспыхнул Алексей Русов.— Федя правду говорит.

— Сушью! У вас будет экзамен по тригонометрии, и никто не будет задавать вам таких задач, как предложил нам однажды Максим Порфирьевич.

— А вы скажите... ты скажи все-таки!— не унимались гимназистки и растерянно посматривали на посмеивающегося Токарева.

— Извольте,— сказал Федя.— Пожалуйста, проваливайтесь сейчас, как и мы раньше! Это задача не математическая, а скорей психологическая...

— То есть как это?— нарочно поддевал Максим Порфирьевич.— А ну, ну...

Он, воспользовавшись так искусно созданной им суматохой,

выскользнул из толпы и через минуту исчез в подъезде женской гимназии.

— Удрал Токарев!— крикнула одна из гимназисток, но всех уже занимала Федина задача.

— Это, конечно, интересно, но сейчас для вас, ей-богу, не существенно. Вот смотрите... Подложите-ка книгу под мой листок... неудобно иначе писать,— распоряжался он.— Ну вот, теперь смотрите... Даны девять точек, расположенных вот так:



— Если их соединить по краям, получается, господа, прямоугольник,— поспешил кто-то высказать свою сообразительность.

— Совершенно верно,— продолжал Федя.— Но не в этом дело. А вот требуется... требуется соединить все эти точки — или зачеркнуть — как хотите! Надо это сделать только четырьмя линиями... не отнимая карандаша от бумаги.

— Построить в прямоугольнике два треугольника с одним основанием,— очень просто!

— Попробуй,— иронически огрызнулся Федя и вышел из замыкавшего его круга гимназисток, ища глазами Иришу.

Через три минуты выпускной класс смирихинской мужской гимназии должен был наконец узнать, кому в этом году попечитель учебного округа отдал предпочтение: Тургеневу, Гончарову или Гоголю,— тема сочинений присылалась всегда в запечатанном пакете непосредственно из округа.

В громадном актовом зале были расставлены черные столики и стулья (каждый на три шага от другого, как предписывала специальная инструкция), а за каждым столиком сидел гимназист. Уже задолго до прихода экзаменационной комиссии гимназисты аккуратно разложили перед собой большие листы бумаги с отогнутыми полями, проверили перья и чернила, с максимальной тщательностью потом надписали именем и фамилией свой первый лист и — притихли в напряженном ожидании.

Минуты текли медленно и напряженно, как собранные со дна капли из наклоненной горлышком вниз бутылки.

— Идут!— крикнул кто-то, заслышав шаги в коридоре,— и зал, тяжело и протяжно вздохнув, застыл, онемел...

Быстро, не глядя ни на кого, вошел директор, держа в руках белый тонкий пакет. Оба словесника, инспектор и классный наставник почтительно следовали за своим начальником. Весь зал встал, выпрямился, подчиняясь бессловесной, неслышной команде.

И, словно следуя той же команде, вышел из-за столика вперед маленький темный рыжик в очках — Ваня Чепур — и начал читать громко и прочувственно молитву. И, кончая ее, широко перекинулся, а глядя на него,— и весь почти зал.

— Садитесь, господа,— сказал директор и весело обвел глазами бледные лица гимназистов.

Он имел право распечатать пакет еще полчаса назад, но не сделал этого, точно ему доставляло удовольствие держать в неизвестности не только гимназистов, но и всю экзаменационную комиссию и себя самого. Теперь он надорвал уголок конверта, осторожно просунул в него мизинец и прорвал им конверт по ребру. Он вынул оттуда плотный, вдвое сложенный лист и развернул его. Быстро прочел его и молча протянул лист и конверт с сургучовой печатью ожидающим и переминающимся с ноги на ногу членам комиссии. Лист подхватил словесник Матвеев, ведущий экзамен.

— Позвольте?— недовольно сказал инспектор и, в свою очередь, протянул желтую и дряблую свою руку.

Матвеев и двое остальных через инспекторское плечо смотрели на вскрывшую тайну пакета.

«Да скорей же, черт возьми, объявите!»— неслышно кричал зал, но члены комиссии, словно забыв о нем, обменивались уже тихими, короткими словами и такими же встречными улыбками.

Наконец раздался голос инспектора:

— Господа экстерны, извольте сесть в первом ряду; поменяйтесь местами. Вот так. Иван Чепур, Вадим Русов, Алексей Русов и Федор Калмыков, пожалуйста поближе. Сюда, во второй ряд; поменяйтесь местами.

— Это чтобы у нас не списывали!— объяснял, покидая свое место, Чепур.

Он был прав: инспектор разрушил надежды многих, ждавших помощи от «первых учеников».

— Господа,— начал Матвеев,— приготовьтесь записать тему сочинения.

Он подошел к переднему столу одного из экстернов и оперся на него свободной рукой; в другой, слегка дрожавшей, он держал присланную из округа бумагу.

— Диктую, господа, тему.

И очень медленно, делая долгую паузу после каждого слова, покуда оно будет записано, он продиктовал:

— Лучше... Не жить... Иль вовсе... Не родиться... Чем... Чужой... Стороне... Под власть... Покориться...

...Прошло добрых четверть часа, но никто из гимназистов не начинал еще писать. Не начинал еще и Федя Калмыков.

Для него, как и для других, тема сочинения была неожиданна и маловразумительна. Растерянность, охватившая весь зал, в первую минуту передалась и Феде. Но у него она быстро перешла в какую-то апатию, в такое же внезапное, но спокойное чувство безразличия к тому, над чем, казалось бы другим, обязан уже был думать горячо и напряженно.

Все — и по-разному — отвлекало сейчас его от основной и главной мысли. Минуту он следил (забыв о всем остальном), как ходит вдоль первого ряда столиков — медленно, заложив руки за спину, — низенький, кругленький директор, как саркастически пог-

лядывает он на безмолвно сидящих экстернов, которым это хождение директора взад и вперед перед их глазами в достаточной мере, вероятно, мешало думать, сосредоточиться.

И, словно в первый раз он видел этого всемогущего начальника гимназии, Федя с пустым любопытством всматривался в его одутловатое розовое лицо с маленькими смеющимися глазами умницы и самодура, в его жесткие и курчавые седые волосы, разделенные на голове двумя боковыми проборами и спускавшиеся до половины щеки широкими вьющимися бачками.

Когда уже всмотрелся и изучил это лицо, так же пусто и безразлично перевел взгляд в сторону, наткнулся им на рыжую лысеющую голову одного из экстернов с большими оттопыренными ушами и, скользнув небрежно глазами по этим ушам, посмотрел в открытое окно.

Верхушки тополя и акаций заглядывали издалека, из притихшего сквера, в скованный трепетом актовый зал. На зеленых, густо поросших листьях лениво, неподвижно покоился утренний солнечный луч. Федя не отводил от него глаз, но мысль сейчас вопреки всяким возможным ассоциациям и впечатлениям деловито и хлопотливо подсказывала: «...тема больше историческая, чем литературная... Начать с Ивана Сусанина, что ли?..»

А верхушки акаций скрывают от глаз угол большого светло-зеленого здания; в этот угол заперт другой актовый зал — женской гимназии, в этом зале, тоже за столиком, сидит Ириша, — и Федина мысль неожиданно переносится туда.

Он вспоминает зал, в котором столько раз бывал на гимназических балах... И не Ириша встает в памяти, а почему-то лезет сейчас в глаза громадный, во весь рост, портрет царя, заключенный в вызолоченную тяжелую раму.

Царь в военной форме, в белых перчатках. Перед ним — маленький столик, накрытый свисающим до пола зеленым сукном, правая рука царя легко опирается на этот столик.

Федя старается вспомнить все детали портрета, старается восстановить в памяти каждую черточку в лице неподвижно стоящего царя, но память вдруг до крайности ослабевает, и цареву лицо расплывается, расплывается в Федином воображении, и он — в испуге уже — начинает чувствовать, что так точно расплывается, далеко убегает от него его мысль о другом, — о самом главном сейчас, об обязательном, данном ему, Феде, в испытание сегодня...

Он оторвался от окна и растерянно посмотрел вокруг себя: на него, на весь зал смотрел голубой портрет царя. Портрет был точно такой же, как и в женской гимназии, и висел здесь те же два десятилетия, но Федя сегодня его не заметил. Забыл о нем.

Он обозлился на свое легкомысленное отношение к экзамену, на свою растерянность, обозлился на неприятную тему сочинения и... на царский портрет; не подымая головы, он видел только на портрете черные царевы сапоги, упрямо наступившие на красную бархатную подстилку. Он вспомнил теперь ясно, отчетливо и лицо царя, но не пожелал взглянуть на него.

«Патриотическая тема», — заставил он себя вернуться к экзамениционному сочинению, и слово «патриотическая», как он сказал его самому себе, отождествилось в сознании с другим словом, со словом «политическая». Это уже дало направление его последующим мыслям.

«Патриотизм... Да, я могу свободно написать о патриотизме, — следовал уже за своей мыслью Федя, в десятый раз перечитывая заданную тему. — Я — патриот, я люблю Россию, русский народ, русскую культуру. Быть патриотом — не стыдно, но каким?»

«Конечно, — вилась рядом другая мысль, — а вот Ванька Чепур тоже «патриот»... и такую черносотенную гадость по этому поводу разовьет».

Ему опять стало не по себе. «Нет, нет. Надо опираться только на ушедшее... на историю». И вдруг цепкая память подсказала ему слова Белинского: «Любовь к отечеству должна вытекать из любви к человечеству...» Так, кажется? Как это я сразу не вспомнил? Точка! С этого начну. Эврика!

Он оглянулся: как будто еще никто не начинал писать.

Товарищи вопросительно, с широко открытыми глазами смотрели на него, отжимали растеряннo губы и недоуменно пожимали плечами: что делать, друг Калмыков? «Вот те, бабушка, и Юрьев день!»

...Он обмакнул перо в чернила и наклонился над своим листом.

## *Глава девятая*

### **НАЧАЛО ТАЙНЫ**

В летнем саду играла музыка. Она услаждала слушателей во время антрактов, когда на сцене переставляли декорации и толпа бросалась из театра к клубному буфету пить сидро и кушать мороженое. Публика, толкаясь и теснясь, прохаживалась по аллеям. Те, кто постепенней, не доходили дальше последних зажженных фонарей; простонародье отдыхало в глубине сада, беспечно раскинувшись на теплой ночной земле.

Сад, как и весь город, стоял на горе. Он кончался высоким откосом. Вниз шли дикие яблони, орех и кусты лозняка. Там пел прощальную песнь последний июньский соловей. Крадучись спускались туда люди по узенькой, обваливающейся тропинке. Там любили — робко и мятежно; в театр уже не возвращались.

Вдалеке — темная, заросшая водорослями, белыми и желтыми лилиями река. Вдоль берега — белыми и желтыми лилиями — одинокие рыбацьи огоньки. За рекой — влажные, сытые травы лугов. Кричат вдалеке лягушки, — бормочет и ворчит во сне река.

У откоса стоит мечтатель. Он нашел глазами Большую Медведицу, но не знает, где Малая. Млечный Путь лежит в черном небе, как наследившая по земле мука из дырявых мешков.

Вдоль откоса прохаживается городской. Звезды не увлекают его взора. Он будет дежурить сегодня в саду до поздней ночи: до

поздней ночи, вероятно, в летнем клубе Семена Ермолаича будут веселиться молодые студенты. Вот сколько их суетится по всему саду! Новенькие зелено-синие фуражки, новенькие штатские костюмы, цветные косоворотки с золотыми пуговицами, а в руках — модные стеки или отцовская непривычная палка. Еще никто не пьян. Но будут: городской приставлен для ограждения порядка.

Каждый год бывает так: напьются на радостях — сбрасывают с откоса садовые скамьи, портят резедовые клумбы, ругают известных в городе чиновников. Вдоль темного откоса ходит городской. Здесь ему спокойней: на освещенных аллеях приходится часто козырять начальству.

У откоса еще назначают друг другу свидания. Влюбленных городской не смущает. Напротив: его спрашивают, не видал ли он здесь такого-то или такую-то, — городской всех в городе знает.

Антракт окончился: музыка перестала играть. Аллеи на время опустели, откос — тоже. Городской потянулся за всеми.

Словно выждав, покуда он скроется за поворотом, торопливо выбежала из-за деревьев низенькая полногрудая женщина в черных ботинках и белых чулках. Она побежала к тому месту, где, опершись на палку, стоял человек, любовавшийся июньскими золотыми звездами.

— Пантелеймон Никифорович! — окликнула она.

Мечтатель быстро оглянулся. Это ромтистров писарь Кандуша тщетно искал в небе Малую Медведицу.

Они сидели теперь чуть пониже края откоса — за кустом. Кандуша лежал, опустив голову на мягкое колено тихо посмеивающейся женщины. Четверть часа назад они были в овраге.

— Очень вы, Пантелеймон Никифорович, сегодня нежный. Очень вы сегодня ласковый. Спасибо за удовольствие, что доставили... — прижималась к нему Дуня, карабаевская прислуга. — Любовь промеж нас полная, хотя и не официальная. А отчего все-таки, миленький, хочется официальных чувствий? — гладила она его волосы и вкрадчиво засматривала в его темные, наполненные ночью глаза.

— Вот уж не скажу, Дунечка. Полный я в этом деле граф Витте...

— Необразованная немного я, Пантелеймон Никифорович.

— Граф Витте, говорю... Сказал это я для интеллигентного объяснения. Значит — за всякие я реформы в этом самом деле. Понятно? Ты, Дунечка, воображай и поясняй себе в уме. Вот, например, ночь, кустик, птичка поет. Молодые люди целуются, милуются. Кустик, значит... Ноченька, пипль-попль, и все такое наслаждение, желание... А почему желания, Дуня..? Желаете того, чего не хватает, — вот что-с! Официально если — значит, все уже на месте, всего уже хватает. Ноченька уже тогда не нужна, птичка может и не петь, за кустик — зря прятаться. Господи боже мой, да разве это любовь, когда поцелуешь, скажем, прижмешь, например, — и не удивишь никого?! Целуй, прижимай, — подумают, — хоть и самое стыдливое на людях изображай, — удивления

нам совершенно мало! Раз официально,— желай не желай,— все равно, что заблигорассудится, можешь... Тайна-с, вот что для всяких чувств небесприменно необходимо... волнение-с, как масло для каши!

— Не могу я так понимать, как вы, Пантелеймон Никифорович.

— Пипль-поплъ, Дунечка!

— И пиплю-поплю вашу не понимаю. Смеетесь все, кажется, и дразните. Я вам все дочиста рассказываю, даже чужие разговоры передаю, а вам стыдно будто, что вы мне ласку делаете... Велите все тайком да крадучись. Хоть бы раз прошлись со мной на людях... Обидно мне! Маня вот — инженерная, бестолятовская прислуга — все меня спрашивает... Что это, говорит, ты, Дуня, кавалера вовсе не имеешь? Такая, говорит, хорошенькая, а в полном одиночестве. Или, говорит, гордости у своей богатой барыни набралась? Обидно мне! Хотела я ей сказать: уж я такого миленького имею, такого... да вспомнила про ваше приказание, да только и усмехнулась той Маньке. А мне хочется официальных чувствий!

— Я могу пройти с тобой на людях,— сказал бездумно, лениво Кандуша.

Он вновь мечтательно запрокинул голову и смотрел молча на путаный и мерцающий звездный путь.

— Можете?— обрадованно подхватила она.— Пускай мои господа увидят! Они здесь, в театре... Пойдем, ситром угостите.

— Погоди,— едва скрывал он свое недовольство,— ты иди сейчас. Ну, да — одна. Иди, иди, пока никто не видит откуда ты вылезает. А я...

— А вы как же?— приподнялась она.

— А я минуты через три приду. Понятно? Будто только что встретились.

— Не обманете?

— Ревность Арцыбашева, пипль-поплъ! Подойду через три минуты... вместе домой пойдем.

Он ущипнул ее за ногу, и эта ласка показалась ей двойным обещанием.

— Хорошо. Иду, Пантелеймон Никифорович.

Он остался один.

И, как только она ушла, он забыл о ней. Он ни о ком уже не думал, да и не хотел думать. Разнеженный и расслабленный любовной встречей, он раскинулся теперь на земле, спокойно и бездумно глядя в темную, причудливо забрызганную звездами высь.

Он созерцал. Кругом — не шелохнется, ничто не коснется тончайшей паутины ночной тишины. Только вдалеке журчит и бормочет лягушечьим голосом река да из глубины сада изредка доносится чей-то быстро пропадающий возглас. Но в кустах — все та же тишина.

И вдруг Кандуша услышал сначала чьи-то приближающиеся шаги, похрустывание песка на аллее, затем вполголоса роняемые

слова, становившиеся все явственней. Он поднял голову. Два человека приближались к откосу, к тому месту, чуть пониже которого за кустом лежал Кандуша.

В этот момент он сам еще не знал, что сделает: останется ли лежать или подыметься и уйдет, досадуя на пришельцев, нарушивших тишину, но через секунду он принял уже первое решение. Он услышал знакомый голос Ивана Теплухина. Но... но кто это второй с ним?

Кандуша медленно, осторожно опустил голову на землю, словно боясь, как бы не хрустнуло что-то в шее и не услышали б этого Теплухин и его спутник. Кандуша оставался лежать на спине, с широко откинутыми в стороны, неудобно положенными руками.

— Вот скамейка, сядем здесь,— коротко и тихо сказал незнакомый голос.— Отсюда — великолепный ландшафт, вокруг — ни души: отличная обстановка для тихой и дружеской беседы. Вы не находите?— продолжал, очевидно, усмехаясь, тот же голос.

— Сядем. Пожалуйста,— отвечал безразличным тоном Теплухин,— о, зачем такие предосторожности?..

В руках его спутника блеснуло круглое выпуклое стекло, и в то же мгновение свет от электрического фонарика пробежал по краю откоса.

— Да, здесь никого нет,— деловито сказал незнакомец, заглядывая вниз.

Кандуша вздрогнул, но не пошевелился. Густой куст лозняка скрыл его от фонарика.

— Теперь закурим,— тем же тоном продолжал теплухинский собеседник.— Хотите, Иван Митрофанович, моих? «Лаферм», вышедший сорт, по заказу. Вы как будто удивляетесь. Нет? Или вы недоумеваете, почему я так медлю? Ха-ха! Друзья могут позволить себе роскошь и мелких приятных разговоров. Впрочем, вот я уселся уже, закурил — и мы можем начать... Ну, дорогой мой, разговор вот какой...

Кандуша не знал точно, сколько времени он пролежал в таком положении. Он позабыл уже о неудобной своей позе, он перестал чувствовать свое распластанное, отяжелевшее тело, занявшее от неподвижности. Он слушал.

Нет, это не совсем верно. Кандуша вбирал, впитывал в себя каждое услышанное слово, наполняя ими свою память, как скряга — случайно найденными монетами свой жадный кошелек. Боже, кто это рассыпал на одном месте столько их — блистающих, новеньких и никем еще не поднятых с земли?! А вот еще одна... еще и еще, они откатились в сторонку, они утонули почти в пыли и лежат незамеченными и притаившимися. Нет, нет, счастливый скряга поспешно подберет и их — все, все — и найдет им местечко, всунет в уже наполненный туго, тяжелый и незакрывающийся кошелек... Всякая — даже махонькая — денежка напрасно не чеканится!



Кандуша походил на этого счастливица — скрягу. Но если находку скупого счастливица можно было оценить и он сам всегда мог бы заменить без ущерба грудю монеток несколькими большего достоинства, то совсем иная ценность заключалась в том, что услышал в этот вечер ротмистров писарь. О, ее не постичь сразу, уму не уразуметь ее сокрытое сверканье!.. Нет, никому не скажет он (никаким ротмистрам Басаниным!) того, что сейчас узнал.

Господи боже мой, да не причудилось ли все это? Нет,— истина, явь чудесная...

— ...Запишите мой адрес, дорогой Иван Митрофанович,— вполголоса повторил незнакомец.— Ах вы чудак... ну, чего нервничаете? Не ожидал от вас. Зачем целую пачку вынимать из кармана... смотрите, бумажки растеряли!

— Не беспокойтесь,— громко сказал Теплухин.— Не беспокойтесь, я вам говорю. Я сам... сам подыму. Ну, вот и все. Записывать незачем, и так запомню,— переменял он решение.

— Ладно, так не забудьте. Ковенский переулок, дом номер... О, если почему-либо забыл бы этот адрес Иван Теплухин,— ротмистров писарь Кандуша сможет ему напомнить. Пипль-попль, сударики!

«Уходят»,— понял он, когда голоса обоих стали вдруг в меру полными и громкими, а слова ненужными и пустыми, как скорлупа, из которой вынули уже зерно.

Монетки были уже все собраны: рука жадного счастливица напрасно искала бы новых среди мусора и пыли. Кандуша осторожно приподнялся, несколько секунд прислушивался (из театра выходила публика, глухо приближался шум) и вскочил на ноги. Теперь только он почувствовал, как затекло его тело. Он сделал несколько движений и, опираясь на палку, быстро выкарабкался, минуя дорожку, наверх.

Вот эта скамейка, где они только что сидели, вот белеют брошенные окурки... Кандуша опустил на скамейку, чтобы тотчас же вскочить. А, так, так... он должен тайком настичь их на аллее, рассмотреть лицо этого «незнакомца». («Незнакомец» ли он уж теперь,— хо-хо!)

Кандуша радостно, озорно ударил концом палки по земле и... осторожно, нерешительно поднял ее вновь: звук от удара был мягкий и что-то коротко зашуршало.

Ротмистров писарь нагнулся, вглядываясь в бумагу: это был синий почтовый конверт. Кандуша поднял его: он был распечатан, но не пуст. В нем лежало какое-то плотное письмо. Конверт был грязен: на нем были следы чьей-то неосторожной ноги.

Кандуша чиркнул спичку — неудачно, но при мгновенном отблеске огня он успел прочитать:

«...трофановичу Теплухину».

«Потерял он!»— едва не крикнул на весь сад.

Сунул письмо в карман и побежал к выходу на улицу.

...Карабаевская Дуня металась, ища его среди хлынувшей из театра публики.

А он, стоя уже под фонарем, на боковой от сада улице, читал: «Любезный Иван Митрофанович...» — писал кто-то неровным, угловатым почерком. (Нетерпеливый Кандуша заглянул в конец письма, нашел там подпись и, словно предвкушая что-то отменное — интересное, причмокнул и улыбнулся.)

Да, письмо было от женщины. Да еще от какой! Письмо от Людмилы Петровны Галаган.

«Любезный Иван Митрофанович, — писала она. — Чтобы внести раз навсегда ясность в наши взаимоотношения, я решила написать вам. Запомните, что этим я никак не могу себя скомпрометировать. К тому же я уверена, что вы сами захотите уничтожить это письмо, и это целиком совпадает с моими желаниями. Да, возможно, что в начале нашего знакомства я дала вам повод думать, что наши встречи приведут к чему-либо большему, чем то, на что только и могли надеяться остальные мои знакомые мужчины. Затем я исправила свою ошибку, но вы, я видела, отнеслись уже к этому недоверчиво, заподозрив с моей стороны обычную «женскую игру». Напрасно, Иван Митрофанович. Если и была «игра», то только в самом начале и по причине, вряд ли могущей вас удовлетворить. Не обижайтесь; мой друг. Здесь такая утомительная скука, в душе я так презираю все здешнее серое общество, в котором приходится мне вращаться, что невольно я обрадовалась вашему приезду. Вы для меня, естественно, должны были показаться человеком «экзотическим». К тому же вас все почти здесь чуждались, а для меня это было совершенно достаточно, чтобы поступить всем наперекор. Отсюда — наши частые встречи в Снетине. Койкому они могли показаться «подозрительными», как, например, жандармскому офицеру Басанину — глупцу и животному («Ага, выкуси!» — показал Кандуша фигу кому-то невидимому), который не прочь в любую минуту «осчастливить» меня своим предложением. Ну, будем искренни, Иван Митрофанович. Я совсем не порицаю вас за то, что и вы — осторожно и умно, правда, — искали во мне женщину... Слава богу, я не стала вашей «idée fixe». Мне передавали, что традиционная «солдатка» на селе с большим успехом выступила в свойственной ей роли... Я, кажется, немного груба, но я терпеть не могу светского жеманства и ханжества. Ну, вот — теперь мы друзья, Иван Митрофанович. И, как другу, скажу вам еще раз. Я как бы утратила компас в жизни, я не вижу для себя пути, кроме... кроме того, по которому идут женщины нашей среды. Но меня этот путь не устраивает. Что делать? Впрочем, советов не ищу. Я сама решу, когда надо будет. Я говорила вам уже, почему это так случилось. Да, если бы не застрелился Сергей, все было бы по-иному. Басанин одно время служил с ним в одном и том же городе и знает, что это был за человек... Если бы я знала кому мстить за эту смерть, — о, я жестоко, кажется, смогла бы отомстить.

Желаю вам удачи в жизни и всяческих успехов. До осени проживу в имении, а потом поеду в Петербург.

*Людмила Галаган».*

— Можешь мстить! — тихо засмеялся ротмистров писарь, пряча письмо в карман. — А мне разве жалко! Только у Пантелеймона Никифоровича разрешеньице получи, сударынька, — вот что-с!..

...Он опять нашел в небе Большую Медведицу, но не знал, где лежит Малая. А, наплевать на вас, недостижимые звезды, на земле поважней теперь дела творятся!

## *Глава десятая*

### ХМЕЛЬНОЙ ИЮНЬСКОЙ НОЧЬЮ

Федя Калмыков вспоминал...

Это было еще только вчера: за несколько часов до попойки в летнем клубе Семена Ермолаича Федя был в гостях у Карабаевых в Ольшанке.

Семья Льва Павловича жила во флигеле, расположенном в саду и отделенном от заводской территории заборчиком.

Под вечер, когда умолкал завод, в саду, в карабаевском флигеле, оседала тишина, и наступала к тому же часу успокоенность — насадка, подобравшая под свой теплый уютный пух и крылья мелких цыплят житейской заботы и будничной суеты. В доме Софьи Даниловны воцарялся тот плавный и ленивый час сытой провинциальной жизни, когда приходит вязкое, спокойное бездумье, а тело испытывает сладостную тяжесть отдыха. У тела не хватало движений. Количество их словно было рассчитано не на этот медленно тянущийся солнечной черепахой июньский день, — к ясному золотисто-желтому предвечерью время шло неторопливо, оставив далеко позади себя погоню земных, человеческих дел и поступков.

Да и устраивать ли погоню за временем?

Семья, дети — этого было не только достаточно, нет — в этом заключалось то неизмеримо великое, что сделало ее, мать и жену, такой безгранично жадной к жизни — счастливой и безропотной рабыней.

В этом ее чувство было схоже с чувством мужа, Льва Павловича. Но оно было еще более полным и обостренным.

Она не требовала от жизни большего, чем было отпущено ее семье. Семейное счастье стало ее религией. В этом заключалась невзыскующая простота верования: милосердный боже, пусть ничто злое и сильное не заглянет в чашу жизни моей!..

Так и видела самое себя Софья Даниловна: молитвенно-тихо и осторожно несет она в руках хрупкий сосуд с неоценимо-драгоценной влагой жизни, и каждую каплю в сосуде бережно хранит она при неминуемых всплесках, когда шагает по ступенькам времени.

Она вообще не умела скрывать своих чувств и меньше всего умела внешне уйти от тревоги, которую испытывала всегда, когда дело касалось детей. За последний год это чувство все чаще и чаще посещало ее.

Софья Даниловна не опасалась того, что новый, чужой человек заставит Ирину забыть или отодвинуть в памяти всю их скрепленную любовью семью. Во-первых,— справедливо подсказывал рассудок и материнский инстинкт,— Ирина еще очень молода, чтобы решиться на какой-либо самостоятельный поступок, и первое чувство — словно корь: оно почти всегда не опасно, без неожиданных последствий, а во-вторых,— и что Софья Даниловна считала безусловным,— Ириша если полюбит кого-нибудь, то уж, конечно, такого человека, который будет во всем духовно близок и родственен их, карабаевской, семье.

Условия воспитания, духовные качества дочери, наконец наследственные черты характера — все это должно же будет предопределить Иришин выбор!.. И если этот выбор когда-нибудь будет сделан,— о, как рада и счастлива будет Софья Даниловна!.. Случится то, что семья только увеличится еще на одного близкого, понятного и понимающего человека, и он уже может не сомневаться в материнской любви к нему Софьи Даниловны.

Она инстинктом своим угадала, что отношения между Иришей и Калмыковым значительно разнятся от обычных «гимназических» увлечений.

Кто виноват в этом? Может быть, частично и сама Ириша, но главным виновником Софья Даниловна считала Калмыкова. Почему? На сей раз ее доводы, по внутреннему ее убеждению, отличались точностью и несомненностью.

Из разговора с дочерью, да и по наведенным справкам она знала, что Калмыков — юноша настойчивый и самолюбивый (вероятно, и тщеславный,— прибавляла она), что он не по возрасту серьезен, ищет всегда общества старших, заражен политическими идеями (господи, того и гляди, в подпольщики готовится!) и, надо думать, как и все такие люди, полуутопист, полуциник во взглядах на семью, привязанность и чувство. А если он внутренне честен и искренне увлечен Ириной, то это еще опасней,— рассуждала Софья Даниловна,— так как в этом случае Ирише труднее будет разочароваться в нем, а она сама настолько хороша,— с гордостью думала мать,— что ему ли первым уходить от нее!..

...Федя беседовал с Иришей в саду, а вдаль, сидя на нижних ступеньках террасы, Софья Даниловна с ложкой в руках присматривала за первым вареньем из роз, варившимся тут же в медном тазике, помещенном на новеньком, наполненном углями треножнике. Над пенившимся вареньем кружились осы, и Софья Даниловна ревниво отгоняла их, замахиваясь просторным широким рукавом своего капота.

Ириша глубоко сидела в гамаке между двумя распускающимися тенистыми вишнями и, откинувшись назад, заложив руки за голову, слушала Федин рассказ о предстоящей сегодня вечеринке новичков студентов.

— Ну, вот и все,— заканчивал он свое сообщение.— За ужином нацепим на себя, все двадцать семь человек, серебряные же-

тоны на память об окончании и дадим обещание друг другу съехаться здесь через шесть лет. Ведь любопытно: кто кем окажется?..

— Любопытно,— соглашалась Ириша, внимательно всматриваясь в него. На ее лицо набежала какая-то неясная мечтательная улыбка.

— Знаешь, очень любопытно. Ты, вероятно, будешь врачом, будешь сотрудничать в каких-нибудь журналах... еще такой молодой, но «подающий надежды» доктор! Федулка, чего ты застенчиво усмехаешься? Тебе не верится? Ведь ты сам говорил мне об этом...

— Ну, ну, гадай!— радостно улыбался он и,— словно мешал сам себе слушать ее, слегка раскачивая гамак,— отнял от него руку и оперся ею о дерево.

— Это ведь вполне возможно, Федя.

— Допустим.

— Ну, вот я и говорю... Через шесть лет мы о тебе услышим что-нибудь такое интересное.

— Кто ж это «мы»?— неожиданно нахмурился Федя.— Отдаете вы себе, сударыня, отчет в этом слове?..— попытался он стать шутливо-строгим, но глаза смотрели тревожно и серьезно.— Кто же это «мы»? Ты тоже объединяешься этим словом?

— Ой, какой ты бываешь... смешной! Конечно, все мы — знакомые: и папа, и мама, и я... Федулка, отчего ты позеленел так вдруг? Что с тобой?

— Ты просто поймалась на этом слове, Ириша,— не отвечал он на прямой вопрос и уже почувствовал, что действительно позеленел, потому что в этот момент кровь отхлынула от его лица.— Ты выдала себя, Ириша.

— Чем? Как?

— Очень просто!— смотрел он печально.— Через шесть лет ты, как и все другие, только услышишь обо мне? Только? А ты сама где будешь? Не там, где я? Не со мной? А я, дурак, думал...

— Ах, вот что!— тихо засмеявшись, покраснев, высунулась она из гамака и тотчас упала в него, приняв прежнюю позу.— Ох, и придирчив ты!

— Я не придирчив, я верен своему чувству.

— Я тоже, Федя!

— Так зачем же ты сказала?

— Я не придавала в тот момент значения...

— Ириша! А если я тебя вновь переспрошу?..

— О чем?

— О том, где ты будешь не только через шесть лет, а... через четыре, три?

Он испытывал не только сильное волнение, но нечто, как ощутил, гораздо большее, с чем уже не мог совладать.

Он любит. Он ждет сейчас ответа на свое чувство, хотя давно уже его получил.

— Я хочу,— ответила Ириша,— быть там, где ты.

— И вместе со мной, значит?

Он упрям, жесток, эгоистичен в своей настойчивости,— но ведь он любит и живет сейчас только этой любовью! Кто осудит его?

— И... вместе с тобой. Ну, Федулка, разве можно меня так смущать! Поди ты, право! Сам все знаешь, а нарочно так делаешь, чтобы я покраснела.

— Ириша... Ира... Любишь? Крепко?

Она медленно, чуть кивнув головой, смыкает ресницы, а ее светло-карие большие глаза льют горячий, притягивающий свет.

Тогда Федя хочет броситься к ней, сесть с ней рядом... но издали смотрит с крыльца Софья Даниловна,— и он останавливает себя, хватаясь обеими руками за сетку гамака и с силой притягивает его к себе вместе с полулежащей в сетке Иришей.

— Не раскачивай сильно, у меня голова кружится... Отпусти, родной!— почти шепотом молит она,— и он, торжествуя, выпускает из рук сетку.

Через минуту они ведут обычный разговор. Но так ли просто забыть, что любишь? Любовь! Что хранит в себе для Федя это древнее, но никогда и никем не забываемое слово?

Сейчас, в эту минуту, все забыто Федей, все подчинено этому чувству, и вся будущая его жизнь, весь мир зарождаются, ведут свое начало с этой самой минуты, на этом самом месте, где сейчас находится он и Ириша...

Казалось бы, что он опьянен своим чувством, что, подчинив себя ему, он, как это бывает со многими, не отдает себе отчета в своих поступках и словах, что мысль его хмельна и безрассудна. Однако это было не совсем так, и он,— хотя и бессознательно,— но сам это чувствовал.

Как и все юноши его возраста, Федя не мог не испытывать естественной физиологической тяги к любимой девушке. Он вполне сознавал это при каждой встрече с ней, но эта тяга значительно уменьшалась, была почти неощутима, когда не видел Ириши. Его отношение к ней не носило платонического характера, но в то же время чувство его — любовь — не до конца было насыщено теми упрямыми, ведущими за собой человеческую волю желаниями, какими полон человек, познавший уже однажды полноту любовной, интимной близости.

Он мечтал о том, что через несколько лет Ириша станет его женой, и тем самым должна будет наступить в их жизни эта самая предельная физиологическая близость, но он никогда не предвкушал ее, не заострял в этом направлении своей мысли и своего инстинкта. К девушке любимой он хранил чувство целомудренное и внутренне застенчивое.

Он сам провел черту, за пределы которой его чувство к Ирине могло, оказывается, и не идти.

...Утром, после пьяного ужина в клубе у Семена Ермолаича, Федя вспомнил все, что произошло накануне и после попойки.

...Он вышел из летнего клуба поздно ночью. Кто-то из озорничавших товарищей тянул его в глубь пустого сада, где молодые

студенты назло огорченному городовому опрокидывали скамейки и сбрасывали их под откос. Городовой и сторож бегали из одной аллеи в другую, ловили студентов и тщетно угрожали им полицейским протоколом, Федя не помнит, принимал ли он участие в этой озорной возне, не помнит и того, почему, собственно, он решил раньше других отправиться домой и как он очутился в знакомом калмыковском переулке.

Он понимал, что пьян, что хмель крепко сидит в его теле, и ему хотелось поскорей дойти до своей квартиры. Вот он уже миновал парадное крыльцо. Еще несколько шагов — и второе, дедовское, крыльцо, а за углом дома — уже и его, Фебина, дверь...

Но в этот момент, когда он поравнялся с черным калмыковским крыльцом, дверь тихо заскрипела и кто-то в длинной белой сорочке быстрыми, но сонными шагами вышел во двор. Это была прислуга Калмыковых, Анастасья.

— Ишь ты... куда? — окликнул ее Федя и протянул к ней руку.

Она не предполагала идти дальше крыльца, но, увидев Федю, побежала, тихо засмеявшись, к погребу, за насыпью которого и скрылась на минуту. Федя осторожно вошел в сени. И тут он неожиданно столкнулся с дедом.

Незадолго до полного рассвета старик Калмыков, проснувшись, встал с кровати и, надев халат, вышел на веранду.

Еще не ушла поздняя луна, но быстро, с каждой минутой, она теряла свой матово-желтый лак. Лиловое облачко торопливо пробежало по зардевавшемуся краешку неба: там разольется вот-вот первый нежный румянец еще недобежавшего солнца.

Калмыковский двор спит. Но вот-вот подымется в конюшню какой-либо залежавшийся за ночь конь, ударит тяжелым копытом по деревянному настилу и потянется мордой в пустые ясли — и разбудит своих чутких соседей; какой-то из них заржет, другой — порезвей — шарахнется задом в сторону, собьет наземь непрочно укрепленную перегородку и протянет свои теплые, влажные губы к востроупавшему уху кобылы. Пойдет глухой шум по конюшне, и спросонок прикрикнет беззлобно на лошадей чутко спящий поблизости, на сеновале, ямщик; и все же перевернется на другой бок — удержать в приятном забытии последние минуты неполного сна.

Конюшня первой предчувствует утро. А тотчас же за ней востроупается наверху голубятня, и заворкуют нежные пары — сначала коротко, словно для того только, чтобы перекликнуться, проверить друг друга, а потом хлопотливей и уверенней.

В саду, за конюшней, вспорхнет шустрый воробей, каркнет и прохлопает шуршащими крыльями бездомная кочевница галка, в душном сарайчике востроупаются бесцетные куры, индюки и гуся, и, как всюду и везде в этот час, ворвется озорно в чуть поколебленную тишину троекратный петушиный клíč.

Бегут в норы, под амбар с овсом, рыскавшие у помойки крысы.

Потом проснется человек: в ямщицкой избе, на сеновале, на кухнях.

Проснется первым хромоногий староста Евлантий. Он спит в амбаре, где овес и вся ценная упряжь станции, спит — летом не раздеваясь, не снимая шапки и тяжело пропахших дегтем сапог, со связкой ключей под головой. Он выйдет со своей клюкой, запрет амбар, поковыляет в конюшню. Обойдет, просмотрит все стойла, поворчит, пожурит, поразговаривает на одном ему понятном языке с хозяйскими лошадьми. И, выйдя из конюшни в сопровождении уже неизвестно когда примкнувшей к нему, такой же хромой, как и он, дворовой собаки, пойдет будить ямщиков на сеновале, в избе,— чтоб вели они препорученных им коней на водопой к колодцу, чтоб засыпали им корм.

Ямщики, потягиваясь и зевая, высыпают на двор босые, в исподнем белье, вспотевшие в теплом сене, вздохмаченные. Ведут лошадей на водопой, и сами тут же, у длинного и широкого желоба, добродушно и беспредметно матерщинась, обливают друг друга водой.

Умывался ли когда-нибудь старый Евлантий,— того никто не видел.

Выкатится из-за безмятежно-тихого сада, прорвав тонкую, розовую паутину неба, раннее, еще незлобивое солнце: сначала багряный полукруглый лоб его, быстро, вслед, через минуту — издали пылающие щеки, и, словно залив их жидким, легким золотом, выйдет из-под лба громадный и лучистый глаз. Так будет спустя короткий час.

...Старик Калмыков сидел, не шевелясь, на веранде, вдыхая теплый свежий воздух.

Так он часто поступал: не хватает дыхания в душевной маленькой спальне,— проснется, выйдет во двор, подышит свежим воздухом и вернется к своей постели, чтобы крепко поспать еще часок-другой здоровым утренним сном. Так должно было бы случиться и сегодня.

Возвращаясь в комнаты, Рувим Лазаревич услышал чей-то неосторожный короткий стук. Скорее машинально, нежели заподозрив что-либо, старик на ходу тихонько толкнул дверь и заглянул в сени. Вихрем мимо пронеслась Анастасья. Растерянно усмехаясь, стоял у стены внук.

«Поди сюда»...— молча поманил Рувим Лазаревич к себе пальцем Федю, и внук на цыпочках последовал за дедом. Старик вернулся на веранду и сел на свое прежнее место.

— Басяк!— без гнева ругнулся Рувим Лазаревич и, улыбаясь одними глазами, посмотрел на стоявшего перед ним внука.

Они оба не знали еще, к чему должен привести так случайно начавшийся разговор. И в столь необычное время.

«Дома небось волнуются»,— вспомнил Федя вдруг о матери, которая с полуночи, вероятно, ждала его прихода, и в первый раз в эту ночь забеспокоился.



И он шагнул с веранды на ступеньку, но тут же в нерешительности остановился, боясь своим быстрым уходом оскорбить деда.

— Рувим Лазаревич, неслышно посмеиваясь, смотрел на внука. Ему казалось, что внук смущен, побаивается его, и ему было это приятно.

Уже давно никто из близких не делится с ним, Рувимом Лазаревичем, ни радостями своими, ни горестями, уже давно он — словно забытый, покинутый людским вниманием столб, с которого сняли провода семейной жизни и протянули их над ним, поверх него. И оказалось, что провода оттого не оборвались, не упали, семейные интересы не остыли, жизнь вокруг течет и гудит, но все это — в стороне от него, Рувима Калмыкова, не задевая его.

Между ним и Федькой возникают теперь какие-то новые, близкие отношения — вот с этим самым синеглазым, слегка скуластым, как все прародители-калмыки, смуглым Федькой.

И Рувим Лазаревич, не зная еще, как и с чего должно сейчас проявить свое чувство к покорно стоявшему внуку, несколько минут журит его, добродушно повторяя свое любимое, по-своему произносимое слово:

— Басяк... Ах ты басяк такой! А если я твоей матери, Серафиме, скажу?

Феде неприятна, хотя бы и шутливая, угроза. Дед замечает это, и, вдруг испугавшись, что своими словами может вызвать со стороны внука неприязненное и подозрительное отношение к себе, — он, — никогда и никого не боявшийся в своей калмыковской семье, ни перед кем не отступавший, властный и черствый в своих требованиях, — ощущает сейчас свою собственную слабость и покорность перед этим неведомо что думающим, молчащим юношей.

— Нет, нет, я не скажу, Федька, — уже серьезно и ласково говорит он и, словно затем, чтобы придать своим словам еще большее значение, настороженно оглядывается по сторонам, вытягивая голову, и снижает свой голос до шепота: — Иди сюда, посиди с дедом минутку...

Федя садится:

— Как ваше здоровье, дедушка?

— А тебя это в самом деле интересует?

— Ну, конечно, — искренне отвечает внук, секунду до того и не думавший, что его обычный вопрос будет нуждаться в каком-либо подтверждении.

И он спрашивает:

— Почему вы задали мне этот вопрос? Разве вы сомневаетесь в моих словах?

— Нет, нет, — поспешно сказал Рувим Лазаревич и положил слегка руку на плечо внука. — Мое здоровье — восьмидесятилетнее... хм! Вот доживешь, бог даст. Здоровье, здоровье... — тихо повторил он. — Только никто меня про него по-настоящему не спрашивает.

Он, очевидно, подавил в себе набежавший вздох, потому что рука, лежавшая на Федине плече, на секунду сжала его, и старик глухо и стесненно откашлялся.

Федя почувствовал неожиданную жалость к нему, хотел сказать что-то утешающее, ласковое, но, зная, как и все в калмыковской семье, что дед не терпит — из гордости — всяких семейных соболезнований, считая их всегда услужливостью и заискиванием перед ним, смолчал, не желая быть дурно понятым.

— А ты спросил по-настоящему! Я знаю: ты — *по-настоящему!* — продолжал вслух свою мысль Рувим Лазаревич и, отыскав на бледном лице боровшиеся с сонливостью глаза Феде, заглянул в них своими серыми пристальными.

Он как будто в эту минуту проверял себя и внука, и какая-то нечаянная вначале мысль словно ждала только этой короткой проверки, чтобы потом уже овладеть полностью им, Рувимом Лазаревичем. Спокойно выжидающий взгляд Феде, его ответное молчание были тем наилучшим, чего желал сейчас старик: каждое слово, произнесенное в доказательство чувств, питаемых к нему, он счел бы, как и подумал Федя, фальшивым и приниженным.

— Ай, босило! — впал он в прежний тон в разговоре, хлопнув осторожно внука по затылку и сдвинув его фуражку козырьком на нос. — Скубент! Гуляка! Молоко на губах не обсохло, а к девкам лезешь... Не моргай, никому не скажу, Федька, — неожиданно лукаво подмигнул он. — Чтоб ты поверил, что не скажу, я тебе один свой секрет открою.

И прибавил:

— Наследство — дело спорное, завешание в тайне должно быть. Ох, важное дело — завешание... — словно стараясь подтолкнуть, навлечь на себя Федино внимание, повторил Рувим Лазаревич слово «завешание».

«Если спросит сейчас, значит корысть у них есть, — рассуждал он. «У них» — это означало: в семье сына Мирона. — Мальчишка обязательно должен выдать все!»

Но внук молчал. Усталость и сонливость одолевали его. Он уже почти ни о чем не думал: все словно притихло в сознании. И вдруг — кто-то встряхнул его.

— ...а тебе вот скажу, Федька! — услышал он и осознал конец какой-то длинной и недоходчивой вначале фразы (это прорвалось теперь наружу брошенное в азарте интимное и сокровенное желание Рувима Лазаревича). — Ты только не болтай никому — не смей! Половину всего я твоему отцу оставляю — слепому, обиженному... Там... там у меня подробно написано, что и как. В общем, выходит половина. А после него ты... ты — наследник. Никому не смей мою тайну... Узнаю, что проболтался ты, — порву все, переиначу!.. Там... там все сказано, — протянул он руку к темным окнам своей квартиры и сурово блестящими глазами всматривался во внука. — Никто, никто не знает... бумага у меня спрятана — там мое слово последнее, Федька. Сам я сказал, сам! Хочешь — покажу? — неожиданно зашептал он. — Хочешь? — поднялся старик. — Ты посиди здесь тихонько. Я бумагу... бумагу только покажу — всего не доверю! — покажу, и можешь идти спать. Я иду...

Федя вскочил и оторопело посмотрел на деда.

— Нет, нет...— уже переменял тот свое решение.— Иди спать. Завтра, когда-нибудь потолкуем... Иди — и не смей болтать, слышишь?

— Хорошо,— ответил Федя и, оглядываясь на деда, сошел с веранды.

Старик стоял на пороге в стеклянный коридорчик, вполоборота к внуку. Сквозь стекла коридорчика струился вкрадчиво матово-розовый отсвет рождающегося утра, набросивший свои мягкие светящиеся пятна на плечо, на обнаженную шею, на часть большой, еще не расчесанной седой бороды. Словно упавшая горячая слеза — блестела на сорочке маленькая перламутровая пуговичка. Халат распахнулся на старике, сухая, длинная нога была вынесена чуть вперед, из прорванной в носке красной туфли высовывался наружу кончик большого пальца.

Старик протягивал вперед руку: она дрожала, и пальцев оттого казалось больше, чем было, и все они словно болтались, покачивались, едва связанные с повисшей кистью.

— Иди!— махнул он рукой, и Федя побрел к своему крыльцу...

...Ночь уже прошла бесследно, как высохшее на солнце бесцветное пятно. Ах, эта странная, полная неожиданностей, хмельная ночь!

Федя уже не хотел, не в силах был разобраться ни в чем, что случилось.

Он возвращался домой, нагруженный впечатлениями, как носильщик — беспорядочно сунутыми в его руки различными, крупными и мелкими вещами: лишь бы не уронить ничего, донести и сложить в одно место, а там уже каждый предмет найдет по указанию хозяина свою полочку и угол.

С этой мыслью он заснул.

Проснувшись, Федя узнал: сегодня на рассвете с дедом случился удар. Никто не понимал истинной причины тяжелого заболевания старика. Никто — кроме его жены и сына Семена.

Старик Калмыков не нашел в потайном месте, между отставших друг от друга досок в шкафу, своей упрятанной пергаментной бумаги. И он не знал, сколько месяцев назад она унесла на себе в огонь Семеновы печки его, Рувима Лазаревича, последнюю земную волю.

Прилив гневной крови отнял у него дар суровой, карающей речи.

### *Глава одиннадцатая*

#### НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ ИВАНА ТЕПЛУХИНА. «КОЛЕСУХА»

Каторгу Иван Теплухин отбывал в Александровском центральном. С апреля и по осень гнал Александровский центральный сотни каторжан на знаменитую «колесную дорогу» — к Амуру. Это прокладывали уже почти два десятилетия тысячeverстное шоссе от Благовещенска до Хабаровска.

«Кому нужен этот путь, проходящий по голой, никем не населенной, утонувшей в тайге и болотах земле?!» — задавал себе вопрос Теплухин.

Ответ был прост и ясен, как прост и ясен был и сам старший конвойный надзиратель Гвоздев.

— Нам не дорога нужна, а ваша кровь, — сказал он однажды в присутствии Теплухина, и того поразила в ту минуту не столько обнаженная откровенность надзирателя, сколько поистине деловитый тон, с каким это было сказано. И еще — гвоздевое лицо в этот момент: оно было покойно и беззлобно, а большие янтарно-желтоватые, как у филина, глаза из-под реденьких седых бровей смотрели задумчиво и проникновенно.

Он отвернулся и закричал уже, как всегда, своим визгливым и сухоньким голосом ретивого старичка:

— Тачки сломаны? Жалуетесь, каторжье чертово! На то и каторга, чтобы тычки были сломанные, — с целыми не мудрено! Марш!..

Но сейчас он был уже менее страшен, чем минуту назад. Жестокость сильна скупым и тихим словом.

...До Иркутска от централа идут семьдесят пять верст пешком: в кандалах, нагружены каждый полторапудовой тяжестью, голодны, — и потому проходят не больше четырех верст в час. Идет вместе со всеми и Теплухин. На голове узенький арестантский «пирожок», за плечами скатанная в халат казенная кладь, свое одеяло и белье, на ногах неуклюжие, грубые башмаки, натирающие на пятках нестерпимо ноющие пузыри. Ноги болят: несвободные, укороченные кандалами шаги расшатывают и расслабляют и без того усталую поступь, и оттого все тело тянется книзу, к земле. Но это желание запретно и наказуемо, нужно идти, не нарушая рядов, иначе случится то, что было несколько дней назад с шагающим рядом товарищем.

Этот товарищ, низенький желтолицый Загермистр, не вынес дорожной пытки: покрытые кровотоками волдырями ноги отказались служить, не защищенная от солнца, одолеваемая им голова перестала соображать, настороженность, свойственная всем здесь, покинула его, — и Загермистр, забыв обо всем, опустился в изнеможении на землю. Ряд был нарушен.

— Товарищ Моисей! — оглянувшись на него, зашептал Теплухин. — Вставайте... дайте руку. Ведь бить будут!

— Не могу больше! — И Загермистр уткнулся головой в землю, держа в дрожащей руке снятое с носа запыленное пенсне.

И, может быть, спустя несколько секунд, опомнившись, он и сам бы поднялся, но было уже поздно.

— Ага! — крикнул сбоку конвойный, и, врезавшись в ряды каторжан, растолкав их, он ударил упавшего высоко занесенным прикладом.

Раз, другой, третий — в бок, по руке, по плечу.

И, обернувшись, Теплухин видел, как сжавшийся в комок обороняющийся Загермистр старался подставить под удар висев-

ший за плечами мешок с вещами и как прятал от солдатского приклада свое маленькое, уроненное на землю пенсне, прикрывая его сгорбившейся, поставленной на пальцы кистью судорожно шарящей руки...

— Довольно!— сорвалось у кого-то в толпе, и конвойный, услышав это, бросился на голос.

— Ага! Вон что!..— орал он.— Ага-а!.. Застрелю.— И он метался вместе с другими солдатами по торопливо удаляющимся рядам, ища «виновного».

Он не найден, он никем не выдан, но тем хуже: ответит за это вся партия!

— Ага-а!..— несется со всех сторон, сзади и с боков, разъяренный, азартный хрип конвойных.

Они шелкают затворами, подталкивают и бьют в спины прикладами, и десятки беззащитных, избиваемых каторжан, пуще всего боясь споткнуться и упасть, бегут,— держась своего ряда,— быстро и неловко семеня закованными в сталь, израненными ногами.

Клубится пыль, хрипят и скрежещут мерно звеневшие раньше кандалы, плывет по голой, необъятной земле стоустый, унылой запевкой, стон.

Так — до Иркутска, а оттуда до Сретенска везут по железной дороге.

Кто, побывав на Амурской колесной дороге, потеряет в своей памяти сретенского капитана Лебедева, местного начальника конвоя?

— Шапки долой! Смирно, окаянные!

Он ждал, с нетерпением ждал каждую партию амурских каторжан. Он встречает их тут же, на вокзале, принимает рапорт конвоиров, обходит понуро выстроившиеся ряды, пробегая по ним своими мутными и бегающими, как ртутные шарики, глазами. Кривая, веселая улыбка еще пуще растягивает и без того большой жадный рот, и губы, сползшие каждая в сторону, набок, открывают подбитые золотом плоские передние зубы. Рыжие рогаги нафабранных усов подняты кверху, до самой скулы, и маленькая жирная ручка капитана Лебедева, поддерживая ус, нежно сворачивает кольцом его упругий, жесткий кончик.

— Слу-ушай! Сознawайся, у кого кандалы распилены!

Еще раз бегают глаза молчаливую, насупившуюся толпу, и кругленький капитан Лебедев, стоя перед строем, приподнимается, вытягивается на цыпочках, заглядывая в глубь рядов.

— Р-равняйтесь на меня! Гляди честно в глаза цареву офицеру. Бунтовщики, отребье!

Он долго не отпускает толпу, мечется и бежит по перрону все с той же кривой, веселой улыбкой, но видно, как все чаще и чаще бледная судорожная тень набегаеt на его лоснящееся, розовое лицо: этот сброд застыл, окаменел,— ни одного звука, черт побери!

А он, капитан Лебедев, так ждал эту очередную партию! Вот послушайся кто-либо, заговори, пожалуйста, и уже долго будут

помнить сретенского начальника конвоя. О, капитан Лебедев не позволит в своем присутствии бить прикладами, — в Сретенске наказывают розгами, но бьют только по голому животу: любит причуды темная царская каторга.

Сорвалось сегодня у капитана Лебедева... Но вот мелькает одна последняя надежда:

— Слушай команду, конвойные! Кто найдет распиленные кандалы, получит четвертак за пару. А у кого найдет — двадцать пять на пуп горячих!

Бегают по кандалам ощупывающие солдатские руки.

После обыска ведут всех к пристани. Баржа невелика, палуба огорожена высокой сплошной решеткой, и в узкие дверцы ее гуськом проходят каторжане.

— Залезай в трюм!

Люк открыт, и в черный зев его вползают, ссутулившись, скованные цепями люди.

Трюм невелик и тесен; низенький, нависший над головой черный потолок, маленькие, узенькие окна, пропускающие скупое ползущий и словно упершийся в тупик искривленный свет. Не погляди в окошко, и не знаешь — едешь или все стоишь на месте: крошечный пароход медленно тянет на буксире тяжелую баржу, как снатывшийся муравей — хлебную крошку.

За стеклом мягкий маслянистый плеск воды. Далеко от окошка на реке — опрокинутый в нее, рассыпавшийся диск предвечернего солнца, и на воде в том месте — растопыренный пучок вызолоченного света.

Теплухин не отводит от него глаз: он боится отвернуться от окошка, как будто позади уже — зияющая крошечная тьма, подкарауливающая его глаза, чтоб навсегда ослепить их.

В последнее время, во имя сохранения самого себя, он развивал в себе бессердечность и сдержанное, скупое отношение ко всему окружающему. То, что в первый год тюремного заключения могло производить сильное впечатление и вызывало повышенное и обостренное реагирование, теперь уже совсем по-иному доходило до его сознания.

Внешне он сочувствовал страданиям своих товарищей по заключению: он делал все, что обыкновенно делается, когда испытываешь чувство сострадания. Он ободрял заболевших и умирающих, подавал им воду, оправлял их постели, но делал все это потому, что именно так надлежало поступать в условиях тюремной жизни, а не потому, что его побуждало к этим поступкам внутреннее, душевное чувство — прийти на помощь другим узникам.

Он сам никогда не считал себя мягкосердечным, а испытанные им самим страдания, борьба за самого себя — все это еще больше огрубело его, — он защищался.

Каторга была создана для умирания, для смерти. Людей бросили в тайгу, в болото, к сопкам, где смерть, забыв азарт мгновенной казни, расчетливо копила для себя ее садизм и сладострастие.

Кусает мошкара в болотах, бьет по темени тяжелое и жадное

солнце, душит в иступлении жажда в безводной пустыне, скрючивает, переламывает каторжанина дикая лесная амурская земля.

А позади него и рядом с человеком каждую минуту, днем и ночью,— такой же одичавший, иступленный, приученный наймит смерти — человекоподобный зверь с винтовкой в лапах и с зеленой кокардой на картузе.

Питерский рабочий, большевик Власов, попросил дважды за ночь выйти из палатки,— и, рассвирепев, бьет его часовой прикладом, валит на землю и разбивает ему два ребра. И говорит наутро часовому конвойный начальник, подмигивая рапортующему помощнику:

— Плохо, что сломал ребра, в больницу проситься будет,— но молодец, что верен присяге!

Смотрят все люди исподлобья и знают, что присягали человекоподобные смерти. Одна надежда на время убежать от нее — попасть снова в тюрьму, в больничный околотовок. И люди залезают по горло в наполненные водой рвы, калечат ноги, пьют махорку с солью, продавают иголки с шерстяными нитками сквозь одеревеневшую кожу.

Так собирает смерть на каторге свой хмурый оброк человеческих жизней. Дань велика и обильна.

Ах, помнит, часто вспоминает Иван Митрофанович и так же часто отгоняет прочь воспоминания о «колесухе», о центре, о худощавом и близоруком Загермистре, о питерском рабочем Власове, томившихся еще в недрах великой, темной каторги...

Но «колесуха» неумолимо вновь встает перед глазами, и тогда Иван Митрофанович, невольный данник своему прошлому, возвращается к нему, опять глядит во все его углы и тайники, отыскивая в прошлом,— как в чужом обвалившемся доме, из которого успел выскочить и спастись,— наиболее памятные, запечатлевшиеся места.

Сидя в тюрьме, в одиночной камере, он по временам, в полосу тюремного мертвого штиля, испытывал приступы тихого, медленно душившего отчаяния. Он знал, что это предтеча душевного заблуждения. Крепкий телесно и до его времени не менее сильный психически, он чувствовал вдруг угрозу, более страшную, чем смерть. Тогда он напрягал всю свою волю и заставлял себя упрямо и подолгу думать о том, что существовало сейчас далеко, за стенами тюрьмы, и не только об этом, но и о том, что было задолго до настоящего момента.

Будущее в такие минуты он не пытался постичь: он жил, как сам говорил, «в обратном направлении». В строгой последовательности, день за днем, он перебирал в своей памяти, собирал кропотливо все звенья пережитого, и,— словно цепь минувшего опущена была глубоко вниз, а сам он повис в конце ее,— он подымался теперь по ней осторожно, боясь сорваться на дно реальной, осязаемой жизни. И с каждым шагом вверх мысль становилась радостней и спокойней, хотя пережитое и не всегда было приятней

и легче настоящего. Но каждый минувший день был ближе к тому последнему, утро которого было еще счастливым и свободным!..

Не с горечью ли и содроганием подумаешь о первом прикосновении кандалных браслетов, наброшенных на ногу умелым тюремным кузнецом?.. Не проклянешь ли час тот?

Вот рябой, одноглазый кузнец вынимает из кожаного фартука заклепки и приказывает сесть на пол:

— Держи ногу рядом с наковальней,— слышь! Да так, чтоб кольцо ей не касалось, а то ноге больно будет!

И кажется: вот-вот кузнец, заклепывая кандалы, промахнется и ударит молотком по выступающему горбику кости,— и страшно становится, вздрагиваешь, и закрываешь глаза, и боишься шевельнуть напряженно вытянутой ногой.

Остро пахнут сыромятной кожей поджилынки. Еще не зная, как прикрепить их к поясу, растерянно берешь их в руки, поддерживая тем волочащиеся по полу кандалы.

— Эх!— улыбается и прячет свои инструменты одноглазый кузнец.— Вы не смотрите, что на их ржа: недельку поносите, так очень даже серебром блеснуть будут, отбелятся!

И начинаешь первые звенящие шаги в них — чужие, неуверенные шаги: точь-в-точь такие шаги у актера на сцене, когда, передавая чье-то страдание, горе, внезапное безумие, как призрак, медленно пошатываясь, идет он куда-то.

— Шагай! шагай!— хохочет кузнец, потешаясь над тем, как неловко старается Теплухин найти свой новый, рожденный кандалами шаг.— Тпру! Не торопись, а то щиколотку нажмешь!

Кажется, что упадешь, невольно тянешься за ремнем и отवेशиваешь всем туловищем приниженный, робкий поклон.

Нет, не страшен памяти Теплухина этот первый кандалный день: ведь ближе он, ближе к тому последнему, утро которого было еще свободным!..

А за спиной этого последнего вырастают все больше и больше, как поставленный чьей-то заботливой рукой, ряд фарфоровых, приносящих удачу слоников,— поистине счастливые дни далекой, неомраченной молодости.

И, взбираясь наверх по цепи дней, мысль Теплухина, уже выбравшись словно на поверхность, быстро бежит теперь мимо последних его годов и — утомленная — ищет приюта в далеком доме теплухинской семьи.

Вот... вот: его вдруг начинает умилять то, что раньше было даже неприятным и чуждым. И, перебрав в памяти каждую деталь, он снисходительно и добродушно вспоминает и те настоящие фарфоровые фигурки слонов, которые мать почтительно ставила на подзеркальник — на вышитой бархатной дорожке.

В памяти его живут не только люди, но оживают и вещи; мысль воскрешала бывшее спокойствие и уют.

А часто, когда воспоминания о былом не могут в полной мере отвлечь от беспощадной действительности одиночного заключения, приходит на помощь причудливая игра воображения — фантазия.



Иван Митрофанович иногда, в моменты пребывания в общих камерах, встречал людей, которые, как и сам он, жили этим наркотом мысли.

Была своя фантазия и у Теплухина.

Он видел уже себя свободным от насилия тюрьмы. Мысль делала прыжок через пропасть незаполненных дней и годов, оставляя далеко позади тяжелые, темные будни реальной жизни. И, перепрыгнув, она продолжала свой безудержный, фантастический бег, не видя уже никакой другой цели, кроме одной: безотчетной выдумки, неограниченного сочинительства.

Его собственный мир объят был пламенем гипертрофии; она сжигала все реальное, существующее и, подгоняемая ветром фантазии, неимоверно раздувала его самого — Теплухина. Гипертрофировались честолюбие, воля, ум, — и все это в мечтах приносилось к подножию славы и самовозвеличивания.

Кем только не видел себя Иван Митрофанович! Но только не тем, кем стал в жизни...

Полтора года назад, зимой, в общей камере эсер из Полтавы, студент-филолог, радостно сообщил:

— Иван Митрофанович? Вам, как эсеру, могу сообщить: я встретился на прогулке с товарищем из новой партии ссыльных: присланы сюда по киевскому делу. Вот видите — оказывается, не всю еще Россию усмирили! А вы говорите!.. Рана затягивается, растет новая кожа. Она еще тонкая, молодая, но все-таки рана вылечивается.

— Вы думаете? Вот эту молодую «кожу» опять содрали:полнили централ еще несколькими людьми.

— Ну, и что же? Так было и так будет — если хотите знать! Да, да! Но в Киеве все-таки работает подпольная организация. Она хорошо законспирирована, она будет медленно, но верно делать свое дело. Есть люди, которые ей искренне сочувствуют.

— Сочувствие не браунинг — стрелять не будет! — угрюмо покосился Теплухин. — Одна метафизика — это сочувствие.

— Я не хочу с вами спорить, Иван Митрофанович. Я хочу поделиться с вами радостью. У киевлян — настоящая организация. Они налаживают свою типографию, у них есть даже связь с военными. Да, да, представьте себе: с военными, с некоторыми военными... Эти люди дают им деньги.

— А не охранка ли дает? А потом — провал?

— Идите к черту, Теплухин! — возмущился вдруг студент. — Слышите — к черту, я вам говорю!

— Ну, допустим.

— Не допустим, а факт! У организации есть деньги. Но этого мало. Они тонко и по-настоящему работают. Эти товарищи случайно провалились, но там остались такие, которые удержатся! Вы знаете Голубева?

— Киевскую знаменитость? Монархиста?

— Ну да, студента Голубева — о нем теперь часто слышать. Так этот Голубев...

— ...член подпольной организации, скажете?

— Ваша ирония, Иван Митрофанович, может вам показаться не совсем беспочвенной. Ей-богу! Нет, этот Голубев имеет товарища по университету... Так вот этот студент — наш! Вы понимаете?

— Пока — по-своему только.

— Как хотите! Только я вам должен сказать, что этот студент, который «дружит» с Голубевым и ходит при шпаге, умеет выкрадывать из типографии «Двуглавого орла» шрифт, а по ночам читать молодежи замечательные рефераты.

Этот разговор происходил зимой в конце 1912 года. А в начале весны следующего года иркутский генерал-губернатор «совершенно секретно» сообщал в Санкт-Петербург, в департамент полиции:

«Начальник Александровской каторжной тюрьмы при донесении своем от 8 марта сего года представил мне заявление государственного преступника Теплухина Ивана Митрофановича, социалиста-революционера, и донес, что Теплухин, осужденный на каторжные работы по делу о беспорядках в Полтавской губернии, обратился через него ко мне с просьбой о переводе его в Иркутский тюремный замок, где бы он, будучи удален от сотоварищей, подлежащих вместе с ним вторичной отправке на Амурскую колесную дорогу, мог бы сделать важное сообщение.

Вследствие этого я предложил Теплухину через особо доверенного чиновника Губонина представить мне более подробное объяснение по сделанному им заявлению, а перевод его в Иркутский тюремный замок назначил после высылки всех его товарищей, чтобы он, не стесняясь присутствием их, имел возможность сделать обещанное разоблачение.

Но Теплухин этого не сделал, чем подал повод предполагать, что ходатайство его о переводе в Иркутск имело другие побудительные причины. Однако спустя неделю мне было вновь представлено прошение Теплухина, в коем он просит дать возможность ему в обстановке, не вызывавшей бы подозрений у его сотоварищей, сообщить уполномоченному мной лицу подробные сведения, обнаруживающие лиц, участвующих в революционном движении.

Мною вновь был откомандирован г. Губонин, имевший с Теплухиным подробную беседу в больничном околотке. Сообщение, сделанное Теплухиным в форме подписанного им заявления в департамент полиции, при сем препровождаю».

## *Глава двенадцатая*

### **ЧТО УСЛЫШАЛ КАНДУША**

Уже почти вся публика хлынула из сада в театр досматривать спектакль, когда Иван Митрофанович, задержавшись в буфете, торопливо вышел оттуда в сад. Едва он сделал несколько шагов, как кто-то, поравнявшись с ним, вежливо и тихо окликнул его:

— На одну минуточку, Иван Митрофанович...

Он приостановился и повернул голову в сторону говорившего. Тот приподнял вбок свою панаму, обнажившую наголо выбритый шишковатый череп, учтиво поклонился и, пристально улыбаясь одними только глазами, сказал:

— Добрый вечер, Иван Митрофанович. Припоминаете?

И Теплухин узнал тотчас же: черная, густая и круглая борода и тонкая, совершенно лишенная усов верхняя губа, гладко выбритые щеки, — такое необычное распределение растительности на лице делало его быстро запоминающимся, знакомым.

— Губонин!.. Вы здесь? — воскликнул Иван Митрофанович и оглянулся по сторонам, словно убоявшись того, что кто-нибудь мог услышать эту фамилию.

— Я вполне понимаю ваше удивление, но я — здесь. Здравствуйте, здравствуйте, Иван Митрофанович.

Панама покрыла голый шишковатый череп, секунду примащиваясь на нем аккуратно, затем освободившаяся рука медленно вытянулась вперед, поджидая встречную.

— Это не обязательно! — отступил на шаг Иван Митрофанович, не отводя взгляда от губонинской руки. Она не отдернулась сразу, но спокойно загнулась кверху, и сухие тонкие пальцы два раза щелкнули с отдачей, выдержав короткую паузу.

— Так-с. Однако, господин Теплухин, это не может помешать моему решению: я должен с вами поговорить кое о чем. Вы отлично меня понимаете, надеюсь. Пойдемте. Стоять на одном месте не рекомендуется: зря только привлекать к себе внимание... Вот уже добрых полтора часа я издали наблюдаю за вами — и здесь и в театре, и мне не хотелось вас тревожить. Но, посудите сами, я ведь для этого и приехал сюда!

Они уже медленно, останавливаясь почти после каждой фразы и поглядывая друг на друга, шли по саду: у обоих была сейчас одна и та же походка. Они оба были равного роста и телосложения. Со стороны оба походили на мирно, деловито беседующих людей, которым некуда торопиться, у которых нет сейчас никакой заботы.

Они еще не вышли из полосы света, падавшего с разных сторон от двух больших шарообразных газовых фонарей, и Теплухин хорошо видел своего неожиданного собеседника.

Губонин бросал исподлобья внимательные косые взгляды, коротко задерживавшиеся на теплухинском лице и сразу же соскальзывавшие с него и пропадавшие где-то в стороне, как только Иван Митрофанович замечал их.

Губонин вертел в руках маленькую помятую веточку сирени. Он каждую минуту подносил ее к носу, а Иван Митрофанович думал в этот момент, что Губонин делает это нарочно, чтобы закрыть веточкой свой голый, незащищенный рот, вокруг которого, как показалось, блуждала неясная, едва сдерживаемая улыбка внутренней несобранности.

Приезд Губонина и встреча с ним поразили Ивана Митрофановича, тем более что он не представлял себе точно, в качестве ко-

го, с какой целью приехал сюда этот человек. Цивильный костюм и панама Губонина скрывали его принадлежность к какому-либо ведомству. Но что неожиданная встреча с этим человеком таила в себе опасность для него, Теплухина, — он инстинктивно почувствовал это тотчас же и потому насторожился.

— Там, у откоса, я высмотрел удобное место, — продолжал разговор Губонин. — Сейчас там пусто, и нам никто не помешает. Не правда ли?

— Как вам угодно. Мне все равно, — сдержанно ответил Иван Митрофанович и свернул круто на боковую аллею, которая была кратчайшим путем к откосу.

Ему действительно было безразлично в этот момент, где произойдет их разговор; он хотел только одного: чтобы разговор этот как можно скорей вскрыл цель губонинского приезда, чтобы наступила наконец какая-либо определенность, потому что ему казалось, что Губонин станет хитрить, присматриваться к нему и проверять свои наблюдения, а Иван Митрофанович ждал сейчас точных вопросов и предложений.

«Да, вот именно — какие-то *предложения* хочет сделать Губонин, чего-то обязательно хочет добиться!» — решил Иван Митрофанович и пожалел, что в аллее темно и он не может в эту минуту увидеть как следует губонинского лица.

Он ускорил шаги. Аллея показалась темней и уже, чем была на самом деле. Теплухин почувствовал себя словно сплюснутым, сжатым разросшимися с обоих боков деревьями. Он потерял свободу движений, он ощутил внутреннюю скованность.

Подошли к откосу, сели на скамью. Когда забегал ошупывающее, со стороны в сторону, губонинский электрический фонарик, Иван Митрофанович инстинктивно чуть-чуть отклонился порывисто от своего соседа, как будто бы тот намеревался сейчас бросить и в его лицо резкий пучок недоверчивого света.

— Начнем, пожалуй... — иронически пропел Губонин. Он держал в руках папиросу и вынутую из коробки спичку, но не зажигал их.

— Что вам надо? — прервал его Иван Митрофанович.

— Вы правильно, но поспешно ставите вопрос. Не торопитесь, — тем паче что ответ... ну, ближе, скажем, чем вы сами предполагаете. Простите... Одну минуточку.

Спичка высекла о коробок хилый, робко вспыхнувший огонек. Секунда — и он, моргнув печально, умрет. Но Губонин, умело держа спичку, заботливо и осторожно закрыл ее глубоким и плотным полукругом друг к другу сдвинутых ладоней. Пальцы легонько повертели спичку, — фиолетовый огонек медленно схватил ее кончик и вдруг жадно побегал по ней вверх.

Губонинские ладони светились изнутри восковым ровным светом. Он поднес — уже небрежно — сгорающую спичку к торчащей во рту папиросе, зажег ее и отбросил спичку на траву.

И откуда он все это делал, Иван Митрофанович, против своей воли, сосредоточенно и с любопытством следил за судьбой огонька.

— Ну, вот... я и готов,— тем же спокойным тоном продолжал Губонин, затягиваясь папирсой; сухой табак потрескивал и ронял крохотные искорки.— Я вовсе не хочу затягивать разговор,— если вам это могло показаться почему-либо. Ни в коем случае! Но когда люди собираются говорить интимно и проникновенно...

— Ого-го!

— Не иронизируйте, Иван Митрофанович! Повремените. Прошу верить: наша беседа *должна* быть интимной и задушевной. А вот в таких случаях люди стараются устроиться поуютней и — внутренне — поближе друг к другу.

— Что вам угодно?— вновь повторил Теплухин свой вопрос и озлобленно посмотрел на собеседника.

Губонин сидел сгорбившись, подавшись корпусом вниз, упираясь локтями в широко расставленные колени. Это была поза бездельника, ничем не озабоченного мечтателя, но ни в коем случае не человека, собиравшегося вести осторожный, строго конспиративный разговор, и Теплухин недоуменно подумал об этом и еще пуще разозлился.

— Мне угодно,— не меняя позы, сказал Губонин,— довести до вашего сведения, что я переменил место службы и живу теперь в Петербурге. Затем: по роду своей службы я уполномочен в числе прочих своих обязанностей интересоваться вашей судьбой. Вы меня, надеюсь, понимаете? Еще одно замечание: последний год вашей жизни известен всего лишь трем официальным лицам, считая и меня. Знал кое-что еще один человек — иркутский генерал-губернатор, но, как вам, вероятно, известно из газет, он скончался недавно.

— Меньше одним прохвостом!— не утерпел Иван Митрофанович, но совсем, совсем не это захотелось выкрикнуть сию минуту: он уже догадывался о цели губонинского приезда!..

— Напротив,— все тем же невозмутимым тоном возразил Губонин.— Старик был ревностным и честным служакой. Впрочем, не в этом дело. Объезжая юг, я заехал в Смирехинск повидаться с вами и просить вас об одной услуге.

— Никакой!— все более и более ожесточался Теплухин.

— Не торопитесь с ответом, Иван Митрофанович.

Подброшенная щелчком папирсы полетела в траву, Губонин выпрямился и поправил сползшую набок панаму.

— Вы сами поймете, Иван Митрофанович,— тихо, но настойчиво произнес он,— что есть вещи, которые каждый из нас уже *обязан* сделать. Не правда ли?

— Я не буду служить в охранном отделении,— знайте это! Я отказался от борьбы с вами, это не значит, что я буду служить вам.

— Формула ясная, но не устраняющая возможности нашего с вами соглашения. Я отнюдь не предлагаю вам служить в охранном отделении.

— То есть... как же это?— сбился в мыслях Иван Митрофанович и перевел взгляд на своего врага.

Густая черная бородка медленно поползла навстречу, ведя за собой голый, тонкий рот с острыми, приподнятыми кверху уголками. Бородку эту Теплухин видел и раньше еще, на каторге, но сейчас, на ночном свете, она показалась ему почему-то неживой, нарочитой. Бородка путала, сбивала с толку Теплухина, а вот, казалось, сорвать ее с губонинского подбородка, оголить его, — и Губонин сразу станет совсем понятным, разгаданным.

— Служить у нас я вам не предлагаю, Иван Митрофанович. Прекрасно понимаю, что вы не можете стать таким «профессионалом», каких у нас много. Надо быть глупым и некультурным жандармом, чтобы на это рассчитывать. Прельщать вас золотыми копейками, сделать вас платным осведомителем, — это не входит в мои планы.

— Вы пытаетесь быть «умным жандармом»?

— Не надо колкостей, Иван Митрофанович, умный я или глупый — на это я вам потом отвечу. Ну, так вот. Вопрос ставится не о службе у нас.

— Короче, пожалуйста. Какой подлости вы ждете от меня?

— Какой *еще* подлости? — легонько засмеялся Губонин, но тотчас же принял свой прежний, спокойный и бесстрастный тон. — Вам угодно употреблять это слово? Какой услуги? Меньшей, во всяком случае, чем та, какую вы уже однажды оказали государству, беседуя со мной в Иркутском тюремном замке. Вы, конечно, все помните? Та-ак... Условимся, значит, что вы все помните. Благодаря вашему показанию остатки киевской организации спустя несколько месяцев...

— Можете не сообщать, — прервал его Иван Митрофанович и сам удивился тому, что голос его, сорвавшись, прозвучал вдруг громче обычного, хотя слова еще за несколько секунд до того были наготове для ответа, так как предчувствовал уже, о чем станет говорить Губонин.

Черная бородка вновь приблизилась:

— Вы меня простите, Иван Митрофанович, мне было бы приятней вести беседу в другом тоне, но... вы сами виноваты.

Он заметил в этот момент на теплухинском пиджачке прилепившийся к вороту грязный, завернутый в паутину лист, упавший, очевидно, когда шли темной аллеей, и, не прерывая своих слов, осторожно и предупредительно снял его и бросил наземь. Иван Митрофанович инстинктивно скосил глаза к вороту и потер его рукой, но там уже ничего не осталось.

— Можно смело сказать, — продолжал Губонин, — что киевская организация была ликвидирована исключительно при вашей неожиданной помощи. Смешно отнекиваться, Иван Митрофанович! Правда, вас никто не может в этом заподозрить. Арестованные и по сей день думают, что их провалил голубевский «приятель». Увы, он убит при попытке бежать из-под ареста.

— Я ни на кого не указывал, я не знал ничьей фамилии, — защищался уже Иван Митрофанович и сам понимал, что обороняется от собственной своей памяти, что успокаивает ее, старательно

скрывается от нее, как делал все это время после приезда из торговли.

Правда, он умел совладать с собой, он умел, когда нужно было, умерщвлять свои воспоминания, и яд в таких случаях оказывался почти всегда испытанным и сильно действующим. Этим ядом была его собственная *свободная жизнь*. Она была сильнее всего. Перед самим собой он не боялся сознаться в том, что чувствует себя ее бесконечно обязанным холопом, до фанатизма преданнейшим рабом, в душевном иступлении падающим ниц перед каждым ее мельчайшим, но *доступным* ему проявлением. И он никогда не покаялся бы...

— Совершенно верно: вы не знали ни одной фамилии, — кивнул головой Губонин, — но факт остается фактом. Вы не согласны разве со мной?

Иван Митрофанович чуть-чуть отодвинулся: Губонин глубоко положил ногу на ногу, ступню на коленку, и неловко зацепил носком лакированной туфли его брюки.

«Даже не извинился», — подумал Иван Митрофанович.

Губонин, придерживая обеими руками ступню закинутой ноги, мерно раскачивал свой корпус. Голова его была немного откинута назад и глаза устремлены в сторону Теллухина, но не на него, а куда-то ввысь.

Неподалеку раздалась хриплая, кряхтящая трель дергача. От неожиданности оба вздрогнули, и Губонин быстрее обычного сказал:

— Я знаю: вы не откажетесь выполнить нашу просьбу. Тем паче что требуется в конце концов сущая ерунда. Хотите — прямо? Извольте! Вы должны будете поделиться с нами вашими впечатлениями о «делах и днях» небезызвестного вам человека. А может быть, и не одного, а двоих.

— О ком вы говорите? — не без сильного любопытства спросил Иван Митрофанович.

— Одну минуточку, Иван Митрофанович. Что касается первого, то он займет у вас не так уж много времени, ей-богу! Ну, летние месяцы, иногда — в середине года. А второй не столь важен, но при известных условиях — любопытен. Ну, теперь извольте догадываться, что я говорю о братьях Карабаевых?

— Они опасны вам? Вы их боитесь? — насмешливо посмотрел на врага Иван Митрофанович: слова Губонина его по-настоящему удивили, и в эту минуту он был занят только мыслью об этом, забыв даже коварный и обидный смысл губонинского предложения.

Почему-то стала забавной одна мысль о том, что веселая русская охранка, справившаяся с *боевыми* рядами революции, трусит, оказывается, перед еще более трусливыми и совсем беспомощными в политике, по его мнению, людьми, какими считал общественных деятелей типа Льва Карабаева.

Вот те на! Пуганая ворона и куста боится... И, неизвестно отчего, он вспомнил вдруг не обоих Карабаевых, а самодовольно улыбающиеся, спрятанные за очки глаза красноречиво вздыхаю-

щего адвоката Левитана. «Видали такого... словометателя, ха-ха-ха!»— И Теплухин невольно рассмеялся.

— Неужели они опасны?! Нет... ну, о чем же тут разговаривать! Спите, господа хорошие, спокойно. Никаких таких «впечатлений» я вам не буду докладывать. Не собираюсь и не буду,— уже твердо и облегченно сказал он.— Ну, пора нам расстаться,— сделал он попытку встать, но в тот же момент почувствовал, что на этом беседа их не окончится, не может окончиться. И он остался на месте, неловко заерзав на скамье.

— Не будете?— качнулось назад губонинское плечо и — застыло.

— Н-не хочу!

— Ах, Иван Митрофанович, Иван Митрофанович! Темперамента в вас много. Но, впрочем, ближе к делу!— оборвал Губонин себя и выпрямился на скамье.— Еще раз напомним вам: киевляне-то — ваших рук дело, а? Ведь «просвещенные, демократические» слюнтяи, если бы узнали, немедленно объявили бы вас предателем,— не так? Одну минуточку, Иван Митрофанович,— спокойней. Я не угрожаю. Я только помогаю вам проанализировать создавшееся положение. Далее: кое-кто имел бы полное основание считать вас виновником смерти близкого человека.

— Вы — убийцы,— глухо сказал Иван Митрофанович.— Я лично не знал никакого голубевского студента.

— Но потому, что нам стало известно о его существовании, мы и открыли все. Но не в нем дело. Вы не знали также офицера Галагана!

— Я?.. Его?..

— Да, вы — его!

— Я ничего не понимаю, господин Губонин. Вы просто клевете и приписываете мне подлость, в которой я неповинен. Это, конечно, «стиль» охранки!.. При чем здесь Галаган? Какой офицер?

В голосе Ивана Митрофановича появилась хрипота придумшенного гнева.

Упоминание фамилии Галагана было самым неожиданным из того, что случилось в сегодняшний тяжелый вечер.

Еще только час назад он думал о Людмиле Петровне, он вспоминал каждую фразу ее письма, лежащего сейчас в боковом кармане, обсуждал письмо, подыскивал решение... Еще только час назад, читая в письме о поручике Галагане, он меньше всего обратил внимание на это место в послании Людмилы Петровны, потому что никогда и ничего не знал подробно о ее муже, за исключением того, что он застрелился, но почему — Людмила Петровна не считала нужным рассказывать, а сам он, Теплухин, не испытывал такого интереса, чтобы разузнать. И вдруг Губонин,— кто же?— Губонин!— напоминает почему-то о поручике Галагане!.. Что за нелепость!

Иван Митрофанович искренне недоумевал.

— Я понимаю: для вас эта история действительно неприятна,— продолжал уже Губонин таким сочувственным тоном, как



будто бы собеседнику все было ясно, хотя он всем своим видом доказывал противоположное, в чем сам Губонин и не сомневался.— Подумать только, Иван Митрофанович... Вы в очень хороших отношениях с женщиной, муж которой застрелился потому, что вы послужили тому... ну, что ли... существенной причиной. Хоть кому это отравило бы настроение! Одну минуточку,— спокойней! Я объясню все. Поручик Галаган — порывистый и увлекающийся человек, о котором мне случайно пришлось слышать еще в Царстве Польском, где я был в служебной командировке. Этот человек не плохих душевных качеств и не плохой дворянской крови был причастен к подпольной киевской организации.

— Что-о?..

— Да, Иван Митрофанович, так оно и было. Но биография Галагана — это не биография революционера. У него и психика, конечно, была совсем, совсем другая. Беспочвенный, неуравновешенный романтик, он хорошо декламировал революционные стихи, отдавал все свои деньги каким-то проходимцам, которые гипнотизировали его своим «аскетическим» видом, и в то же время... очень любил свой полк, свою молодую жену и вообще своих дворянских папу и маму! Он застрелился, когда узнал, что его должны арестовать вместе с остальными участниками организации. Ведь впереди — крах, Сибирь, потеря всего, что по-настоящему только и было ему близко,— не правда ли? Словом, впереди — позор. Ни один Галаган не попадал еще в тюрьму... вы понимаете. В общем, это может служить хорошим сюжетом для Леонида Андреева. Однако в этом сюжете мы должны с вами «похитить» одно звено: вдова поручика никогда не должна узнать, какое отношение имел Иван Митрофанович Теплухин к смерти ее мужа. «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Правильно, кажется, поэт рекомендовал,— не так ли?

Иван Митрофанович уже все понимал. Губонин бросил игру,— она была не нужна. Губонин угрожал и принуждал. Он сделал уже свое дело и смотрел теперь на своего пленника с едва скрываемым любопытством. «Я ведь тебя хорошо изучил,— говорил словно его взгляд.— Тебе не уйти от меня,— потому что уходить-то некуда. Ты не уйдешь и от самого себя: «жизнью пользуйся живущий»,— ха-ха!»

Иван Митрофанович молчал. Губонин вновь закурил и уже не обращал внимания на своего соседа. Он знал, что сейчас надо дать время Теплухину подумать, взвесить все, учесть, оценить и его, губонинские слова, а каково будет решение — он не сомневался.

Он курил, любовался непривычным для его глаза бархатным южным небом и сосредоточенно, как будто только этим был сейчас всецело поглощен, отгонял от себя комаров, суя им навстречу горящий кончик папиросы. Иногда ему удавалось смертельно обжечь комара, тот быстро сгорал на огоньке, Губонин подносил к себе папиросу поближе и следил за казнью насекомого.

И вдруг он опять заговорил, и Теплухин даже обрадовался теперь этому, потому что тягостно стало думать в присутствии молчащего победителя-врага.

— Развезжаю я по России, Иван Митрофанович, и всматриваюсь в нее. Вы не думайте, что люди моего «ведомства» все уж такие тупицы, прохвосты и негодяи. Ведь так привыкло думать так называемое «прогрессивное» общество? Я сам, конечно, интеллигент, но по совести говорю: презираю громадную часть этих российских культуртрегеров. Не уважаю, Иван Митрофанович!.. Вот съезды теперь всякие устраивают: шумим, братцы, шумим! Что ни съезд, то всякие легальные либералы, вроде думского Карабаева, стараются исподтишка протащить кусочек «политической» революции. Гинекологи ли съезжаются, агрономы — все равно! Жив, мол, еще либеральный курилка. А *посметь?*— На то и зайцы! А могли бы полезное дело делать в нашей азиатской стране. А дело делали бы,— не казалось бы уже все таким «деспотическим, варварским».

— Какое дело?— поспешно спросил Иван Митрофанович. Ему показалось, что неожиданная словоохотливость Губонина вот-вот себя исчерпает и в разговор, как в затухающий костер, следует подбросить сухие сучья новых слов.

— Ясно, какое... (Папироска, как и в первый раз, подброшенная упругим щелчком, полетела в траву.) Стране нужны квалифицированные работники, а наш массовый интеллигент не знает своего дела и не любит его. Он — плохой инженер, непрактичный техник, необразованный врач, некультурный учитель... Пусть занимаются *своим* делом, а не провоцируют «обиженный» народ.

Он несколько минут еще говорил, но Иван Митрофанович не вслушивался хорошо в его слова, изредка подхватывал только какую-нибудь фразу, и тогда ему казалось,— вопреки первому впечатлению,— что Губонин не так уж умен, что в мыслях его нет ничего оригинального и что все это ему, Теплухину, давно уже знакомо, и, заметив, что Губонин умолк, он озабоченно сказал:

— Ну... а дальше что?— и сразу же понял, что спросил невпопад: Губонин закончил свою речь сообщением о неудобствах в здешней, смирихинской, гостинице.

— Вы меня не слушали, оказывается!— громко расхохотался он, но тотчас же понизил голос и стал, как несколько минут назад, серьезен и настойчив.— Итак, мы договорились,— не правда ли? Мы друг друга хорошо понимаем. Я буду поддерживать с вами письменную связь, язык — условный, конечно. Иногда (не беспокойтесь: не часто, не часто!) я буду руководить... вашими впечатлениями и, в свою очередь, ставить вас в известность о том, что может и для вас представлять интерес. Уверю вас, это не так скучно бывает подчас. Запишите мой адрес... Ну, ну... зачем нервничать, вот уж не ожидал. Смотрите, не уроните чего-нибудь. Адрес такой: Петербург, Ковенский переулок, тринадцать, квартира двадцать один, инженеру Вячеславу Сигизмундовичу Межеричкому. Ну, чему удивляетесь: это моя квартира!

Он встал, оттянул, потоптавшись на одном месте, немного на-ползшие наверх брюки, поправил на голбе франтоватую панаму. Над ней, пьяно качнувшись в сторону, пронеслась, едва не сбросив, коротко посвистывающая летучая мышь.

Издалека доносился шум выходящей из театра толпы.

— Пойду в ресторан — поужинаю, Иван Митрофанович... Попрошаем здесь, что ли?

Иван Митрофанович молча последовал за ним.

Входя в темную аллею, он оглянулся и посмотрел на откос. Чуть пониже края его, причудливо, по-человечески согнувшись, стояло голое сучковатое дерево, нахлобучив на себя черную мохнатую папаху листьев. Он не знал, как близко от дерева неподвижно лежал уставший, изумленный человек.

### *Глава тринадцатая*

#### ПОСЛЕДНИЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ НА ЗАВОДЕ Г. КАРАБАЕВА

Сегодня новая заводская динамо-машина должна дать свет в красные домики рабочего поселка.

Георгий Павлович Карабаев пожелал придать событию некоторую торжественность: рабочие были отпущены раньше на час, а сам он в этот день приехал к торжеству не один, а вместе с Татьяной Аристарховной.

Она никогда почти не бывала на заводе; она даже не посетила его после переоборудования и расширения, проведенного в прошлом году: собралась посмотреть, но занегола в то время и с тех пор не искала случая съездить в Ольшанку, Карабаев же не предлагал. Он мог *однажды только* пригласить, порекомендовать, но навязывать что-либо жене, а в данном случае эту поездку — это никак уж не входило в его привычки и не было свойственно его характеру.

Так было и во всем в их совместной жизни.

Георгий Павлович полагал, что достаточно уже одного того, что жене известно его мнение по тому или иному вопросу, и оно тем самым должно стать и ее мнением.

Его роль и значение в семье хорошо усвоены были всеми близкими, а интимней и лучше всех — Татьяной Аристарховной.

Она любила его и была преданна в своей привязанности, но он приучил ее к тому, чтобы любовь эта замкнулась в самой себе и всегда таила для любопытства посторонних остроту и свежесть неразгаданности, а привязанность лишена была бы малейшего проявления сентиментальности.

Он внушал ей мысль, что при ином поведении может пострадать в глазах других ее достоинство и женское обаяние, а Татьяна Аристарховна была самолюбива и дорожила своим завидным положением жены такого человека, как Георгий Карабаев, и потому приняла без труда и это его указание.

Георгий Павлович умел по заслугам вознаграждать всякого

своего союзника — тем более он был щедр в отношении такого интимного и верного союзника, каким была для него в жизни Татьяна Аристарховна: жена, мать его детей, хозяйка его дома. Он очертил ее жизнь широким, просторным кругом материальных и культурных возможностей, желаний, удовольствий; она могла считать себя счастливой.

Он завоевал себе право на свободу и на независимость своих поступков: это было то преимущество, которым, по его мнению, *должен был* пользоваться. В частности, короткая связь с женщиной в Киеве, в Петербурге, где приходилось бывать, или совсем случайная тут же, в Смирехинске, о чем, кстати, никто никогда точно не мог знать, была ему наградой за приятный, но бесстрастный и однообразный ритм семейной жизни. (Так, в последнее время он не прочь был осторожно приволкнуться за вдовой поручика, Людмилой Петровной...)

Другое, во что не допускал ничего вмешательства, — было его занятие промышленника.

Фабрика и завод, всякие промышленные и коммерческие дела, которые вел с большим умением и недюжинной изобретательностью, — все это оказалось его *призванием* в жизни!

Из двух своих предприятий он больше любил кожевенный завод. Фабрика также была доходной, но вырабатываемый продукт — крестьянская махорка — казался Георгию Павловичу каким-то простецким, невнушительным, мелколавочным и недостойным того, чтобы помечать на своей упаковке его высокомерную карабаевскую фамилию. Он не позволял печатать ее на копеечных пачках, раскуриваемых мужиками, извозчиками и солдатами!

Фабрика давала немалую прибыль, но все же к махорке своей Георгий Павлович не переставал в душе относиться иронически, с непонятным презрением, про себя называя ее почему-то «нюхательным табаком».

Другое дело — завод! Выросший, заново созданный им, механизированный, «мускулистый» завод!..

В нем словно заложено волевое, мужское начало самого Георгия Павловича, часть энергии его и силы (*часть*, потому что вся не нашла еще своего воплощения!): завод управляет здесь, диктует свою волю, держит в повиновении присягнувшую ему покоренную крестьянскую землю.

И Карабаеву было приятно сегодня показать жене своего любимца, еще издавека посылавшего ему навстречу отсвечивающуюся на солнце, приветливую ярко-зеленую улыбку своих свежескрашенных крыш, самодовольный дымок трубы и строгое спокойствие каменных широких корпусов.

Он приехал с Татьяной Аристарховной, когда работа еще не была приостановлена.

В заводской конторе их встретили служащие и в том числе Теплухин.

Довольная, что увидела здесь знакомого человека (а по-настоящему «знакомыми» считала тех, кто бывал у *нее* в доме),

Татьяна Аристарховна приветливо поздоровалась с ним за руку, удостоив всех остальных бесстрастным ответным кивком головы. Она решила, что иначе и не должна поступать, не уронив в их глазах свой авторитет хозяйки завода.

Она прошла вместе с мужем и Теплухиным в директорский, карабаевский, кабинет. Ей казалось почему-то, что здесь перестанет преследовать ее этот острый зловонный запах кожи, отравляющий вокруг себя воздух на далекое расстояние.

Неужели же и здесь, в *его* кабинете, такой же едкий запах?.. Ведь должна же быть, — обязательно должна быть, — какая-то разница между *ним* и всеми здесь работающими?! И, убедившись сразу же, что и в кабинете тот же запах, какой и во всей конторе, Татьяна Аристарховна горько улыбнулась:

— Какая неприятная и грязная должна быть тут работа! Неужели нельзя избавиться от... этого воздуха?

— Никак! — отвечал Георгий Павлович. — Пойдем на самый завод, не то еще придется обонять.

— Но, может быть, лучше — закрыть здесь окна? (Она уже пыталась проявить навыки своей обычной домашней распорядительности.)

— Закупорим — совсем душно станет. Садись, пожалуйста. Сейчас я распоряжусь принести тебе халат: не запачкаться бы на заводе, — и он позвал одного из служащих и отдал ему соответствующее распоряжение. — Иван Митрофанович, — обратился он к молчаливо стоящему Теплухину, — сегодня новостей никаких?

— Нет, ничего особенного на заводе.

Между ними завязался короткий, малозначащий деловой разговор.

Татьяна Аристарховна не садилась: ей представилось почему-то, что если здесь такой тяжелый, неприятный воздух, то, вероятно, и на кожаном диванчике и на стульях должно быть пыльно и грязно. Проходя мимо диванчика, она, оступившись (подогнул высокий каблук туфли), наткнулась ногой на угол его и тотчас же озабоченно посмотрела на подол своего платья: не запылилось ли оно... Это была излишняя предосторожность, — в карабаевском кабинете всегда было чисто.

— В нашем распоряжении сорок минут, — сказал Георгий Павлович, передавая ей принесенный чистенький халат. — Пойдем, Таня, — успеешь кое-что посмотреть. Иван Митрофанович, а где Бриних?

— Леопольд Карлович на заводе, он встретит вас там.

Теплухин помог Татьяне Аристарховне надеть халат и вместе с Карабаевым вышел в заводской двор. Они направились к ближайшей постройке.

Татьяна Аристарховна знала, что чех Бриних — заводской мастер, крупный знаток своего дела, которым Георгий Павлович очень дорожит, считая его своей правой рукой в производстве. Значит, и она, жена Георгия Павловича, должна быть соответствующим образом внимательна к чеху, должна быть приветлива.

Она подумала поэтому о том, что при встрече надо будет подать мастеру руку, но тотчас же вспомнила, что у него, вероятно, руки не первой чистоты, так как «возится где-то там», — и чуть брезгливо поморщилась.

Если уж пришлось приехать сюда, то лучше бы сидеть у Софьи, а так — и то и другое придется сделать... Она недолюбливала Софью Даниловну, но, дорожа родством с таким известным человеком, как депутат Карабаев, всячески скрывала свое чувство.

Она посмотрела на рядом шагавшего Теплухина и вдруг подумала о нем так, как раньше не приходилось думать.

И чех Бриних, и служащие в конторе, и вот эти встречающиеся на пути рабочие, и муж — властелин на заводе, присутствие всех их здесь не вызывало и не могло вызывать никакого удивления. Мужу все здесь принадлежит, все служит; все эти люди живут, приходят сюда, работают, как делали и раньше и как будут делать и впредь, потому что это — их место в жизни и другого они не искали и не ищут. Но как удивительно, что среди них оказался теперь вот этот человек — Теплухин!

Татьяна Аристарховна знала, как и все в городе, его тюремное прошлое, его испытания на каторге. Жизнь Теплухина никак не походила на жизнь всех остальных и тем самым выделяла его среди окружающих.

В первый раз увидев его по возвращении из Сибири, она с любопытством смотрела на Ивана Митрофановича, с большим интересом слушала его необычные рассказы, и рассказанное так не походило на все знакомое ей из жизни окружающих и ее собственной.

Его биография никак не давала основания предполагать, что он очутится здесь, на заводе Карабаева. Иван Теплухин исправно нес обязанности старшего конторщика-корреспондента. Он был уравнен со всеми в глазах Татьяны Аристарховны, он потерял свои отличительные черты, свою особую «окраску», — он стал безразличен Татьяне Аристарховне, как и все служащие ее мужа.

...У корпуса, где происходило золение, их встретил мастер Бриних. Он учтиво поздоровался с Карабаевым, дольше обычного, но все же мельком задержал свой взгляд на Татьяне Аристарховне и повел их в отделение. Пожимать ему руку не пришлось, потому что руки его были в кожаных черных перчатках, которых при встрече не снял.

Чех понимал, что его обязанность сейчас — давать пояснения почтенной «madame», и он, идя впереди, вдоль стены, говорил размеренно и монотонно, с акцентом, а Ивану Митрофановичу казалось, что, должно быть, сухонькому старику Бриниху скучно это делать, что он сам не слушает своих слов, но отказаться от своих обязанностей не может.

— Мы практикуем, madame, круговую золку. У нас много ям с известью. Отработанный раствор из последней ямы спускается вон, и в этот яма разводится свежий раствор. Теперь в этот самый яма перекладывается кожи из предыдущей, где были, madame, кожи

самой старой загрузки. Затем из предыдущей и предпоследней ямы, и пошел так дальше. В яме номер первый бывает самый старый раствор, и в ней закладываются самый свежий шкура. Когда шкура объехала все ямы, ее вынимают — готово, madame. Эпидермис и шерсть легко отделяются от кожи. Легко, очень легко делается это. Ну, какой пример... ну, пример? Вроде как отделяется кожа со свежей жареный окорок...

Окорок Татьяна Аристарховна без труда представила себе, но всего остального, о чем говорил аккуратный мастер, она не понимала, да и не старалась вникнуть в его пояснения.

Она осторожно шла за Бринихом по узкому дощатому настилу, стараясь не запачкать туфель о какие-то отбросы, валявшиеся на пути. Когда Бриних останавливался у какой-либо ямы, останавливались и все, и тогда Татьяна Аристарховна, не забывая на минуту о туфлях, подымала голову и оглядывала зольник.

Как мало интересен был ей этот осмотр завода, как неприятны зловонные, грязные ямы, наполненные вымачивающимися в извести шкурами, как безразличны все эти рабочие, приумолкшие при появлении Карабаева, и как досадует она, что приходится слушать объяснения исполнительного и неторопливого чеха... Татьяна Аристарховна смотрела вокруг пустым, рассеянным взглядом.

Они подошли к промывальному барабану. Он вертелся с относительно большой скоростью, шумя и отбрасывая от себя прохладные волны короткого ветра. Татьяна Аристарховна старалась держаться подальше от барабана: она инстинктивно боялась его движения, которое, того и гляди, причинит какое-нибудь увечье. Но в то же время он заинтересовал ее — к удовольствию Карабаева, которого первоначальное безразличие жены несколько корбило.

— Здесь, Таня, промывается кожа, — почти выкрикивал он, чтобы заглушить шум. — Барабан полый, с перегородками внутри. В нем вода и кожи, — понимаешь? Быстрая и сильная встряска — и вся соль извлекается из кожи. Раньше двое рабочих вертели, и скорость не та была, а теперь, смотри, — машина! Один человек за двумя барабанами следит: только и дела!

— Голова тут может закружиться, — слабо улыбнулась она.

— Пустяки, барыня! — не утерпел надсмотрщик-рабочий и хитро подмигнул остальным. — Вот кабы в самый барабан кому сесть — тогда другое дело! Верно: закружить вполне может...

И глаз его, чуть-чуть тронутый бельмом, перебежал вдруг на Карабаева и украдкой нацелился на него: «Черт его знает, может, хозяин еще рассердится за вмешательство в их разговор?!»

Но Георгий Павлович не выказал признаков недовольства.

Когда они прошли в дубильный корпус, оборудование его показалось Татьяне Аристарховне уже знакомым, так как во всю длину отделения растянулись такие же ямы, как и в зольнике.

Ямы издали были похожи на открытые, незасыпанные могилы. Между ними были узкие проходы, по которым, ловко уступая дорогу друг другу, шныряли рабочие. На стенах висели длин-

ные крюки: ими опускали и вынимали из ям дубильные кожи. Вдоль ям стояли — в половину среднего человеческого роста — наполненные какой-то мутной жидкостью насосы.

В дубильном отделении рабочих было гораздо больше, чем в зольнике, и Татьяна Аристарховна почувствовала на себе множество любопытствующих, но почему-то угрюмых и настороженных взглядов.

Зловоние душило ее. Вынув из сумочки надушенный батистовый платочек, Татьяна Аристарховна поминутно подносила его к носу.

— Ишь ты, без духов и минуты не может, — негромко сказал костлявый Вдовиченко, работавший у ямы рядом с Николаем Токаревым.

— Надышалась бы нашими «духами» — хоть неделю, — буркнул Токарев. — А мы всю жизнь так.

Слова их до Татьяны Аристарховны не долетели. Внимательно, как «способная ученица», она вслушивалась в слова мужа.

— Волокна кожи жадно поглощают танин, соединяются с ним — в этом, Таня, и состоит дубление, — рассказывал Георгий Павлович. — От соединения волокон с этим желтовато-серым порошком — танином — свойства их изменяются.

— Как? Почему? — забрасывала она вопросами.

— Они делаются, Таня, нерастворимыми в воде, более прочными и стойкими по отношению к гниению. Понимаешь?

— Конечно, все понимаю! — говорила она, улыбаясь, и не обманывала.

Уже нет времени осматривать весь завод, так как через десять минут — гудок, но она уже многое, знает, она, ей-богу, «способная ученица»...

Ну, хочет Жоржа, — и она может повторить все то, о чем вот рассказывал ей сейчас медлительный Леопольд Карлович! Хочет? — ну, пожалуйста...

И Татьяна Аристарховна повторяет, как хорошо выученный урок.

— Ну вот... Кожа выдублена... ее помещают в сушильный сарай. Там ее вешают на жерди и просушивают. Так, Жоржа? Когда она несколько просохнет, ее прокатывают на особых катках. Ну, конечно, так, господа! Кожу нужно хорошо прокатывать на особых станках или на вальцах, и они придают коже мягкость и окончательную отделку. Разве я не понимаю, господа? Я все, все хорошо понимаю... Но самое ценное, Жоржа, танин! Верно?

Она тихо и ласково смеется, засматривая мужу в глаза.

— Та-нин! — весело, вполголоса говорит она Георгию Павловичу и многозначительно повторяет: — Таня — танин — самое главное, правда?

Она случайно набрела на эту выигрышную игру слов, и ее это забавляет и радует. Как удачно — «танин»! И как нельзя без этого вещества обойтись здесь, на заводе, так нельзя ему, мужу, обойтись в жизни вообще без «Тани», без нее, Татьяны Аристархов-



ны,— жены, матери его детей, устроительницы их совместной семейной жизни. Все, все в его, карабаевской, жизни должно быть пропитано, насыщено этим замечательным «танином»... И она жертвовала уже ударением на первой гласной в этом слове, ибо разве не все здесь — ее, Танино?..

— Да, танин,— усмехнулся игре слов Георгий Павлович и подумал с удивлением, как это ему самому ни разу не приходило в голову это любопытное словесное совпадение.

Да, сейчас он испытывал сложное, двойное чувство удовлетворения. В одно и то же время он рад был двум разным, казалось, обстоятельствам. Жена прониклась наконец робостью и уважением к его детищу — заводу, а стало быть, еще лишний раз почувствовала силу, власть и независимость его самого — Георгия Павловича, мужа. Он горд был победой завода.

Но вместе с тем он гордился перед заводом своей женой. Дома он привык и сжился с ней; здесь же, в обстановке необычной для Татьяны Аристарховны, ее внешние качества он увидел и оценил как бы вновь и ярче.

Ему было приятно, что она еще женственна и красива, что у нее свежие, молодые глаза и такие же губы, что долгое замужество почти никак не сказалось на ее статной фигуре, а смех все еще звучит волнующе и весело.

Да, он показывает, демонстрирует почти с надменностью перед всеми свою красивую, «удачную» жену, как только что ей показывал, демонстрировал — с такой же гордостью — *свой* завод, *своих* рабочих, *свою* удачу. Ибо и завод и жена — это его неотъемлемая *собственность*, ибо и завод и жена принадлежат только ему одному — Георгию Карабаеву.

...Он самодовольно смотрел поверх окружающих в одну точку, роняя сытую, спокойную улыбку в свой смуглый цыганский ус.

Электрический ток был дан в красные домики рабочего поселка, но ожидавшийся эффект не последовал: вспыхнувший желтоватый свет в лампочках под потолком потонул и растворился в еще не угасшем дневном свете природы, широко все объявшем вокруг.

Лампочки припали к потолку безжизненными, хилыми и ослепленными.

Татьяна Аристарховна была недовольна. Ей хотелось бы видеть праздничную иллюминацию, а внешне получилось все как-то скучно и совсем уж без торжественности. Неужели же он, Жоржа, не мог этого предусмотреть?

Она искоса поглядывала на окружающих, и ей казалось, что одни из них сдержанно улыбаются, другие смотрят исподлобья, третьи только делают вид, что благодарны Георгию Павловичу. Да как они смеют не выказывать сейчас же, открыто своей признательности ему?!

Гневный, раздраженный взгляд Татьяны Аристарховны натолкнулся в этот момент на Теплухина.

Иван Митрофанович стоял в сторонке, спиной к ней, и разго-

варивал с каким-то молодым рабочим. И, словно почувствовав на себе ее острый и пристальный взгляд, Иван Митрофанович обернулся. Он не знал, что приобретает в эту минуту если не активного врага, то во всяком случае неприязнь и недружелюбие человека, со стороны которого эти чувства к себе считал бы менее всего возможными и заслуженными.

Но так случилось. Татьяне Аристарховне вдруг показалось, что эти развернутые, «расстегнутые» теплухинские губы еще не успели подобрать злой, насмешливой улыбки, которой, очевидно, отвечал на замечания своего собеседника: тот с серьезным выражением лица, сосредоточенно говорил о чем-то и время от времени протягивал руку то в сторону завода, то по направлению к новым домикам рабочих. «А он его еще разубеждает, — у-у, неблагодарный! — подумала Татьяна Аристарховна о Теплухине. — Зачем ему Жоржа протезирует? Вероятно, исподтишка еще настраивает против нас рабочих... Змея на груди!»

И уже никто бы сейчас не мог разубедить ее: она всегда и во всем доверяла только своему инстинкту, а на этот раз он явно вооружился против Ивана Митрофановича.

— Доказательства? — спросил Георгий Павлович жену, когда они сидели уже в экипаже, отвозившем их в город. — Ну, что значит «впечатление», Таня? Ты сама говоришь, что не слышала, о чем он говорил с этим рабочим Токаревым. Так ведь?

— Я твоего Токарева и не обвиняю. Он, может быть, и ценит тебя, но Иван Митрофанович...

— Дался же он тебе сегодня!

— Мне сердце подсказывает, Жоржа. Он злой, завистливый человек. О, поверь! Мы, женщины, умеем тонко чувствовать и распознавать людей, если они почему-либо нас интересуют.

— А в данном случае в качестве кого может интересоваться тебя Теплухин?

— В качестве... ну, как тебе сказать? В качестве... твоего, нашего недоброжелателя.

— Доказательства? — вновь переспросил Георгий Павлович и лукаво посмотрел на жену.

Рессора мягко сплюснулась и разогнулась (дорога изобиловала выбоинами), и их обоих покачнуло и слегка подбросило на экипажной подушке. Лукавая улыбка, на мгновение словившаяся от толчка на карабаевском лице, вновь аккуратно разместилась на нем, встречая растерявшийся, несобранный взгляд Татьяны Аристарховны.

— У меня одно доказательство, Жоржа, — сказала она, — это моя преданность тебе! Ты доволен?

— Спасибо, Танин!

Искренне растроганный, он взял ее руку и, отогнув у кисти шелковистую перчатку, неслышно поцеловал женину руку.

Но эта награда ему самому показалась недостаточной. Он счел нужным ответить на ее подозрения, ответить и разбить их, упокоив тем Татьяну Аристарховну.

— Ты не беспокойся, Таня. Я хорошо знаю таких людей, как Теплухин, и ему подобных,— уверенным, чуть-чуть флегматичным тоном сказал Георгий Павлович.— У них испорченная биография. Жизнь подвергла их своеобразной эпитимии: коситься, угрюмничать и самоотрапляться своим же, каким-то золотушным ядом...

— ...недоброжелательства и зависти!— упрямо подсказала Татьяна Аристарховна и тотчас же испугалась, что перебила мужа, так как он этого не любил во время серьезной беседы, а по его тону поняла, что Георгий Павлович собирается посвятить ее в нечто значительное.

— Зависти? Пожалуй,— согласился он и добавил:— Припадков зависти, сказал бы я, и еще мелкого скепсиса. Конечно, это и есть у Теплухина. Причина ясна, друг мой: революции уже нет, да и вряд ли теплухинская революция будет в наш век... А люди «теплухины» живут, да и жить им надо — биология! Надо примириться, покладистей, оказалось, надо быть. Чтобы понять и знать Ивана Теплухина, надо обобщить вопрос о всех «теплухиных». Я говорил об этом, между прочим, с нашим Левушкой зимой, когда он приезжал сюда. Я Теплухина отлично разузнал, понял и всего вижу насквозь. Он человек способный, и этот бывший эсер-каторжник будет служить моему делу не хуже, чем когда-то — бесформенному делу революции. Когда ты его встретишь следующий раз, поздравь его с новой службой.

— С какой?— удивилась Татьяна Аристарховна и от неожиданности протянула руку к прямой, вытянутой спине кучера, словно быстрая в этот момент езда мешала ей расслышать и понять слова мужа и хотелось, чтобы кучер сдержал лошадей.

— На днях Иван Митрофанович заявил мне, что хочет уйти со службы,— не отвечал на прямой вопрос Карабаев.— Я, должен сознаться, был удивлен и спросил его о причинах.

— Ну, и что же?

— Он отвечал мне как-то невразумительно, ссылаясь на какое-то недомогание... Словом, ерунда, конечно! Не в этом дело. Но я понял: Теплухин хочет лучшего места, чем он у меня имеет.

— Но ведь на казенную его никто не примет!

— Совершенно верно. Значит ли это, что его способности должны загнивать на службе у меня? Я прямо ему сказал об этом и тем самым... покорил его, Таня! Доказал ему — понимаешь? Я предложил ему место моего доверенного лица... Ну, вроде личного секретаря.

— Ты... ты не шутишь, Жоржа? Почему это вдруг?

— Я не шучу,— серьезно и деловито сказал Георгий Павлович.— Я намерен вскоре поручить ему дело... вести предварительные разговоры в Петербурге.

— В Петербурге?!

— Да, в Петербурге, Таня. Я отправляю его к Величко — получить у него согласие на продажу сахарного завода. О, как еще наш Иван Митрофанович покажет себя! Это — благодарный человеческий материал. Но помни, никогда не надо напоминать ему,

без серьезного основания, о его прошлом: воспоминания — вещь ревнивая и капризная!

Георгий Павлович вдруг оборвал беседу и замолчал.

По тому, как он смотрел сейчас вперед себя — немым и долгим взглядом, — Татьяна Аристарховна поняла, как всегда в таких случаях, что он начал о чем-то думать, и прервать его в эту минуту она никогда бы не решилась.

Она хорошо знала привычки мужа. Она никогда не могла ему противоречить и мешать.

В тот день, когда Теплухин впервые очутился в Петербурге с поручениями к инженеру Величко, в тот самый день впервые Георгий Павлович Карабаев почувствовал вдруг, что допустил некоторую ошибку: переговоры о покупке сахарного завода следовало, по всей видимости, отложить. Все полученные сегодня в Смирехинске газеты изобиловали крупным шрифтом, тревожно возвещавшим близкую, неминуемую войну.

В этот вечер Георгий Павлович созвал всех своих друзей. Большой географический атлас Ильина подробно был изучен присутствующими. Все уже знали, где Сараево и Белград и сколько верст от австрийской границы до мирного Смирехинска.

Ночью, лежа в постели, Георгий Павлович подумал уже о том, чего вслух никому бы не высказал.

Сухая и точная, как цифра, мысль сменила и подытожила все впечатления и разговоры: «Во время войны потребуется много сапог и очень популярна махорка!..»

Он протянул руку к ночному столику и закурил туго набитую сигаретку: это помогало думать.

## *Глава четырнадцатая*

### ТАК БЫЛО В ПЕТЕРБУРГЕ

Ни ротмистр Басанин, ни исправник Шелудченко не уследили, когда и каким путем выбыл в июле из Смирехинска Савелий Францевич Селедовский, находившийся под надзором полиции.

Газетный киоск его отца, Франца Юзефовича Селедовского, занимал особое место в жизни смирехинских горожан. Старик выписывал газеты всех политических направлений — киевские, петербургские, московские, и у его магазинчика на центральной Гимназической улице собиралась в час доставки с вокзала газет немалая толпа покупателей. Распространял Селедовский по преимуществу «левую», либеральную печать. И потому, что ее, конечно, больше всего читало население, но и потому, что этим выбором газет старик воспитывал, как признавался друзьям, общественное мнение жителей города. Да, да, пускай и члены окружного суда читают только эти газеты, и все чиновники, которых так много в Смирехинске, и гимназические учителя пусть читают,

и военные, и даже сам исправник, и жандармский ротмистр пусть... Правда, последним двоим он обязался доставлять шульгинский «Киевлянин», «Новое время» и погромное «Русское знамя», но старик с удовлетворением отметил, что в последнее время оба представителя правительственной власти не берут этой черносотенной газеты, а присылают городского за «Русским словом» и «Речью».

У старика были свои счеты с русским правительством и его чиновниками. После революции 1905 года, когда в киевской судебной палате слушалось на шумевшее тогда дело «смиринской республики», три сына Селедовского и он сам сидели на скамье подсудимых. По приговору суда он отбывал двухгодичное тюремное наказание, а сыновья получили по четыре года тюрьмы.

Эта польская, обрусевшая социал-демократическая семья даже за обеденным столом была разделена на фракции, самый старший сын был плехановцем, средний — Савелий — большевиком, а третий — Геннадий — признавал только Мартова.

С Геннадием Францевичем дружил Федя Калмыков и этой дружбой гордился. Это потому, что ни с кем из гимназической молодежи Геннадий Францевич не якшался, был замкнут, ходил одиноко по городу — очень высокий, длиннорукий, всегда в толстовке с черным бантом, всегда с какой-либо книжкой в руке и хлебным шариком в другой, который он вечно мял, покручивал большим и указательным пальцами. Ни шляпы, ни картуза летом не носил, голову держал прямо, придерживая на ветру всей пятерней густую шапку своих волнистых черных волос с серебристыми — не по летам — прядями: темные глаза его казались тоже черно-серебристыми.

Он был бы очень красив, если бы не утолщенный, примятый в кончике нос: словно, появляясь на свет божий, Геннадий Францевич, идя из утробы лицом вперед, наткнулся носом на что-то твердое. Брат Савелий уверял шутя, что это революционный марксизм больно нащелкал по носу Геннадия за его упрямство, книжность и близорукое восприятие жизни.

— Его теоретическая позиция, — весело говорил о брате Савелий Селедовский, — напоминает мне такой анекдотический случай. В начале семнадцатого века, знаете ли, один из начальников иезуитского ордена, которому какой-то монах хотел показать в зрительную трубу недавно открытые солнечные пятна, отказался от этого, заявив: «Напрасно, сын мой, напрасно, я, голубчик, дважды прочел всего Аристотеля и не нашел ничего подобного. Пятен нет! Они проистекают от недостатка твоих, сын мой, стеклов или твоих собственных глаз». Таков и наш Геннадий: «пятен нет». Поговорите с ним — он не дважды, а трижды поклонится обеими бородами: и Марксовой и бородой Энгельса. Но он не понимает того, что теория, не доказанная революционным в наши дни опытом, — все равно что святой, не совершивший чуда.

О старшем брате, плехановце Болеславе, земском статистике, Савелий Селедовский отзывался так:

— Ну, с этим в поход не тронешься: насыпь ему кажется горой!

— Что ж, каждый со своей свечой ходит в жизни,— рассуждал примирительно старик Франц Юзифович, деля свои отцовские симпатии между всеми тремя сыновьями.

Но нет, «свеча» в жизни не устраивала Савелия: он давно уже держал в своих руках светильник иной силы и яркости и, когда, тайком покидая город, распрощался с родными,— сознался им:

— За границу, к Ленину...

Это случилось в начале июля 1914 года. В Петербурге Селедовского уже ждали. Он покидал Россию с ведома ЦК партии. Вместе с Савелием Францевичем должна была перейти нелегально шведскую границу разыскиваемая охранкой молодая чертежница-большевичка, родители которой эмигрировали еще год назад в Париж. Ее звали товарищ Магда.

Разве могли они оба думать в первую встречу, что жизнь обречет их друг с другом? А так произошло вскоре.

Опасаясь неудачи (охранка могла арестовать кого-либо из них) или возможных происшествий в нелегком пути, каждый из них — и Селедовский и Магда — повезли с собой по экземпляру большого информационного письма, которое направил через них Петербургский Комитет партии Центральному Комитету за границу. В этом обзорном информационном письме сообщалось:

В середине мая в Петербурге была организована большевиками забастовка протеста против приговора обуховским рабочим, участникам прошлогодней стачки. Наряду с политическими забастовками происходили и экономические. Одной из наиболее крупных и упорных, сильно беспокоивших правительство, была стачка в Колпино, на Ижорском заводе, принадлежавшем морскому ведомству. В Колпино была направлена казачья сотня — однако это не запугало рабочих. После трехнедельной стачечной борьбы ижорцы добились удовлетворения своих требований.

Пример питерского пролетариата послужил толчком к чрезвычайному подъему рабочего движения по всей России. Стачки — как экономические, так и чисто политические — перекатывались из одного промышленного города в другой. Шла пробная мобилизация сил, уже открыто угрожающих ненавистному режиму. Бастовали текстильщики Московского района, текстильщики Костромы и Владимира.

На далеком юге, в Баку, произошли события, о которых в письме Петербургского Комитета рассказывалось особенно подробно. Непосредственным поводом для объявления бакинской забастовки послужили несколько случаев чумного заболевания вблизи нефтяных промыслов. Угроза страшной болезни была чрезвычайно велика: по свидетельству виднейших русских ученых, обследовавших жилища рабочих-нефтяников, условия жизни бакинских рабочих были ужасны.

Профессиональный союз промысловых рабочих потребовал от нефтепромышленников постройки новых жилищ, но получил в ответ

не только отказ, но и полицейские репрессии: ряд деятелей профессионального союза был арестован. Тогда рабочие объявили всеобщую забастовку, в которой приняли участие пятьдесят тысяч человек. Стачечный комитет возглавлялся большевиками. Несмотря на пестрый национальный состав: азербайджанцы, русские, армяне, татары, персы, — вся масса бакинских рабочих единодушно объединилась для борьбы с нефтепромышленниками. Стачечники потребовали увеличения заработной платы, улучшения квартирных и продовольственных условий на промыслах, допущения представителей от рабочих в организации медицинской помощи, устройства поселков, постройки народных домов, введения всеобщего обучения и проч.

На все эти требования союз предпринимателей ответил локаут. Всем забастовщикам был объявлен расчет, паспорта уволенных были переданы в полицию, к рабочим было предъявлено требование немедленно очистить занятые ими «казенные» квартиры. Судебные инстанции с завидной быстротой штамповали многочисленные иски владельцев нефтепромыслов. Промысловая администрация свирепствовала: выбрасывала из рабочих казарм мебель, ломались в квартирах печи, приостанавливали подачу электрического тока, накладывали пломбы на водопровод.

Бакинский градоначальник превратил город в военный лагерь: после восьми часов вечера запрещено было выходить на улицу. Шесть казачьих сотен готовы были пустить в ход свое оружие. Профессиональный союз нефтяников был разогнан, тюрьма не могла вместить всех арестованных. И тем не менее в последних числах июня рабочие-бакинцы устроили двадцатитысячную политическую демонстрацию!

Недобор нефти, добыча которой прекратилась вследствие забастовки, начал беспокоить ряд крупных промышленников и в первую очередь влиятельных судовладельцев: гляди, приостановится движение судов... Для борьбы с неукротимыми стачечниками царь послал в Баку товарища министра внутренних дел — известного жандармского генерала Джунковского.

Бакинцы обратились за помощью к рабочим других городов. В Петербурге начались денежные сборы, на ряде фабрик и заводов рабочие отчисляли определенную часть своего заработка. Узнав об этом, петербургский градоначальник издал «обязательное постановление», воспрещающее сбор денег «на цели, противные государственному порядку и общественному спокойствию, какими бы то ни было способами, в том числе и путем печати в виде объявлений, воззваний, открытием редакциями газет и журналов сборов денег на поддержание забастовщиков, в пользу ссыльных, на уплаты взысканий, наложенных судом или административной властью, и других недозволенных сборов».

С первых чисел июля массовое движение на петербургских фабриках и заводах начало быстро нарастать. Первого июля забастовали рабочие заводов Лангезиппена, Трубочного, Лесснера, Эриксона, Сименса и Шуккерта, Айваза: «Товарищи бакинцы, мы с вами», «Победа бакинцев — наша победа!»

3 июля произошли события, эхо которых прокатилось по всей стране,— так же как и бакинские дела. Шел двенадцатитысячный митинг дневной смены путиловцев. Решено было по предложению ораторов-большевиков усилить сбор в пользу бакинцев и объявить однодневную забастовку солидарности. Митинг происходил на заводском дворе,— расходясь, рабочие подошли к воротам и потребовали от охраны открыть их. Но не успели ворота распахнуться, как во двор ворвались отряды пешей и конной полиции. Были пущены в ход нагайки. Рабочие ответили камнями. В ответ последовали ружейный залп и конная атака на толпу. Выстрелами полицейских было ранено пятьдесят человек и двое рабочих убиты. Выше ста путиловцев были брошены в тюрьмы.

На другой день большевистская газета «Трудовая правда» вышла с подробным сообщением о расстреле. Не забастовки протеста, а забастовки гнева и возмущения охватили на следующий день рабочий Питер. С утра забастовало девяносто тысяч человек. Рабочие и работницы с красными флагами и пением революционных песен высыпали на улицу.

— Особенно бурно прошли демонстрации в районе Путиловского завода,— рассказывал Селедовскому снабжавший его различными документами большевик по фамилии Ваулин.— По требованию рабочих были закрыты все трактиры и казенки. На Путиловской ветке толпу встретил отряд полиции. По демонстрантам дали несколько залпов, но толпа не расходилась, она булыжником разогнала «средиземную эскадру»... полицейских: у нас их так почему-то называют. Другое крупное столкновение произошло в тот же день на Выборгской стороне, на Сампсониевском проспекте, около завода «Новый Лесснер»... Петербургский Комитет наш обсуждал дальнейший план действий,— продолжал свой рассказ Сергей Ваулин, а Савелий Францевич старался не пропустить ни одного слова, дабы со всеми подробностями передать товарищам в Швейцарии о питерских делах.— Нашей задачей было соединить разрозненные еще покуда выступления рабочих и превратить их в единое, мощное движение. Решено было, товарищ, продолжать массовую забастовку еще на три дня и организовать новые уличные выступления. Приурочили к седьмому, ко дню приезда сюда Пуанкаре, французского президента. Если раньше партия обращалась с призывом выступить на поддержку бакинской забастовки, то теперь основным нашим лозунгом — протест против расстрелов рабочих в Петербурге.

Седьмого июля не узнать многих питерских улиц. Уже первые трамвайные вагоны, вышедшие из парка, были остановлены демонстрирующими рабочими. У вагоновожатых отбирались ключи и ручки от моторов, пассажиров высаживали, вагоны опрокидывались. В середине дня многие трамвайчики присоединились к бастующим. Во многих частях города рабочими были закрыты все лавки и магазины. Буржуазные газеты с крайним удивлением писали об абсолютной трезвости, царившей в те дни в рабочих районах.



Савелий Селедовский покинул Россию в тот день, когда в ее столице бастовало уже сто пятьдесят тысяч человек, когда на проспектах, улицах и в переулках Петербурга появились баррикады и на многих из них развевались красные флаги.

Готовились к революционному штурму самодержавия, но пришла — война...

### *Глава пятнадцатая*

#### **ВОЙНА! ЦАРЬ И ПЕТЕРБУРЖЦЫ**

В этом году в Европе, как утверждали политики, скопилось много свинца и очень много неразрешенных и принципиальных вопросов.

Война кружилась над государствами Европы, как коршун над дворами заботливых и стерегущих свое добро поселян. Выхвати коршун чьего-либо цыпленка, — и пойдет среди дворов жестокая кутерьма.

Нужен лишь был повод для войны, и он был найден. Безусому сербскому юнцу суждено было стать известным народам всего мира: гимназист Гаврила Принцип, юнец с аллегорической фамилией, бросил смертоносный свинец в австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда и его светлейшую супругу, герцогиню фон Гогенберг.

Бедный эрцгерцог! Еще недавно, как сообщали петербургские дипломаты, он мечтал вместе с Вильгельмом германским в замке Конопишт об осуществлении идеи триализма, — монархия должна стать трехчленной: сербо-хорваты, сербы и словенцы «ждали» своего объединения под скипетром Габсбургов.

Нужен был только повод для войны с этим мелким, провинциальным Белградом!..

Бедный эрцгерцог! Судьба решила, чтобы искомым предлогом сделалась его собственная смерть.

Так говорили в Санкт-Петербурге сдержанные и скупые на слова дипломаты в знаменательный день объявления австро-сербской войны.

Дипломаты оправдывались, дипломаты возмущались, дипломаты сконфуженно разводили руками... Да помилуйте, кто же из честных и следующих международному, что ли, «этикету» политиков мог предполагать, что упрямая и коварная Вена престарелого Франца-Иосифа решится в это время начать столь опасную и непроверенную *игру*?! Ведь между преступлением 15 июня и попыткой наказать родину Гаврилы Принципа прошел почти целый месяц!

И правда: всей Европе казалось, что при всем возмущении поступком сербского гимназиста дело пойдет обычным путем и расследование убийства не перейдет с юридической почвы на политическую. Да разве можно в каникулярное время для королей и дипломатов... начинать войну?

Наступило летнее затишье, и чем не мирны и спокойны прогулки утомленных за год европейцев?.. Французский президент Пуанкаре в сопровождении премьера Вивиани прибыл в Петербург, и почти в то же время, немного раньше, великобританский адмирал Битти пришвартовал свою дружественную эскадру к берегам Невы. Император австрийский поехал в дачный Ишль и вызвал туда же своего министра иностранных дел. Сербский премьер объезжал страну для выборной агитации, а старик главнокомандующий, генерал Путник, лечил, как говорили, свой суставной ревматизм в австрийском курорте.

Полный штиль!

Дипломаты недоумевали, дипломаты возмущались: Извольский — из Парижа, Свербеев — из Берлина, Шебеко — из Вены приехали к себе на родину, в Россию, и вдруг — пожалуйста! Добро, что можно оправдать невольную несвоевременность своего отъезда примером, поданным другими: английский посол уехал из Берлина (куда? — на родину!), французский — из Белграда и хитрый Сан-Джулиано (министр иностранных дел!) — из Рима на курорт Фуиджи.

И вот уж, наконец, и сам творец европейской политической погоды — император Вильгельм — отправился в обычную прогулку, в норвежские шхеры!

Европа напоминала самое себя в то воскресенье, в которое согласно военному роману Вильяма Ле-Кё произошла внезапная высадка германцев в Англии, и нельзя было достать ни одного из министров, так как все они были на даче, а воскресенье, как известно, — день неприсутственный...

Так говорили в Санкт-Петербурге дипломаты.

Поздно ночью Фома Асикритов, вооруженный всеми этими сведениями об австрийском коварстве, сообщенными ему в «хорошо осведомленных кругах», возвращался на извозчике в редакцию газеты. Нужно было сдать собранный материал в уже верставшийся номер.

Редакция помещалась на одной из боковых улиц в районе Загородного, а ехал Фома Матвеевич с конца Каменноостровского.

Извозчицья лошаденка попалась никудышная, вялая, и Асикритов с досадой подумал о том, что так, пожалуй, пройдет добрый час, прежде чем он доберется в редакцию. Он хотел уже сменить извозчика и пересест к другому, но вблизи ни одного не оказалось. Все же он решил это сделать, как только доедет до бодрствующего всю ночь «Аквариума», у подъезда которого дежурили всегда «лихачи».

Нетерпение еще усиливалось потому, что Фома Матвеевич хорошо знал, что в редакции он узнает последние телеграммы, которые должны были известить весь мир о судьбе сербского ответа, врученного за пять минут до истечения срока, установленного правительством «его апостолического величества» Франца-Иосифа. (Международные дипломаты в это время уже были все на своих

местах, и пять оставшихся минут они выигрывали друг у друга, как ловкие и не стесняющиеся друг друга шулера, — карту: с переменным успехом, редко, однако, не вызывавшим бы в конце концов скандала и побоища...)

— Ну, гони ты, ради бога! — понукал Асикритов извозчика. — Гони, гони! — повторял он, хотя сам сознавал, как нелепо и смешно звучит это слово в обращении к хозяину такой никудышной лошаденки.

— Подстегиваю, барин. Но-но, ты... работничек, — лениво-меланхолически отозвался извозчик и задергал вожжами, но тотчас же вновь опустил их. — Пролетария моя серая: какова кормежка — такова и побежка! — И он оглянулся с чуть лукавой улыбкой на седока.

Седок был так же невзрачен и хил, как и состарившаяся, плохо накормленная лошаденка: уважения к нему не было, но какое-то глухое сочувствие и доброжелательство все же звучало в голосе плоскогрудого, бородатого извозца.

— Конторский? — неожиданно спросил он.

— Что? — не понял Асикритов, думавший в эту минуту о своем.

— Конторский вы, спрашиваю, или каких других занятий, — пояснил извозчик. — Если конторские, — хотел объяснений насчет одного дела спросить.

— Конторский... — согласился Фома Матвеевич, хотя никак не понял, какое содержание вкладывает тот в это слово. — Ну, так что?

Извозчик бросил еще один — пристальный, проверяющий — взгляд на Асикритова и живей, чем обычно, сказал:

— Конторские, думаю, присоединятся или им это дело без интереса?

— К кому присоединятся?

— Известно, к кому! К заводскому народу... Говорят, двести тысяч забастовку держат? Два брата мои у «Феникса», на Полуостровой.

«А-а, — усмехнулся про себя Асикритов, — вот оно где прищемило...»

— Не идут мои братья на завод, — откровенничал извозчик. — К чертовой матери, говорят, за копейки потом исходить! Пора, говорят, кадыки вырывать — воевать будем...

— С кем?

— Да известно, с кем... Не с австрияком же, а со своими, натурально, русскими — кадыками! Н-н-но, ты! — неожиданно хлестнул он лошаденку и замолчал.

Лошаденка — по обязанности словно — сделала неловкий и неуверенный перебой в своем скучном шаге и вновь сонно пошла по гладким и тихим торцам проспекта.

Извозчик, не оборачиваясь, сидел молчаливо на козлах, выставив Асикритову свою длинную узкую спину, перетянутую ремнем. Согнутая, она походила на спину рыболова, понуро застывшего в своей вынужденной позе ловца и созерцателя.

«А при чем же здесь «конторский» я или нет — подумал Фома Матвеевич, вспомнив об этом уже тогда, когда новый извозчик, лихач, мчал его по Троицкому мосту. — Человек просто ощутил потребность заговорить со мной и сказать то, что самого его сейчас интересовало. Воевать будут, — раздумывал Фома Асикритов, — да не с австрияками же... Хэ-хэ!.. А что, если именно с австрияками, господа?»

Но, прежде чем успел пересест на лихача у освещенного, брызжущего огнями кафешантана, пришлось задержаться против воли еще на несколько минут.

В тот момент, когда договаривался с лихачом, из подъезда «Аквариума» вышла компания в несколько человек — мужчин и женщин.

— О-о!.. Фома Матвеевич! — окликнул кто-то развязным, подвыпившим голосом и, неизвестно почему, захлопал в ладоши.

Асикритов оглянулся: отделившись от компании, шел на него, слегка покачиваясь и встряхивая высокие плечи, студент Леонид Величко.

— И вы, почтенный, были здесь? Вот что-о? А я не видел вас... Жаль... Господа! Эй, послушайте, господа... куда вы спешите? Господин Теплухин, Калмыков, Зиночка!.. Знакомьтесь, господа, с 3-замечательным человеком. Это — приятель моего брата...

Леонид держал за руку Фому Матвеевича и оттаскивал его от извозчика.

— Бросьте, я тороплюсь, — досадливо поморщился журналист. — Нигде я здесь не был, а просто на перекладных вот еду в редакцию. Кланяйтесь Михаилу Петровичу... Давно не был я...

— Запарились с «политикой»... м-да? А мне наплевать!

— Ну да — запарился. Пустите...

— А мы славим Петербург... м-да. На радостях... земляки собрались... ну, и девочки, конечно. Гриша Калмыков! Гри-и-ша! Ушел, ч-черт! С Зиночкой ушел... А вот господин Теплухин, хотя и не студент и даже... тово... м-да... идейно...

— Перестаньте, Леонид Петрович! — оборвал подошедший незнакомый Асикритову человек и оттянул захмелевшего студента.

— Знакомьтесь, Фома неверующий... м-да. Сие — земляк мой... коммерсант: Теплухин, Иван Митрофанович... Простите, господа, я пьян...

— Я очень рад, что так случайно встретил вас, — протянул руку подошедший Асикритову.

— А в чем заключается ваша радость? — не без легкого раздражения поинтересовался Фома Матвеевич и кивнул посмеивающемуся лихачу: «Сейчас едем».

Белые перчатки на руках у лихача, блестящие, лакированные крылья экипажа и массивные раздутые шины обещали молниеносную езду.

— Я привез вам привет и письмецо от Софьи Даниловны Карабаевой.

— От кузины Сони? Вот оно что... А у Льва Павловича были?

- Был.
- А ко мне не заходили?
- Н-нет... то есть...
- Да как же? Постойте, Иван Митрофанович,— так, кажется?
- Совершенно верно.
- Ко мне: на Ковенский, тринадцать, квартира девятнадцать?..

Да, конечно же... Или я ошибаюсь... Да нет: чай, я слепой!

Фома Матвеевич с любопытством всматривался в своего нового знакомого. Право же, он где-то встретился однажды с этим человеком... На днях это было, совсем недавно.

— Вы не слепой...— глухо откашлялся Теплухин.— По редакционному адресу я к вам не заходил, но по домашнему — был, но не застал дома,— солгал, не опасаясь быть пойманным, Иван Митрофанович и торопливо вынул из пиджачного кармана письмо Карабаевой.

— Да, да... не застали дома,— подтверждал Асикритов, принимая письмо.— Разминулись, ах, досада! Вы, наверно, от меня спускались... я-то в этот момент подымался по лестнице. Вот тут-то я вас и приметил.

— Я тоже вспоминаю.

— Как же, как же,— озабоченно посмотрел Асикритов на поджидавшего лихача, дававшего прикурить пьяному Леониду.— К кому же вам еще в этот дом ходить... Как же, как же,— бессмысленно повторял он, не зная, как поскорей отвязаться от повстречавшихся.— Ну, спасибо. Будьте здоровы... Заходите... по-толкуем: новости могут быть интересные... Еду! — решил он наконец и вскочил на подножку экипажа.

Лихач тронул с места.

— Удрал-таки, жулябия! — крикнул вслед студент и подхватил об руку застывшего на месте Ивана Митрофановича.

— Какой же я «коммерсант», в самом деле?! — вдруг желчно сказал тот, но студент пропустил мимо ушей его восклицание.

Черный, без крапинки, громадный жеребец в одну минуту домчал к Троицкому мосту и здесь только убавил скорость. Асикритов даже обрадовался этому. Черный рысак неся с шальной быстротой, и никто и ничто, казалось, не могло его остановить. И Фома Матвеевич с благодарностью посмотрел на широкозادого, с тяжелой мясистой спиной «лихача», когда тот, раздвинув локти в стороны, натянув вожжи, заставил жеребца пойти по мосту осторожной, выверенной рысью.

«Фу, хоть подумать можно!» — сознался сам себе Фома Матвеевич и откинулся всем своим худеньким тельцем на спинку экипажа.

Вихревая езда захватила его, лишив на минуту способности думать и следить за чем-либо другим. Он переставал даже чувствовать весомость своего тела: от усиленной беготни по приемным разных министерских учреждений, от голода (он вспомнил, что не удалось сегодня даже пообедать) и вот теперь из-за этой бешеной езды у Фомы Матвеевича закружилась голова. Думать, о чем хотелось, не удалось.

Пока проезжали по мосту, мысли приходили в голову случайно, без связи друг с другом — как съемщики в пустую, свободную квартиру.

«О чем пишет Соня? — подумал он, вспомнив о письме, полученном несколько минут назад. — Поехать бы к ним туда, в провинцию, отдохнуть. Знает ли она, что Левушка ее болен... Фу, черт, понесся!» — выпрямился он вдруг на сиденье, почувствовав, как рванулся опять рысак.

— Эх-эх, птица! — выкрикнул лихач, в тысячный раз любясь своим жеребцом, классически выбрасывавшим бабки.

Проплыло куда-то необъятное, пустынное Марсово поле, отброшенное в сторону на повороте; мелькнул окруженный рвами замок и темная узенькая улица; лег навстречу длинный проспект букинистов — Литейный.

Через десять минут Асикритов был у подъезда редакции.

— Хорош конь! — хвалил он, покуда лихач отсчитывал сдачу.

— Орел, барин, — кровный!..

— Война будет — забрать могут, — неожиданно подумал вслух Фома Матвеевич.

— Кто? — недоверчиво спросил лихач. — Чай, своих, военных, мало?

— Всяко может случиться... Жеребец твой — генералу под стать.

— Угоню... — нахмурился лихач и отвернул лицо от освещавшего его фонаря... — В деревню угоню! Да разве можно такого отдать. Искать мне веревку тогда, ей-богу!

«Гм... прищемило!» — вторично подумал Фома Матвеевич и с какой-то нелепой, неясной, назойливой усмешкой вбежал в подъезд.

Еще на лестнице, подымаясь в кабинет ночного редактора, он столкнулся с бежавшим вниз шустреньким остроносым метранпажем, державшим в руках широкий лист.

— Война! — крикнул метранпаж и взмахнул перед собой листом, словно отгоняя рой наскочивших на него ос.

— Давай... прочту! — схватил его за руку Асикритов.

— Уж будьте благонадежны — антракт окончен, действие начинается!.. Иван Степаныч подмахнул к печати...

— Ну-ну, скорей...

«Вена. Срочно, — читал Асикритов жирные, зловещие строки. — Так как королевское сербское правительство не ответило удовлетворительным образом на ноту, переданную ему австро-венгерским посланником в Белграде, императорское и королевское правительство вынуждено само выступить на защиту своих прав и интересов и обратиться с этой целью к силе оружия. Австро-Венгрия считает себя с настоящего момента на положении войны с Сербией».

— ...А Россия — с Австро-Венгрией, — добавил Асикритов вспомнившуюся фразу, сказанную сегодня одним из дипломатов.

— А я никак вовсе! Пошли они все... — И метранпаж зло и горячо послал кому-то рассыпную ругань.

— Амины! — сказал Асикритов и засмеялся.

Уже несколько часов стотысячная толпа стояла перед дворцом.

Всем было известно, что вчера германский посол, граф Пурталес, не добившись отмены мобилизации русских войск, вручил ноту об объявлении войны.

Весть о том, что царь обнародует сегодня манифест о войне, еще с раннего утра пронеслась по столице. Тысячи петербуржцев устремились к Зимнему, наполнили собой громадную, глубокую, с отогнутыми концами подкову Дворцовой площади, набережную и все прилегающие к Зимнему улицы.

.....  
Для романиста важные события истории, — считал легкомысленно всем известный Александр Дюма, — это то же, что для путника — огромные горы: он смотрит на них, приветствует мимоходом, но не взбирается на их вершину.

Так ли это? — законно усомнится русский писатель нашего века, привыкший понимать историю, пользуясь вершинами научного объяснения ее событий! И это познание истории становится тем точней и ясней, чем поколения людей восходят все выше и выше на высоты передового, реалистического понимания жизни народов и государств.

Граф Пурталес неизбежно должен был вручить вербальную ноту министру иностранных дел Сазонову об объявлении войны России, потому что Германия стремилась отнять у нее Польшу, Прибалтику, и если удастся, то и Украину. Россия могла предвидеть этот «визит» Пурталеса к Сазонову, потому что сама готовилась к захвату Галиции — части Австро-Венгрии, союзницы Германии, и мечтала об отобрании Константинополя и Дарданелл у Турции, о чем знал союзный с Турцией кайзеровский Берлин.

Другими врагами Германии были Англия и Франция. Только в войне надеялись англичане разбить своих опасных немецких соперников: построив Багдадскую железную дорогу на Ближнем Востоке, Германия угрожала в этом районе господству Великобритании. К тому же немцы стремительно стали увеличивать свой флот, свои морские вооружения, чего признанная «владычица морей» ни в коем случае не могла допустить. Английские купцы и промышленники с тревогой следили за тем, как германские, более дешевые, товары стали вытеснять на мировом рынке манчестерские и шэффилдские фирмы. Надо было срочно принимать военные меры. Они необходимы были Англии и для того, чтобы отторгнуть у Турции Месопотамию и Палестину и навсегда обосноваться в Египте.

Империалистическая. Франция стремилась вернуть себе Эльзас-Лотарингию, отнятую у нее немцами в 1871 году, и заодно уже захватить у них Саарский бассейн, богатый железом и углем.

Россия вступала в войну не потому, что были задеты и оскорблены ее «славянские» чувства, и не только потому, что с 1907 года входила формально в Антанту вместе с Англией и Францией: она пошла с ними рука об руку именно потому, что находилась в финансовой и экономической зависимости от этих крупнейших империалистических стран.

Оба брата Карабаевых отлично знали (торгово-промышленные круги вели свой учет), например, что важнейшие металлургические заводы России находились в чужих руках: 55 процентов — в руках французов, 22 процента — у немцев, 10 процентов — в руках смешанных франко-немецких фирм. В каменноугольной промышленности французы владели почти 75 процентами продукции. Нефть почти на 20 процентов находилась в руках англичан, и до 50 процентов ее принадлежало англо-французским компаниям. Значительная часть прибыли русской промышленности шла в заграничные банки: преимущественно — французские.

Война преследовала своей целью капиталистический передел мира. Ее виновники — империалисты всех стран, — вот та правда, которую скрывали от народа не только императорский двор, но и Государственная дума русских буржуа и помещиков.

Руководя уже Россией экономически, торгово-промышленный класс не управлял, однако, ею политически: власть оставалась в руках самодержавия, трона и его опоры — в руках дворянства, помещиков. И отечественная буржуазия не спешила разрешить это противоречие между своей экономической силой и политической недостаточностью. Не в ее интересах была решительная схватка с царем. Отстранить самодержавие, взять государственную власть в свои руки и... остаться один на один с рабочим классом? О, слишком велика опасность! 1905 год уже показал, чем может закончиться такое единоборство. И потому русское самодержавие продолжало оставаться наилучшей защитой для русских промышленников, финансистов и купцов.

.....

Теплухин попал на площадь как раз в тот момент, когда государь, покинув у Николаевской пристани яхту, на которой приехал из Петергофа, приближался на паровом катере к Зимнему дворцу.

Еще задолго до того, как Николай покинул катер, толпа, стоявшая шпалерами на набережной и сдерживаемая цепью полиции, приветствовала его длинным, непрерывающимся, протяжным «ура». И как только оно замирало или утихало, — офицеры на балконе дворца и около его подъезда и полицейские чины, стоявшие впереди толпы, вновь подхватывали это охрипшее «ур-ра» и сотнями голосов подбрасывали его над толпой, как мяч, за которым она должна была погнаться.



Любопытство нагнало сюда толпу и управляло сейчас ею.

Толпа сдерживалась полицейскими и еще какими-то разбитными людьми, выказывавшими привычку и умение устанавливать порядок и распоряжаться. Некоторые из них были в чиновничьих сюртуках и кителях, другие в цивильных пиджаках поверх косовороток и в русских сапогах, как носят мастеровые или дворники. В толпе говорили, что это городовые, но выражали недоумение, почему в этот день понадобилось им переодеваться!

Стоявшие впереди — шагах в тридцати от Александровской колонны к дворцу — держали в руках трехцветные русские флаги, портреты царя, набитые на раму плакаты.

— За Родину! За самодержца!

— Боже, царя храни!

— Час славянства пробил!

— Живио Сербия!

— ...Молебствие идет. Царь поклоны бьет,— говорили в толпе.

— А ты знаешь?

— Соображаю.

— Чем это, Сеня?

— Головой, чай!

— Кто — царь?

— Нет — я!

Собеседники тихо и коротко засмеялись. Теплухин оглянулся и посмотрел на них через плечо. Он не сообразил, кто из них «Сеня», потому что они молчали теперь, а глаза обоих чуть-чуть занозил одинаковый — незлобивый — смешок. Он немедленно исчез, как только вспугнули его незнакомые — теплухинские — глаза.

Через минуту разговор возобновился:

— Нет, верно: я соображаю... Какой может быть манифест без молебну? На всякую, сказывают, глупость есть божья премудрость.

— Господин хороший! А господин хороший! Вы что-то много болтаете...

— Не больше вашего!

— Ну, ну, завели! Брось, Сеня...

— А пушай она...

— Нет, нет! Вы что сказали? Про какую глупость, про чью глупость?

— Про вашу, выходит!

— Да брось, говорю, Сеня!

— А пушай она...

— Забываетесь, хам! На молебне наш государы!.. Кому божья премудрость? На чью глупость... а-а?

— Сеня!

— А пушай она...

— Нет, нет... Вы, кажется, оскорбляете государя...

— Ну да — немецкого! — выпалил вдруг «Сеня». — Чего, ба-рыня, пристали в сам деле? Тыфу! На германскую дурость пошлем

господа бога премудрость. Ну, и на вашу долю хватит! — закончил он под общий хохот окружающих.

Барынька скрылась за спины своих соседей, оставив раскрасневшемуся скуластому парню со взбитым рыжим хохолком на обнаженной голове длинный, как стрела, взгляд презрения и ненависти.

— Ишь невопрят! — прокашлялся кто-то рядом с Теплухиным, в извозчикьем летнем армяке, степенный, с широкими сивыми усами и мохнатыми подусниками на кирпичном лице и живыми маслянистыми глазами — черными, как брызги жирной грязи из-под колеса его экипажа. — Парню для движения ума простор требуется, а она ему простор горизонту заслоняет...

Он, очевидно, мог быть суров с норовистой лошадыю, но признавал свободу для людских высказываний.

У барыньки были прыгающие губы и раздувающиеся ноздри кликуши, и, разыскав ее глазами, Иван Митрофанович увидел, как исступленно, с костлявым, мертвенно-бледным лицом проталкивалась она в первый ряд, протягивая руки к древку плаката, поставленного наземь каким-то тучным и непомерно брюхатым, разморенным почтовым чиновником.

— Дайте... подержу... Дайте... подержу! Позвольте мне, позвольте, пожалуйста...

Теплухину удалось протиснуться почти к самому центру площади.

Выдвинувшись немного вперед, стоя почти в первом ряду, он окинул взглядом площадь. Знамена и плакаты услужливо подставили себя окнам дворца. И вдруг Иван Митрофанович заметил, что большинство полотняных плакатов на деревянных рамах — одного и того же размера, слова на них написаны одним и тем же четким, раздельным шрифтом, а шести — копьеобразные, белые — одной и той же формы.

«Какое удачное совпадение! — насмешливо подумал Теплухин. — Словно их делал один и тот же мастер и по желанию одного и того же заказчика...»

Он остановил свой взгляд на голом лоснящемся, как змея на солнце, подбородке стоявшего поодаль молоденького упитанного помощника околоточного, но подумал не о нем, а о «голландской» черной бородке и бритой губе «инженера Межеричского».

И вспомнил:

«Вы пришли: я вас ждал. Выкупить «вексель»? Раз и навсегда? Наросли кое-какие «проценты». Вам же на пользу — поймите! Вы чувствуете? Ведь опасно... потрясение! Вы, вы заинтересованы в нашей победе. Помните, я знаю главный рычаг всех ваших поступков... Жизнью пользуйся живущий! Философия эпохи! К делу, к делу! Мне теперь некогда!»

На его голом шишковатом черепе словно вздуваются и опадают бугорки, — это кажется так Ивану Митрофановичу, потому что у самого кровью наливаются глаза, кружится от ненависти голова, и окостеневший сжатый кулак тянется, едва сдерживаемый, ударить по этому наголо выбритому черепу...

«Подумаешь, друг мой, нашли выкуп за «вексель»! Эка штука: кадеты бегают с заднего крыльца к английскому послу! Нашли, что сообщить! Вы это поняли из намеков Карабаева, а нам это известно почти от самого посла. Не трудитесь... Я сам сообщу вам, что нужно для нас и что вам надо делать. Прощайте и уезжайте домой в Смирехинск!»

Иван Митрофанович забывает на минуту, где он, что делается вокруг него, он чувствует себя затерянным в лабиринте своих собственных мыслей — таких неотступных, придиричьих и пугающих.

Он чувствует себя ненаказанным, скрывающимся преступником, и, как преступника, его тянет к месту совершенного преступления: перед ним всплывает «колесуха», Александровский централ и образы убитых солдатскими прикладами политических.

«Жить!» — чуть не выкрикивает Теплухин это слово, и оно летит в вставшие перед глазами видения прошлого. Так всегда, обороняясь от него, поджигал Иван Митрофанович фитиль своей последней — спасающей — мысли, и она, вспыхнув, рассеивала, уничтожала врагов — горячечные воспоминания.

И он вздрогнул, как и вся стотысячная толпа в этот момент, услышав вдруг подлинный — густой и тяжелый — пушечный выстрел.

— У-у-ух-х!..

— Раз... другой... третий...

— У-у-ух-х!..

Это стреляли с верков Петропавловской крепости: дворцовое молебствие о даровании победы над врагом «христолюбивому российскому воинству» кончилось.

— Война объявлена... Объявлен манифест! — говорят в толпе, и многие, — особенно женщины, которых большинство здесь, — усиленно крестятся и что-то молитвенно бормочут.

И действительно, в эти минуты дворцовый священник кончал чтение царского манифеста в Николаевском зале.

— Эх, хотел бы я там быть да одним глазком посмотреть! — выразил кто-то искренне и простодушно желание толпы.

А «там» было:

Отзвучали последние слова манифеста. Громадный зал, протянутый вдоль набережной, вызолоченный сейчас со стороны Невы широкими раструбами солнечной пыли лучей, затих. Это была та чуть вздрагивающая, конвульсивная тишина замирания, которая вот-вот должна будет бурно разрядиться и перейти в безудержный пароксизм шума, кликов. Ведь к этому так готов был все время этот тысячный застывший кортеж лейб-гвардии офицеров, заменивший сейчас собой императору народ, многомиллионную Россию...

С аналоя, поставленного посредине зала, печально и неразгаданно смотрели в тускло голубеющие глаза царя «чудотворные» иконы спаса нерукотворенного и казанской божьей матери. Перед

последней в отечественную войну фельдмаршал Кутузов долго молился, идя к Смоленску.

И, словно вспомнив об этом, Николай делает несколько сби- вающихся развинченных шагов к престолу и, не глядя ни на кого, подходит к священнику, держащему евангелие. И, остановив ды- хание, видит зал, как поднялась вверх над евангелием короткопа- лая правая рука царя, как мучительно одеревенело его желтеющее лицо: оно силится умертвить корчащуюся между усов скользкую змейку растерянности.

Николай медленно, прислушиваясь к каждому своему слову, как нерасторопный ученик, который боится сбиться, забыть вы- ученный с трудом урок,— роняет в тишину зала:

— С спокойствием и достоинством... встретила... наша великая матушка-Русь... известие об объявлении нам войны...

...Я здесь торжественно заявляю, что... не заключу мира... н-не... заключу... до тех пор, пока... последний неприятельский воин... не уйдет с земли нашей...

...Стоявшие на площади слышали неистовый шум восторжен- ных, оглушительных возгласов, взрывавших, казалось, дворец неповторимого Растрелли. Это кричали в пароксизме ликования последние санкт-петербургские преторианцы российского само- держа.

Как одержимые они бросились к нему, целуя в плечо, в спину, тыкаясь губами в его оробевшее, вздрагивающее тело, и падали на одно колено, хватая для поцелуя белые шлейфы и подолаы Александры и ее ошеломленных дочерей.

«...Не заключу мира, пока последний воин не уйдет с земли нашей...»

Эту клятву царь точно уворовал у своего предка: ее дал России Александр в 1812 году.

И в народе вспоминали этот год.

— Мы стоим у памятника отечественной войны. Символ... это же символ, господа!.. Теперь вот вторая отечественная... и все должны идти, все на защиту родины и престола. Били французов, будем бить немцев. Вы только посмотрите, господа, на эту пло- щадь. Живете, господа, и не присматриваетесь, плохо знаете,— звенел, как голодный комар, тоненький срывающийся тено- рок.

У «тенорка» был ластивый, фарисейский рот и вогнутый, как дно тарелочки, лоб молодого дегенерата из благовоспитанной чи- новничьей семьи. «Тенорок» вызванивал всем, что знаменитая «Вандомская колонна увенчана была («Чем, чем?» — выкрикивал и захлебывался он...), увенчана изображением полководца», а «что, что воздвигли мы в центре этой единственной в мире пло- щади?» — «Столп, чем увенчанный?»

— Над Александровской колонной вознесен, господа, символ страдания — крест!

Окружающие слушали, нетерпеливо поглядывая на дворец.

— Глядите, глядите на эту площадь: символика!.. Наш рус-

ский характер!..— уже терял свой голос «тенорок», но не унимался.— Все здесь как будто нарочно создано для народной военной манифестации...

И он объяснял. Полукольцом замыкается площадь Главным штабом с его гениальной римской аркой и ее колесницей Победы, влекомой шестью лошадьми. Но с другой стороны — величавая завеса Зимнего дворца... «Капризная прелесть его, господа, ни единым изгибом линий не напоминает о военной суровости. Так и в русской душе,— задыхался «тенорок»,— порыв воинственности живет, неразрывно связанный с веселым миролюбием...»

— Нас оскорбили... Оскорбили нас, славян,— и мы покажем теперь... Мы разобьем Берлин вдребезги!..

— Ишь ты... молотобоец языком!

— Что? Кто это сомневается? Вы слышали, господа?..

— Я сказал. Я... Вдребезги? Не всех коли, говорю, хоть одного на племя пустим! А ты, пададь говорливая, на русско-японской трудился... а? А я был!

— Держите... держите, господа! Шпион, австрийский шпион!

— А почему именно — «австрийский»? — услышал Иван Митрофанович позади себя чей-то насмешливый знакомый голос, рассмешивший окружающих, давших возможность порицателю «тенорка» куда-то нырнуть.

Оглянувшись, Иван Митрофанович не сразу заметил маленького быстроглазого Асикритова. Журналист не стоял на одном месте, а пролезал ужом куда-то в сторону, отдаляясь от Теплухина. Иван Митрофанович хотел его окликнуть, но раздумал.

— Гляди, гляди — начинается! — прошелестело вдруг в толпе, и она качнулась немного вперед, подтолкнув своих знаменосцев.

— Выпустите... пропустите — старушке дурно стало!

— А чего перлась?

— Городовой, помогите!.

— Петь надо будет, а у меня недавно ангина была...

— Несут...

— Кого? кого?

— Старушку.

— А-а...

— А вы потом смажьте горло.

— Тише-е! Выходят!

— Бо-оже, царя хра-а...

— Да нет же, Митя,— не царь!

— А я вот, Антоновна, и говорю ему...

У Ивана Митрофановича ныли от усталости ноги. «Подожду минут десять и уйду»,— решил он.

Но вот все время не сообщавшийся с площадью дворец сделал первое движение. Распахнулись на некоторое время ворота с массивными вензелями, чтобы выпустить чьи-то экипажи. Это уезжали домой певчие придворной капеллы.

— Сейчас, сейчас!..

Глаза всех обращены на второй этаж дворца, где вдруг подсакивают вверх висящие изнутри сторы и медленно раскрываются две боковые двери на средний балкон.

Ток четырехчасового ожидания с новой — предельной — силой выпрямляет толпу. Она напряженно всматривается в раскрытые двери. Ближе к балкону, в зале дворца видно какое-то движение.

Кто-то шепотом вспоминает: с этого самого балкона Александр Второй читал свой манифест о крестьянах.

Движение в зале, и народ отчетливо увидел вышедших на балкон людей.

— Бо-о-же, царя...

— Тс-с-с, вы!

На балкон вышли два камер-лакея в красных, обтянувших фигуры камзолах. В руках каждого были метелки из перьев, а лица лакеев — с гладкими, голыми подбородками и пышными оттопыренными бакенбардами — удивительно схожи были с лицом всем известного по портретам председателя совета министров.

Камер-лакеи, глядя на толпу, вытирают перила и гуськом исчезают. Еще минута — и у стеклянных дверей показываются плечи и спины царедворцев: великие князья и свита.

Затем вновь это куда-то отхлынуло, и на балкон, шагнув на то же место, где только что стояли лакеи, вышел царь, сопровождаемый Александрой.

Их узнали. И вдруг толпа упала на колени, как огромный непроезжий лес, срезанный мгновенно под корень. С высоты балкона те, кто не упал, — тоже казались коленопреклоненными.

— Ур-ра-а! — полетели в воздух картузы, шляпы, фуражки. — Боже, царя храни!

Толпа, склонив знамена, запела гимн. Царь, оглянувшись, протянул руку Александре и подвел ее поближе к перилам.

Где-то близко на флагштоке реет в синей выси огромный императорский штандарт. Светло-желтый стяг с изображением орла играет с мягким июльским ветром.

С балкона площадь кажется покачивающейся, наплывающей палубой огромного корабля, а Александрова колонна — на фоне бегущих лиловых облаков — его вознесенной мачтой.

И — кто знает? — может быть, видит своевольная немка, владеющая этим всесильным русским офицером и его страной, может быть, видит она эту самую площадь по-иному, чем он, — так, как хочет, того истерически ненавидящее сердце... Может быть, кажется ей, что раздавлена сейчас на этой площади — как в январе 1905 года — под тяжелым постаментом царственной колонны строптивая, непонятная и страшная в своей неразгаданности страна — Россия?..

— Спаси, господи, люди твоя...

Не спасет он, нет!

Царь был доволен. Он сделал еще шаг вперед, поднял руку и, казалось, хотел что-то сказать.

— Тише, тише! — просили те, кто стоял ближе к дворцу, но в конце площади видели только крошечную — оттуда — голову государя и белую высокую шляпу Александры и не унимались.

— Ур-ра! Ур-р-ра-а!

Тысячи кликуш в соломенных шляпках, в платочках горничных и с непокрытыми головами, с растрепавшимися волосами обессиленных фурий, плакали, выли и крестопоклонно стонали.

— А-а-а...

В миг, когда толпа упала ниц и словно еще выше поднялся тогда дворец, Иван Митрофанович вместе со всеми подогнул ноги, и одно колено его коснулось земли. Да, да — и здесь он смалодушествовал, он испугался остаться стоять во весь рост среди всего коленопреклоненного народа!

Теплухин смотрел уже не на балкон, а на землю — на кусочек выпуклого, круглого булыжника. Но это продолжалось одну только секунду. Теплухин нерешительно, воровски поднял голову и увидел вдруг прямо перед собой выпрямленное широкое дамское пальто.

Он скосил глаза чуть набок. Седая крупная женщина с дородным благородным лицом генеральской вдовы, имеющей что вспомнить в жизни, со спокойной умиленностью лорнировала балкон. Рука в шелковой желтой перчатке уверенно держала у глаз золотой старинный лорнет.

Тогда Иван Митрофанович тихонько, медленно поднялся, прячась за ее спину, — но, не разогнувшись в полный рост, а оставшись согбенным, упираясь руками в колени, опустив голову, как стоят люди, играющие в чехарду.

— ...Царствуй на сла-а-аву нам-м...

— Тише, тише! — озирались передние ряды: они думали, что услышат голос государя.

Но Николай, стоя спиной к площади, смотрел улыбаясь на императрицу. Она повернулась вполоборота к дверям, лиловые повелевающие губы снисходительно подергивались.

Она переступила порог, — царь отступил от перил и, оглянувшись на толпу, медленно, бочком пошел к двери.

И в это время толпа, вскочив на ноги, давя друг друга, стремительно передвигается вперед, словно желая удержать удалявшегося монарха.

— Ур-р-ра!

— Бо-о-же, царя храни...

Не помогает. Силуэты пропали где-то в глубине зала, кто-то, невидимый теперь, закрывает двери на балкон, и падают стремительно изнутри непроницаемые шторы.

Не то кричат, не то беззвучно хохочут разинутыми ртами с красных стен дворца лепные арабески. И только...

— ...Поворачивай назад!

— Ну, ты — полицейская бляха!

— А-а? — Р-р-р...

Картавый полицейский свисток.

— Мимо дворца закрыт ход, говорят тебе!

— А мне на Миллионную...

— Так мне пройти только, братцы!

— Господа... городской, городской! Держи-и!

— Кого?

— Часы и цепочку срезали...

— Вот-то дело — а? На сухом берегу рыбу ловят.

— Хо-хо-хо!..

— Знаменательный день! Исторический день!

— Вернем мы им Берлин или нашим останется?

— Неужели социалистов теперь не повесят, Котик?

— Веч-че-ерняя «Биржевая»!

— Сеня, говорю, брось! А он ее, ведьму, чертохвостит, чертохвостит... Бедовый!

— Царь-батюшка на груди с Егорием, а она, сказывают, с Григорием!

— Тс-с-с, дурак!

— Веч-че-ерняя-я «Биржева-а-я»!

— Газетчик, покажь!

— Давай, давай!

— Барышня, я раньше уплатил... Ну, что за свинство... вырывать!

— Газетчик, газетчик!

— Читай, Юленька, вслух...

...Иван Митрофанович мельком, на ходу, пробежал глазами первую страницу газеты. Что это? Подлинно, по Европе шли взрывы один за другим: выстрел Гаврилы Принципа детонировал ее.

«Париж, 19,— мелькало перед глазами Ивана Митрофановича.— Вечером в кафе «Круассан» неизвестный произвел несколько выстрелов из револьвера в знаменитого депутата-социалиста Жореса, который был тяжело ранен в голову. Вскоре Жорес скончался».

Теплухин вздрогнул. «В голову... в голову,— подумал он. («А скоро социалистов будут вешать, Котик?» — выскочили чьи-то услышанные слова...) — В голову... Символично!» — И он вдруг вспомнил это самое слово в фарисейских устах «тенорка», и ему показалось, что и он сам сейчас похож на того лицемера. А может быть, «тенорок» был просто глуп?..

Перед тем как завернуть за угол, Теплухин оглянулся и приостановился. Площадь была почти свободна от народа. Зимний был отгорожен глубоким полукругом от всего остального народа. Он подчеркивал словно свое величие повелителя. «Символично... Фу, прет же это слово!» — отмахнулся Теплухин.

Дворец, казалось,— две взгроможденные одна на другую колоннады. Отдельные части его густыми багровыми массами выступали одна перед другой, словно стремясь друг от друга отойти,— застывший грузный шаг на месте...



Прорезанные в стенах бесчисленные громадные окна, оберегаемые с боков колоннами, шли вдоль площади таинственной полупрозрачной галереей, по которой, чудилось, тихо и безмятежно блуждала все время душа великого зодчего.

Пышное барокко дразнило очарованный глаз гениальностью своих линий.

.....

Теплухин направился к своей гостинице. Сегодня вечером он уезжал домой. Он и так задержался: еще несколько дней назад была получена телеграмма Карабаева, предписывавшая воздержаться от переговоров насчет сахарного завода.

Улицы нашли в эти дни своих героев. Всюду маршировали войсковые части и колонны ополченцев с узелками в руках. На перекрестках сталкивались десятки оркестров, позади которых длинной вереницей тянулись, сбиваясь в шаг, вихлястые ряды бывших и будущих солдат.

— Ать-два, ать-два!..

У Фокина (офицерские вещи и приклад) — очередь. Из магазина выходят с новенькими желтыми ремнями крест-накрест, — и Петербург наводняется роем «прапорщиков запаса».

Каждый молодой офицерик чувствовал себя слегка Бонапартом. Он старается смотреть как можно решительней и суровей на встречную толпу, но мальчишки, бегущие впереди рядов, видят, как полуребяческая улыбка наивного самодовольства и в то же время смущения конфузливо бегаёт вокруг его безусого рта.

С грохотом проносятся вдоль проспектов зеленые походные повозки. Пронзительно гудят рожки и сирены военных автомобилей. Набегает друг на друга поток экипажей, прорезывают людской водоворот стройные казачьи сотни на одномастных лошадях. Выкатывая глаза, раздувая жабы щеки, свистит городской.

Теплухин чувствует себя неловким провинциалом в этой разгоряченной сутолоке столицы. Он садится в трамвай и почти в изнеможение опускается на скамью.

— Россия тронулась! — говорит кто-то рядом с Теплухиным.

Он молчит. Он одинок. Он не знает своего пути.

Но не все ли равно?!

Теплухин, конечно, и предположить не мог, что почти одновременно с ним появился в Петербурге человек, несколько лет назад оставленный им на «колесухе». Месяца четыре прошло, как человек этот, бежав из каторжных краев, осторожно приближался к родному Питеру.

Товарищи по партии помогли Власову в Омске, в Перми, Самаре, Москве и, наконец, в самом Питере.

На первое время партийная организация снабдила его паспортом, выданным в Ельце на имя некоего мещанина Троекурова, тоже Василия Афанасьевича, и под этой фамилией он поселился

не на родной своей Выборгской стороне, а на одной из Рот, ответвленных от Измайловского проспекта.

Ему необходимо было соблюдать осторожность: таков был наказ партии — районной исполнительной комиссии, — и Василий Афанасьевич послушаться, естественно, не смел. Даже тогда, когда, по мнению Власова, ничто не угрожало его личной безопасности.

— Пойду и я! — объявил он в районном большевистском комитете, когда зашла речь об организации одной из первых антивоенных демонстраций в ответ на кликушество, царившее на площади перед Зимним дворцом, на Невском, Морской и в других местах.

— Не пойдешь, — спокойно ответил ему Громов, старый питерский друг Андрей Петрович Громов, — его партийный, можно сказать, побратим, превративший Власова в «Троекурова». — Не пойдешь — и все! Понятно? Не для того ты, Василь Афанасич, прибыл сюда, чтобы сразу же укули тебя в полицейский участок.

— Почему меня должны укули? — пожимал плечами Власов.

— А потому! — не считал нужным объяснять Громов и зашевелил, как поршнем, своим адамовым яблоком. (Примечательное оно у него было!)

И Андрей Петрович был прав.

По улицам Петербурга с утра до вечера шествовали теперь «патриотические» демонстрации — с портретами царя, с трехцветными флагами, с жадной громить любых других людей, которые, — казалось манифестантам: дворникам, чиновникам и «охранникам», — не выражали в должной мере националистических чувств. Черносотенцы сбивали с прохожих фуражки и шляпы, врывались в трамваи и в дома и там учиняли хулиганскую расправу с «инакомыслящими».

На Исаакиевской площади было разгромлено Германское посольство и с темно-кофейного фронтона его сброшены бронзовые кони, на Садовой и Владимирском громили ювелирные магазины, фамилии владельцев которых смахивали на немецкие, на окраинах пускали пух из подушек в квартирах рабочих.

Уличная толпа, особенно в центре города, взвинченная шовинистическим кликушеством, теперь не только не соблюдала обычный «дружественный нейтралитет» при виде рабочей демонстрации, но и сама набрасывалась на демонстрантов, помогая полиции и погромщикам. Те из толпы (обыватели всех видов, всякого рода уличные фланеры), кто во время рабочих демонстраций торопливо прятался в боковых улицах и переулках или робко жался к подъездам и воротам, стараясь издали наблюдать происходящее, теперь уже считали своей обязанностью присоединиться к «охранникам».

Точно так же поступила толпа и в тот день, когда рабочие, в ряды которых хотел встать Власов, вышли колонной навстречу предводительствуемой офицером партии призванных на войну ратников запаса.

— Товарищи! Братья! Долой войну!

Запасные молча переглядывались и, сбиваясь с шага, почесывали затылки.

Раздались свистки городских и брань офицера, и тогда, как по сигналу, толпа бросилась с панели на мостовую (приключилось это у Варшавского вокзала) и с истерическими криками: «Изменники, предатели, германцы», — начала избивать рабочих. На долю полиции остались лишь аресты демонстрантов и, как и предвещал Андрей Громов, отправка их для выяснения личности в «гостеприимные» в те дни полицейские участки.

— Отказываться от организации антивоенных выступлений, конечно, не следовало, но принимать в этой демонстрации участие Власову ни к чему, — рассудил Андрей Петрович.

Найдется еще настоящая работа для таких, как Василий Афанасьевич Власов! Настоящее революционное дело в новых условиях еще только начинается.

Такие, как Громов и Власов, знали свой путь: в России и в жизни.

## *Глава шестнадцатая*

### **...ЛИШЬ ДЛЯ ВОЗГЛАСОВ «УРА!»**

«В тяжелую минуту, когда внешний враг стоит у ворот, когда наши братья вышли к нему навстречу и готова пролиться родная кровь за спасение родины; когда те, кто остались, силой вещей призваны к великим жертвам, духовным и материальным, — руководители партии народной свободы высказывают твердую уверенность, что их политические друзья и единомышленники до конца исполнят свой долг российских граждан в предстоящей борьбе.

Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг — сохранить нашу страну единой и нераздельной и удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами.

Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни малейшего повода надеяться на разделяющие нас разногласия и будем твердо помнить, что теперь первая и единственная наша задача — поддержать борцов верой в правоту нашего дела, спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия. Пусть моральная поддержка всей страны даст нашей армии всю ту действительную силу, на которую она способна, и пусть защитники наши не обращаются с тревогой назад, а смело идут вперед навстречу победе и лучшему будущему».

— ...Господа! Наконец в таком виде принимается? А? Согласны?

— А вы, пожалуйста, прочтите сначала, Павел Николаевич...

— Слушаю...

Седая голова Павла Николаевича Милюкова с раскрасневшимися, как у стыдливой девушки, ушами наклонилась над исписан-

ным и исчерканным листом. Упругие серебряные волосы, словно насильно согнутые, повисли тонким крылом над широким прямоугольным лбом, на который вверх от переносицы протянулись крошечным веером три резкие морщинки.

Голова вновь приподнялась:

— Ну, слушайте, господа: читаю в последний раз... Пора кончать...

Гладко выбритое лицо Милокова с нежным стариковским румянцем улыбалось Карабаеву. Модное, без оправы, пенсне, чуть-чуть наклоненное вперед, коротко метнулось куда-то в сторону.

— «В тяжелую минуту, когда...»

Все, повинувшись, замолчали и вслушивались теперь в его слова. Это были не простые слова, даже не речь его, которую потом печатают все газеты, — это была его *программа*, которой, как казалось ему и его единомышленникам по кадетской партии, ждала сейчас вся страна...

Льву Павловичу было приятно, что это «историческое», как он считал, в жизни партии заседание происходит у него на квартире. Правда, это произошло потому, что он расхворался в последние дни и никуда не выходил, а собраться надо было всем членам Центрального Комитета, живущим сейчас в Петербурге. Но тем лестней, что без него, Карабаева, не могли обойтись.

А если бы заседание происходило где-либо в другом месте, разве не побежал бы он туда, рискуя даже своим здоровьем?! Таковы ли времена, чтобы беречься!

— «...сохранить нашу страну единой и нераздельной...» — еще тверже и настойчивее читает тот же чеканный голос, и Лев Павлович, упрямо надавив каблуком пол, отбивает поднятым носком ботинка такт каждому из этих слов...

О да! Страна должна остаться единой и нераздельной, — в этом он, Карабаев, был всегда убежден, в этом всегда были убеждены все эти люди, сидящие сейчас здесь. Стране — России! — угрожает смертельная опасность, и надо отложить на время борьбу с правительством. «То, с чем мы боролись в Думе и обществе еще неделю назад, — думает Лев Павлович, — должно быть отодвинуто сейчас на второй план. Три месяца назад голосовали против военного бюджета, — теперь его надо увеличить, — увеличить во что бы то ни стало! — потому что жребий брошен уже историей... И в грозный час испытания да будут забыты внутренние распри!»

Эти последние слова — из царского манифеста, и Лев Павлович неожиданно морщится, как будто вспоминает что-то особенно неприятное: «Под этими замечательными словами такая лживая подпись государя!..»

«Нет, все равно, — успокаивает себя Лев Павлович. — Дело не в нем, не в его правительстве — дело в России! А разве она виновата, что у нее в этот момент такие правители?»

— «...навстречу победе и лучшему будущему».

Румяный глава партии поднял голову и оглядел всех присутствующих. Теперь еще резче бросились в глаза его покрасневшиеся маленькие уши и жесткие, так хорошо знакомые всем усы. Седые, с пепельными искрами у корней, они были чуть подняты, отогнуты вверх, очертив линию рта, и тщательно приглажены в обе стороны, словно только что парикмахер снял с них сетку наусников, петлями державшихся на этих розовых маленьких ушах.

Усы были «слабостью» профессора, знаменитого политического деятеля: он их ходил, и это все знали.

Он любил еще скрипку и английскую конституцию,— и это тоже было хорошо всем известно.

Его недолюбливали за чересчур осторожный, сухой, «профессорский» ум,— это от него скрывали его друзья.

— Решено, значит...— прервал первым молчание Лев Павлович. Он чувствовал себя сегодня «хозяином» дома, обязанным облегчать гостям выход из затруднительного положения, как только оно наступало. А это положение будто создавалось... Депутат с фамилией знаменитого поэта вдруг встал и заходил по комнате, ни на кого не глядя. Сидевший на диване упитанный, с круглой, как пушечное ядро, выбритой головой, Владимир Дмитриевич обратился к председателю:

— Я согласен, Павел Николаевич, с этой окончательной редакцией.

— Отлично. Вы, Лев Павлович? За? Сергей Иванович? Владимир Александрович? Николай Виссарионович — вы?

— Я... за. Допустим — за...

— Что значит — «допустим»?

— Ну, я «за», господа... хорошо. Решено... Но... но скажите, пожалуйста, где мы это воззвание напечатаем... а?

Он остановился посреди комнаты, заложив руки в карманы, подняв вопросительно плечи.

— В газетах, конечно, Николай Виссарионович. В газетах! Мы прокламаций не печатаем! Предоставим эту сомнительную честь сторонникам социализма... Да и нужно ли такое воззвание, под которым распишутся все лучшие интеллигентские силы страны, печатать прокламациями?

— Ни прокламаций и ни «манифестов» мы не выпускаем! — пожелал уравновесить настроение Лев Павлович.

— Позвольте, господа... Я сам знаю, что... такое воззвание разрешат, конечно, напечатать. Разрешат. Но где? В чужих газетах, Павел Николаевич! В чужих!

Он мрачным и слегка торжествующим взглядом обвел присутствующих и подошел к столу.

— Газету нашей партии верховный главнокомандующий закрыл. И за что? За ваши же, Павел Николаевич, статьи! Вы советовали не начинать войны даже тогда, когда Белград будет занят австрийцами. Так? Вы в глазах правительства оказались антипатриотом. Смешно, конечно!

— И печально, Николай Виссарионович!

— И вот мы лишены своего печатного органа. Мы, партия либеральной демократической интеллигенции!.. А? Мы, мозг народа!.. Вы знаете, господа,— он опять отошел на середину комнаты,— я встретился сегодня в одном месте с нашим думским социал-демократом...

— Вы часто с ним встречаетесь, Николай Виссарионович?

— Думаю, что реже, Сергей Иванович, чем кое-кто из нас... с сиятельными лицами!

Тот, кого звали Сергей Иванович — широколобый, с пышной седой шевелюрой и черными усами,— скривил растерянно губы.

«Ах, до чего люди изнервничались, ужасно!..» — волнуется Карабаев и предостерегающе и дружески смотрит в злые, прищуренные глаза сидящего на диване товарища.

— Я продолжаю, господа... У эсдеков сидело несколько рабочих. Один из них говорит мне: «Вот вашу, говорит, газету закрыли, а нашу и еще раньше: как бастовать начали. Выходит,— говорит он,— есть пункт, чтоб вместе сейчас на этот режим идти, требования предъявлять». Вы понимаете, господа?..

— Мы — понимаем, а вы... — резко поднялся с дивана, отдернув вниз безукоризненно отглаженные коверкотовые брюки, тот, кого звали «Владимир Дмитриевич», и вынул из кармана слоновой кости портсигар. — Господа, пора кончать. Решение принято и как будто единогласно, хотя, возможно, и не единодушно,— играл он, как всегда, словами. — Газету нашу откроют: вчера Родзянко обещал мне и Павлу Николаевичу ходатайствовать об этом. Это — во-первых. Затем — относительно нашей позиции *до* объявления войны. Я подчеркиваю: *до* объявления войны... Мы должны бы советовать правительству избегать войны только потому, что Россия к ней не подготовлена. Только! Это бой в невыгодных условиях и при бездарном министерстве. Но... случилось! То случилось, что было неминуемо. Рано или поздно. России душно не только политически, но и экономически. (Белая, серебряная голова профессора одобрительно кивнула.) Это, господа, во-вторых. Теперь — о «встречах» дорогого Николая Виссарионовича... Ваши знакомые меньшевики сами не знают, чего они хотят в настоящий момент. Это — безответственная оппозиция геморроидальных книжников. Рабочие, которые к ним приходят,— поменьше бы эти самые рабочие бастовали на радость Германии! Пора одуматься рабочим, если они — *русские!*.. У них с нами может быть только один путь — путь России, государства, наш путь... Это — в-третьих, господа. А в-четвертых, вот что... Вчера мне показывали прокламацию одну. Она выпущена социал-демократами — большевиками. Программа ясная и четкая, несмотря на явное сумасшествие и преступность идеи. Эта идея — разрушение русской государственности и война войне. Не только правительству, но и *войне!* Вы, кажется, не придаете значения этой кучке людей, Николай Виссарионович? Напрасно. Это — тот наш враг, который при первых же серьезных затруднениях раньше всех

пожнет плоды народного недовольства. Россия знала уже Пугачевых и Разиных. Так вот, господа... Мы, политические вожди русской интеллигенции разных званий и профессий, — мы должны взять пример у наших союзников, да и у наших врагов. А там — посмотрим!..

Некоторые заплотировали, все снялись со своих мест и задвигались по комнате. Вот уж подлинно четкий партийный курс — наконец-то!

— Это правый флюс на лице партии, — нерешительно и сконфуженно улыбался Николай Виссарионович. — А где же «левый», демократический, так сказать?.. — смотрел он на Карабаева и на других, словно ища поддержки.

— Левый, Николай Виссарионович? Да ведь он уже был, да благополучно лопнул: посмотрите на свое лицо, — оно очень осунулось, дорогой друг!..

Круглое, плотное, с туго натянутой кожей лицо Владимира Дмитриевича лукаво постреливало дробью черненьких упрямых глаз.

Кто-то чересчур громко расхохотался. Тогда глава партии, пряча в боковой карман «исторический листок», приблизился к собеседникам и стал в центр их.

— Лучше, — сказал он, и все умолкли, — лучше, однако, переболеть уже, чем быть еще больным флюсом, не так ли? Но, господа, никто не болен. Владимир Дмитриевич просто... умышленно раздул свою щеку, — не так ли?

О, этот осторожный седоглавый человек всегда мог находить равнодействующую и в шутке и в серьезном деле... Эта равнодействующая определяла курс политики: он, глава ее, не аплодировал сегодняшнему оратору, но и не возражал ему. Их было двое таких: он и Лев Павлович.

...Стали расходиться вскоре же после окончания заседания. На послезавтра было назначено открытие обеих законодательных палат и — до того — высочайший прием депутатов в Зимнем.

Едва Лев Павлович успел проводить участников заседания и вернуться к себе, чтобы отдохнуть, как в передней раздался звонок, и через минуту кто-то постучал в дверь.

— Войдите...

В комнату, с портфелем в руках, вошел Фома Асикритов. Журналист был в чесучовом пиджаке — длинном, почти до колен, и коротком в рукавах, отчего его маленькая подвижная фигурка приобретала еще более смешливый вид.

«Чертик!» — невольно улыбнулся Карабаев, глядя с дивана на своего родственника, который не всегда был ему приятен.

Асикритов положил портфель на выступ камина и засеял к лежащему на диване Льву Павловичу. По дороге он споткнулся о загнутый край тяжелого ковра, чуть-чуть не упал и, размахивая в воздухе руками, не дошел, а долетел, как подпрыгнувшая пружинка, к первому попавшемуся креслу.

«Ох чертик!...» — еще раз подумал Лев Павлович и вспомнил куклу-арапчонка с вращающимися глазами в витрине одного из табачных магазинов: и действительно, Асикритов чем-то напоминал сейчас того арапчонка.

— Придвигайте кресло сюда, Фома Матвеевич. Простите, что я лежу, но я очень устал.

Асикритов не замедлил очутиться у дивана.

— Я к вам на пять минут, Лев Павлович... всего лишь. Я хочу знать...

— Интервью? — улыбнулся Карабаев и подумал, что мог бы, конечно, многое сообщить из сегодняшнего заседания, но разбалтывать кому-либо секреты своей партии он никогда не стал бы.

— Комитет у вас заседал, Лев Павлович?

— А вы откуда знаете?

— Очень просто: я встретил всех ваших в подъезде. Понять нетрудно. Ну, так вот, что решили?

Лев Павлович сразу насупился: ему не нравилась такая напористость журналиста, уж очень бестактно, по мнению Карабаева, желавшего использовать их родственные отношения. И он сказал, грузно повернувшись с бока на спину и глядя в потолок:

— Страна узнает наше решение.

— Вот я за этим, чай, и пришел, Лев Павлович? Или как вы думаете?

— Наше решение унес Павел Николаевич.

— Остроумно и зло сказано, Лев Павлович! Ай, да-да... В боковом кармане своего профессорского сюртука унес... хэ-хэ-хэ!

— Фома Матвеевич! Вы... знаете... как-то странно... расцениваете мои слова! (Лев Павлович хотел сказать: «странно ведете себя».)

— Да не сердитесь, золотце наше, Лев Павлович... Измотался, очень взволнован я.

«Правда, — подумал Карабаев, — все теперь страшно взвинчено», — и сдержал свое раздражение.

— Так вы и все ваши, Лев Павлович, за или против? Против войны или нет?

— Мы за Россию — это вам хорошо известно.

— Хе-хе... За *какую* Россию? Э-э, не понимаете? Нет? Да что же это, бог ты мой, со всеми вами случилось в самом деле! Царя подерживать будете, Распутина обелять... а?

— Не говорите гадостей, Фома Матвеевич.

— Гадостей? Нет, стойте. Ответьте мне на один вопрос. Вы за демократию или нет?

— Глупый вопрос, простите. Конечно, да.

— Дальше, дальше! Демократия разве может желать войны? Нет?... Воюют короли, президенты всякие, холоуи, императрицы, — при чем же здесь демократия, а?

— Вы наивны.

— Если наивность — человеколюбие! Пускай Николашка



ведет войну без всякой помощи изнутри, без поддержки общества. В два счета революция будет. Чай, нет?

— Это крушение страны! Она не должна быть разбита... Да потом... потом.— Лев Павлович вскочил с дивана, закашлялся, побагровел и, когда немного отошел, схватил вдруг подушку с дивана и отбросил ее в другой его конец:— Я ни на какую разнузданную революцию не поменяю ни одну русскую губернию! Слышите вы? Слышите?

Он опять закашлялся и убежал в спальню. Широкоплечий, немного грузноватый, в черном люстриновом пиджаке, он на ходу расстегивал его... жилетку... верхнюю рубашку... срывал галстук и все это делал нерешительно и невпопад, словно руки его заблудились в его собственной одежде.

Через пять минут он вновь вышел — во всем том же, но без галстука и с расстегнутым воротом.

Под глазами у него были мешки. Черные густые волосы — торчком на большой голове; черные усы и такая же широкая, но не длинная борода еще резче оттеняли сейчас бледно-желтый цвет его лица.

Он медленно, молчаливо прошел к письменному столу, протянул руку к лампе, но не зажег ее, словно пожалел в этот момент обжечь сумерки, бабочкой припавшие к окну — утомленно растопырившей крылья, большой, прозрачной бабочкой...

Он шагнул на мягкий ковер, потом куда-то вбок и облокотился локтем на выступ книжного шкафа.

Фома Матвеевич сидел неподвижно в кресле. Он обгрызал ноготь.

Вдруг он тихо, как-то постепенно поднялся и почему-то на цыпочках прошел к камину. Он взял оттуда свой портфель и пошел к двери. У самого выхода он остановился, обернулся и переложил портфель из одной руки в другую.

— Прощайте, Лев Павлович,— хрипло сказал он.

— Вы что ж... До свиданья, Фома Матвеевич.

— Больше... гм... того... расстраивать не буду.

— Да нет же, чудак вы!.. Погодите.

— Нет, прощайте, Лев Павлович. Прощайте! — сердито и глухо сказал Фома Асикритов.— Все уж промеж нас ясно...

И он закрыл за собой дверь.

«Что такое? — немного всполошился Лев Павлович.— Неужели я его обидел?.. Чем? И что за странные у него сегодня мысли? Откуда это все?»

Он даже шагнул, чтобы позвать журналиста, но тотчас же остановился: сам он, Карабаев, ни в чем не виноват.

Он подошел к дивану, положил подушку на прежнее место и улегся поудобней.

«В Каноссу! В Каноссу!» Эти слова назойливо приходили в голову Карабаева, когда он подымался вместе с другими по марморной лестнице дворца.

И вновь он их вспомнил перед самым выходом государя.

...Это был тот самый белый Николаевский зал, где несколько дней назад провозглашался манифест о войне. Лев Павлович с любопытством оглядел его: он никогда здесь не был.

В центре средней стены, прямо против балкона на Неву, висел большой портрет императора Николая Первого — в любимой им конногвардейской форме, на коне. Высокий покровитель Бенкендорфа — в белой фуражке с красным околышем, с круто натянутым поводом в руке — как будто принимал невидимый парад своих преданных журналистов.

Вдоль стен стояла бальная мебель — золоченые кресла и стулья с плетеными сиденьями. Она казалась легкой и жеманной, как участницы былых придворных танцев.

По углам и в простенках — массивные хрустальные канделябры знаменитой Петергофской гранильной фабрики, а сверху — такие же массивные, хрустальные — три громадные люстры, поделившие потолок на четыре равные части.

Утреннее солнце разбросало в хрустале смеющуюся свою радугу, и высоченный, в «два света», зал казался еще выше и беспредельней.

Между окон вышитое панно с навешенными на нем блюдами и солонками: это подносили в свое время царю «верноподданные» его «хлеб-соль».

За четверть часа до выхода Николая в зале был установлен порядок. Думцы были поставлены в левую сторону от двери в царские покои, члены Государственного совета, министры и высшие придворные чины заняли правую, как предписывал сегодня ритуал.

В первых двух рядах стояли виднейшие депутаты и руководители думских фракций, и Карабаев очутился по праву среди них — рядом со своими партийными единомышленниками.

Широкая просека заркального паркета разделяла собравшихся.

«Нейтральная зона... — посмотрев на пол, подумал Лев Павлович. — Бюрократия в расшитых мундирах со звездами — и мы... (Новая белая манишка, высокий воротник и наглухо застегнутый сюртук сковывали движения Льва Павловича.) Враги! И вот «ему» (он подумал о государе)... ему суждено нас примирить».

— Вы видели... а? И трудовики здесь, и они пришли, только сзади стали!... — тихо, но оживленно говорил Карабаеву бледный, похудевший Николай Виссарионович, и голос его не мог скрыть радости и удовлетворения: слава богу, что пришли: ему, левому кадету, как-то спокойней теперь, меньше ответственности! Раз *трудовики* пришли — о, это уж что-то означает!

— И «забастовщики» тоже... — усмехнулся одними глазами Карабаев. — Совет министров. Сколько времени мы с ними не встречались? Вспомните...

— А-а... — протянул Николай Виссарионович: «Да, да, верно:

еще так недавно бойкотировали Думу, а теперь, вот поди ж ты, не могут без нее... То-то же!»

В рядах, в обеих половинах зала, разговаривали между собой совсем тихо, отказавшись от своего голоса и вогнав его куда-то внутрь.

«Значит — примирение...» — продолжал думать Карабаев, искоса поглядывая в сторону, где стояли министры.

Он отворачивается и старается не смотреть в ту сторону, где сидят министры и придворные. А сосед, стоящий за спиной Николая Виссарионовича, словно читая его мысли, вновь придвигает голову к его уху и вполголоса шепчет:

— Неужели сегодня... разрешат «бессмысленные мечтания»?!

Как вы?..

— Так же, как и вы! — растерянно смотрит на него Карабаев через плечо и вдруг, с непонятным для соседа испуганно-заботливым взглядом, широко раскрыв глаза, быстро шепчет ему:— Вытрите скорей усы! Как же можно... вы завтракали... у вас следы на усах!

— Ну? — конфузится тот и вынимает носовой платок.

Пышнобородый старик — церемониймейстер — поднял вдруг свою трость с гербом на набалдашнике и с голубым андреевским бантом и оглядел весь зал. Он слегка постучал тростью об пол и объявил:

— Государь император...

И спустя несколько секунд обе половины дверей из царских покоев бесшумно и быстро распахнулись, и два пучеглазых арапа, сверкнув белой чалмой, колыхнули у дверей своими цветными шароварами.

В зал неторопливо вошел плоскогрудый офицер ниже среднего роста, в черно-красной форме гвардейского Преображенского полка, с широкой андреевской лентой через плечо. В нем нельзя было не узнать царя: он был похож на свои портреты, но они были красочней и ясней. В шагах трех позади него шел костлявый, длинный великий князь, главнокомандующий Николай Николаевич.

Царь на ходу коротко почесал одним пальцем левой руки свой подбородок и так же быстро провел им по рыжевату, соломенному усу, словно сбрасывая с него приставшую крошку или оправляя заползавшие в рот нерасчесанные волоски.

Зал поклонился тысячью голов.

Николай сделал еще несколько шагов и остановился. Потом еще передвинулся чуть-чуть вправо, как будто желая остаться незадетым падавшим на прежнее место солнечным лучом, и опять повторил тот же быстрый жест рукой по усу.

— Приветствую вас в нынешние знаменательные и тревожные дни, переживаемые всей Россией... Тот огромный подъем патриотических чувств любви к родине и преданности престолу, который, как ураган, пронесся по всей земле нашей, служит, в моих глазах, и думаю, что и в ваших, ручательством в том, что

наша великая матушка-Россия... доведет ниспосланную богом войну до желанного конца.

Карабаев, как и все, напряженно всматривался в него и вслушивался в его слова. Если несколько минут назад он думал о том, что скажет Николай, то сейчас главное внимание Льва Павловича было обращено на то, как он говорит, как держится и каков он: так близко Николая он видел в первый раз.

Николай говорил не громко, внятным низким голосом, которого никак нельзя было предполагать, судя по внешности этого человека.

Первые две фразы он произнес гладко, не запинаясь, на спокойном дыхании, но никак не интонируя — как бесстрастный чтец-протоколист чужих омертвевших слов. Они уходили чинно и выученно, группа от группы отделенные неслышными, в уме расставленными знаками препинания, в зал — как невзыскательные безмолвные статисты, по режиссерским ремаркам — со сцены.

Он говорил с некоторым налетом иностранного произношения, по-гвардейски — с легкой растяжкой, акцентируя иные слова, и слово «преданность» звучало — «прэ-эданность», а «крепко» — почти как «крэ-эпко».

— ...И в нынешнюю минуту... я с радостью вижу, что объединение славян происходит... крепко и неразрывно со всей Россией.

Голос начал делать перебои, в чередовании слов произошла несколько раз заминка: это память, словно ослабевший, разжимающийся кулак, силится сохранить до конца в своем зажатии выпадающие слова, собранные ею с приготовленного, написанного еще вчера мемориального листка в спокойном Петергофе. Заботливая Александра советовала положить листок в фуражку и держать ее в руке, как уже сделал однажды. Но разве возможно ли это сегодня, когда приходится так близко от себя видеть такую массу чужих, незнакомых людей!..

Луч солнца опять дотянулся до лица и непозволительно, проклятый, щекочет сейчас ноздри.

«Пропустить фразу? Все равно ведь *листок* целиком обнародуют!»

Николай подергивает два раза плечом (придворные знают этот характерный жест после удара японской дубинки), словно что-то укусило его в лопатку или царапает где-то в том же месте перекрахмаленное белье, — и уже торопливей и взволнованней кончает, освобождая совсем свою память:

— Уверен... что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик бог земли русской!

Царь осенил себя крестным знамением.

— Ур...

— ...ра-ра! — проносится по залу.

И под грохот этого приветствия Николай, задсржав дыханис, втянув в себя воздух, вдруг всхлипывающе чихает, но чох этот сейчас не слышен в зале, и только многие видят, как быстро госу-

дарь вынимает из кармана носовой платок, подносит его к лицу и вновь прячет.

— Ур-р-ра-а! — еще раз гроыхает по залу, и кажется, звенят от сотрясения по углам тяжелые хрустальные канделябры.

И — вновь тишина.

Выступив вперед, с почтительным поклоном начинает свою краткую речь председательствующий в Государственном совете.

Он «повергает к стопам великого государя и самодержца все-российского» выражение безграничной любви и готовности к временным жертвам на благо России. Он напоминает монарху, что на Россию ополчились две страны, которые обязаны ей своим нынешним могуществом. Россия спасла их в свое время от праха и позора: Германию, сто лет назад, — от занесенной над ней руки наполеоновской Франции, Австрию — от поражения 48-го года.

Седенький маленький старичок молебно складывает руки. Вялые, сморщившиеся губы тихо и медленно роняют слова — как капли сока из высохшего лимона. На узенькой голове старичка — редкий пушок коротеньких седых волос и розовато-пергаментные плечи.

Царь спокойно и уверенно смотрит в его глаза. Он прекрасно знает этого ветхонького человека в блестящем, расшитом золотом мундире, он уже не раз слышал его ковыляющий голос и видел его хилую подпись на каких-то бумагах.

И когда речь его окончена, Николай едва заметным кивком выражает свою благодарность. Он искоса поглядывает сейчас налево, и Лев Павлович видит, как учащенно поднимаются и опускаются его ресницы.

Наступает момент, которого правая часть зала и монарх ждали с неменьшим интересом, чем левая — отзвучавшей уже речи Николая: слово за Думой!

Стоявший впереди депутатов их председатель — Родзянко — сделал несколько шагов по направлению к царю.

— Ваше императорское величество! — громко, на весь зал, прокатились, как шары при кеглях, слова Родзянко. — С глубоким чувством и радостью вся Россия...

Зычный, растроганный бас несет теперь волны прочувственных величавых слов, охватывающих сплюснутый длинный полукруг людей. Стоящие подальше от центра и в задних рядах незаметно придвигаются, насаждают, приподымаются на цыпочки и вытягивают головы, чтобы лучше запечатлеть в своей памяти этот «знаменательный момент».

— Пробыл грозный час. От мала до велика все поняли...

Медленно подталкиваемый сзади, Лев Павлович, уже не упираясь, вместе с другими наплывает все ближе к тому месту, где стоит государь и, чуть поодаль от него, великий князь.

Бас Родзянко приобретает все больший и больший пафос.

Родзянко массивен, большоголов, с крупным носом и тяжелым кадыком. «Громадный индюк с весом коровы!» — вдруг приходит в

голову Льву Павловичу, словно до сего он никогда раньше ни замечал выразительной внешности председателя Думы.

Николай слушает, глядя мимо оратора — на зеркальный коричневый паркет. Лицо шафранное, чуть-чуть курносое, и, — если взглянуть в него повнимательней, — чем-то напоминает лицо Павла, но... может быть, это только так кажется Карабаеву?

Государь не смотрит на громадного, тяжелого Родзянко: Николай всегда испытывает неприятное, неловкое чувство, видя перед собой очень близко людей высокого роста. В таких случаях он подавлен и застенчив, — и долговязый костлявый великий князь предупредительно стоит сейчас поодаль.

А этот громадный, жирный «индюк» Родзянко, увлеченный своим верноподданническим пафосом, накаляющим весь зал, наступая время от времени, все придвигается незаметно вдоль изломанной депутатской шеренги, и шафранное лицо Николая делается немного растерянным и беспомощным, и учащенной подымаются и опускаются неровные ресницы.

Рыжеватая, цвета прелой соломы, борода вокруг всего лица кажется неживой, набухшей — как на монетах.

Лев Павлович охвачен общим состоянием. Он проникается неожиданно какой-то кающейся жалостью бывшего обидчика к этому плоскогрудому, невзрачному офицеру, словно он, Лев Павлович, должен сейчас *судить* и карать его.

Да... нет же, нет! Разве может он, «человеколюбивый бывший земский врач», *карат* и *быть безжалостным*?

Ах, может быть, сейчас, в этот «грозный час» для всей страны, свершается здесь чудо и вся мощь и тревога России пронизет слабенькую фигуру этого человека, которому суждено было стать императором, и он воспарит орлом над врагами России, над врагами ее народа?! (Мысль Карабаева сделала бросок в сторону придворных министров.) И если это случится, то все, все можно *простить*, забыть, и не как судья, — нет, нет! — а как преданный, несказанно счастливый патриот, ведущий за собой толпу доверчивого, обрадованного (и обманутого, Лев Павлович?) народа!.. И поймут все (и «он» — первый...), что все русские — братья не только по крови, но и по идее...

— Дерзайте, государь, — русский народ с вами! — потрясает стены зала и покаянные сердца депутатов зычный растроганный бас.

Царь переступал с ноги на ногу.

Наконец Родзянко кончил. Николай поднял голову и решил посмотреть на него:

— Сердечно благодарю вас, господа... сердечно. От всей души желаю вам всяческого успеха. С нами бог!

Царь передвинулся, скользя по паркету бочком, как имел привычку, поближе к рядам министров. Он перекрестился, за ним — и весь зал.

И тот же Родзянко, как опытный регент, первый затянул:

— Спа-аси, госпо-оди...

Он торжествующе, победоносно оглядывал своих противников из лагеря министров и придворных: сытый индюк оказался сегодня нужней, чем старческие павлины!

«Спаси, господи, люди твоя...» — чинно, молитвенно пел торжественный зал.

О, коварная российская Каносса с вынесенными вперед предательски святающимися башнями взаимного всепрощения, примирения и трепетной лжи!

Царя уже в зале не было, и все торопились уходить: через несколько часов должно было открыться заседание Государственной думы.

Лев Павлович рассеянно, с еще не уложившимися впечатлениями, пробирался к выходу. У дверей он натолкнулся на великого князя и Родзянко, жавших друг другу руки.

И вдруг он услышал самодовольный, увещевающий бас:

— Ваше высочество, они наглумили... наглумили и сами не рады. Возьмите с Милокова слово, — и он изменит направление. А газеты теперь нам, ох, как нужны!

«Наглумили?...» — старался Карабаев вспомнить, по поводу чего могло быть сказано это слово, и не сразу сообразил, что речь шла о недавней позиции его самого и всех его единомышленников по вопросу о невмешательстве в австро-сербскую войну. И, словно оправдываясь сейчас, он ясно вспомнил заседание у себя на квартире и чьи-то прямые и отчетливые слова: «...Только потому, что Россия к войне не подготовлена. Это бой в невыгодных условиях...»

Хочется ни о чем не думать сейчас, что могло бы вызвать какие-нибудь сомнения.

Лев Павлович садится в первую попавшуюся пролетку и едет домой.

«В Каноссу... в Каноссу...» — словно пробует догнать его оставленная позади мысль, но он отмахивается от нее небрежно, как от надоедливой и страшной попрошайки.

Через несколько дней он получил почтовый пакет. Он разрезал его, и оттуда выпали два сложенных один в другой листка. Оба были густо заполнены машинописными строками.

Лев Павлович развернул первый из них и с удивлением стал читать:

Принахмурив очи строгие,  
Чтобы в корне зло пресечь,  
Коноводам «демагогии»  
Царь сказал такую речь:  
— За благие пожелания  
Вас я всех благодарю,  
Но бессмысленны мечтания,  
Власть урезать мне — царю!  
Эх, калики перехоже!  
Либералы! Дикари!

Провинциалы толстокожие,  
Санкюлоты из Твери!  
Или вы воображаете  
В самом деле (как умно),  
Что собою представляете  
Вы парламента зерно?  
Далеко зерну до колоса,  
Не пришла его пора.  
Дам пока вам право голоса  
Лишь для возгласов «ура!».

Это была «песенка», широко распространенная после знаменитого приема Николаем членов земской депутации.

Лев Павлович вспомнил ее и усмехнулся. Но... но кто и почему прислал ее?!

Он быстро разогнул второй листок, надеясь найти в нем ответ. Напрасно, — первые же строчки были ему уже знакомы и... неприятны, но он все же пробежал их глазами.

Это была декларация социал-демократов, оглашенная недавно в Думе, но не опубликованная в газетах.

«Сознательный пролетариат воюющих стран не мог помешать возникновению войны... Но эта война окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и угнетений... Теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой».

Лев Павлович досадливо поморщился и застыл на минуту в медленном раздумье у стола.

Голова его, откинувшись вбок, неподвижно лежала на подставленной ладони. Он думал... Потом встал и вновь наклонился над только что брошенным листком. И вдруг заметил в нижнем углу его краткую, тоненькую — царапающим карандашом — надпись: *«Сопоставьте! Ф. Асикритов»*.

— Ах, вот что! — сказал вслух Лев Павлович и как будто обрадовался. — Какой странный человек!

Он сложил листки так, как они лежали в конверте, всунул их туда и медленно, неторопливо разорвал наполненный конверт надвое.

Почти в одно и то же время, чуть ли не в один день, уехали из Смирихинска Людмила Петровна и ротмистр Басанин. Она — записываться в сестры милосердия, он — хлопотать о переводе в действующую армию. Чаша скуки опрокинута, и ее надо наполнить новым зельем.

Сокровенные, тайные планы ротмистрова писаря Кандуши были грубо нарушены происшедшими событиями. Он растерялся, «ловец человек»!

Старик Калмыков умер в тот же вечер, когда пришла телеграмма о мобилизации.

Из груди его все время вырывался клокочущий хрип, и глаза его были закрыты и неподвижны.



Иногда хрип становился упрямым, сильнее и настойчивей, и казалось, хочет навзничь поваленный Рувим Лазаревич сказать что-то, в последний раз приказать, и захлебывается невысказанное слово его в клокочущем хрипе, как обессиленный пловец, упавший в кручи водопада.

Какое слово?.. Может быть, требует старик дать ему в руки исчезнувший пергамент, и тогда откроются его закотившиеся глаза и увидят в последний раз последнюю подпись его — приказ родоначальника, кому и как нести на земле его, калмыковское, завоеванное в жизни добро?..

...Федя Калмыков шел полем к Ольшанке.

Сидеть дома было скучно и тягостно: приехавшие дети Рувима Лазаревича, похоронив старика, устраивал теперь семейные дела. Старшие Калмыковы — врачи — отказались от своей доли наследства в пользу слепого брата Мирона.

Во время этих разговоров Федя чувствовал какую-то неловкость. Он вспоминал недавний ночной разговор с дедом, и тайна погибшего дедовского завещания иногда колебала принятые Федей решения. «Встать и сказать, что я все знаю?..— думал он, сидя с матерью в углу дивана.— Ведь отец... мы имеем право на половину всего этого состояния. А что же с ним делать? — словно выглядывала откуда-то своевольная ребяческая мысль.— Семен требует, чтобы я вместо отца помогал ему вести дело?! И он будет прав, конечно... Благодарю покорно! А как же университет, Ира и... вообще *своя жизнь*?!»

И, узнав, что отец, мать и Райка будут в какой-то мере обеспечены принятыми решениями на семейном совете, Федя успокоился и никакого участия в этих делах уже не принимал.

...Он шел знакомой дорогой, безлюдной и тихой, и ничто не отвлекало почти его внимания. Уже далеко позади него остались последние городские домишки, уже, ничем не стесненный, ласково, мягко бьет непрерывной волной по лицу полевой душистый ветер, и свободная во все стороны, напоенная солнцем земля открывает глаза свои — золотисто-синие просторы.

Он не мог бы сказать, о чем он сейчас думал. Ни о чем глубоко и мучительно и ни о чем легко и радостно. Но он знал, что обо всем — с любопытством и неуспокоенностью.

Он не мог бы точно и связно пересказать своих мыслей, но они были о многом...

Он думал о людях, умирающих и нарождающихся; вставших в его памяти и дорисованных его воображением. О дружбе, о ненависти, о любви, зависти — о многих других неумирающих человеческих страстях: о том, что вечно, покуда дышит жизнь.

Он думал о себе и о мире, о своем месте в нем — обо всем, о чем думает каждый человек.

Он понял, что только вступает в жизнь, что многое ему еще непонятно, что неминуемы потери чего-то привычного, близкого —

взамен того, что будет найдено в просторах и лабиринтах грядущего, еще неизвестного.

Он знает: мир получил толчок; значит, получил и он, Федя Калмыков.

— Федя! — крикнула с крыльца выбежавшая навстречу девушка.

— Иду! — крикнул он и — побежал.

Это глядела на себя самое — любовь...

### *Глава семнадцатая*

**В НОЧЬ НА 6 НОЯБРЯ 1914 ГОДА В ПЕТРОГРАДЕ**

Под новый 1915 год в доме доктора Русова читали напечатанную на гектографе прокламацию, посвященную аресту пяти депутатов Государственной думы — большевиков.

Прокламацию эту привез из Киева молодой студент Алеша Русов, никому не поведавший, как она к нему попала.

«Товарищи! — так начиналось обращение питерских большевиков. — В ночь на 6 ноября подлое царское правительство, обогрившее себя кровью борцов за лучшее будущее демократии, правительство-палач, замучившее на каторге представителей пролетариата 2-й Думы и тысячи его лучших сынов, правительство, веками сосущее кровь народную, бросило в темный сырой каземат депутатов Росс. соц.-дем. фракции.

С такой наглостью и цинизмом расправилось самодержавное правительство с думским представительством 30-миллионного рабочего класса. Лживость и лицемерие фраз о единении с народом вскрыто. Обману и развращению рабочих масс наступает конец... Царское правительство сделало последний шаг, дальше идти некуда. Фиговый лист российской конституции еще раз сорван, и на этот раз окончательно. Во весь рост встает перед рабочим классом и всей демократией вопрос об истинном народном представительстве, об Учредительном собрании.

Только война и военное положение, железными тисками сжимающие пролетариат и демократию, дали возможность правительству совершить гнусную расправу над избранниками рабочих, стоящими самоотверженно на страже их святейших интересов.

Под грохот пушек и ружей правительство старается задушить революционное движение рабочего класса. В потоках крови насильно угоняемых на бойню миллионов рабочих и крестьян оно надеется утопить их освободительные стремления.

Прикрывая свои хищнические замыслы лживыми фразами об освобождении славян, царское правительство во время войны еще с большей свирепостью душит рабочий класс: оно разгромило все рабочие организации, уничтожило рабочую печать, ежедневно заточает в тюрьмы исылает в далекую, холодную Сибирь лучших борцов пролетариата.

Но смертельному врагу рабочего класса было мало этого. Он решил, что настал удобный момент для расправы с представителями рабочего класса, геройски борющимися с правительственной политикой, политикой гнета и насилия, и железные кандалы зазвучали за тюремной решеткой. Избранникам пролетариата царские бандиты сказали: ваше место в тюрьме.

В тюрьму посажен весь рабочий класс. Шайка грабителей и эксплуататоров, шайка погромщиков осмелилась осудить, как преступника, 30-миллионный рабочий класс России. Рабочему классу брошен смертельный вызов.

Но и железные тиски военного положения не удержат рабочий класс от гневного крика протеста. Крик: «Долой палачей и насильников!» — громко вырвется из груди многомиллионного пролетариата России, грудью вставшего на защиту своих депутатов.

Товарищи!

Петроградский Комитет Росс. соц.-дем. рабочей партии призывает рабочих Петрограда к *однодневной забастовке и митингам протеста* против гнусного и незаконного деяния царско-помещичьей шайки.

Долой царское правительство!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует Российская соц.-демокр. рабочая партия!

Да здравствует социализм!»

...Суд над рабочими депутатами Петровским, Бадаевым, Мурановым, Шаговым и Самойловым состоялся 10 февраля 1915 года.

Накануне этого дня в Петербурге бушевали метели, выли снежные ветры на проспектах и набережных столицы. Высунуться в такую погоду на улицу было весьма неудобно, а в вечерний час — и подавно. Но все, кто был зван прокламациями ПК большевиков на сходку в один из пустовавших складов «Треугольника» на Обводном канале, пришли сюда сквозь белую зимнюю бурю — послушать представителя ПК.

Это был человек со строгим, северным русским лицом — молодым еще, но уже помеченным причудливыми седыми височками, казавшимися сейчас двумя приставшими к лицу снежными хлопьями.

Стоя на широком ящике, этот человек говорил:

— Вспомните последние два года, товарищи... Кто в Думе отстаивал всегда рабочие интересы? Кто больше всех беспокоил министров запросами о незаконных властей? Кто расследовал взрывы на пороховых заводах и в угольных шахтах? Кто мешал гулять полицейскому кулаку при похоронах рабочих и при демонстрациях? Кто собирал пожертвования для пострадавших товарищей? Кто издавал газеты «Правда» и «Пролетарская правда»? Кто протестовал против убийства и увечья миллионов людей на войне? Всё они, рабочие депутаты! И за это они все пойдут на каторгу... Защита рабочих депутатов есть дело самих рабочих. Ли-

бералы Милюковы, Коноваловы, Карабаевы вместе с правительством рады этой расправе. Трудовики в Думе и фракция Чхеидзе как будто сразу оглохли и онемели. Кто же может защитить теперь наших товарищей? Только те, кто их избрал и поддерживал. Только пролетариат может защитить их. Товарищи! Бастуйте десятого февраля. Устраивайте митинги, демонстрации. Протестуйте против наглого издевательства царского правительства над рабочим классом!

— Ваулин? — тихо спросил своего друга Власов.

— Он! — ответил кратко Андрей Петрович.

И по-мужски ласково посмотрел на оратора.

Часть  
Вторая

---

# ОТ ПЕТРОГРАДА ДО ЛОНДОНА И ПАРИЖА



## *Глава первая*

**КАЖДЫЙ ДИПЛОМАТ, ЖИВЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ,  
ДОЛЖЕН НАЙТИ ТАМ ДРУЗЕЙ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА**

Было лето 1916 года. Истекал второй месяц пребывания думской делегации за границей.

В апреле Лев Павлович Карабаев вместе с другими членами Думы и Государственного совета выехал на Запад, куда приглашали представителей русского парламента правительства Англии и Франции. Три месяца назад отбыла туда же группа столичных журналистов. Она должна была посетить Западный фронт, чтобы рассказать потом русским читателям о доблести и геройстве войск маршала Жоффра и Фоша, Фрэнча и Дугласа Хэга, об испытаниях бельгийского народа, о борьбе союзных наций — английской, итальянской, французской — с «тевтонами-завоевателями».

Организовал приглашение обеих русских делегаций (знали об этом очень немногие) Джордж Бьюкэнэн, английский посол в Петрограде. Льву Павловичу, в частности, это было известно, потому что он принадлежал к числу руководителей кадетской партии, к которой полномочный министр Великобритании питал плохо скрываемую симпатию. Что эта симпатия была взаимной — свидетельствовали органы тайного наблюдения: они установили многочисленные случаи встречи оппозиционных депутатов-либералов с излишне гостеприимным хозяином особняка на Невской набережной. А что проявление этих симпатий мистером Бьюкэнэном нарушало обычные нормы дипломатического такта — утверждали некоторые придворные люди: они передавали по секрету, что государь намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой воспретить сэру Джорджу вмешиваться во внутреннюю политику Российской империи.

Очевидно, сэр Джордж был другого мнения о задачах и характере своей деятельности, и дошедшие до его сведения угрозы русского императора не изменили поведения полномочного представителя английского королевского правительства. Он поступал так, как считал нужным, он делал то, что в первую очередь было необходимо и полезно для Великобритании и возглавлявшейся ею теперь западной коалиции. И как иначе он должен был понимать цель пребывания в царском Петербурге?

Было известно, что правительство его величества короля Великобритании весьма одобряло деятельность своего многолетнего

посла, и на приеме в Букингэмском дворце Лев Павлович и его спутники получили подтверждение этого из уст Эдуарда Грея, министра иностранных дел.

— Каждый дипломат, — сказал тогда он, — живя в чужой стране, должен прежде всего найти там друзей своего отечества. Если он не нашел сразу, — надо их создать. Мантия, камзол и куртка должны вызывать одинаковое внимание со стороны такого дипломата. Но там, где мантии и камзолы смешались с грязными поддевками (намек на Распутина), скромный деловой куртку особенно приятен своей незапятнанностью! — закончил сэр Эдуард свои суждения о «русских костюмах».

Шесть русских литераторов, командированных шестью редакциями, предприняли поездку вполне своевременно, — рассудил справедливо Джордж Бьюкэнэн: они должны были выступить свидетелями грядущих побед коалиции, несущими на конце своих перьев ее уверенность, бодрость — не сокрушительную ничем бодрость! А ведь это так необходимо было! Восточный союзник испытывал в том потребность больше, чем когда бы то ни было: минувший год покрыл Россию трауром военных поражений.

Весной 1915 года армия Макензена прорвала русский фронт на Карпатах. В течение трех недель пришлось оставить Перемышль и Львов, — немецкий генерал шел победоносно от Горлицы на Раву-Русскую и дальше.

Взяв Варшаву, Галивиц, Леопольд Баварский и подымавшийся с юга Макензен спешили к Брест-Литовску: он был повержен. Еще раньше, в Курляндии, была взята Либава, флот адмирала Тирпитца прорывался в Рижский залив.

Сшибленные ударом германских армий, пали в августе Ковно, Осовец, Гродно и Луцк, а сентябрь отнял у России Вильно.

От Двинска до Тарнополя пролегла на карте прямая жирная черта неприятельского вторжения.

«Пожалуй, можно начать уже переговоры о мире?.. Разве Петроград не знает, в каком гибельном состоянии находится его полуголые, технически бессильные армии?» Джордж Уильям Бьюкэнэн, а через него и его русские друзья (и Лев Павлович в том числе) хорошо были осведомлены о том, кто и кому шлет эти вопросы.

Если бы почта на имя русского императора шла обычным путем, удивиться надо было бы царскосельскому почтальону, почему на конверте — штемпель, поставленный чиновником венского почтамта, уже давно не переправлявшего корреспонденции во враждебную, воюющую Россию?.. Но фрейлина русского двора Мария Александровна Васильчикова не прибегала к услугам венского почтамта. Из своего имения Глогниц, около самой Вены, она отправила письмо Николаю в Александровский дворец. Письмо никем из работников почтово-телеграфного ведомства не штемпелевалось, а шло в сумке нарочного через нейтральный Копенгаген и Стокгольм. Это случилось еще в феврале минувшего года; в пространным письме Мария Васильчикова, задержанная из-за

военных действий в Австрии, делилась своими впечатлениями о мощи срединной Европы. Она вспоминала историю — лучшую свидетельницу того, что никогда, собственно, не было и нет никаких противоречивых интересов у Германии и России, а что касается Англии — то стоит только вспомнить Персию и Афганистан, а также козни Альбиона на Дальнем Востоке, чтобы понять, сколь доверчив оказался русский орел, принеший свою дружбу в логовище британского льва...

Письмо (это доподлинно было известно сэру Джорджу Уильямсу) осталось без ответа. Да и что было отвечать тогда? К концу 1914 года русская армия заполнила Галицию, взобралась на Карпаты, стремилась к Будапешту, — все это подавало надежды на будущее.

Но вот у Марии Александровны приключилось горе: умерла в Петербурге престарелая мать, урожденная графиня Олсуфьева. Опечаленная дочь так сильно затосковала в своем Глогнице, что узнавший об этом герцог Гессенский помог ей отправиться на три недели, как обусловлено было, в Петроград — погрустить на кладбище, у фамильного склепа Васильчиковых. Услуга за услугу: Мария Александровна спрятала в свою сумочку братские письма великого герцога к сестрам — русской императрице Александре и Елизавете, вдове великого князя Сергея, десять лет назад разорванного бомбой Каляева в Москве.

Справившись о здоровье и самочувствии всех родственников и передав почтительный привет от всех гессенских и рейнских родичей, Эрнст Людвиг, заканчивая письмо к «младшей сестре Алисе», сообщил, между прочим, что вскоре посылает «частным образом доверенное лицо в Стокгольм», что «хорошо было бы и Ники послать туда частным образом человека, и они могли бы полюбовно уладить многие временные страдания и начать строить мост для переговоров».

Сэр Джордж не без любопытства прочитал также копию и другого письма, прибывшего почти одновременно с пакетами герцога Гессенского: прусский министр двора, обер-гофмаршал Эйленбург, свидетельствуя свои самые сердечные чувства министру двора русской империи, запрашивал графа Фредерикса — не настала ли пора приступить к мирным переговорам «после всего того, что случилось, и в предвидении того, что может еще случиться неприятного с Россией, к которой Германия ничего плохого не питает: это не то, что Англия, — «Gott, strafe England!»<sup>1</sup>

«Не настала ли пора?» — спрашивал тогда же в частной беседе посла в Стокгольме, камергера Неклюдова, прибывший в Швецию директор «Deutsche Bank»<sup>2</sup>. И вежливо напоминал собеседнику: с Галицией пришлось расстаться; польские и литовские земли — очистить; Ригу — эвакуировать; армия — без снарядов и современной техники; почти все политические партии, презирая неудач-

<sup>1</sup> Боже, покарай Англию! (нем.)

<sup>2</sup> «Немецкий банк» (нем.).



ника царя, ненавидя его правительство, помышляют «о недобром»; доходят слухи о рабочих волнениях в стране; население тяготится проигранной войной, а союзники... о, те думают только о себе! Особенно Англия: она меньше всех теряет в этой великой игре: лорд Китченер, Асквит и Ллойд-Джордж готовы воевать до... последнего русского солдата! «Не настала ли пора?»

И мистер Бьюкэнэн решил, что пора настала... для ответа!

В новогоднюю ночь двери ресторана «Контан» пропустили в свой самый большой зал свыше трехсот гостей сэра Джорджа Уильяма. Пришла английская колония — офицеры, инженеры, журналисты, промышленники, купцы, руководители и представители торговых фирм — верные сыны горячо любимой королевской Англии. Пришли государственные и политические деятели русской империи и чины всех союзных посольств.

После первых кратких приветствий и тостов поднялся со своего кресла хозяин, вскинул привычный монокль на широкой черной тесьме, беззвучно шевельнул вдавленными, поджатыми губами (словно желал, готовясь к выступлению, размять и проверить свой рот) и, чуть скривив его, начал ту самую речь, которую политические друзья Льва Павловича Карабаева, да и он сам, назвали потом «памятной и знаменательной».

— Прошло без малого полтора года войны, — говорил в своей речи мистер Бьюкэнэн, — и мы, англичане, имеем все причины гордиться той ролью, которую сыграла в ней наша страна. К пригорю, небольшая количественно часть русского общества держится, по-видимому, другой точки зрения. Небольшая кучка людей прилагает все усилия к тому, чтобы посеять разлад между Россией и ее союзниками. «Где британский флот и что делает британская армия?» — спрашивают эти господа в Петрограде, в Москве и других местах. Я скажу им сейчас, что делают флот и армия его величества короля Великобритании! Вспомните карту мира, почтенные джентльмены... Где английские корабли? В Дарданеллах, в Суэце, у мыса Горна, у мыса Доброй Надежды, в Зондском проливе, у Зунда, в Ла-Манше, в «немецком» Северном море, всюду, — вот где английские корабли! Не многие могут увидеть флот Великобритании, но все и всегда могут его почувствовать! На воде англичанин — хозяин, и только англичанин! Хозяин ли он на суше? Он сражается у Кипра, у Салонник, в Галлиполи, по дороге в Багдад, в Южной Африке, в Конго, в Египте. Везде, во всех частях света раздается наша славная походная песенка «It's a long way to Tipperary»<sup>1</sup>, вселяя в душу народов бодрость и надежду. Откуда пришли эти разноцветные, разноликие, в «хаки» одетые, чудные парни? Из Ирландии и Валлиса, из Англии, из Канады, из Индии, из Австралии, с острова Фиджи, из Трансвааля, — весь мир откликнулся на призыв нашей родины... Почтенные джентльмены! Когда-то знаменитый русский прогрессивный писатель, мистер Герцен, нашедший приют на берегах нашей радушной Темзы, на-

<sup>1</sup> «Далеко до Типперери» (англ.).

звал нас, англичан, существом берложным, любящим жить особняком, упрямым и непокорным. Да, мы упрямы и непокорны, когда покушаются на нашу свободу, на жизнь нашей родной Великобритании. «Никогда, никогда англичанин не будет рабом», — это поет и знает каждый пастушок на полях нашей родины... Что делает британский флот? Кто хочет узнать, проявил ли наш флот свое могущество, тот может дойти до истины самым простым путем. Флот может выполнять семь задач. И только семь, почтенные джентльмены! И в этом смысле я ничего не могу прибавить к тому, что ответил в июле прошлого года лорд Бальфур газете «New York Herald». Только семь задач — и ни одной больше!.. Флот может прогнать с морей торговлю неприятеля; флот должен охранять свою собственную торговлю; он обязан обессилить неприятельский флот, сделать невозможной перевозку неприятельских войск; флот может перевести войска своей страны куда захочет; он должен обеспечить продовольствие для этих войск; и — последнее: он должен помогать войскам в их операциях. Мы выполнили все семь задач, восьмой не существует! По этому вопросу, почтенные джентльмены, я ничего больше не могу добавить к тому, что имел честь сказать пять минут назад... Наши враги поднимают вопрос о мире. Но какой может быть мир, когда сожжена героическая Бельгия, раздавлены Сербия и Черногория, когда отняты у России польско-литовские земли, когда славная Франция утратила двенадцать лучших промышленных департаментов?.. Мы знаем о посредничестве его величества короля Испании, мы знали миссию из Америки — мистера Форда, мы знаем и другие миссии и других корреспондентов германской главной квартиры, которым, к сожалению, не отказано резко в праве на переписку. (Слова эти произносятся замедленно, каждое отделено от соседнего выразительной секундной паузой.) Дело не в мире, а в условиях мира, — так писал после Аустерлица Наполеон Бонапарт своему брату Иосифу. Мы тоже отвечаем так. И если Англию спрашивают, каковы ее условия, — она отвечает всем, почтенные джентльмены: «War to the finish» — война до конца!

Через несколько дней после этой речи выехали на Запад шесть русских литераторов, чтобы в газетах, журналах, книжках описать все то, о чем говорил в новогоднюю ночь сэр Джордж Уильям, полномочный посол королевского правительства Великобритании.

А спустя три месяца отбыла туда же парламентская делегация, в состав которой вошел и Лев Павлович Карабаев: нужно было не только описывать, но и учиться здесь и, — что особенно было важно, — представлять волю своей родины (буржуазии!): идти в войне до конца вместе со своими союзниками. Никогда, никогда еще Лев Павлович не чувствовал так своей ответственности за дело, выполнить которое он должен был вместе с другими соотечественниками.

## Глава вторая

ЧТО ХОТЕЛ КАРАБАЕВ УВИДЕТЬ И ПОТОМУ УВИДЕЛ  
ЭТО НА ЗАПАДЕ

В Стокгольме муниципалитет устроил банкет в честь русской делегации, Швеция была нейтральна и — внешне — одинаково приветлива со всеми: еще несколько дней назад тот же муниципалитет столь же радушно принимал группу купцов, приехавших из Бремена и Гамбурга.

Пожизненный мэр города, опрятный старичок Линдгаген — седой, голубоглазый, с вечным шведским румянцем на щеках, — настойчиво убеждал русских гостей в том, что «войну можно остановить», что он, старый шведский социалист Линдгаген, «говорит это всем и каждому», но мало кто согласен с ним, к сожалению. Не хотят ли русские гости встретиться с miss Balch — замечательно энергичной американкой, входящей в «пацифистскую» миссию, отправленную Фордом в Европу? Миссия выработала отличный план, а miss Balch может показать «сенсационные письма» английских солдат о 24-часовом перемирии, которое установили между собой солдаты обеих воюющих сторон... О, не надо относиться так недоверчиво к документам miss Balch!.. Пожалуйста, депутат риксдага Седерберг может подтвердить вам все это.

И депутат Седерберг — такой же румяный, такой же светлоглазый, но помоложе и ростом повыше — медленно, бесстрастно подтверждал: да, перемирие было; да, англичане не стреляли в немцев, и немцы не стреляли в англичан; да, у англичан нет никакой злобы к немцам, — в пасхальную ночь и те и другие вышли без оружия из окопов на полянку, разделявшую их, пели друг другу песни, ели один и тот же шоколад, курили один и тот же табак, играли в чехарду, показывали карточки своих жен, детей и невест и потом целый день не сделали ни одного выстрела.

Да, это все было, да это все факт, да, с этим фактом надо считаться, — пожизненный мэр Линдгаген торжествовал.

Тогда в Стокгольме, сообщениям этим Лев Павлович мало поверил, сомневались в их правдивости и его спутники. Больно уж лукав ныне Стокгольм, больно уж суетлива и многоязычна обычно тихая и сдержанная шведская столица, ставшая теперь пристанищем для людей всех стран и национальностей!.. Да и кому на руку распространение слухов о солдатском «братании», как не тем же немцам, а они в большом количестве стали теперь завсегдатаями Скандинавии. Во всяком случае, здесь, в Стокгольме, отношение к ним, заметил Карабаев, было весьма предупредительным и поистине добрососедским.

А норвежская столица показалась сдержанной и спокойной, здесь было значительно меньше немцев и их поклонников, чем в Швеции. Тихая, маленькая Христиания готова была, — если так надо было, — отдать предпочтение своей могущественной островной соседке: бритты скупили весь богатый улов рыбы, дали работу

всему большому флоту Норвегии (а цены на морской фрахт выросли втрое, и это было очень выгодно), они вместе с французами вложили капиталы в крупные заводы азотистых соединений и алюминия. Кроме того, было еще одно обстоятельство, всегда влиявшее на политические чувства страны: близость того самого английского флота, о котором так красноречиво повествовал лорд Бальфур в Лондоне и сэр Джордж в Петрограде.

На банкете у русского посла Гулякевича депутаты стортинга, журналисты, купцы и даже осторожные норвежские чиновники говорили об Англии более чем почтительно. В эти дни Христиания праздновала трехсотлетний юбилей Шекспира. Торжественное празднование, в котором приняли участие король, правительство, стортинг и все муниципалитеты, превратилось, как писали газеты, «в демонстрацию дружбы обеих стран».

Скромная Христиания расположила к себе Льва Павловича своим идиллическим, как показалось ему, уютом, чистотой и спокойствием.

Ничего особенно примечательного в городе не было, но вот люди на его улицах, на старинной площади, где продавали цветы в стеклянной карете, — все эти торговки в «каплюхих» головных уборах, в соломенных галошах, хотя всюду уже было сухо; кадеты и школьники с аккуратно застегнутыми портфеликами в руках; стройные деловитые девушки с маленьким букетиком анемон — первых весенних цветов севера — в петлице и с газетой под мышкой; прогуливающаяся пожилая чета в безукоризненно отглаженном платье; беспечно похаживающий у присутственных мест круглолицый, рыжебровый солдат в коротком сереньком пальто (узенький ножик, примкнутый к ружью, не внушает никакого страха); щеголь в цилиндре и франтиха в яркой шелковой юбке, — все они казались веселыми, благословляющими счастливую жизнь, все — краснощекие, здоровые и, вероятно, долговечные.

На приеме у посла Лев Павлович познакомился с двумя норвежцами. Оба они хорошо говорили по-русски, а один из них, профессор Брок, известный славист, оказался коллегой Льва Павловича по Московскому университету. Студенческие годы, знакомые профессора, знаменитая история брызгаловских беспорядков, — целый час оба живо вспоминали прошлое и толковали о настоящем. Профессор — приятно слышать! — любит и знает Россию, часто бывает в ней. Поездки необходимы ему для научных целей: сидя в Христиании, он занят изучением... говоров Тотемского уезда Вологодской губернии и Козельского — Калужской! Как же, как же — это очень интересно...

И если профессор Брок вызвал восхищение Льва Павловича «служением чистой науке», то второй норвежец, господин Лид, возбудил к себе интерес всей делегации прямо противоположными своими качествами: он оказался участником первой экспедиции Нансена к устью Енисея, он организовал перевозку торговых грузов из Норвегии и Англии в Сибирь и обратно, он пролагал водный, экономически выгодный путь для русского хлеба, пеньки,

масла и леса. Англо-норвежское акционерное общество, в котором он состоял, делало то, что так необходимо было для русских промышленников и купцов. И русские парламентарии не без зависти смотрели на смышленного, с размеренными движениями г-на Лида, на этого хозяйственного «варяга» из страны викингов.

В день отъезда профессор принес в поезд Карабаеву свою книгу, цветы и коробку шоколада — преподношение семьи. В Христиании ничего не говорили о немцах, и Лев Павлович стал забывать неприятные стокгольмские новости.

Из Христиании выехали в расцвет весенней погоды, но на пути в Берген поезд и время словно повернули вспять: за стеклом вагона царствовала густая, грузная северная зима — облепленные тысячепудовым снегом клинкоголовые гранитные скалы, белые мохнатые леса, навьюченные снежной кладью узкие горы. Но за перевалом, после десятков различных туннелей, принимавших поезд в свой гулкий черный футляр, — снег, мертвые скалы, обледеневшие, крытые деревянные галереи от снежных заносов, холод — все это уже не возвращалось.

Поезд шел по откосам крутых берегов. Зигзаги фиорда словно обведены были голубым нежным карандашом. Свежие, молодые листья деревьев, никогда не знавшие пыли, казались подернутыми веселым зеленым лаком, а придорожная густеющая трава — выхоленной чьими-то заботливыми руками: до того она была чистой и яркой! На холмиках, опоясанные все той же зеленью, выстроились вдоль пути красные готические, с квадратными окнами, рыбацьи домики и сельские фермы. В эту нежную пестрядь красок весеннее, голое на небе, солнце струило щедрые золотисто-оранжевые лучи. Вновь любовался Карабаев таким же пейзажем, уже покинув Берген, пересев в открытом море с норвежского пароходика на специально дожидавшийся британский крейсер «Dopaga-le», доставивший делегацию к берегам Англии.

Только что покинутая страна — Норвегия — запечатлевалась, входила в память как счастливая «обетованная» земля. Он так и отметил свое впечатление в дневнике, который вел наспех, но почти каждый день — в поезде, на корабле, в гостиницах и даже в землянках французского фронта, куда впоследствии ездили на несколько дней.

Дорога, переезд через море, новые страны и города; новые, незнакомые люди, матросы, солдаты, чиновники, главы правительств и знаменитые политические деятели; торжественные банкеты и деловые беседы, захолустные уголки и громадные промышленные города; осмотры крупнейших фабрик и заводов; безлюдные с виду, изборозжденные траншеями, переходами, укрытиями и дорогами передовые линии фронта — с полями, взвороченными снарядами, с остатками обломанных, обугленных, искалеченных лесов; улицы и площади городов, обрывки услышанных разговоров; людская приязнь, горечь, ненависть, патриотизм, воля одних и растерянность других, смешное и трагическое, крупное и мелкое — все это прошло перед глазами, все это хлынуло и вре-

залось в память. Все это волновало, восхищало, печалило, ободряло, смешило, удивляло.

Но главное: он увидел Европу такой, какой она была мила его политическим верованиям и вкусам. Ничего другого он не хотел видеть — и потому не увидел.

Он увидел Европу такой, какой хотел бы видеть Россию.

Встречи... С кем только их не было за эти шестьдесят дней пребывания за рубежом!

И в Эдинбурге — гостеприимный муниципалитет, еще гостеприимней, чем в Христиании: все местные нотабли и лорд-провост чествовали поочередно каждого из членов русской делегации. Но без всякой скромности Лев Павлович мог сказать, что все же теплей всего эдинбургцы говорили о нем да еще о ближайшем его друге — знаменитом русском профессоре и еще более знаменитом вожде отечественного либерализма, влюбленном в английскую конституцию сильней, чем сами англичане.

Друг этот, Павел Николаевич Милюков, глава политической партии Карабаева, отвечал на приветствия нотаблей, и только тогда, признаться, узнал Лев Павлович, что «Россия и Шотландия имеют одного и того же патрона — святого апостола Андрея Первозванного — и что русский морской флаг с андреевским крестом — тот же, что и шотландский». Профессор-англоман с маленькими розовыми ушками и тщательно холенными седыми усами, всегда дававшими пищу для карикатуристов, изображавших его ангорским котом в пенсне, оказывал делегации неоценимые услуги: кроме того, что он владел многими иностранными языками, он обладал еще завидным даром отыскивать в истории, быте и склонностях любых народов то, что обязательно уж должно было подтверждать неизбежность их общих интересов с российскими!..

На улицах Эдинбурга Лев Павлович впервые увидел части английской армии: шотландские хайлендеры в мохнатых черных киверах и коротеньких ярко-красных, с темными клетками, юбочках — повыше голых коленок, заменявших шаровары. Они отправлялись на флот, сопровождаемые тысячной толпой родственников и соотечественников. Впереди полка шел оркестр: сопилки, рожки, кожаные барабаны и еще какие-то причудливые инструменты. И под звуки их коренастые, с упругими, сдвинутыми набок от ходьбы икрами хайлендеры пели песенку, обращенную к кайзеру Гогенцоллерну:

Пляши, коль пляшешь, Вилли,  
Пляши вперед и вспять,  
Зови танцоров, Вилли,—  
Нам не устать играть!

Совершенно очевидно было, что маскарадный костюм стрелков никак не пригоден в условиях этой войны, утерявшей какое-либо сходство с походами средних веков, однако бережно и ревниво хранившие традицию шотландцы отвергали «хаки» всей остальной

английской армии. Впрочем, в этом был не бóльший консерватизм, чем тот, наблюдать который — в ином и более значительном — пришлось Льву Павловичу в Лондоне.

Не без волнения в тот день вышел он со своими товарищами из Клэриджес-отеля на Брук-стрит, направляясь к древнему Вестминстерскому дворцу. В автомобиле капитан Скэль — гид из «Интеллидженс сервис», прикомандированный к Льву Павловичу, потерявший на войне руку, узкий и длинный беркширец с бритым лицом землистого цвета и вздернутым носом так круто, что в широкие темные дырки его так и хотелось, озорничая, воткнуть рогатку, продолжал беседу, начатую еще в номере гостиницы. Ничего нового не было в том, что говорил этот славный парень Скэль (кстати сказать, неплохо знавший русский язык), и все же Лев Павлович не без любопытства слушал своего спутника.

— Мы самая консервативная страна — это верно. У нас семивековая неписанная конституция. Привычка и обычай управляют нашим бытом, судом, парламентом. И мы существуем — го-го!.. А что из того, что у пруссаков писанная конституция? Она уже тогда, в сорок восьмом году, была названа их королем «листом бумаги»: взял да и разогнал пруссак франкфуртский парламент!.. Что из того, что русский царь в пятом году написал манифест, — хо, листок бумаги! Лучше всего — джентльменское слово, сэр. А кто прав, кто из нас будет счастливей — wait and see: пожием — увидим!..

В парламенте шли так называемые «большие дни», палата общин дебатировала правительственный «билль о конскрипции» — первый раз в истории своего существования Англия вводила у себя обязательную воинскую повинность. Льву Павловичу довелось слышать речи Асквита и вожака английского либерализма Ллойд-Джорджа. Слов нет, впечатления этого дня были ярки и сильны, но не малым способствовала тому, — не забывал Карабаев, — и внешняя обстановка, в которой все это происходило.

Так вот она, «колыбель европейского парламентаризма»! Сидя на хорах, Лев Павлович напряженно всматривался и вслушивался во все.

Вот спикер палаты, сэр Доутэр, идет открывать заседание. Он в длинной черной мантии и парике. В париках и окружающие его секретари — с гусиными перьями в руках. Впереди — два герольда. Один несет жезл, другой открывает процессию троекратным восклицанием.

— Нет ли здесь иностранцев? Если они здесь — удалите их!

По старому обычаю заседания не публичны, и стоит какому-либо коммонеру заявить: «Спикер, я вижу посторонних в зале», — чтобы вся публика была удалена.

Форма живет, но содержание ее изменилось, рассказывает все тот же капитан Скэль. Давным-давно бывает в палате не только английская публика, но и любой иностранец, и почти никогда не раздается сакраментальной фразы. Коммонеры не видят посторонних! Особенно после одного случая, когда пришлось уйти из

заседания наследнику престола, принцу Уэльскому, хотя замеченным «посторонним» был не он.

По окончании заседания привратники-глашатаи выкликают в коридорах:

— Джентльмены, кто собирается домой?

Это восклицание, как и все зрелища парламентского заседания, перешло из недр XV столетия, когда поздно вечером было небезопасно на темных улицах Лондона возвращаться домой в одиночку.

В палате депутаты сидели на простых длинных скамьях, места всем не хватало. Говорили речи с мест. Министры — тут же, на первой скамье. Отвечают, подходя к столу, опираясь на ящик, в котором лежит евангелие и клятва.

Казалось так Льву Павловичу: вся процедура выхвачена из жизни далекого, знакомого по литературе и пьесам средневековья. Или, например, этот курьезный диван лорд-канцлера: wool sack, попросту — мешок с шерстью, точно такой же, а может быть, и тот же, что был еще в XIV веке... Встречи... Впечатления... Раздумья...

Ночью, перед сном, в номере Клэриджес-отеля Лев Павлович садится за письменный стол, вынимает из чемодана дорожный бювар и оттуда — аккуратно нарезанные листки свежей, хрустящей бумаги: это листки дневника.

В комнате матовый свет, тепло, тихо. Широкая, чуть волосатая рука Льва Павловича бережно берет пузатую янтарную вставочку, погружает перо в тяжелое серебряное гнездо чернильницы, и перо, скользя по аккуратно нарезанным листкам хрустящей бумаги, не поскрипывает, а словно тихо поет какой-то неприпоминającejся, но знакомой птицей.

Янтарная пепельница копит в себе обклеенные золотистой бумажкой корешки выкуренных сигареток.

«Пришлось купить дурацкий цилиндр и перчатки. К королю надо было идти во фраке, которого у меня не оказалось. Но и тут выручил добряк Скэль: повел утром к какому-то кудеснику портному, и тот к семи вечера сшил классическую пару. Одевался в присутствии моего капитана. Произошел курьезный «инцидент». Вот бы Соня моя, Ириша и Юрка смеялись!

— Вы неправильно надеваете брюки,— укоризненно сказал Скэль.

— То есть... как?

— Вы надеваете стоя: так случайно можно разорвать их. У нас, в Англии, брюки надевают сидя, сэр.

У Демченко на приеме во дворце выпала одна из перламутровых запонок на белоснежной накрахмаленной рубашке. Рубашка стала неприлично топорщиться. Что делать? Бедняга Демченко, истерически хихикая (ко всеобщему нашему ужасу), пальцем прикрыл опустевшую петлицу, да так и простоял весь прием в дурацкой позе, не отнимая от груди словно припаянной руки. А когда под конец опустил ее — на том месте, где должна быть злополучная запонка,— темное, неприличное пятно!.. Мы в «Клэриджесе»



потом немало веселились по этому поводу, а П. Н. Милюков в нашей среде — членов «прогрессивного блока» — пустил каламбур о дактилоскопии, которую следует применять к правым националистам, как Демченко. В общем, будет что рассказывать забавного в Петрограде, в думских кулуарах.

В Ирландии бунт, восстание. Руководит какой-то сепаратист Кэзмент.

Говорят, немцы подговорили. Охотно верю. После гибели «Лузитании» здешние немцы меняют фамилии, — одна маскировка, удобная для шпионов и агитаторов!

Кажется, ждут очередного налета цеппелинов. Сегодня всюду в отеле расклеили приказ: «Во избежание налета воздушных разбойников воспрещается зажигать на видном месте огонь». На ночной тумбе я нашел свечу и записку: «В случае воздушного нападения возьмите эту свечу и отправляйтесь по черному ходу в подвал».

Я и Милюков в гостях у Дионео (Исаак Владимирович Шкловский). Он — лондонский корреспондент «Русских ведомостей», много пороботал, пропагандируя наш приезд сюда. Два дня назад, выкроив время, Милюков и я посетили его прекрасную лекцию о Сервантесе и Дон-Кихоте. Его сын — сержантом в английской армии. На квартире у Дионео встретились с несколькими лицами из русской эмигрантской колонии. Все хотят победы России, солидаризируются с Плехановым и Кропоткиным, ругают «циммервальдцев», Исаак Владимирович показывал нам «труды» и резолюции раскольников, возглавляемых нашим эмигрантом Лениным. Говорят, он уроженец Симбирской губернии и родной брат казненного Ульянова.

Записал цитаты из него, чтобы, как только будет время, хорошенько побить в «Речи» или где-нибудь в другом месте. Ну-ну!.. «Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну (страшные слова, господи...) есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией (подумаешь, событие!) и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами». Этот вожь всех «пораженцев» считает, видите ли, что нельзя защищать отечество иначе, как «борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов *своего* отечества, т. е. *худших* врагов нашей родины; — нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму»...

Здесь говорят, что влияние Ленина на многих западных социалистов огромно. Даже в нейтральной покуда Америке. Ох, какие бешеные прибыли получает эта смышленная страна от европейской войны! Если говорить о капиталистах — то вот где они по-настоящему. Но даже в Америке есть люди, целиком находящиеся под гипнозом идей г. Ленина.

В американской газете «Appeal to Reason» (мне показал ее и перевел текст капитан Скэль) американский социалист Евгений Дебс написал буквально следующее: «Я не капиталистический

солдат, я пролетарский революционер, я принадлежу не к регулярной армии, плутократии, а к иррегулярной армии народа. Я отказываюсь идти на войну за интересы капиталистического класса. Я против всякой войны, кроме одной... во имя социальной революции. В этой войне я готов участвовать, если господствующие классы сделают войну вообще необходимой».

По поводу этого заявления г. Ленин в швейцарской газете «*Berner Tagwacht*» высказался следующим образом: «Ужасы и страдания народа на войне невероятны, но мы не должны и у нас нет никакого основания с отчаянием смотреть на будущее».

Не напрасно падут миллионы жертв на войне и из-за войны. Миллионы, которые голодают, миллионы, которые жертвуют своею жизнью в окопах, они не только страдают, но и собирают силы, размышляют об истинных причинах войны, закаляют свою волю и приходят к все более и более ясному революционному пониманию. Растущее недовольство масс, растущее брожение, стачки, демонстрации, протесты против войны,— все это происходит во *всех* странах мира. *И это служит нам ручательством, что после европейской войны наступит пролетарская революция против капитализма».*

Господи, дался же ему этот «капитализм»!..

Я сообщил стокгольмские разговоры о «братании». Странно: оказывается, здесь всем это хорошо известно, английские газеты без всякого смущения печатали письма с фронта, где все это подробно описывалось. Мы много беседовали на эту тему. Дионео вспомнил Толстого. «После этого,— повторил он,— нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать снаряды и разойтись всем по домам». Но Павел Николаевич продолжил: «Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки»... И все это было понятно. Супруга Дионео, Зинаида Давыдовна, специально приготовила нам славные сибирские пельмени. Вспомнил тебя, Сонечка!

Мы ездили осматривать заводы в Рединг, Кардифф, Лидс и другие места, мы видели Англию, ставшую арсеналом войны — мне понятна злоба Германии: поистине у англичан бульдожья хватка. А у нас? Стыдно, стыдно за сегодняшнюю Россию... Одни нас здесь жалеют, другие — презирают. А притязания у нас насущнейшие. Пав. Ник. говорит, что англичане наконец-то согласились насчет проливов,— так надо же *уметь* взять их! Эх, положение...

Здесь общественная инициатива не имеет пределов. Даже курьезы характерны. В Бромли, например, имеется госпиталь, основанный одними Маргаритами. Так и называется: «Лазарет Маргарит»! Мне показывали воззвание «Собачьего и кошачьего фонда»: собирают деньги в пользу пленных в Германии. Все владельцы кошек и собак обложили себя налогом в шесть пенсов, а какой-то фокстерьер «Том», собачонка убитого героя, собрал на выставке 13 000 рублей; это потому, что убитый хозяин его удос-

тоился в числе немногих награды крестом Виктории — самое почетное отличие.

От русских ждут решительных действий, чтобы облегчить положение, заставить германское командование оттянуть войска с Западного фронта, ослабить нажим на Верден.

Сегодня на министерском банкете передавали, между прочим, что, если в эти дни наши войска перейдут в наступление на Юго-Западном и погонят австро-немцев, царю будет предложена «Виктория». Гм, гм... Тот самый орден, который учрежден после злополучной Крымской кампании!

На банкете сидели все за десятью круглыми столами, за каждым — член правительства и наши депутаты. Павел Николаевич и я сидели за столом Ллойд-Джорджа. Милюков успел с утра побывать на завтраке, в его честь устроенном старой корпорацией купцов «Russian Company», произнес речь о хозяйственных связях обеих стран. Совершенно очевидно, что после войны вся наша прежняя торговля с немцами должна перейти к Англии. В армии и государственном аппарате немцам тоже отныне нечего делать...

После речей Асквита и спикера Лоутера (теперь он, конечно, был без своего средневекового одеяния) говорил Ллойд-Джордж. Слушали его не вздохнув, хотя всем хотелось, вероятно, громко стонать. Сам он определил свое выступление как «кровавый бухгалтерский отчет». Вот он вкратце: то, что успел я запомнить.

Самая богатая страна Англия (по национальному богатству и национальному доходу) — 18 миллиардов фунтов стерлингов. Затем — Германия (16), на третьем месте — Франция (13), за ней — Россия (12), потом — Австро-Венгрия (9). Война уже поглотила одну восьмую всего национального богатства воюющих. Что случилось бы с Европой, если бы ей суждено было вновь испытать сроки наполеоновских войн!.. Ни одна война не обходилась хотя бы приблизительно столько, сколько теперешняя.

Двадцать три года наполеоновских войн стоили Англии 650 миллионов фунтов стерлингов! Государственный долг всех воюющих стран уже сейчас удвоился, и прав германский министр финансов Гельферих, определивший ежедневную стоимость войны для всех — в 16 миллионов фунтов стерлингов. Однако в приведенный расчет не включены убытки от разрушения строений, дорог, сельскохозяйственного инвентаря и пр., причиненные войной. Не включена значительная потеря производства в Северной Франции, в Бельгии, в Восточной Пруссии, Польше, Галиции и Сербии, погибшие суда, истребленные запасы сырья, металлов, продовольствия, износившиеся машины. И, главное, — люди, люди!

Выбыло из воинского строя свыше 16 миллионов человек... Из них убито, умерло от болезней и ран и потеряло навсегда трудоспособность почти четыре миллиона. А если перевести эти жизни на деньги (цинично, но при экономических расчетах личность ценят не как таковую, а как создательницу известного количества материальных благ) — это составит еще около одного миллиарда шестисот миллионов фунтов стерлингов!

Какой вывод? Все, все сделать, чтобы скорей добиться полной победы!

Мы все громко рукоплескали. От нашего имени отвечал Протопопов. Ничего в упрек ему не поставишь, так бы отвечал и я, и Милюков, и, в общем, все мы были довольны его речью, но столь частое всюду упоминание им «нашего великого, благородного монарха» у меня лично вызывает неприятное смущение. Наш «обожжаемый» не пользуется здесь ни на шиллинг уважением, а на Алису и всю царскосельскую камарилью смотрят как на грязных предателей.

— Вам надо что-то делать. Вернее, не что-то, а «кое-что», — говорил хозяин нашего стола мне и Милюкову в частной беседе. — Я говорю с вами как с единомышленниками, как с людьми подлинного прогресса, как с европейцами двадцатого века. Вся Россия, да и весь политический Запад знают вас как признанных, постоянных «антиминистров» царя. Когда телеграф приносит нам речи Сазонова или Барка, мы знаем, что вслед за этим тотчас же будем читать ваши критические выступления. Вам пора поменяться ролями. Вы будете отличным министром, сэр!.. Вы хорошо сделали, что приехали сюда. Будем откровенны. России пора вступить на путь просвещенных западных буржуазных конституций. Союзы ваших муниципалитетов, комитеты промышленности, объединение разных ваших партий в «прогрессивный блок» — все это начало, которое должно иметь успешное продолжение. Иначе — революция. Бойтесь ее в вашей стране! Поэтому надо опираться на все слои населения, идущие против абсолютистского строя. Я читал неопубликованные высказывания вашего Коновалова. О, по-видимому, это настоящий просвещенный промышленник: он ищет дружбы рабочих, — ну, а как же иначе можно? Очень широкое законодательство по рабочему вопросу — вот на что надо идти. Помните: мы с вами либералы. Мы — адвокаты всего народа. Либерализм считается почему-то в темных уголках мира чем-то похожим на бунтарство. Но ведь это ерунда, сэр! Либерализм есть друг порядка и эволюции. Посмотрите на Англию! Право, мы... адвокаты народа, сэр! Хотя наш гениальный Джонатан Свифт и не любил этого сословия и очень зло высказался о нем, но я рискую вспомнить великого сатирика, — рассмеялся он, — не боясь распространить на себя и на вас его саркастическое остроумие!

— Как же, помню, — чокнулся с нашим хозяином Павел Николаевич и, удивляя Ллойд-Джорджа своей безукоризненной памятью и эрудицией, процитировал: «Сословие адвокатов — это собрание людей, воспитанных с юности в искусстве доказывания словами, в случае надобности — помножаемыми, что белое — черное, что черное — белое, смотря по наемной плате».

Между нами троими завязалась оживленная беседа и тогда, когда вышли из-за стола. А. Д. Протопопов, по всему видно было, хотел примкнуть к нам, пытался сделать это несколько раз (с ним говорил о чем-то министр финансов Маккена), но мы его не приглашали. Поистине мы чувствовали в великом государственном

деятеле Англии своего партийного единомышленника (я даже больше, чем Павел Николаевич), и нам не хотелось нарушать единство в нашем маленьком кружке.

Ллойд-Джордж в сером костюме, среднего роста, крупная голова с поседевшей уже, обильной, зализанной к макушке шевелюрой. На боках и сзади прямые и тяжелые волосы его не подстрижены и не приглажены, а торчат, оттопыриваются — чуть надломленные кверху, словно на голове всегда узкий, не покрывающий всех волос картуз.

Он говорит о своей партии (как полновластный ее лидер и вожак), о консерваторах, вошедших в национальный кабинет, об оппозиции по этому случаю среди некоторых либералов.

— Но,— говорит он,— всадник не спрашивает советов у лошади, когда нужно оседлать ее и ехать.

Это сказано им о своей собственной партии. А что он «всадник», теперь в Англии ни у меня, ни у кого нет сейчас сомнений. На прощание он вновь повторяет:

— Хорошо, что приехали. Хорошо. Ваша поездка — апелляция к либеральному, цивилизованному Западу. С этим у вас там должны посчитаться. Англия дает в кредит России деньги, снаряжение и... соглашение о Дарданеллах. Разве мало? Но что такое Россия? Это не метафизика, а люди, политическая система. Не так? Значит, кому мы даем?... А?... Нет, нет... там у вас должны посчитаться!

И вышел почти бежащей походкой, не одернув загнувшейся повыше башмака штанины,— некогда!

Я думаю, что мы очень нужны Англии, если ей приходится без какого-либо «аппетита» к тому говорить о Дарданеллах.

Завтра отбываем все во Францию. Каким путем — еще не знаем. Поездку обставляют так же таинственно, как из Швеции сюда. Не нарваться бы на немецкую подводку!»

### *Глава третья*

ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ, ИЛИ СМЯТЕНИЕ  
ЧУВСТВ Л. П. КАРАБАЕВА

Как лучше ответить на вопросы французской газеты? Как оградить себя от излишнего ее любопытства?

Лев Павлович Карабаев искоса посмотрел на своего собеседника: парижский журналист, сидя в кресле, держал на коленях крохотную бесхвостую собачонку — беспокойную, шустренькую, с ярко-красным язычком. Она облизывала им свою миниатюрную мордочку каждый раз, как француз вынимал из кармана белого жилета плоскую серебряную коробочку и — оттуда — какие-то розовые и желтые лепешки: одну давал гладенькой, кукольной собачонке, другую посасывал сам.

На широком подлокотнике кресла лежала записная книжка журналиста и точно такая же — зеленая — ручка с вечным золотым пером, какую вчера только приобрел для себя Лев Павлович.

— Ну вот, — повернул он голову к своему собеседнику. — Разрешите сказать приблизительно следующее, — начал он, пристально и серьезно посмотрев на журналиста, словно не столько желая пойти навстречу вопросам известной французской газеты, сколько отвлечь внимание журналиста от лилипутки собачонки, приплясывавшей у него на коленях.

— Джо! — строго сказал француз живой кукле и схватил с подлокотника свои журналистские принадлежности.

Лев Павлович откинулся на спинку кресла, — интервью началось.

— Представьте себе, monsieur Гильо, что вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге. Ну вот... один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. А в автомобиле — близкие люди, родная ваша мать.

— Очень неприятно! — воскликнул француз. — Надо брать с собой хорошего шофера, *n'est-ce pas?*<sup>1</sup>

— Но вы вдруг видите, что ваш шофер править не может: потому ли, что вообще не владеет машиной при спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас и себя. Если продолжать ехать так — перед вами неизбежная смерть.

— И больше никто не умеет управлять машиной? — не то соболезнуя, не то презрительно, как показалось Льву Павловичу, отозвался француз: он быстро разобрался в этой русской аллегории, да и какой журналист не изучил эзопов язык?!

— К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, и, конечно, им надо поскорее взяться за руль.

«Правильно! Ну, так в чем же дело?» — жестом одобрил Карабаева его собеседник и что-то мгновенно занес в свою записную книжку.

— Но задача пересечь на полном ходу — нелегка и опасна, monsieur Гильо. Одна секунда без управления — и автомобиль будет в пропасти, *n'est-ce pas?* — словно передразнивая француза, чуть иронически сказал Лев Павлович.

Прямолинейность суждений журналиста несколько раздражала, пожалуй, была даже оскорбительна. Боже мой, ведь разговор шел о России, о родине, а этот сидящий напротив человек, потрудившийся изучить только русский язык, но не страну, в которой говорят на этом языке... этот эгоист парижанин готов, вероятно, бездушно-просто судить о том, что стоит ему, Карабаеву, столько страданий!..

— Однако выбора нет: вы идете на это, но шофер ваш не ждет, — продолжал, помня свою задачу и свои политические взгляды, член русской Государственной думы, следя за тем, как быстро и сосредоточенно записывает его слова сотрудник известной французской газеты. — Оттого ли, что шофер ослеп и не видит, что он слаб и ничего не соображает, из профессионального самолюбия или упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не

---

<sup>1</sup> Не правда ли? (фр.).

подпускает. Что делать в такие минуты? Заставить его насильно уступить свое место?.. (Утвердительный кивок интервьюера, розовая лепешка — в рот крохотной собачонке.) Не торопитесь, monsieur Гильо! Это хорошо на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равнине. Но можно ли сделать это на бешеном спуске по горной дороге? Как бы вы ни были ловки и сильны, — в его руках фактически руль, он машиной сейчас управляет, и один неверный поворот или неловкое движение его руки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже это знает! И он смеется над вашей тревогой и вашим бессилием: «Эге, не посмеете тронуть!»

— Vous êtes dans une position fichue! Pardon...<sup>1</sup> продолжайте, monsieur Карабаев. Я очень преклоняюсь перед вашим талантом вести cette causerie<sup>2</sup>.

— ...Он прав: вы не посмеете тронуть. Если бы даже страх или негодование вас так охватили, что, забыв об опасности, забыв о себе, вы решили силой выхватить руль: пусть оба погибнем!.. Но вы остановитесь: речь идет не о вас — с вами едут ваши близкие, ваша мать... Разве можно их губить?! И тогда... вы себя сдержите, поверьте мне. Вы отложите счеты с шофером до того вождельного времени, когда минует опасность, когда вы будете опять на равнине. Вы оставите руль в руках шофера. Более того: вы постараетесь ему не мешать, даже будете помогать... советом, указанием, содействием. И вы будете правы — так и нужно поступать!

Жиденькие, с плешинкой посередине, рыжие брови Гильо обладали изумительной способностью мгновенно подскакивать кверху, уплотняя и без того густую гармошку морщин на низком лбу, маленькие зеленые глаза — выкатываться навстречу собеседнику двумя неожиданно увеличивающимися круглыми, фосфорически светящимися пузырьками, а мягкогубый рот — выразительно открываться, не уронив ни одного слова, но так, что собеседник как будто бы должен был уже услышать короткую, жаркую фразу с вопросительными и восклицательными знаками. И Лев Павлович Карабаев — член парламентской делегации, кандидат в члены «ответственного министерства» России, столь нетерпеливо ожидавшегося сейчас союзными правительствами Рима, Лондона и Парижа, — поспешил закончить:

— Но что же вы будете испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится?.. Что будете вы переживать, если ваша мать при виде опасности будет умолять вас о помощи и, не понимая вашего поведения, с ужасом обвинит вас в преступном равнодушии?.. Однако предоставим это будущему.

— Bien!<sup>3</sup> — отозвался француз. Лицо его приняло обычное выражение.

<sup>1</sup> Вы в смешном положении! Простите... (фр.)

<sup>2</sup> Этот разговор (фр.).

<sup>3</sup> Хорошо! (фр.).

Они сидели друг против друга. Их разделял низенький кофейный столик, на котором сейчас лежали тоненькие сигаретки (Лев Павлович часто курил) и пахнувший новой кожей небольшой зеленоватый портфель с серебряной монограммой журналиста.

— Ошень хорошо,— повторил Гильо, складывая свои журналистские принадлежности в портфель, и Лев Павлович заметил теперь не без удивления лежавшую там пачку русских (таких знакомых!) газет. Неужто «Русское слово» и «Речь»?

— Вы читаете нашу прессу? — спросил он.

— Это наша неизменная обязанность,— ответил Гильо.— Мало научиться языку,— надо знать еще вашу русскую жизнь... чтобы понимать все ваши поступки! — добавил он, и Лев Павлович понял в эту минуту всю опрометчивость своего первого суждения о французе.— Газеты сообщают, monsieur Карабаев, что ваш парламент дебатировал сейчас проект нового закона об отмене сословных ограничений для крестьян. Как поздно это делается, monsieur Карабаев!.. Я вижу — вы со мной согласны: тем лучше. Крестьянство — ха! В вашей стране это — *taître de la position*<sup>1</sup>, n'est-ce pas? Так должно быть в вашей стране! Наше французское дворянство имело одну славную минуту в своей истории: оно вовремя отреклось от своих привилегий, и сразу же его лучшие представители взяли в руки это знамя равноправия. У вас в стране делают ошень много глупостей (вы простите меня за откровенность: ведь я говорю с человеком, который так мужественно с ними борется!). Уходите вон, Джо! — прикрикнул он и согнал собачонку, пронзительно скулившую у него на коленях.— Вот — хотите?— я покажу вам кое-что из последней русской почты... Вы были, кажется, с вашими коллегами у Ротшильда?— неожиданно спросил он.

— Да, мы были приглашены к завтраку. Но почему, собственно, вы...— недоумевал Лев Павлович, удивляясь тому, как быстро переходит журналист от одной темы разговора к другой.

— Да, да... вы были. Monsieur Протопопов мне сообщил об этом.

— Вы были у него?— заинтересовался Лев Павлович. И насторожился.

— Вот... вот... я прочту вам несколько слов,— рылся в своем портфеле Гильо, не отвечая на вопрос.

Он вынул сколотые вырезки из французских газет, отогнул несколько из них, отыскал нужную и, наклонившись к своему собеседнику, стал медленно переводить:

— «Из сведений, поступивших в штаб главнокомандующего русской армии, устанавливается, что в последнее время среди войск значительно учащаются случаи заболевания венерическими болезнями, в особенности сифилисом. Есть указания (о; слушайте, monsieur Карабаев!), что германо-еврейская организация тратит

---

<sup>1</sup> Хозяин положения (фр.).



довольно значительные средства на содержание зараженных сифилисом женщин для того, чтобы они заманивали к себе офицеров и заражали их дурными болезнями». Impossible!<sup>1</sup> — развел руками француз и, подбросив свой корпус, порывисто встал, поправляя бантик-бабочку, плотно прижавшую свои черные шелковые крылья к белоснежному воротничку такой же рубашки.

— Вы правы,— с горечью сказал Карабаев.— Это выдумка штабных генеральских бездарностей, желающих оправдаться в своих поражениях. Вас удовлетворила встреча с господином Протопоповым?— повернул он голову в сторону очутившегося у окна monsieur Гильо.

— Нет.

— Можно узнать — почему?

— Мы виделись с ним всего лишь несколько минут. Он сообщил мне о своих официальных визитах, и только! А настоящий разговор отложил.

— Ах, вот что... — разочарованно пробормотал Лев Павлович.

— Если вам интересно, посмотрите вот сюда... Жюля Гэда хотите посмотреть? — торопливо вдруг позвал его стоявший у окна monsieur Гильо.

Лев Павлович встал рядом с ним, и оба чуть высунулись в окно.

— Смотрите правой... вот туда, где этот коричневый дом с балконами в шахматном порядке: он совсем напротив входа в нашу гостиницу. Видите открытый автомобиль. Это у подъезда дома, где живет наш известный социалист Жюль Гэд. Смотрите — он как раз выходит!.. Он министр теперь. А знаете, кто прислуживает ему шофером? Mon Dieu!<sup>2</sup> Что сказали бы ваши русские епископы?! Обязанности шофера у Жюля Гэда исполняет аббат Дюпон, бывший до мобилизации первым викарием в приходе Сен-Брен в Бордо.

— Вот как! Это очень любопытно.

— Война! — строго и назидательно, как показалось Льву Павловичу, пояснил француз, отходя вместе с ним от окна.— На войне все возможно и... обязательно!

«Они считают нас политическими школьниками, считают нужным нас обучать. Почти что... цукают! Впрочем, разве они не правы?» — теребил свою черную густую бородку Карабаев, думая во множественном числе о своем собеседнике, кстати сказать, не торопившемся, как было видно по всему, уходить, потому что уселся, как хозяин, на прежнее место, посадив вновь к себе на колени коричневую кукольную собачонку.

— Вы были в четверг у Альберта Тома, вы видели у него нашего остроумнейшего Вивиани...

— Да,— уже не удивлялся Карабаев осведомленности французского журналиста, но в эту минуту она его несколько обеспокоила: неужели этот «человек с собачкой» (так про себя окрестил

<sup>1</sup> Невозможно! (фр.)

<sup>2</sup> Мой бог! (фр.)

парижского газетчика) может знать *все* о беседе на квартире у французского министра! Если это так, то парижские политические друзья весьма неосмотрительны: Штюмер и царь имеют всюду своих людей, как можно с этим не считаться?!

Серые, теперь задумчивые глаза Льва Павловича укоризненно посмотрели поверх головы *monsieur* Гильо, словно за ним стоял сейчас широкобородый, с широконосом круглым лицом, как у славянина-сибиряка, плотногогрудый здоровяк Тома с длинными, червеобразными пальцами музыканта, так сокровенно-дружески пожимавшими два дня назад руку Льва Павловича.

— *Je sais, je sais*<sup>1</sup>, — сосал лепешку француз. — Оба наших министра недавно вернулись из России и делились с вами впечатлениями. Они мне известны... да, да.

«Ну, так и есть... У этих французов нет, кажется, никаких секретов друг от друга!» — тревожился все больше Карабаев.

— *Mais je ne sais pas*...<sup>2</sup> я не совсем в курсе вашей встречи, — проглотив лепешку, облизал губы французский журналист и посмотрел коротко, полувопросительно на Льва Павловича.

Отклика не последовало, — *monsieur* Гильо продолжал:

— Наши социалисты — это замечательные люди. Они умеют оберегать и защищать Францию не хуже, чем губернатор Дюбайль — Париж, чем наш военный министр Рокк — всю нашу армию, чем генералы Петэн и Нивель — наш славный Верден!

— Мы преклоняемся перед верденскими героями, — живо отозвался Лев Павлович, почувствовав, что в этом месте разговора необходимо выразить обычное восхищение французской армии и всей стране. К тому же он надеялся изменить таким путем тему беседы: гляди, журналист опять заговорит о встрече с Томом, — и вновь волнуясь: знает он по-настоящему *все* или нет?

— О, Верден! — сощурил глаза словоохотливый патриот. — Такие о нем песни напишут наши поэты!.. Немецкие силы иссякают — я был неделю назад на фронте, я видел все, *monsieur* Карабаев... При помощи ста тяжелых батарей — ста батарей! — немцы штурмовали высоту «304» и смогли завладеть только северной частью ее. Атака швабов на Мормон не имела никакого успеха, мы отбили остатки форта Дуомон, а Кюмьер как был, так и остался в наших руках! Вы знаете, кто, между прочим, несет сейчас воздушную разведку на берегах Мааса... у Вердена? Не знаете? Наша боксерская знаменитость — Жорж Карпантье! Он сдал экзамен на звание военного пилота. Говорят, гамбургский боксер Шульц, узнав об этом, тоже записался в авиационную школу, — зависть врага, *monsieur* Карабаев!.. Когда разбился наш благородный ястреб, чудеснейший Пегу, поклевавший свыше десятка немецких ворон, сто граждан благороднейших профессий и званий поклялись в военном министерстве стать пилотами!.. Война! — в третий раз многозначительно, но уже не так строго

<sup>1</sup> Я знаю (фр.).

<sup>2</sup> Но я не знаю... (фр.)

повторил monsieur Гильо.— Да... я забыл вам кое-что показать... прошу прощения. Но, может быть, вы уже видели? Может быть, вам уже показывал генерал Жилинский? Ведь он — представитель царя при нашей главной квартире.

«Ну и балаболка! Пора бы и уходить»,— утомленно вздохнул Карабаев.

— Вот! — вытащил monsieur Гильо два тоненьких, в красочной обложке, журнальчика и протянул их Льву Павловичу.— Неужели не видели?

Это был небольшой иллюстрированный журнал — «Друзья русского солдата», издававшийся на русском языке. В заглавной виньетке, украшенной знаком Республики — галльским петухом,— русский и французский солдат пожимали друг другу руки. Журнальчик сообщал, что «по инициативе энергичных французских деятелей, члена палаты депутатов Франклина Бульона и сенатора Дестурнеля де Констана, возникла организация помощи русским солдатам, находившимся во Франции. Известия с родины, сведения о военных действиях союзников, отдельные приказы по армии, статьи и рассказы французских писателей, перепечатки из русских газет, календарь, небольшой подбор наиболее употребительных французских слов — все это будет давать журнал «Друзья русского солдата».

Портреты Николая II и Раймонда Пуанкаре «украшали» номера журналов. Военный обозреватель, полковник д'Арманди разъяснял весь смысл наступления австрийского эрцгерцога Евгения на итальянском фронте. Стихи русского поэта (перепечатка) клеймили «иудовы зверства тевтонов». Восьмилетняя «крестная мать» Жанна Филиппе брала на свое попечение «приемной матери» рядового пехотного полка Василия Катыкина, «защитника Франции» (два фото). Карту Шампани, районы Шалона и Мэйн (карта прилагалась) рекомендовалось изучить особенно тщательно: здесь именно Василии Катыкины из русского экспедиционного корпуса должны были оборонять землю французских союзников, а по существу — интересы французских промышленников и банкиров.

В конце журнальчика печаталась «смесь»: русским друзьям сообщались «всякие интересные вещи» — вроде того, что Ричиотти Гарибальди, продолжатель рода знаменитого Джузеппе, узнав о смерти своего сына на полях Франции, прислал в полк мужественную телеграмму: «Поздравляю моего сына». Или о Вильгельме и об остроумной Вильгельмине, голландской королеве,— анекдот был неплохо сочинен (очевидно, каким-то беллетристом), и Лев Павлович не без удовольствия и улыбки прочитал снабженную карикатурой заметку. На берлинском параде в честь прибывшей королевы Голландии солдаты тяжело отбивали шаг по всем правилам прусской шагистики. Вильгельм вопросительно воззрился на королеву. Она бесстрастно сказала: «Они недостаточно высокого роста — ваши солдаты». Спустя несколько минут прошел целый полк, в котором не было ни одного солдата ростом меньше, чем шесть футов и два дюйма. «И они недостаточно

велики!» — воскликнула королева. «Как! И в них мало роста? — возмущился Вильгельм. — Что вы хотите этим сказать?» — «Я хочу сказать, — пояснила королева, — что когда мы открываем шлюзы, ваше величество, то уровень воды в затопленной местности превышает *восемь футов!*» («Ну, сунься, Вилли, нарушить нейтралитет!») — комментировали этот анекдот «Друзья русского солдата».)

— Ловко!

Лев Павлович ухмыльнулся и посмотрел на журналиста.

Monsieur Гильо спросил:

— Вы довольны журналом?

— Отношение французского населения к нашим солдатам выше всяких похвал! — научился Лев Павлович не отвечать прямо на вопрос.

Он рассказал журналисту о посещении всей думской делегацией военного парада, в котором приняли участие русские войска. Они шли вслед за марокканцами и сенегальскими стрелками, вслед за знаменитым ворчестерским — английским полком, вызвавшим шумные приветствия парижан, вслед за голубой французской кавалерией, но, — правду нужно сказать, — никого так восторженно не встречали, как русских! Monsieur Гильо утвердительно покачивал головой:

— Гораздо с большим восторгом, чем свьше ста лет назад, — *n'est-ce pas?*

— О да!

Русских солдат встретили цветами, бурным ликованием — о, Париж умеет обласкать!.. Они вышли на Большой бульвар и запели — к удивлению парижан:

Раз, два! Грудью подайся,  
Плечом равняйся!  
В ногу, ребята, идите,  
Смирно, не вешать ружье!

Это была песня великого песенника Беранже, и, услышав ее на русском языке, Париж ответил грохотом оваций... Да-а, горячее спасибо Парижу за его трогательную заботу: Лев Павлович посетил колонию для детей русских волонтеров, — прекрасный присмотр, замечательный уход за малышами!.. Говорят, в Марселе устроена колония для сирот сербских воинов? Это тоже великое благородство французской нации!

На Сене плавают барки «Галиция», «Царьград», новые прекрасные виллы называют «Москвой», «Россией», «Вилла Козак», — всюду, всюду нация подчеркивает свое внимание ко всему русскому.

Недавнее потопление турками в Черном море госпитального судна «Португалия» вызвало такое искреннее возмущение палаты депутатов!

Ее президент, г-н Поль Дешанель, не только отправил телеграмму соболезнования в Петроград, Государственной думе, но и посетил здесь, в Париже, главу думской делегации А. Д. Прото-

попова и выразил ему те же чувства французской нации. Прекрасная страна — Франция!..

Лев Павлович прервал свой рассказ: он заметил вдруг плохо скрываемый рассеянный взгляд собеседника. Monsieur Гильо ежеминутно поглядывал теперь на часы, щелкая иногда замком портфеля, все чаще и чаще ронял бездушное, безразличное «да, да... конечно... как же, как же...» — словом, обнаруживал неожиданно все знакомые, обычные признаки нетерпения, чего не было еще четверть часа назад.

Лев Павлович почувствовал себя оскорбленным. Он молчаливо встал, — тотчас же вскочил и monsieur Гильо, подхватив на руки взвизгнувшую собачку.

— Прошу прощения, что урвал у вас столько времени. Вы были так любезны. Да, прекрасный город Париж! — повторил он вдруг слова Карабаева. — Сто лет назад Париж воспитал для России декабристов, а теперь он должен воспитать... «январистов», «февралистов», — я не знаю, как они должны называться! Лучше будет — «январистов», чем «февралистов», — чем скорее это у вас случится, тем лучше: через полгода война кончится поражением Германии! Надо менять «шофера», monsieur Карабаев!.. Когда французской нации угрожала гибель, она... Mais, se n'est mon affaire<sup>1</sup> вам советовать!.. Я иду в сорок третий номер, к monsieur Протопопову... Сейчас — шесть двенадцать, а в шесть пятнадцать он обещал приготовить письменный ответ на вопросы нашей газеты. (Теперь только Лев Павлович понял, что последние полчаса журналисту некуда было деваться и он просто-напросто убивал время в малозначашей для него беседе. «Но какая все-таки бесцеремонность!»)

— До свидания, monsieur Карабаев, очень благодарю вас.

Он откланялся и направился к выходу. И теперь только Лев Павлович заметил то, что раньше ускользнуло почему-то от его внимания: ноги monsieur Гильо были обуты в дамские остроносые туфли на высоком, полуторавершковом каблуке, — оттого каждый шаг его откладывался на отполированном паркете двойным ритмическим звуком — музыкальным форшлагом, а походка была легкой и вкрадчивой, как у женщины.

— И с собачкой на «вы». Impossible! — передразнил француза Лев Павлович, возвращаясь к столу.

#### *Глава четвертая*

#### **КАНДУША В ПЕТРОГРАДЕ**

«...Чтобы стала вашему превосходительству вполне ясна картина действий этой группы фрондеров как внутри империи, так и за границей.

На пути в Англию депутаты встретились с обоими французскими министрами в Стокгольме, ехавшими в то время к нам.

<sup>1</sup> Но это не мое дело (фр.).

Встреча была кратковременной, и тогда гг. Милюков и Карабаев ни о чем еще как будто не уславливались с Рене Вивиани и А. Тома. Но французские министры имели ряд свиданий в Москве и Петрограде с главарями Союза Земств и Городов и военно-промышленного комитета, о чем уже известно вашему высокопревосходительству, а посему полагаю нужным сообщить сведения дополнительные.

Московские промышленники готовились к тому, чтобы представить иностранным гостям русскую мобилизованную промышленность в блестящем виде. Как уже известно вашему превосходительству, командующий войсками Московского военного округа генерал от артиллерии Мрозовский вмешался в это дело и не допустил вручения докладной записки. Теперь доподлинно выяснено, что член Государственного совета П. П. Рябушинский, находящийся в лично дружеских отношениях с английским послом, направил ему весьма конфиденциально копию записки, а ее самое вручил через фабриканта Смирнова французам и, кроме того, еще специальное письмо. В проекте этого письма выдвинут был ряд обвинений против действий правительства по отношению к военно-промышленным комитетам. Там все это подробно излагалось.

Однако, когда проект обсуждался в московском комитете, то многие члены его не соглашались с такой формой письма, находя недопустимым обращаться с жалобами к иностранным министрам хотя бы союзного с нами государства. Тогда письмо было переработано.

В общегородском и общеземском союзе тоже подымали этот вопрос. Москвич Бахрушин заявлял, что союзники должны понимать, с каким правительством России они имеют дело, и предлагал рассказать все в особом документе начистоту. Но официального документа не составили. Московский городской голова М. В. Челноков сдержал многих. «Вынесение сора из избы», — сказал он, — и в такое время — это такая крайность, на которую нужно решиться, очень и очень подумавши, а сейчас говорить преждевременно».

Свидания с французами продолжались в Петрограде. По случаю двадцатилетия русско-французской дружбы на банкете в ресторане «Контан» говорил эзоповым языком В. А. Маклаков, пел марсельезу Шалапин, а ему аккомпанировали гг. Глазунов и Зилотти. «А. Тома сказал, что это «незабываемое собрание (génération) — символ», а чего символ — все должны были догадываться.

Утром в «Европейской гостинице» у Тома были Керенский и Чхеидзе, а вечером оба французских министра были на квартире у А. И. Коновалова и сидели там до поздней ночи. Что там было — узнать сразу же не удалось, но только через два дня совсем уже размякший кн. Львов, который там не был, но обсуждавший встречу эту в разговоре с другими земцами, сказал, и это слышал наш человек: «И да сбудутся слова Священного писания: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Теперь, ваше высокопревосходительство, есть возможность ознакомиться с содержанием разговоров г. Коновалова с обоими французскими министрами».

Господи боже мой! К каким только делам не стал он, Кандуша, причастен! Это тебе не писарская служба у смирихинского ротмистра. Это — Петербург, столица. И — тайная тайных каких людей! Министры — свои и заграничные, всякие знаменитости, депутаты Думы, миллионеры, промышленники, крупнейшие вожаки революционеров-рабочих, — сажать их, сажать... И, гос-с-споди, бог ты мой, тут тебе касательство к самому «старцу» Распутину... Вот что значит своевременный счастливый визит к Вячеславу Сигизмундовичу, господину Губонину, в номер смирихинской гостиницы. Понял он, оценил, в люди вывел...

«Особо секретный, иностранный сотрудник департамента (здесь пропуск размером в строку), пользуясь своей профессией, связался с секретарем г. Тома и доставил таким путем сведения крайне важного политического содержания, долженствующие, как и сочтете, ваше высокопревосходительство, стать предметом высочайшей оценки государя императора.

По возвращении из России Альбер Тома пригласил к себе на квартиру Милюкова и Карабаева, бывших в то время в Париже, и сообщил им, что имеет поручение от Коновалова и что он сам, Тома, всячески готов содействовать планам их политического друга, хотя и члена другой думской фракции. Каково это — «поручение» — судите сами, ваше высокопревосходительство!..

План Коновалова, в общем, сводится к следующему: издавать за границей особый информационный орган для осведомления представителей западноевропейских правительств, парламентов, общественных деятелей, ученых, журналистов и т. п. о сущности и ходе развития борьбы в России между правительством и либеральными общественными силами.

С первых же номеров намеченного органа самое серьезное внимание будет уделено той роли, какую в русской политической жизни и придворных кругах играет Распутин. Коновалов надеется, что ему удастся получить от Илиодора сенсационные материалы. Издание проектируется одновременно на французском и английском языках и будет бесплатно рассылаться всем государственным деятелям, парламентариям, редакциям газет и журналов, ученым, писателям. Средства для указанного информационного органа Коновалов надеется легко собрать путем подписки в либеральных торгово-промышленных кругах.

А. Тома сообщил Милюкову и Карабаеву поручение коноваловцев агитировать на Западе против предоставления России займов! В случае удачи государь, — рассчитывают либералы, — должен будет пойти на попятный: дать ответственное министерство, которое составят гг. Гучковы, Коноваловы и Карабаевы.

Список такого министерства уже составлен, иначе, — говорят они, — будет революция и монарху придется иметь дело с Керенским и Чхеидзе.

Французский министр-социалист открыто поддерживает русских фрондеров.

Милюков высказался в беседе в том смысле, что, покуда идет война, тормозить получение займа сейчас — дело рискованное и болезненное для совести русского патриота, но дать понять русскому правительству, что после окончания войны демократические страны не дадут денег реакционной России, — это сделать следует.

...Сообщая обо всем этом вашему высокопревосходительству, почтительнейше прошу...

Подпись.....».

...Машинка умолкла.

— Есть! — сказал Пантелеймон Кандуша. — В двух местах приложите вашу ручку, Вячеслав Сигизмундович.

Ответа не последовало, и Кандуша, оставаясь за столом, оглянулся.

— Тю-тю... — шепеляво свистнул он, высунув кончик языка.

Лежа на тахте, скрестив и чуть свесив ноги, чтобы не заплыть башмаками ковровую обивку, Губонин спал. Ниспадала пола серого пиджака, открыв боковой карман с кожаным бумажником; жилет был расстегнут; темный в белых горошках узкий и длинный галстук вполз, как змееныш, под низко опущенную круглую «голландскую» бороду и всосался, казалось, сейчас в горбатое, петушиное горло спящего Губонина. Голая шишковатая голова его, гладко выбритые щеки и лишенная растительности верхняя тонкая губа, согретые и слегка разрумяненные пучком заползшего в комнату солнца, были влажны от пота.

Кандуша созерцал бесшумно своего начальника.

В жизни обоих два года назад произошла счастливая встреча. Один всю жизнь занимался тем, что искал и отыскивал нужных ему людей, другой, провинциальный ротмистров писарь, все годы мечтал о том, что вот кто-то найдет его, отметит, поймет и, оценив откроет перед ним путь удачи — путь, неведомый маленькому Смирихинску, бесталанному ротмистру Басанину, — путь не будничного, скучного ремесла, а таинственного, волнующего искусства сысского дела, к которому неуважительно называемый всеми Пантелейка Кандуша питал трепетную, почти иступленную страсть.

Этой неподдельной страстью и одержимостью удивил он и покори Губонина, придя к нему поздно вечером в номер смирихинской гостиницы, где остановился тот, не вызвав никакого интереса со стороны жандармского ротмистра.

— Всякого человека, позволю сказать, надо сквозь хребет посмотреть, нервик каждый выузнуть, слово на пластинку взять, во, во!..

Через несколько месяцев после этой встречи писарь уездного жандармского управления Пантелеймон Кандуша очутился в Петрограде. Губонин приобрел верного друга и помощника, охранное отделение столицы — ревностного, неутомимого сотрудника.

Неожиданная ли тишина после привычного, убаюкавшего стука машинки, легкий и случайный дневной сон, но Вячеслав Сигизмундович быстро поднял веки, суетливо обвел глазами комнату и тотчас же вскочил с тахты.



— Готово? А я-то, черт, прикорнул маленько!

— Умыться бы... — подсказал Кандуша.

— Угы... Покажи-ка, Пантелеюшка.

И он взял из его рук машинописные листы и черновик своего текста.

— Можно не считывать?

— Как всегда, Вячеслав Сигизмундович, — в аккурате!

— Понял, что и кому?

И он тряхнул листки.

— Гос-споди, боже мой! — по привычке протяжно, с полуглубоким вздохом отозвался, вставая из-за стола, Кандуша. — Ну, как не понять: историческая манускрипта самому Борису Владимировичу, его высокопревосходительству... Сегодня? — спросил он.

— Сегодня, через час. На квартиру свезу. Читал ведь, какие дела там мастерит Карабаев — земляк твой... за границей?

— Читал и запечатлял, можно сказать, своими собственными пальцами, — растопырил короткопалые руки Кандуша, надевая на машинку клеенчатый чехол. — Подумаешь тоже: Лев Павлович — квохчут перед заграничными воротами, а свои дегтем мажут! А клевета, Вячеслав Сигизмундович, что уголь: не обожжет, так замарает.

— Комолая корова хоть шишкой да боднет, — рассеянно, поговоркой на поговорку ответил Губонин, пробегая глазами свое секретное донесение.

— Коровы быками становятся, позволю себе заметить, Вячеслав Сигизмундович!.. Ворота царского государства ломать собираются, — сами же его высокопревосходительству докладывают? Разве шутка? Господи, боже мой! Трепещу весь, трепещу. Глаза мои на события разбегаются! И тут бы... незримо, незримо этак... чик под корень, чик! (Губонин поднял на него глаза.) Чему удивляетесь, Вячеслав Сигизмундович? (Он оглянулся по сторонам, словно кто-либо мог подслушать их разговор.) Всерьез говорю: чик под корень... незримо этак!

— Арестовать, что ли? — усмехнулся Губонин и, потягиваясь, распрямляясь, сладко зевнул.

— Толку мало, — помутнели, чернильными стали Кандушины глаза, и он бесшумным, медленным шагом подошел к начальнику. — Способы обсудить можно, как лучше. Сразу ли, поодиночке. Но под корень, говорю, Вячеслав Сигизмундович!.. Чик — и представился старик! Вот на этот счет сообщенище имею.

И он вздрогнул вдруг — крупной конвульсивной дрожью: трескучим звонком врзался в беседу телефон.

Губонин снял с рычажка трубку:

— Слушаю... Да. Квартира инженера Межерицкого. Да, я... Я же вам... ну, да — я у телефона... инженер Межерицкий. Фу-ты, господи, не узнал! Честь имею, честь имею, дорогой Иван Федорович. Вам повезло застать меня...

И наступила продолжительная пауза, в течение которой внимательно слушавший своего телефонного собеседника Губонин

обменивался с ним краткими утвердительными междометиями, а Пантелеймон Кандуша, хорошо изучивший привычки своего начальника и по виду его учуявший сейчас особенно интересное и важное, затаил дыхание, нетерпеливо выжидая окончания разговора.

— Все будет сделано!

И Губонин, «инженер Межевицкий», аккуратно размотав туго скрутившийся и укороченный оттого телефонный шнур, медленно и так же аккуратно опустил трубку в седлышко рычажка.

Минуту он молчал, занятый своими мыслями. Молчал и Кандуша, знавший, что в таких случаях не следует ни о чем расспрашивать начальника: если нужно, если захочет, — сам все расскажет. И когда тот остановил, гмыкнув и улыбнувшись, на нем свой взгляд, Кандуша сказал только:

— Умыться бы... — и сделал бесстрастное, скужающее лицо.

— Ха-ха-ха! Спасибо, дорогой мой гувернер, — вскочил Губонин и убежал в ванную.

Он вышел оттуда с порозовевшими щеками, с еще влажной головой, которую растирал нежно, осторожно мягким мохнатым полотенцем и, не успев привести себя в порядок, закурил, не пользуясь, как обычно, мундштуком, быстро, истратив торопливо три спички одну за другой; и тотчас же, после двух затяжек, бросил дымящуюся папиросу не в пепельницу, а в какую-то попавшуюся на глаза пустую склянку, стоявшую на этажерке с книгами.

— Так ты говоришь, Пантелеюшка, чик — и представился старик?! Хо-хо-хо... Может, и план у тебя есть, а?

«Совсем не о том думает. Ерза в теле!» — наблюдал его опытный Кандуша. Он вынул из скляночки папиросу, притушил ее в пепельнице-лодочке, стоявшей на письменном столе, взял из рук начальника полотенце, отнес его в ванную и, только возвратясь оттуда, ответил на заданный вопрос:

— Планы есть, да в коробочку надо влезть!

И он трижды похлопал себя по лбу.

— Поговорим на свободе?

Он вопросительно посмотрел на присевшего к столу Губонина.

В конце третьей написанной на машинке страницы он мелким четким почерком, но с размаху, не приманивая руки, поставил свою фамилию, и верхний хвост заглавной буквы, описав овальную дугу, вобрал в нее, как в сачок, всю подпись.

Он сложил бумагу и собирался уже спрятать ее в карман с бумажником, но внимательно и заботливо следивший за ним Кандуша, как всегда, оказался услужлив:

— В двух местах ручку вашу приложить надо, Вячеслав Сигизмундович... А вот рассеяны стали, позволю заметить. Сказали — сами впишете, где пропуск велели оставить...

— Ах, черт... верно!

— А как же! — зная себе цену, буркнул Кандуша.

Губонин снова присел к столу, развернул бумагу и на одном из листов ее, где Кандуша оставил ранее чистую строку, вписал быстро:

*«Журналист Гильо, он же под фамилией  
Шарль Перрен»*

и посмотрел с благодарностью на Пантелеймона Кандушу.

— Я ухожу, Пантелеюшка. Ты посидишь тут, покуда придет старуха.

— Так точно.

— Если хочешь, можешь сегодня ужинать со мной в «Аквариуме». Как ты?

— Рад буду, Иван Семенович!

— А коли придется только на вокзале увидеться...

— ...то уж там же шепнуть все вам успею, Савва Сергеевич, — расторопно, без запиночки отвечал на прощанье Кандуша. Губонин был доволен.

Разговор — для постороннего, непосвященного — походил на причудливый экзамен. Да это и было в некотором роде так: имя и отчество Губонина менялось всегда в зависимости от того, где и когда встречал его — условившись или случайно — верный помощник Пантелейка. И ни разу на проверку не сбился в том крепко владевший памятью бывший ротмистров «архивариус» столь сложной департаментской «дуги сведений о домах и лицах наблюдаемых».

Но сколько — гос-споди, боже мой! — имен и отчеств у вездесущего и всевидящего Вячеслава Сигизмундовича. — Пантелеймон Кандуша поистине преклонялся перед своим наставником.

Уже у самого выхода из квартиры Губонин вдруг обернулся и с интонацией, не свойственной ему, подражая голосом кому-то, сказал:

— А знаешь, насчет кого звонил-то Жан Федорович?

— Скажете — знать буду.

— У, бестия, знаешь ведь! Готовься, Пантелеймон Никифорович, гостя принимать.

— «Милай-дарагой»? — воскликнул Кандуша, сам копируя голосом кого-то.

Губонин подмигнул и взялся за ручку двери.

## *Глава пятая*

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ньюкэстль. Христиания. Хапаранда на шведской границе. Торнео...

Путь возвращения пройден, поезд мчит финскими хвойными лесами, Россия бежит навстречу знакомыми верстами, станциями, ворохом последних газет, припасенных суворинским киоском на

выборгском вокзале, и длинными белыми просеками в них, прорубленными ревностной рукой русской цензуры.

Лев Павлович Карабаев передает газету соседу, выходит из купе в коридор — к открытому окну вагона.

Проносится мимо какое-то железнодорожное здание, будка белая, лошадь, запряженная в дрожки, озеро с лодками, купальщицы.

Вагон покачивает на стрелках, стрелки уготовили путь и стерегут его, — Лев Павлович, усмехнувшись, начинает думать аллегориями.

Журналисты встретили на станции Усикирко. Они ворвались в вагон шумно, крикливо, напирая друг на друга. Они знали каждого из ехавших парламентариев по имени-отчеству, — стоял гул многократных почтительных приветствий, суматошных вопросов, сумбурных реплик и, пожалуй, таких же сумбурных ответов. Впрочем, отвечали так не все: член Государственного совета граф Олсуфьев вынес из купе и передал представителям прессы заготовленный им заранее листок со своими «заграничными впечатлениями» и от особой беседы отказался, избегая тем самым, как выразился, излишних газетных «коммеражей». Националист Демченко принял только сотрудника «Нового времени», объявив остальным, что боль в ухе настолько сильна, что он не может беседовать с ними.

И кто-то в карабаевском купе меланхолически, но зло сказал, рассмешив всех:

— Не скот во скотех коза, не зверь во зверех еж, не птица в птицах нетопырь и не депутат в депутатах Демченко, как ведомо!.. Бо Скотинины все крепколобы!

И, рассмеявшись, все оглянулись на злой голос: низкорослый журналист Асикритов стоял в дверях; он не виден был за спинами столпившихся здесь своих товарищей. Гул шел по всему вагону.

— На послезавтра ваш доклад, а двадцатого Думу распускают.

— ...и на игральные карты у нас кризис.

— ...но об этом разговоре прошу вас пока не сообщать... сами понимаете...

— ...французский генерал По у нас в Ессентуках лечится.

— ...нам пример надо брать у Англии, как бороться с роскошью!

— ...и эти евреи-эмигранты готовы защищать свою мачеху Россию...

— ...Александр Дмитриевич Протопопов остался в Лондоне, в помощь министру Барку...

— ...а газеты — заметили? — семь вместо пяти копеек!

Минутная остановка в Териоках, — гул уменьшается, слова явственней, путешественники вспоминают здешние слоеные пирожки, каких нет и у Филиппова, смотрят на часы, отсчитывают время, оставшееся до Петрограда. Путешественники не прочь уже закончить интервью, но газетчики насаждают, каждому хочется спросить всех и, в свою очередь, самим побольше рассказать, — на

листки блокнотов падают размашистыми обрубками-кривулями то-ропливые записи, которые сегодня ночью уже превратятся в стройные рядки статей, заметок, телеграмм на первой полосе всей русской прессы.

— Вы сами должны понять,— несется из чьего-то купе.— После Бурбонского дворца с его историческими воспоминаниями, с его залами и кулуарами... Вам не приходилось бывать там? О, это замечательно!.. А зал Казимира Перье, где изображено заседание Генеральных штатов двадцать третьего июня тысяча семьсот восемьдесят девятого года?! И после всего этого мы попали...

Шум тронувшегося поезда заглушил остаток плавного разговора и выразительный голос рассказчика.

И снова:

— Нет, я не ездил. Павел Николаевич ездил.

— ...английские солдаты родным на память свой голос в фонографе...

— ...теперь у нас, господа, мясопустные дни введены.

— ...да, я веду дневник... вот еще и здесь, в купе. Вот он...

— ...ах, каналия же этот...

— ...жаль Китченера!

— ...нашим — ни-ни! Французам через посольство тридцать бутылок вина на душу...

— ...«супрематисты»-футуристы выставляются...

— ...а Ириша как, Фома Матвеевич?

— ...извозчицья такса, говорите?

— ...не выставка, а москательно-скобяная торговля: металл, дерево, обои, стекло,— тыфу!

— ...гуси на Дворцовой набережной, ей-богу. Картинка!..

— ...доподлинно знаю: Сибирский, Русский для внешней, Азовско-Донской...

— ...Все здоровы, Лев Павлович!

— ...Международный, Волжско-Камский банк.— Вот вам и газета!..

— ...Сухоумлинов? Сидит пока сей резвый генерал!

— ...на лекции Петра Когана: «Одичание и возрождение в литературе и жизни».

— ...к Белоострову, господа!

— ...У них ванны и души в траншеях — у французов, а вы говорите!..

— ...распутинцы под сюркуп взяли все общественные силы.

— ...и Софья Даниловна хороша? Ну, слава богу!

— ...а хала почему?

И так до самого Финляндского вокзала.

Все домашние здоровы — вот самое важное из того, что сообщил Асикритов, — и Лев Павлович пришел в хорошее настроение. Случилось так, что последние две недели он не имел никаких сведений от семьи. Ни одной телеграммы, а на письма он и не считывал.

Весь обратный путь из Англии Лев Павлович был тосклив и полон всяческих мрачных мыслей и беспокойных предчувствий. Он плохо спал, и сны были несуразны и неожиданны по своему горькому всегда содержанию: то жена облысела и кондукторшей служит в трамвайном вагоне, то она в гробу лежит и головой моет, и у гроба стоят знакомые и друзья с голыми коленками, в форме шотландских стрелков; то сын Юрка — раненный финским ножом уличного хулигана; Ириша, бесстыдно обнимающаяся с каким-то пьяным солдатом и жалобно протягивающая руки к отцу; то она лежит на рельсах, и мчащийся поезд вот-вот налетит и раздавит ее, — Лев Павлович стонал во сне, вскрикивал, метался на своем дорожном ложе и, просыпаясь, жаловался спутникам на сердцебиение и дурное настроение.

Встреча с Асикритовым, родичем жены, обрадовала Льва Павловича. Журналист был в курсе домашних карабаевских дел: дней десять назад Льву Павловичу телеграфировали, но, очевидно, телеграмма не дошла, — зря так волновался; Юрка благополучно перешел в седьмой класс и пытается говорить басом; на дачу решили ехать, дождавшись только Льва Павловича; любимое блюдо, вареники с вишнями в сметане, ждет его на столе: это трогательный сюрприз Сони, не изменяющей и в столице украинским вкусам; она сохранила ему все газетные вырезки, в которых упоминалось его имя за все это время; да... недавно обклеили всю квартиру новыми обоями; словом, все ждут его с нетерпением, — они, наверно, сейчас уже на вокзале — нервничают, как полагается...

Из вагона Лев Павлович вышел уставший, но успокоенный и даже веселый. Поезд пришел вечером. Ярко освещенный перрон был полон людьми: не только родственники и знакомые, но и многие другие пришли встречать депутатов русского парламента. Крича «ура», возглашали здравицу прибывшим, а некоторым, и в том числе Карабаеву, отдельно пели какие-то песни и снова кричали «ура».

П-пых! — вспышка магния перед самым лицом невольно вздрогнувшего Льва Павловича; но спустя секунду он уже приветливо смеется, и таким, со сдвинутой в сутолоке шляпой на голове, запечатлевает его второй фотограф и... бросается к нему с поцелуями:

— Папа... папочка, здравствуй!

— Юрик... родной!

Он крепко прижимает к себе сына, заглядывает в его глаза, нежно похлопывает по плечу.

— А мама где? Ирина?..

— Там, там они... Их затолкали. С нами Федя Калмыков!

— Куда прикажете, барин? — спрашивает носильщик.

— Ах, к выходу же, конечно!

Они пробивались сквозь толпу, и многие, знавшие в лицо депутата Карабаева, приветствовали его, снимая шляпы, котелки, фуражки, а женщины — многократными кивками головы и дли-

тельными улыбками, и Лев Павлович тоже улыбался всем и в сладкой растерянности повторял одно и то же слово:

— Рад...рад...рад...

— Какой ты знаменитый, папа! — шептал ему Юрий. — Как Собинов.

— Дурачинка ты, мальчик.

Из вагона он вышел успокоенный и веселый, — сейчас он шел радостный и растроганный.

— Да здравствует Россия и ее верные союзники, господа!

— Ур-р-р-а-а!

— Да здравствует Государственная дума, — ур-ра!

Свистки, голос распоряжающегося жандарма:

— Ну, ну... Проходите, проходите, господа. Не задерживаться!

— А вот и мама... Мама, мама — сюда! — кричит Юрка и дергает за рукав отца.

— Левушка! — слышит Карабаев знакомый, вздрагивающий голос жены и делает торопливые шаги навстречу.

У выхода из вокзала и у места, где стояли извозчики, пришлось немного задержаться, а так хотелось скорей попасть домой!.. Ах, боже мой, ну что там приключилось с носильщиком? Где же они?

— А ты запомнил его номер? Все три места у него? — спрашивает взволнованно и смотрит по сторонам Софья Даниловна. — Четвертое у тебя в руках?

— Да, да... Он, наверное, нас ищет, какая у тебя славная шляпка, курсёсточка моя!

— Какой у него номер, Левушка?

— Сто первый, кажется.

— Ах, мамочка, не беспокойся: Федя и Юрка его найдут.

— Твой Калмыков давно здесь? — подмигнул дочери Лев Павлович.

— Мой? — смеется. — Несколько дней... Из Киева.

— Почтительный юноша, — говорит Лев Павлович.

— Не очень... — как-то многозначительно, косо поглядывает Софья Даниловна.

— Вот! Я говорила, папа... идут!

«Сто первый» с двумя карабаевскими чемоданами на ремне через плечо и с желтым саквояжиком в руках пробивал себе путь в толпе. Рядом с ним шли Юрка и студент Федя Калмыков.

— Затерло! — оправдывался носильщик, отирая пот.

Лицо у него побагровевшее, водянистые маленькие глазки избегают встречного взгляда, и черные рогаги колечками закрученных усов готовы, казалось, поникнуть, распуститься книзу от охватившего его смущения.

— Ремень менял, так как первый лопнулши...

— Ладно, ладно, — утешал его Лев Павлович.

Прошли к стоянке «Ванек», а молодежь — к трамвайной остановке.

Носильщик ругался с извозчиком:

— Вставай! Зачем ноги на сиденье положил? Тоже... барин.

— А штоп она не села, потому она осень толстая! — показал финн кнутовищем на обоих Карабаевых. — А моя лосатка любит тонкие седоки, штоп не тесело ехать, потому война: овес торог, а у лосатки сило мало.

Пришлось взять другого извозчика: и опять разговор об овсе, о скудной жизни, о тяготах войны.

— Ты знаешь, Соня, как говорят о нас немцы? — рассказывал, куда ехали, Лев Павлович. — В «*Berliner Tageblatt*» я читал: «Вы знаете страну, где все есть и в то же время ничего нет?» Это так обидно, Соня!..

На следующий день утром, еще не сбросив голубой своей пижамы, еще не умывшись, он распаковывал вместе с Юркой чемоданы в прихожей.

Насвистывая «Типперери», он открыл ключиком дорожный саквояж, заглянул в него, сунул в него руку и тотчас же оборвал свой свист.

— Господи, что же это такое?!

Стремительно вытряхнул на пол содержимое саквояжа: нет, это не иголка, чтобы затеряться среди остальных вещей!.. Так что же произошло... где бьюар с дневником?

— Соня! — крикнул он и грузно, беспомощно опустился на пол. — Боже, боже мой...

Случилось еще одно несчастье: еще большее, чем то, о котором, не утерпев, рассказала ему Софья Даниловна ночью.

## *Глава шестая*

### ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Встреча была назначена на пять часов, и точно в это время Федя Калмыков переступил порог Иорданского подъезда Зимнего дворца, в части покоев которого размещен был теперь лазарет для офицерских чинов армии.

Просторный, глубокий вестибюль был разделен поперечной, стеклянной наполовину, перегородкой на две части: в одной — приемная, в другой — сортировочная лазарета. Федя свернул налево и подошел к двери «приемной».

— Вам кого? — спросил стоявший тут чернобородый, с наголо выбрантой головой санитар.

— Мне необходимо видеть сестру милосердия.

— Какую? У нас их тут шестьдесят, молодой человек!

— Вы не дали мне закончить фразу. Полагается быть вежливым! — озлился вдруг Федя и, отвернувшись от санитара, вошел в приемную.

У стола, за которым сидел какой-то чин со значком Красного Креста на груди, белобрысый, узколицый, с зелеными рачьими глазами, выстроилась очередь посетителей человек в десять. Не



зная еще, как поступить, Федя занял в ней место. Посетители были родственники и знакомые лежавших в лазарете офицеров; они приехали из разных мест империи, чтобы повидаться со своими сыновьями, братьями, мужьями, и краснокрестный чин за столом, выслушивая вопросы и просьбы, неизменно отвечал каждому одной и той же фразой:

— Будет доложено, сударь.

— Будет доложено, сударь.

Или:

— Вам разрешено во вторник. Николаевский зал.

— Вам разрешено в четверг. Фельдмаршалский зал.

И только. Он походил на исправный автомат, который, казалось, трудно было испортить — услышать иной ответ, чем тот, который он давал. Когда дошла очередь до Феда, краснокрестный чин, не дожидаясь его вопросов, а только коротко взглянув на него, неожиданно любезно сказал:

— Вас просили подождать.

— Простите, но вы не знаете, о чем я хотел... Мне нужно видеть...

— ...госпожу Галаган, — уверенно продолжил чиновник. — Я предупрежден о вашем приходе. Вы ведь студент Калмыков, не правда ли?

— Но как вы узнали? — удивился Федя.

Чиновник, не отвечая на вопрос, уже обращался к следующему посетителю. Федя отошел в сторону: «Ладно, обождать — так обождем».

А за столом вновь — словно касса, выбивающая чеки:

— В Гербовом зале.

— В Пешем пикете.

— Будет доложено, сударыня.

— С посольского подъезда.

— В галерее двенадцатого года.

— Ванны — в Помпейском садике.

— В Александровский зал пройдите.

Посетители прибывали и прибывали: отставные военные, опирающиеся на палку; старушки в черных пелеринках и черных шляпках преимущественно.

Федю тяготило вынужденное безделье, — он подошел к остекленной витрине, висевшей на стене, и стал разглядывать размещенные там фотографии. На них изображены были аванзал, Николаевский зал с его великолепной белой массивной колоннадой и примыкающая к нему галерея, — все они были уставлены теперь длинными рядами лазаретных кроватей с аккуратненькими пуховыми подушками и пикейными одеялами. Дворцовые апартаменты преобразились: картины в простенках затянуты белым полотном; скульптура аванзала заключена в деревянные щиты; на хрустальных канделябрах — чехлы; панно с навешенными на них золотыми и серебряными блюдами сняты со стен (а о том, что они были там, свидетельствовали отдельные фотографии тут же); зеркаль-

ный коричневый паркет и мраморные части стен покрыты линолеумом.

— Студент Калмыков...— не то вопросительно, не то утвердительно прозвучал за Фединой спиной чей-то голос, и Федя быстро оглянулся, подавив набежавший в ту минуту зевок томительного ожидания и скуки.

— Я...— поклонился он молодой женщине, с некоторым любопытством смотревшей на него. «Так вот ты какая...» — подумал о ней.

— Простите, что я заставила вас ждать. Но, знаете, сейчас была такая сложная перевязка у одного штабс-капитана.

Она протянула ему руку в белой перчатке, и Федя осторожно, мягко пожал ее длинные полусогнутые пальцы.

— Ну, почему вы так удивленно смотрите на меня?— улыбались розовато-нежные, казавшиеся прозрачными, как свежие ломтики апельсинов, губы Людмилы Петровны.— Вы так залюбовались этими витринами, что ли, что не услышали, как я спросила о вас нашего делопроизводителя... Ну, пойдите же сюда.

И она повела его в глубь приемной к широкому, старинному, павловскому дивану под портретом в золоченой раме знакомого венценосного мальчика в матросской рубашке. (Лазарет был назван его именем.)

— Как я и говорил вам уже по телефону, я имею поручение — передать вам письмо от Георгия Павловича Карабаева. Вот это письмо,— вынул его Федя из бокового кармана тужурки и протянул Людмиле Петровне.

— Ого! — весело сказала она, взглянув на пакет, и это «ого», как понял безошибочно Федя, относилось к круглому сургучовому медальону, которым запечатано было карабаевское письмо.

Сели.

— С вашего разрешения, я прочту.

Она оторвала тонкую полоску конверта, бросила ее на диван, вынула из конверта письмо и стала читать.

Если бы Федя Калмыков знал раньше Людмилу Петровну,— ну, скажем, два года назад, когда, покинув Смирхинск и помещичью усадьбу в Снетине, умчалась в армию сестрой милосердия,— он признал бы теперь, сколь мало изменилась за это время вдова поручика Галагана.

Большие серые глаза в бахроме длинных темных ресниц смотрели все так же с холодным любопытством и неупрятанной надменностью, взгляд нетороплив и беззастенчив. Все та же, чуть смугловатая, кожа лица, все та же осанка, те же плавные, чуть замедленные движения, округлые жесты и походка.

Федя, сидя на диване, украдкой, исподлобья, поглядывал на свою новую знакомую, покуда она была занята чтением письма. Но вот в какой-то момент взгляды их на мгновение встретились, и Федя, покраснев вдруг, отвел свой с напускной рассеянностью и небрежностью в сторону — туда, где вел прием посетителей бесстрастный краснокрестный чин с зелеными рачьиими глазами.

«Ох, засыпался!» — И ему кажется уже, что Людмила Петровна поняла, прочла все его ощущения и мысли: и то, что он считает ее красивой; что заманчива ямочка на локте полной полуобнаженной руки; что под тонким шелком белого платья просвечиваются на груди затейливым узором кружева и на плече — какие-то голубые тесемочки; и то, что он, хотя и украдкой, но нескромно рассматривает ее туалет, что мысли его, ей-ей, грешны и оттого сдерживает утяжеленное дыхание, а руки теребят, мнут лежавшую на коленях студенческую фуражку; и то, что, конечно же, он безнадежно, безотчетно, в одно мгновение влюбился в эту женщину, и стоит ей потребовать (а вдруг бы так!) этого признания — и он сделает его искренне, беспамятно — так, как только способен он, Федя Калмыков...

— Ну расскажите же, как поживает Георгий Павлович, — прятала в замшевую сумочку письмо Людмила Петровна.

— О, Георгий Павлович теперь на коне! — оживился Федя.

— Впрочем, *вы это мне все по дороге...* Вы не откажетесь меня проводить?

— Я буду только рад.

Они направились к выходу. Проходя мимо краснокрестного чина, Людмила Петровна попрощалась с ним, не подходя к столу, но он поспешно покинул свое место и подбежал к ней с торопливостью и живостью, которой Федя меньше всего ждал от этого бесстрастного, неразговорчивого чинуши.

— Людмила Петровна, одну минуту... одну минуту, — остановил он ее.

Федя, наблюдая, отошел в сторонку.

Он не слышал разговора, да и разговор-то был подлинно минутный, но по тому, как неожиданно раздурманились щеки Людмилы Петровны, как беспокойно держал себя ее собеседник, можно было понять, что оба они чем-то взволнованы.

— Хорошо... сделаю, — прервала беседу Людмила Петровна и кивком показала Феде, что они могут продолжать свой путь.

Они прошли мимо чернобородого санитаря, почтительно поклонившегося теперь Феде, швейцар в подъезде, которого он раньше не приметил, распахнул перед ним тяжелую дверь, и они очутились на набережной.

Свернули направо — к Троицкому мосту.

Теперь им никто не мешал: Федя мог удовлетворить просьбу своей спутницы и рассказать все, что известно ему было о Георгии Павловиче, а заодно и выяснить у нее свое собственное дело, о котором, — знает он, — писал в письме к ней Карабаев.

Однако их совместная прогулка не удалась. Прошло не больше минут двух-трех, а может быть, и меньше, — они миновали только соседний Эрмитаж, — как все тот же краснокрестный чинovníк догнал их — бегом, запыхавшись, без фуражки.

— Сейчас звонили от них... Сию минуту только... Просили вернуться. Обе. Анна Александровна... Надежда Ивановна тоже. Говорят, что они сейчас заедут...

— Какая честь для нас, для всей Руси! — весело усмехнулась Федина спутница.

И уже обращаясь к нему:

— Вот видите, не пришлось нам потолковать! Жаль, жаль. Вы уж меня простите. Впрочем, позвоните мне: мы условимся. Письмо к министру я с большой охотой достану вам, — ваше дело будет устроено. Позвоните же мне! Я хочу вас видеть у себя.

Она протянула Феде руку, и ему показалось, что пожатие ее было крепче и продолжительней, чем в первый раз, а взглянув в глаза Людмилы Петровны, он увидел в них ласковую улыбку.

— И я хочу вас видеть! — сказал Федя так горячо, что это походило уже на невольное признание. Но об этом он подумал только тогда, когда остался один на набережной.

День заканчивался в обществе карабаевской семьи и ее приятелей, а вечер принес приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное за эти дни в Петрограде.

### *Глава седьмая*

#### **ДУМЫ И НЕРВЫ ЛИБЕРАЛА**

Все покоится на лжи. Чтобы увидеть это, не надо быть очень наблюдательным, Левушка... Лжет начальник отряда, когда доносит, что «с боем» взял такой-то населенный пункт. Местечко-то было очищено неприятелем еще два дня назад, а наши стреляли только для виду, чтобы написать об этом по начальству и не получить подвоха от стоящей позади артиллерии. Вот оно что!... Лжет генерал, когда сообщает о подвиге рядового Петрова, «свидетелем» которого он был, храбро, беззаветно бросившегося в немецкие окопы и там заколовшего с десятков немцев. Врет его превосходительство, нагло врёт! Он не был очевидцем, не был на месте, но вот «тонкое» указание на то, что он сам был на передовых позициях, уже гарантирует ему боевую награду... Лжет захвативший «тысячу пленных», а сдавший в тыл всего лишь триста. Почему, спросишь? Да потому, что остальные не были и взяты, а показываются в сводке как убитые во время сражения... при неизбежной суматохе! Лжет тот, кто трижды в течение суток сообщает о «постепенном» взятии такой-то позиции, желая этим обратить внимание на «трудность» своего положения и на свою решимость и твердость, а ведь позиция-то была взята сразу: просто... противник слабо защищался!.. Лжет тот строевой начальник, который представляет к награде штабного «моментика» за «отличие» при передаче приказа или при выработке плана атаки. А почему? Надо ведь порадовать штабному, чтобы на всякий случай заручиться его помощью по определению своей собственной награды... Не врёт только рядовой Петров: на военно-спекулятивном базаре он не торговец, а товар. Не углядим, и побегит с

фронта рядовой Петров, уставший от окопного сидения, от грязи, от штабной неразберихи...

Глотнув из стакана чай, гость в погонах штабс-капитана неожиданно пропел:

А штабы, как мухам,  
Сплошь набиты слухами.

— Это, господа, офицерская фронтовая частушка, и она — не в бровь, а в глаз!

— Но Ставка все-таки, Алексеев, например... — все тем же тоном глубоко задумавшегося человека сказал Лев Павлович.

— Я тебе еще раз повторяю, Левушка. Ставка? Я пробыл в ней восемь месяцев. Прошла только неделя, как я перестал быть обер-офицером управления генерал-квартирмейстера, и, поверь мне, я многое видел, многое узнал. Да мне ли тебя учить?! Сам небось в военно-морской комиссии сидишь, — неужели там у вас ничего не известно? Сидишь ведь там, руководишь от имени Думы. Армия, Ставка верховного — это фотография всей нашей страны.

— Фотография, говоришь?... — исподлобья посмотрел Лев Павлович, но не на собеседника, а мимо него, и на секунду взгляд карабаевский остановился на молчаливо слушавшем, как и все остальные, Феде Калмыкове и словно сказал ему строго и наизда-тельно: «Раз слушаешь тут — сиди и слушай, так и быть, но прошу не болтать потом и ни во что мой дом и семью не замешивать».

Федя выдержал этот взгляд, как проверку, и Лев Павлович, воспользовавшись короткой паузой (гость, утоляя жажду, глубокими глотками допивал чай, выжимая ложечкой сок из лимона), сказал свое:

— Да, да, Петруша, худо, брат, в таком случае. Худо! Вот посмотри... (Он взял из ящика письменного стола какие-то листки и прочитал их.) Я сделал себе выписки. Например, из приказа по Первой армии. Ты только послушай! «В армию прибыли новые быстроходные аэропланы, по фигуре весьма похожие на немецкие, без всяких отличительных признаков. Принимая во внимание... (ты только послушай, Петруша!), что при таких условиях отличить наш аэроплан от немецкого *невозможно*, строжайше воспре-щаю, под страхом немедленного расстрела, какую бы то ни было стрельбу по аэропланам». Это вместо того чтобы сделать простую вещь: дать нашим аэропланам свои собственные опознавательные знаки! Ведь тупицы, — а?! Дальше. Вот тебе из приказа по Восьмой армии. «По-прежнему войсковые части, и в особенности — парки и обозы, продолжают становиться, строго придерживаясь уставных форм, — квадратами, без всякого применения к местности. Требую со смыслом располагаться на бивуаке, укрывая повозки, деревья, заборы или строения, а в случае невозможности маскируя отдельные повозки ветвями, охапками сена и тому подобное. Коновязи разбивать по опушкам или внутри рощи, людей располагать по дворам или палаткам. При совершении маршей пехота должна, завидя аэроплан, немедленно сворачивать на обо-

чины, останавливаться и даже ложиться. Надо придерживаться воинского устава, не как слепой — стены». Господи, приходится учить наше командование азбуке, военной азбуке! Воображаешь, сколько было жертв?.. А наш тыл? У нас тут в тылу ни знания, ни плана, ни системы. Куда уж дальше! За время войны переменялось четыре министра земледелия и шесть — внутренних дел. Чехарда, помилуй бог... Каждый не знает, что ему делать и что делал его предшественник. Приезжаем из-за границы — узнаем: объявляют они рекрутский набор, — да на какие сроки?! В самый разгар полевых работ! Подумать только! А убирать хлеб кто будет? А кто работать будет? Отвечают нам в комиссии: «Иностранцы». И уже летит во все места телеграмма Штюрмера, и в Туркестане и в киргизских областях, заметь себе, серьезнейшие беспорядки. Вот тебе и результат! В особом совещании по обороне с трудом ведь, представь себе, добились отмены указа. Стыдно — перед союзниками стыдно!.. На каждом шагу твердим о войне до победного конца, торжественно клянемся в верности союзникам. А кругом — бестолочь, командование — бездарное, двором вертит, как хочет, пьяный, распутный конокрад и жулик. Он подбирает министров. Власть вручена ничтожным, неспособным, даже подозрительным, людям, вроде этого проходимца Штюрмера.

А ведь страна воспрянула бы, если к управлению призвать людей, облеченных общественным доверием. Сермяжная Русь — я верю в это! — поднялась бы на ратный подвиг, на победу... Но клика штюрмеров и распутных тянет Россию в пропасть, к катастрофе... — взволнованно закончил Лев Павлович.

...Сидели все в кабинете Льва Павловича. Кроме карабаевской семьи, Феде и штабс-капитана Лютика, здесь была еще жена Лютика — низенькая сидящая женщина с розовым, свежим, словно только что умытым лицом и все время искрящимися черными глазами; шустренький с короткими, быстрыми движениями, непомерно длиннорукий Фома Асикритов; какая-то сухошавая, клювоносая дама в золотых очках (как выяснил потом Федя, — партийная сподвижница Льва Павловича и в некотором роде его секретарь); и тот самый Иришин знакомый, которого представили Феде несколько дней назад, назвав «Сергеем Леонидовичем», а фамилии не сообщив.

Послеобеденный чай следовало откусать, как всегда это делалось, в столовой, где все под рукой: и горка с чашками, и самоварный столик, и вазочки с двумя сортами варенья, и кекс домашнего приготовления в буфете, и шарообразный старинный фарфоровый чайник, накрытый малявинской куклой-бабой, забравшей его под свою пеструю теплую юбку, — словом, все на своем месте. Но вот чаепитие на этот раз пришлось перенести в комнату Льва Павловича.

И сделано это по его настоянию: он так давно не видался с другом, с Петром Михайловичем, Петрушей Лютиком, тот так много любопытного и весьма интересующего Льва Павловича начал рассказывать, уйдя с ним в кабинет, а там — так уютно и спо-

койно: открытые окна выходят на тихую Монетную улицу, а окна столовой — в шумный мальчишеским гамом и дворничьими окликарами наполненный двор; да и «тембр беседы», как сказал Лев Павлович жене, может быть утерян, если уйдут они с Петрушей на другое место, и вообще в маленькой столовой все поневоле должны будут сидеть близко друг к другу, и каждый не сможет вести тот разговор, какого хочет, не стеснив себя и других, — что уж лучше перейти всем, кто желает, в его, карабаевский, просторный кабинет, тем более что никаких секретных разговоров они с Петрушей там и не ведут.

А кто пожелает иначе устроиться — тот и поступит по-иному.

При этом Лев Павлович подмигнул и улыбнулся жене, и Софья Даниловна поняла, о ком идет речь.

Но, оказалось, что никто не пожелал устроиться иначе, чем предложил хозяин. Все расположились в его комнате, облюбовав каждый для себя местечко: на тахте, в креслах, на ковровом пуфе, на широком подоконнике, и не покидали карабаевской комнаты добрых два часа, и только Софья Даниловна да Ириша изредка выходили отсюда, призываемые различными домашними заботами.

Послушать штабс-капитана Лютика действительно было интересно. Отбывая службу в Ставке и налаживая работу в одном из отделов управления генерал-квартирмейстера Пустовойтенко, с которым был в личных хороших отношениях, он был в курсе многого, что происходило за последние месяцы там — в скрытом от взоров всех маленьком Могилеве.

К тому же основная профессия Петра Михайловича Лютика до войны (историк-обозреватель и осведомленный журналист прогрессивных изданий) и его природные качества, — он показался Феде умным, немало наблюдательным и решительным человеком, — а также способности хорошего рассказчика, скорей даже опытного лектора, знающего, чем и как можно овладеть вниманием слушателей, да и желание в данном случае последних уделить ему это внимание, — все это удвоило интерес присутствующих к Петру Михайловичу, а Федя, в частности, доволен был, как никто: подумать только, сколько новостей и разных историй увезет он с собой из столицы!

— Мой шеф устроил мне приглашение к высочайшему обеду.

— Ах, это очень забавно! — воскликнула жена Лютика, и ее искрящиеся черные глаза многообещающе посмотрели на присутствующих — она все уже знала наперед в рассказах мужа.

— Я надел защитный китель, снаряжение — без револьвера, шашку, фуражку и коричневую перчатку на левую руку. Ордена не нужно, если нет с мечами, — пояснял штабс-капитан Лютик. — В семь двадцать вечера — точно! — я был в доме царя. Сначала проходите, значит, парных наружных часовых, потом вестибюль, где справа и слева стоят в струнку по два конвойца-казака. Уверяю вас — истуканы! Но вот один из них молча толкает дверь... автоматически как будто вытянувшейся рукой — и вы в передней. Тут скороход и лакей снимают ваше платье. Скороход спрашивает

фамилии проходящих, посматривая в список, лежащий на столике. Контроль, собственно, очень слаб: вместо меня с таким же успехом мог бы пойти другой человек, лишь бы он назвался моей фамилией.

— Вот как?! — неожиданно отозвался из угла Асикритов, и Федя вздрогнул: журналист выпалил то, о чем он сам только что подумал.

— Да, очень просто, господа... Ну-с, у начинающейся тут же лестницы наверх стоит на маленьком коврикe (синий такой квадратный коврик...) солдат сводного пехотного полка. Без оружия, — замерз, да и только!.. Зал — во втором этаже: небольшой, оклеен белыми обоями. Портреты Марии Федоровны и Александры, рояль, небольшая бронзовая люстра, простенькие портьеры. Кого я только в тот день не увидел! Тут были великий князь Михаил, великие князья Сергей и Георгий Михайлович, — такой, понимаете, обезьянообразный рамоли, сухой, желто-черный, сгорбленный, с палкой...

Петр Михайлович скрючился, вобрал голову в приподнятые плечи, скривил рот, выпятив нижнюю губу, руки — колесом, растопырил хищно пальцы, — и всем живо представился уродливый, как шимпанзе, великий князь Георгий.

И все одобрительно засмеялись.

— Были тут еще военные атташе союзников. Все они в форме русской армии, кроме японца. Ну, свитские, конечно: флигель-адъютант Мордвинов, адмирал Нилов, Граббе, лейб-медик Боткин. Алексеева не было в тот день: отпросился у царя в Смоленск — женить сына. Стоим группами, разговариваем. Князья — в особой кучке. Вот из столовой Воейков вышел, а за ним тесть — Фредерикс. Ну и развалина, скажу вам! Так и кажется, господа: вот сейчас его и хватит изнутри! Хватит — он и рассыплется на отдельные части, искусно собранные портным, сапожником и куафером. Ей-богу!.. Царь за ними. Видел я его в Ставке раз пятьдесят, но так близко — не приходилось. В форме гренадерского Эриванского полка, в суконной рубашке защитного цвета, с кожаным нешироким пояском. Длинные брови очень старят его. Вылинял. Породы в нем никакой! Да и не было никогда. Глаза каменные, усы такие... желто-табачные, крестьянские усы, и борода такая же. Нос набряк, как клубень, и улыбка тихого идиотика: как рябь на болоте, когда, бывает, сильный ветер подует... Я стоял шестым из впервые приглашенных. Дошла очередь до меня — представиться: «Ваше императорское величество! Обер-офицер управления генерал-квартирмейстера, штабс-капитан Лютик!» — «С начала войны?» — «Никак нет, ваше императорское величество. С двадцать пятого сентября прошлого года». — «Угу...» — не знает, что сказать. И вдруг: «С пятнадцатого, значит?» — «Так точно, отвечаю, ваше императорское величество». — «Это исконно русский хороший год. Ах, мне так обещали...» Подал руку мне, рука такая теплая, и передвинулся бочком к следующему за мной. И на ходу уже, с мутной рассеянной, но злой улыбкой: «Pour être beau, il



faut souffrir!»<sup>1</sup> Ни черта не понял я! Что это означало?! Что за бессмысленный набор слов? Потом уже Михаил Саввич (генерал Пустовойтенко это) разъяснил мне. Оказывается, в прошлом году, в дни наших самых страшных поражений, распутинско-бадмаевский кружок переправил царю через Вырубову и Александру «ободрительную» записку: ничего, мол, не падай духом. А почему не падать духом? А вот почему. Знаменитый «предсказатель судьбы», иностранец Шарль Перрен, живший в Петрограде и принимавший только очень немногих (но, конечно, закадычный друг Бадмаева и «старца» Григория!), предрекает победу России именно в этом году. Видали, а?.. Пятнадцатые годы фатальны, мол, в этом смысле. Вроде карты, которой банкомет всегда выигрывает. Не угодно ли Николаю вспомнить?.. Тут тебе и древняя, и средняя, и новейшая русская история... Тысяча пятнадцатый год — образование великого княжества Киевского. Что, событие? Событие! В тот же год следующего века нанесено поражение половцам и болгарам, в триста пятнадцатом — усиление Московского княжества при Данииле. Факт это? Факт... В четыреста пятнадцатом Василий Первый закрепил за собой Суздаль и Нижний Новгород, а Василий Третий в пятьсот пятнадцатом смирил и присоединил Псков. Победа это или нет? Ясно, победа!.. А дальше: в шестьсот пятнадцатом — удачные бои со шведами, в семьсот пятнадцатом Петр укрепляется на берегах Балтийского моря. И все в пятнадцатом, — каково? Вот свора жуликов как подобрала цифры-то!.. И, наконец, тысяча восемьсот пятнадцатый год — год великого торжества русского оружия: избавления Европы от Наполеона... Николай уверовал, а потом огорчился. Огорчился еще и потому, что рекомендованный ему бадмаевский друг, этот самый иностранец Шарль Перрен... арестован нашей военной контрразведкой и выслан в двадцать четыре часа из России по подозрению в германском шпионаже! Вот тебе и «предсказатель победы»!

— Омерзительно! — крикнул Лев Павлович и грузно завопил в своем кресле, усаживаясь поудобней.

Он вытер носовым платком лицо свое — дважды, тщательно, как будто желая снять с него вместе с капельками пота и внезапно проступившие на лице желто-багровые горячие пятна от возмущения и беспокойства.

Но он сам не знал сейчас, чем, собственно, взволнован: рассказом ли приятеля или тем, что почему-то вспомнился вот в эту минуту смущенный носильщик на Финляндском вокзале, пропажа дневника, вертевшиеся в вагоне после станции Усикирко какие-то чужие люди, среди которых, — он убежден теперь, — были и подсланные петроградской охранкой. Все это неожиданно и болезненно всплыло отчего-то в памяти, куда Петруша Лютик, штабной офицер, рассказывал очередной печальный анекдот о жизни в Ставке, в армии, и Лев Павлович, разволновавшись уже, не скоро успокоился.

<sup>1</sup> Для того чтобы быть красивым, необходимо страдать! (фр.)

— Лестницу метут сверху! — хрипло выкрикнул он и «с сердцем» бросил на стол портсигар, который до того держал в руках. — Все, что ты рассказываешь, Петруша, — чудовищно, омерзительно! Что ж это? Если так будет продолжаться, страна кончит крахом, смертью.

— Ай, bravo, bravo, Лев Павлович! — зашевелился на своем месте пучеглазый Асикритов. — Правильно говорите: лестницу метут сверху! Каждый швейцар и дворник это знает. Каждый! И найдутся такие — сметут, начисто сметут. Увидите... скоро, ой скоро это будет. Оглянется страна, встанет на свои медвежьи лапы и пойдет крушить, ломать все и вся. Вот тогда... тогда мы узнаем ее, пойдем. Все полетит, все будет разрушено. Тут уж не помогут никакие думские стратегические вензеля! Покажет Россия кузькину мать, запляшет с дубиной в руках, — пойдет тут такое всенародное очищение... Чай, не так?

— А вы-то... чему радуетесь? — раздраженно буркнул Лев Павлович.

— Я?

— Ну да — вы! Радоваться нечему, — озлился Лев Павлович.

И опять не знал — почему, собственно: потому ли только, что Фома перебил его, вмешался непрошено в разговор, или потому, что в тоне, каким говорил журналист, звучало, по мнению Льва Павловича, неприкрытое злорадство. Вероятно, на сей раз — и по той и по другой причине.

— Чему тут радоваться, — а? — воззрился Карабаев исподлобья на Асикритова. — Ну, все полетит, все будет разрушено, — кому ж на пользу? Кайзерскому милитаризму — одному ему! Все самое дорогое и ценное будет признано вздором, тряпками, чепухой. Все — на поругание, так, что ли? На слом, в бездну неизвестности, в окровавленную пасть отчаяния? Так, что ли? Не дай господь революции под ликующий салют прусских пушек!

— Там посмотрим, под чей салют: прусских или русских? — ухмыльнулся Иришин знакомый.

— Ах, папа, ты же сам сказал...

— Что сказал?!

— Про лестницу. Сверху метут... как же иначе?

— Иначе? Что — иначе?

Он, повернув голову к плечу — до отказа, так, что ей некуда и невозможно уже было двигаться, не вывихнув шеи, удивленно и растерянno смотрел на дочь.

Да, он говорил. Гм... «Лестницу надо сверху, да, да». Он не отрекается, он не ошибся, когда сказал. Нет, нет, пусть никто не думает, что он, Карабаев, может отречься от своих слов! Но почему же их нужно толковать так, как сделал это со злорадством Сонин родственник Фома? У него с журналистом никогда не было ничего общего в политических взглядах, — так что же это за союзник неожиданный?! Не нужны такие союзники. Это люди безответственных суждений и мгновенных коротких поступков.

В народе каждый божится, но всяк по-разному, — так и он с Асикритовым.

Подумав так, Лев Павлович понял, что зря опешил от Иринкиного вопроса. Но тут же другая мысль овладела им: «А что, если меня неверно поймут и стану я недостойным в их глазах?.. Сварлив я стал, а они это неуверенностью моею сочтут?.. Вот Ириша моя, например... молодежь вся. Да и все друзья мои!.. И как иначе действительно поступать, как не очищать все сверху? Отчего же я так рассердился? Ох, нервы, нервы все!»

И он вдруг, протянув руку к стакану с давно остывшим чаем и быстро хлебнув его — так, что замочил густые усы свои, вздохнул устало:

— Эх, дочка, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!

Ему показалось, что он нашел слова, которые должны примирить всех в этой частной дружеской беседе у него в доме. В самом деле: не открывать же в этой семейно-интимной обстановке «принципиальных» политических споров?! Кому они нужны тут?

И вот он словно нашел «формулу перехода», — подумал он шутя, — для всех «фракций», заседающих по-семейному у него в кабинете. Разве он тем самым не пошел навстречу Асикритову, — ну, довольна теперь, Ириша?..

В рядах своей собственной кадетской партии Лев Павлович в последнее время больше склонен был прислушаться к голосам более «радикальных» ее членов, а недавняя поездка за границу и совсем уже утвердила в нем сознание лидера этого крыла партии.

Но и здесь, в этом крыле, которым, как и птичьим, нельзя было партии взмахнуть отдельно, порознь, самостоятельно (об этом, боже упаси, никто и не думал!), Лев Павлович, поддерживая своих товарищей, а часто и руководя ими, следовал все той же своей обычной тактике — никогда не отказываться от примирения.

Таков он был всегда, таким он, в частности, оказался и на последнем закрытом заседании своей партии.

Лев Павлович призывал тогда к искренности, — ах, никто не умел быть столь лиричным в своих выступлениях, как Карабаев!

«Будем откровенны! Пусть каждый из нас выложит все, что думает, все, что знает, все, что тревожит его. Поговорим по душам!» — призывал он, встав со своего места и обращаясь к многочисленным участникам заседания, собравшимся в громадной гостиной — двухсветной, с венецианскими окнами, с малахитовыми каминами и золочеными канделябрами, — в хоромах гостеприимного, известного в столице либерального князя.

«Будем откровенны, — говорил он тогда, подымая высоко, как для клятвы, свою правую руку и после каждой фразы рассекая ребром ладони воздух. — В нашей среде есть много таких, кого пугает призрак революции, лик мятежной пугачевщины, разбойный черный свист анархии. Это страшно, господа, и я пугаюсь. Мне страшно за русскую государственность, за ее будущность, за судьбу отравленной ужасами неудачной войны русской души. Мне страшно потому, что наше молодое поколение сможет оглянуться

на нас с вами... «с усмешкой горькою обманутого сына над промывшимся отцом!». Да, это страшно, господа. Но вот эти-то страхи и должны нам теперь диктовать иную политическую тактику, чем та, на непорочности и неизбежности которой настаивал здесь глубоко уважаемый нами всеми и личный друг и партийный водитель Павел Николаевич! Если мы не хотим, чтобы предстоящий после войны суд народа над преступным правительством принял формы дезорганизации, хаоса, бессмысленного бунта, мы не можем устраниваться от народного движения и не можем не стремиться играть в нем важную, руководящую роль. Не сторониться движения кооперативных деятелей и рабочих союзов, а протянуть им руку и повести за собой! Не придерживаться старой тактики, как слепой — стены! Мы должны быть зрячими, и тогда не будет страха!»

Ему аплодировали, и от шума тоненькими переливами звенела хрустальная бахрома княжеских люстр и канделябров,— это так запомнилось Льву Павловичу!

За резолюцию о необходимости сближения с левыми демократическими партиями высказалось сорок шесть участников заседания, воспротивились ей двадцать семь и уклонились заявить свое мнение четырнадцать. По мнению Карабаева, то была большая победа сторонников его речи, хотя резолюцией признавалось необходимым устраивать лишь «на местах» совещания с представителями «демократических партий», и то «в зависимости от выяснения сил и внутренней ценности последних».

Его поздравляли.

Но когда кто-то из провинциальных соратников, ободренный его речью, назвав ее «прекрасным новым кодексом партийного поведения», предложил выйти из августовского «прогрессивного блока», где, как выразился, «на ногах партии тяжелые гири октябристов и шульгинцев» («O, sancta simplicitas!»<sup>1</sup> — шепнул ему насмешливо искушенный в латыни и политике сосед-москвич...), рука Льва Павловича первой протестующе поднялась на виду у всех, чтобы опуститься немедленно вниз косым и быстрым взмахом шашки, без раздумья, гневно рубящей чью-то глупую башку.

«Разве можно бросать спичку в бочку с порохом?!» — воскликнул он в кулуарах, но не все поняли: партия — «бочка», или весь августовский «блок», или что-то другое!

А когда в ответ на неосмотрительный призыв съезда городов (в котором участвовал Карабаев) требовать «ответственного министерства» голосовали в громадной княжеской гостиной решение партии и порешили согласиться на «министерство, пользующееся доверием страны» («Синицу в руки, чем журавля в небе!» — рассудительно подсказал и напомнил своим друзьям либеральный князь давнюю народную поговорку), — Карабаев и вовсе не поднял своей руки. Он просто не желал огорчить кого бы то ни было из

<sup>1</sup> О, святая наивность (простота)! (лат.)

сидевших здесь партийных единомышленников и приятелей, хотя не прочь был бы узнать, что страна получила наконец министров, ответственных в полной мере перед ее представителями, то есть в том числе и перед ним самим.

«Что же вы так, Лев Павлович?..» — спрашивали его сторонники разных течений, разных крыльев, укоризненно покачивая головой от плеча к плечу.

И тогда, как и сейчас, отвечая своей дочке Ирише, он сказал вдруг:

— Ах, господа, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!

И тогда, как и сейчас, он обескуражил и покори́л всех усталым и примиряющим вздохом, вылетевшим словно из настежь разверзнутой груди.

Никто не был столь лиричен, как знаменитый думский депутат буржуазии Карабаев. Ах, ни у кого не было таких вдумчивых и тоскливых серых глаз!

...Птица может лететь, расправив оба своих крыла и взмахнув ими одновременно.

...Ну, о чем тут спорить, люди добрые?!

### *Глава восьмая*

#### **«ЭТО ДЕТСКАЯ СКАЗКА, ПРИНОРОВЛЕННАЯ К УРОВНЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЛАДЕНЦЕВ»**

Спустя несколько месяцев по возвращении Карабаева из-за границы к Льву Павловичу зашел Асикритов.

Как всегда подмигивая (пучеглазый чертик!), он положил на стол какую-то газету необычного формата и шрифта и, ухмыляясь, сказал:

— Нокаут. Все́му думскому словоблудию — нокаут.

— Не понимаю, Фома Матвеевич, — вопросительно посмотрел на него Карабаев, привыкший уже к неожиданным и «странным» суждениям и известиям своего родственничка.

— На обе лопатки. И вас вместе с вашим Павлом Николаевичем Милюковым, и правительством, и всех своих партийных противников, — всех на обе лопатки!.. Знаете, чья тут статья? — ткнул в газету пальцем журналист. — Ленина! Небось слышал про такого?

Лев Павлович поморщился. А когда чрезмерно экзальтированный, по его мнению, Асикритов воскликнул: «Пусть напечатают у нас эту статью — тогда народ узнает настоящую правду! Гарантирую — революция!..» — Лев Павлович с сердцем выкрикнул:

— Идите к черту с вашей революцией! Она нужна только черни. А этого самого Ленина и его сподвижников... его надо...

Он не досказал, что «надо» сделать с Лениным, но схваченная в этот момент со стола вывезенная из Англии американская зажигалка-браунинг была красноречивей слов.

— Нет, нет, вы будете в конце концов министром его величества! Не сомневаюсь теперь, — рассмеялся Фома Матвеевич и взял из его руки «браунинг», чтобы зажечь папиросу.

Статью большевика Ленина Лев Павлович Карабаев — не хотел он никому признаваться — прочитал несколько раз. А журналист перепечатал ее, бог весть для чего, с несколькими машинописными копиями.

«Война, — разъяснял вождь социал-демократов большевиков, — порождена империалистическими отношениями между великими державами, т. е. борьбой за раздел добычи, за то, кому скушать такие-то колонии и мелкие государства, причем на первом месте стоят в этой войне *два* столкновения. Первое — между Англией и Германией. Второе — между Германией и Россией. Эти три великие державы, эти три великих разбойника на большой дороге являются главными величинами в настоящей войне, остальные — несамостоятельные союзники».

«Англия воюет за то, — писал далее Ленин, — чтобы ограбить колонии Германии и разорить своего главного конкурента, который бил ее беспощадно своей превосходной техникой, организацией, торговой энергией, бил и побил так, что без войны Англия *не могла* отстоять своего мирового господства. Германия воюет потому, что ее капиталисты считают себя — и вполне справедливо — имеющими «священное» буржуазное право на мировое первенство в грабеже колоний и зависимых стран, в частности, воюет за подчинение себе Балканских стран и Турции. Россия воюет за Галицию, владеть которой ей надо в особенности для удушения украинского народа (кроме Галиции у этого народа нет и быть не может уголка свободы, сравнительной конечно), за Армению и за Константинополь, затем тоже за подчинение Балканских стран».

Наряду с столкновением «интересов» России и Германии существовало также глубокое столкновение между Россией и Англией. Империалистической России мерещилась такая перспектива: вместе с Англией и Францией разбить немцев, чтобы отобрать у Австрии Галицию, а у Турции Армению и во что бы то ни стало — Константинополь. Затем с помощью Японии и только что разбитой Германии... припереть к стенке Англию в Азии, чтобы завладеть всей Персией и довести до конца начатый ранее раздел Китая.

«Война есть продолжение политики, — утверждал в своей газете Ленин, и, по совести говоря, Лев Павлович не находил причин ему возражать. — И политика тоже «продолжается» *во время* войны! Германия имеет тайные договоры с Болгарией и Австрией о разделе добычи... Россия имеет тайные договоры с Англией, Францией и т. д.»...

«Социалист», который при таком положении дела говорит народам и правительствам речи о добреньком мире, вполне подобен попу, который видит перед собой в церкви на первых местах содержательницу публичного дома и станового пристава, находя-

щихся в стачке друг с другом, и «проповедует» им и народу любовь к ближнему и соблюдение христианских заповедей.

Между Россией и Англией, несомненно, есть тайный договор, между прочим, о Константинополе. Известно, что Россия надеется получить его и что Англия не хочет дать его, а если даст, то либо постарается затем отнять, либо обставит «уступку» условиями, направленными против России. Текст тайного договора неизвестен («К сожалению, и для нас!» — вставлял от себя Лев Павлович), но что борьба между Англией и Россией идет именно вокруг этого вопроса, идет и сейчас («Верно...» — признавался Карабаев), это не только известно, но и не подлежит ни тени сомнения. В то же время известно, что между Россией и Японией, в дополнение к их прежним договорам (например, к договору 1910 года, предоставлявшему Японии «скушать» Корею, а России скушать Монголию), заключен уже во время теперешней войны *новый тайный договор*, направленный не только против Китая, но *до известной степени и против Англии*. Это несомненно, хотя текст договора неизвестен. Япония при помощи Англии побила в 1904—1905 году Россию и теперь осторожно подготавливает возможность при помощи России побить Англию». («Право, новое, весьма интересное сообщение!» — не мог не признать Лев Павлович.)

«Если бывший социалист г. Плеханов изображает дело так, будто реакционеры в России хотят вообще мира с Германией, а «прогрессивная буржуазия» — разрушения «прусского милитаризма» и дружбы с «демократической» Англией, то это детская сказка, приноровленная к уровню политических младенцев. На деле и царизм, и все реакционеры в России, и вся «прогрессивная буржуазия» (октябристы и кадеты) хотят *одного*: ограбить Германию, Австрию и Турцию в Европе, — побить Англию в Азии (отнять всю Персию, всю Монголию, весь Тибет и т. д.). Спор идет между этими «милыми дружками» только из-за того, *когда и как* повернуть от борьбы против Германии к борьбе против Англии. Только из-за того, когда и как!

...Отнять Константинополь и проливы! Добить и раздробить Австрию! Царизм вполне за это. Но хватит ли силы? и позволит ли Англия?

...Если «мы» погонимся за чересчур большой добычей в Европе, то «мы» рискуем обессилить «свои» военные ресурсы окончательно, не получить почти ничего в Европе и потерять возможность получить «свое» в Азии — так рассуждает царизм и рассуждает *правильно* с точки зрения империалистских интересов. Рассуждает *правильнее*, чем буржуазные и оппортунистические говоруны Миллюковы, Плехановы, Гучковы, Потресовы.

...Англия «нам» сейчас ничего дать не может. Германия нам даст, возможно, и Курляндию, и часть Польши назад, и, наверное, восточную Галицию... также турецкую Армению. Беря это *теперь*, мы можем выйти из войны, *усилившись*, и тогда *завтра* мы при помощи Японии и Германии сможем получить, при умнейшей политике и при дальнейшей помощи Миллюковых, Плехановых,

Потресовых в деле «спасания» возлюбленного «отечества», хороший кусок Азии при войне против Англии... Поэтому вполне возможно, что мы завтра или послезавтра проснемся и получим манифест трех монархов: «внимая голосу возлюбленных народов, решили мы осчастливить их благами мира, установить перемирие и созвать общеевропейский конгресс мира...»

Кончится ли данная война таким образом в очень близком будущем или Россия «продержится» в стремлении победить Германию и побольше ограбить Австрию несколько дольше, сыграют ли переговоры о сепаратном мире роль маневра ловкого шантажиста (царизм покажет Англии готовый проект договора с Германией и скажет: столько-то миллиардов рубликов и такие-то уступочки или гарантии, а не то я подпишу завтра этот договор) — во всяком случае империалистская война не может кончиться никаким иным, кроме как империалистским, миром, если эта война не превратится в гражданскую войну пролетариата с буржуазией за социализм».

Этой последней возможности Лев Павлович Карабаев никак уж не предполагал. И уж во всяком случае не мог предполагать, что не пройдет и года и начнется та гражданская война, о которой говорил Ленин.

## Глава девятая

### АНАНЬЕВ ЛЯКСЕЙ И КАПИТАН МАМЫКИН

Из окна квартиры виден был сквер, сегмент небольшой круглой площади, прилегавшей к нему, коридор продольной улицы, по которой выкатывались на площадь, дребезжа и скрипя, трамвайные вагоны, разбегавшиеся затем в разные стороны.

По дорожкам сквера нарочито кавалерийской, утиной походкой, лениво раскачиваясь, бродили воспитанники кадетского корпуса — как можно больше кривили колесом ноги и похлопывали себя небрежно тоненькими ореховыми стеками. В белых перчатках, в черных гимнастерках, туго подтянутых лакированными кушаками и собранных на спине в мелкую, гармошкой складку, в брюках со штрипками, в надвинутых — «по-гвардейски» — на переносицу фуражках, предварительно смоченных и придавленных утюгом, чтобы не торчали поля, — молодые люди, вероятно, казались самим себе если не настоящими, то безусловно уже будущими героями.

Когда вблизи не было военных и не перед кем было тянуться, они курили папиросы и запевали, но все же вполголоса, модную фронтовую песенку:

На врагов, чертям назло,  
Налетим мы бурей,  
Это наше ремесло —  
Целоваться с пулей!



Но здесь, в скверике, никто не принимал всерьез этих воинственных обещаний. Особенно молодые женщины и девушки, да еще в вечерний час гулянья.

Продавщицы из магазинов, кельнерши из кафе, кассирши, скачущие дамы, в один и тот же час сидящие на одних и тех же скамейках, и даже подростки-гимназистки в белых передниках поверх коричневых и зеленых платьев, и няни, с соседних улиц привозящие сюда в светлых колясочках препорученных им младенцев, — все хорошо знали истинные стремления кадетов.

Старики дочитывали здесь вечернюю «Биржевку». Мелкие маклеры, отсаживаясь в конец скамейки, подсчитывали, становясь вдруг похожими друг на друга, завтрашний барыш от перепродажи мешка с сахаром и ящика макарон. Утомившаяся прачка, перевязывая на голове ситцевый платок, отдыхала у железной ограды сквера, приткнув к ней и поддерживая плечом туго стянутый узел выстиранного белья, который надо доставить за три квартала отсюда. Филер охраны держал «на мушке» чью-то квартиру в одном из ближайших домов и в напускном раздумье неудачника, философа или влюбленного, не глядя ни на кого, вычерчивал палкой на песке замысловатые геометрические фигуры.

Прыткий, непоседливый пинчер со вздрагивающей кожей на проступающих ребрах и такими же беспокойными острыми ушами и — на привязи у него — послушная и неумелая молодящаяся хозяйка с плохо покрашенными морщинами, соломенной широкополой шляпой с насаженными на ней плюшевыми лилиями и розами; она — с «ах ты, боже мой!» каждый раз — делала то, чего требовал от нее четвероногий.

Городовой здесь еще: по-жандармски выпущены из сапог широкой складкой вниз шаровары, пышные усы с косыми выющими подусниками, высокий картуз — на ребро поставленная суконная тарелка, две начищенные медали на бугре полубабьей груди, — он утаптывает дорожки сквера своим неторопливым, хозяйским шагом.

Кто торгует лаской, удивительно подешевевшей, кто — гуталином и шнурками, в ларьке — зеленым, пенистым «дедушкиным квасом», завезенным в столицу польскими предприимчивыми беженцами; кто — планом города и значками татьянинского комитета, желтой очищенной махоркой и черными усманскими семечками. Инвалид в лукошке, с ярко-красным околышем донской фуражки и приколотым к фуфайке английской булавкой «Георгием», ползал вдоль скамей, нещадно матерно ругая за отказ помочь ему подаванием. Человека с обезьянкой сменил человек с попугаем, а их обоих — в пестрых лохмотьях, крадучись приближавшаяся, покачивая, как на пружинах, бедрами, — темногубая цыганка с колодой старинных, причудливых карт.

Она подошла к скамье, на которой сидело несколько человек, коротким взглядом оценила настроение и возможность каждого из них, и этого уже было достаточно, чтобы выбрать раньше всего сидевшего последним, на краю:

— Погадаю твоей милости, твоему сиятельству...

Офицер сидел, заложив ногу на ногу, держа на коленях фуражку. Платком он вытирал вспотевшие виски, лоб, всю голову, словно он только что, запыхавшись, добежал сюда.

Он был худошав, тщательно выбрит (на продолговатой мочке сильно прижатого, как у испуганной лошади, уха лежал еще свежий след парикмахерской: пыльная осыпь пудры), с порядочной глянцевиной лысиной, избежавшей мимо оставленных по бокам примятых реденьких волос к шишковатой, вытянувшейся пологим колпачком макушке, с узкой, низкой талией, в светлом казачьем бешмете.

— Не требуется! — бросил он цыганке.

— Ай, барин, быстроглазая милость твоя, бровки твои: заграничные... Доволен будешь. Дай погадаю!

Она опустила перед ним на короточки, держа в положенных друг на друга ладонях картонную колоду.

— Ожидаешь, твоя милость, сбудется или нет. Тревога на твоём сердце заграничном — птаха летает в груди твоей, барин. А что ожидаешь — все скажу, и что сбудется и чего не делать — скажу. Ну, положи царя на руку.

И она покружила пальцем в воздухе, над колодой, прося не то полтинник, не то рубль.

Кто-то на скамье сдержанно рассмеялся, кто-то сварливым стариковским голосом пригрозил ей городовым за приставание к приличным господам. Она только глазом повела и словно невзначай плюнула в ту сторону.

— А еще скажу, жив будешь али что случится, твоя милость, генерал.

— Плохо в чинах разбираешься, — усмехнулся он.

— Ай, будешь генералом — про то' погадаю, верную правду скажу, сердце мое!

— Чего и гадать? Вот уже все и сказала! — откликнулся сосед офицера по скамье, задумчиво вычерчивавший палкой, свесив голову вниз, геометрические фигуры на песке. Вмешался в разговор, а позу сохранил все ту же.

— Цыц! Ай, умный какой, да безгрошовый! — сверкнули цыганкины глаза. — Андрон звать? — презрительно сказала она.

— Чего? — смутился тот.

— Того! Примета у нас така: Андрон — «фараон»: глаза завидючи да проданы... Дай погадаю? — обратилась она вновь к офицеру.

— Сказал тебе: не требуется. Проваливай!

— Ой, скажу, все скажу, — жалеть будешь... Положи на ручку, — приставала она. — Сними карту — не больше сёмой, не меньше третьей, — сидя на короточках, мелким лягушечьим прыжком приблизилась она к нему. В зеркальных голенищах его сапог она увидела расплывшийся силуэт своего лица.

— Уходи к черту! Конокрадка какая... Вот крикну сюда городского...

— Тыфу!.. Сам бисов сын!

И что-то горячее, скороговоркой на своем цыганском, никому не понятном языке.

— Еще ругается, вьедливая сука!.. А ну-ка!

Она хотела приподняться, но черный зеркальный сапог ткнул ее в колено, и, потеряв равновесие, взмахнув руками, как не успевшими распусться крыльями, цыганка мягко шлепнулась на спину, оголив худые смуглые ноги.

— Так и надо — по-военному! — одобрил сосед с палкой в руках. — Ничего, встала быстро... как мышь.

— По-военному? Ай, будет: понастреляют вашего плешивого племени Вани — солдатики рódные! Слеза наша сиротская черной кровью вытечет из ваших зенок поганных. Прокляты вы, прокляты! Понастреляют вас, хомяков в поле, Вани рódные!

— Марш! Шею сверну! — сорвался со скамьи офицер и, погрозив удалявшейся быстро цыганке, сам покинул это место.

— Сурьезный мужчина! — вывел заключение сосед по скамье, пододвигаясь на освободившееся место, и палкой вывел на песке огромную восьмерку.

— Казак — одно слово! — отозвался стариковский голос.

— Знаете, господа, у меня муж тоже был такой вспыльчивый, тоже военный. Но это у них, у военных, от контузии.

— Не видать что-то, мадам. По ихнему лицу судить можно было иначе вовсе!

...Казачий офицер свернул на боковую дорожку, прошел ее до конца и тут остановился, вспугнув, не желая того, двух кадетов, торопливо улетпнувших от него со своими — откровенной профессии — спутницами.

Напрасно ушли: пускай, к черту, занимаются чем угодно, — сейчас потребность в движении, он должен шагать, словно только так сможет стряхнуть с себя незримую тяжесть насевшего на него чувства. Вот именно — насевшего: ему все время теперь хотелось разогнуть плечи, как будто и в самом деле кто-то сдавил их, и он уже подбрасывал их, дергал, как будто и впрямь это было следом контузии. И нестерпимо ныл позвонок у шеи, и, казалось, поскрипывали и все остальные, — обычное состояние Мамыкина, когда сильно огорчался или был, как сейчас, озлоблен.

Но отчего все-таки? Можно уколоться иглой там, где меньше всего ждешь этого укола, и от неожиданности боль сильнее, чем она есть, — так и случилось сейчас с капитаном Мамыкиным.

Проклятая цыганка почти дословно повторила солдатские угрозы, — это был тот болезненный укол, которого он меньше всего сегодня ждал.

...Долго надо было бы рассказывать обо всем этом. Но вспомнить?.. Капитан Мамыкин вспомнил ту ночь, со всеми подробностями и собственными чувствованиями, мгновенно и точно.

...Узкая щель окопа понемногу подымалась в гору. Глубокая траншея пересекала их путь. Мамыкин и его спутники пошли в обход.

В темноте неожиданно сверкнул свет: вросший в бруствер, знакомый блиндаж оказался в двух шагах. Тут помещалось дежурное отделение. Небольшая, низко ушедшая в землю дверь открыта, в дверях — четверо стрелков: их, наверно, утомил сырой, спертый воздух блиндажа.

Долетал громкий шепот разговоров, — Мамыкин и его спутники укоротили шаг.

— А супротив подложечки, братцы, главное дело — спирт!

— Это ты верно: тепло, ровно с бабой ляжешь, и опять же живот начисто освободит. Чарку бы!

— Эх, братцы, с бабой!.. Мне охота к своей оч-чень... К Лизавете... Эх ты, жизнь... Така охота...

— ...что в костях ломота?

— Чай, Мишка не подстрелен еще — все в порядке!

— И пишет она, жена моя разлюбимая...

Офицеры двинулись вперед прежним шагом: солдатская беседа была обычна и не внушала никаких подозрений.

— Командир! — узнал кто-то из стрелков.

Он хотел юркнуть в двери, но Мамыкин окриком остановил его.

Мамыкин помнит: блиндаж был основательный и крепкий, как и все, что строились на этом участке, наиболее сильно сопроптивлявшемся немцам.

Над небольшой, глубоко вросшей в землю дверью — несколько пакетов толстых бревен, между ними проложены мешки с землей, камни и хворост, а над всем этим — площадка железобетонных плит, замаскированных дерном. Внутри низкий потолок поддерживался тремя рядами заплесневелых десятивершковых бревен. Между задними рядами стоек — нары для отдыхающей смены, впереди — длинный стол, скамейка с врытыми в землю ножками, на полу — деревянные решетки, так как другим способом нельзя было избавиться от мокрой грязи.

На нарах беспокойно спали в самых разнообразных позах люди отдыхающей смены; на них — измятые шинели, перетянутые кушаком с подсумками, через плечо перекинут патронташ, под головами — вещевые мешки, тут же рядом — винтовка.

На столе тускло горела и, по обыкновению, коптила небольшая керосиновая лампа. Вокруг стола — группа солдат, наклонившаяся, — сразу заметил Мамыкин, — над какими-то серыми бумажными листками.

При появлении офицеров все вскочили, лица приняли «строевое», застывшее выражение, глиняные стали, как определял Мамыкин, и чья-то рука с судорожной поспешностью схватила со стола серые листки.

Унтер-офицер Коробченко отрапортовал:

— Ваше высокоблагородие, в дежурном отделении никаких происшествий не случилось со стороны неприятеля.

— Надеюсь, и в самом отделении тоже? — перебил Мамыкин.

— Так точно, все тихо и согласно устава — по службе, ваше высокоблагородие.

Никто, кроме господ офицеров, не видал лица унтер-офицера Коробченко, никто, кроме них, не заметил прищуренного, подмигивающего, глубоко вдавленного его желтоватого глазика, совсем закатившегося вбок, словно, если бы он мог дальше пойти, перекатиться на затылок, то прямо и безошибочно указал бы Мамыкину, кем из стоящих сзади следует господам офицерам поинтересоваться сейчас!

— Смир-рно! Здорово, денщикья сила! — закричал капитан Мамыкин, и по этой команде, злой и насмешливой, лучше всего определявшей всегда настроение командира, все должны были уже понять, что дело не к добру.

...После трехминутного обыска прокламации очутились у него в руках.

— Кто? — громко спросил он.

Молчание.

— Кто? — повторил он, но уже тихо, заглушенно, сквозь зубы.

И опять никто не отвечал, все исподлобья смотрели на капитана Мамыкина и трех младших офицеров, его спутников.

Спросить унтера Коробченко? Но это значит — выдать его, потерять на дальнейшее преданного человека.

— Что ж, бунт? Ослушание? — сползли набок губы капитана. — Бунт на позициях... перед лицом врага, в военное время?!

— Никак нет, — разжался чей-то рот, и капитан Мамыкин повернул голову на этот сорвавшийся возглас.

— Приказываю сказать, кто принес эту немецкую дрянь!

Солдат молчал.

— Какая сволочь дала?! Иначе — к повешенью!

— Не могу знать, ваше благородие.

И, как сейчас, в сквере, заныли тогда на спине все позвонки, и как будто что-то тяжелое прыгнуло на плечи Мамыкина, обхватив и запрокинув его голову. Необходимо движение, нужно что-то делать, делать, делать...

— Твоя фамилия?

— Ананьев Ляксе́й, ваше благородие.

— Два шага вперед... арш! Подставь маску!

У маленького, низкорослого Ананьева картофельное бугристое лицо с растянутым, лягушечьим ртом и чуть покривившимся, съехавшим на сторону тупеньким носом, а глаз его не разобрать Мамыкину при таком хилом освещении. Да, впрочем, они упрятаны сейчас у всех этих «идолов», — возмущен капитан, — и смотрит на него, — чувствует, — звериным взглядом. Эх, тем проще все дело!..

— Подставь маску!

И он вдруг ударяет по незащищенному лицу Ананьева — звонко, коротко, всей затянutoю в перчатку ладонью.

— Не смей!

Гулкое многоголосое бормотание под низкими сводами.

— Что-о-о?.. — схватился за кобуру Мамыкин.

— Я!

Тот, кто крикнул это, выскочил из рядов вперед, закрыв собой покачивающегося Ананьева, и очутился перед Мамыкиным: скрипят зубы, быстрый тик под глазом, дрожит колючая бровь.

— Я принес листовку... слышите вы!

— По форме разговаривать! Молчать! Изменник ты, шпион немецкий!

— Никак нет. Никогда им не был! А бить солдата — это...

— Молчать! Смир-рно!.. Фамилия твоя?

— Николай Токарев. Могу дать объяснения.

— Не требуется. Унтер-офицер Коробченко! Утром же доставить его под конвоем в штаб! Там поразговаривает...

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие.

...И помнит капитан Мамыкин: вышел со своими спутниками из блиндажа, а вдогонку им понеслось угрожающее, ненавидящее:

— Паразиты!

— Перестрелять паршивых хомяков в поле до единого! Племя все до пятого колена!

— Хомяки! Гады помещицы!

— Вот хрест на мне, вгоню пулю... и срока не потребую!

— Вдарю под микитки — черной кровью своей залется за слезу солдатскую!

Возвратиться? Начать стрелять? Навести порядок? Спутники оттащили его назад.

Придя в свой сруб, опущенный в землю, он выпил для успокоения полстакана спирту — и почти без закуски. Расправил клочок отобранной измятой прокламации. Машинописные строчки изрядно стерлись, но он с непонятным для самого себя упрямством старался сейчас разобраться в них мутными, слезившимися глазами.

На уцелевшем клочке было:

«Каждая нация,— сказал Жорес за несколько дней до своей смерти,— неслась с горящим факелом по улицам Европы. Уложив миллионы людей в могилу, повергнув в горесть миллионы людей, превра...» — дальше было оборвано.

А на оборотной стороне бумажки он прочитал:

«Вы, народ, трудящиеся массы! — вы делаетесь жертвами войны, а между тем эта война не ваша! В траншеях, на передовых позициях находитесь...» — и опять не было конца, но и так многое было уже понятно капитану Мамыкину.

— Сакранунем-базрам! — дико заорал он, и никто не уразумел, что означает это нелепое, бессмысленное слово, да и сам он не знал, откуда это появилось. Как-никак он выпил полстакана спирту!..

Утром внезапно бросили полк в атаку. Была «рубка», в какой давно не приходилось участвовать. «Смешались в кучу кони, люди...» — неотступно лезли в голову заученные с детства лермонтовские стихи. И он дрался, не оглядываясь назад, и славно дрался

весь его полк, недосчитавший к вечеру больше половины своего людского состава.

Когда узнал об этом, искренне, хмуρο сожалел о потере, понесенной полком, но из всех солдат, оставленных на поле, вспомнил об одном — и без горечи и без раскаяния...

...Днем, во время боя, шагах в полутораста от себя он увидел вчерашнего врага своего — плечистого, путавшегося в длинной шинели Токарева. Он бежал слева от него, не видя Мамыкина, с ружьем наперевес, изредка припадая на одно колено, — к немецкой проволоке.

Мамыкин видел, как вырос вдруг перед стрелком маленький немец с гранатой в руке, как он замахнулся ею, но почему-то не бросил гранаты, а, отскочив в сторону, быстро поднял обе руки вверх, и пробежавший мимо него Токарев махнул свободной рукой, и маленький немец не упал, а лег на землю, закрыв свою голову.

И тогда... тогда Мамыкин выхватил у кого-то поблизости винтовку, нацелился на зарывшегося в землю, как тушканчик, немца, но внезапно изменил прицел, передвинув его вправо, и выстрелил... Бегущий впереди солдат в длинной шинели задергал плечом, словно поудобней примачивая в походе висящий за плечами вещевой мешок, и, качнувшись, осел наземь.

Мамыкину почудилось тогда, что он слышит скрип его зубов.

«Тьфу! Случится же такая пакость... И какой черт принес эту назойливую цыганку! Пристала бы к кому-нибудь другому, так нет... именно ко мне, собака!»

Он ходил по скверу, стараясь сдержать свои чересчур порывистые шаги, ежеминутно поглядывая на узкий, в сравнении со смежными, четырехэтажный коричневый дом с округлыми башенными выступами. Но нет, — ничего, к сожалению, нового, чего так желал и ждал, он не заметил еще.

Опять попались навстречу кадеты; они тянулись перед ним, щелкая каблуками и распрямляя усиленно грудь, как пыжащиеся борцы.

Так повторялось несколько раз. Тогда вдруг капитан Мамыкин подозвал одного из них и сварливо сказал:

— Отставьте! Мы уже знакомы. Или изберите другое место для своего променада! Понятно?

Если бы не дисциплина, кадет бы удивленно пожал плечами: до чего раздражительны стали господа старшие офицеры, — ах ты, боже мой!

Из окна квартиры виден был сквер, часть прилежавшей к нему небольшой круглой площади и коридор продольной улицы, по которой выкатывались на площадь, дребезжа, трамвайные вагоны, разбегавшиеся затем в разные стороны.

Был летний петербургский вечер — трехсветный час: отсвет отплывшего за горизонт, побагровевшего за день солнца, бледноматовая скоба отвердевающей луны, робко глядевшей уже давно с другого конца неба на исчезающее пышное светило, и городской

электрический свет: в магазинах, над подъездами и в квартирах нерасчетливых хозяек.

Людмила Петровна подошла к открытому окну, постояла у него минуту и, посмотрев на часы, быстрым шагом направилась в противоположный конец комнаты, к двери.

Она нашла рукой на стене, за полой раздвинутой тяжелой портьеры, верхний выключатель, повернула его — и под потолком вспыхнул веер красного света внутри фарфорового многоугольного колпака. И она удивилась, как скоро (прошло не больше минут трех) прожужжал на парадной двери двукратный звонок.

Из кухни торопилась прислуга.

— Однако... — улыбнулась Людмила Петровна и, отослав горничную, сама пошла открывать.

— Я с таким нетерпением ждал условленного сигнала... Вашу ручку разрешите?

— Закройте дверь и задерните портьеру, Мамыкин! — сказала Людмила Петровна, возвращаясь вперед гостя в комнату.

— Никого? — спросил он вполголоса, озираясь.

— Никого. Брат с семьей на даче. Но в вашем распоряжении не больше полчаса, Мамыкин, потому что я собираюсь отдохнуть перед визитом. Я вас слушаю...

И Людмила Петровна уселась на оттоманку, подобрав под себя ноги.

## *Глава десятая*

### **ВТОРАЯ ВСТРЕЧА**

Из дома Льва Павловича Федя вышел вместе с Асикритовым.

— На трамвай? — спросил журналист, когда они дошли до угла.

И, не дожидаясь ответа, тронув Федю за рукав, предложил продолжать путь пешком, благо вечер был на редкость теплый и светлый.

— А в такой вечер, — говорил Асикритов, — петербуржцы испытывают потребность передвигаться медленно, неторопливо, отложив в сторону обычные свои заботы, чтобы отдать себя на час-другой прогулке по городу — по его великолепным проспектам, площадям, набережным, чтобы только созерцать его молчаливо и восхищенно.

В голосе Асикритова звучал неподдельный лиризм, и это приятно удивило Федю: до сего времени юркий пучеглазый Фома Матвеевич с неспокойным, дергавшимся ртом рисовался ему замкнутым, колким человеком — насмешливым и «без всякой романтики», как думал о нем. И вдруг — усталый, смягченный взгляд, тихий, успокоившийся шаг, дружеское прикосновение к руке, подкупающий искренностью мечтательный голос, — совсем иным, оказывается, может быть журналист Фома Асикритов!



— Айда пешком! — охотно согласился Федя. — Вам куда, Фома Матвеевич?

— На Ковенский. А вам?

— Я свободен в выборе: у меня тут четверо дядей и одна тетка — ночлег обеспечен. Во всяком случае, мост перейдем вместе. Они свернули на Каменноостровский.

Асикритов был прав: прохожие медленно, не спеша отмеривали свой путь в обе стороны проспекта. Им словно жаль было расстаться с этим классически стройным, неоглядным до конца петербургским красавцем, с этим светлым, неожиданно теплым поужному, подарочным вечером, с нежной своей собственной задумчивостью, с голубым пожарищем на крыше неотъемлемой от проспекта знаменитой мечети, с вознесенной высоко кверху золотой иглой — штыком легендарной крепости двух святителей.

— Ах, какой чудесный этот город! — воскликнул Федя, любясь раскрывшимся перед ним видом. И хотя восклицание показалось самому наивным и, собственно, никак не отмечающим подлинной красоты увиденного, он не смутился на этот раз: и Фома Матвеевич говорит, что Петербург «чудесен», и все прохожие, по всему видно, это чувствуют, да и как сказать иначе об этом «творении Петра»?

— Ну, что вы скажете относительно нового Иришиного знакомого? — спросил Асикритов. — Как вы находите этого бритого, молчаливого скептика с поседевшими рано височками... Как он вам, — а?

— Симпатичен! — поспешил ответить Федя и посмотрел на своего спутника: тот одобрительно покачивал головой. — Он очень располагает к себе, очень приятен.

Ничего больше о нем не скажешь. У Карабаевых Сергей Леонидович был подчеркнуто малоразговорчив, держался в стороне, с Федей обменялся двумя-тремя фразами — и все. Кто точно и чем занимается новый Иришин знакомый, что, собственно, их сдружило и каков характер этой дружбы, Федя так и не знал еще. Но Ириша говорила об этом человеке всегда похвально и с большим уважением.

Оказывается, они познакомились полгода назад в одном профессорском доме, где была вечеринка студентов и курсисток.

Вдовый профессор государственного права и его длиннокосая, общепризнанная красавица дочь («Она настоящая Артемид!» — восхищалась ею Ириша) часто устраивали у себя такие вечеринки. Дочь наизусть знала всего Александра Блока, речи Робеспьера и Марата, профессор неплохо сочинял политические басни и эпиграммы, среди присутствующих находились даровитые поклонники Скрябина и Рахманинова, приверженцы Маяковского, сторонники охаянной всеми супрематической живописи, молодые люди с задатками беллетристов, девушки, поделившие свои симпатии между героической Софьей Перовской и балериной Павловой, вожаки факультетских старостатов и просто милая, вдумчивая студенческая молодежь, попарно снимавшая двадцатирубле-

вые комнаты у хозяек на Васильевском, на Песках, на Выборгской, в Лесном.

По рассказам Ириши Федя живо, без усилий, представил себе и профессора, и его дочь, и друзей их — и старших и младших (в душе он позавидовал, а вслух Ирише посетовал, что живет не здесь, в столице, а в неизмеримо отсталом Киеве) — и как-то не заинтересовался настойчиво, кто же именно такой этот Сергей Леонидович, приятель профессора?.. Ну, хорошо: они встретились там, знакомство продолжается, этот самый Сергей Леонидович раза три бывал в доме Карабаевых — ну, а все-таки... какое место он занимает в числе Иришиных друзей и знакомых? Ведь Федя даже не поговорил еще по душам с Иришей, как бывало раньше, в Ольшанке. Годы, проведенные вдали друг от друга, не прошли бесследно...

И словно только сейчас, бредя по Каменноостровскому, Федя впервые внимательно задался этим вопросом, на который невзначай натолкнул его каверзно ухмылявшийся Фома Матвеевич.

— А я думал, вы ревнивы, — сказал журналист, но так мягко и весело, что Федя не обиделся.

— О нет! К кому же мне ревновать? Вернее, кого же мне ревновать, Фома Матвеевич?

— А я бы «отеллился» на вашем месте! — уже явно поддразнивал Асикритов.

— Ей-богу, мне нечего «отеллиться»! — повторил Федя словечко Асикритова.

Федя хотел уже откровенно растолковать «дяде Фоме», почему ему, Феде, не приходится ревновать, почему должен быть спокоен и уверен в себе, он хотел уже посвятить Фому Матвеевича в свои личные дела, но в этот момент на углу боковой улицы, которую они должны были перейти, остановился — принужденный к тому пробегавшим по проспекту трамваем — открытый серо-зеленый автомобиль, в котором сидели две дамы.

— Здравствуйте, — сказал Асикритов и снял шляпу, неизвестно кого из них приветствуя.

Федя взглянул, и его студенческая фуражка стремительно сорвалась с головы, застыв в согнутой, приподнятой руке.

— Здравствуйте! — сказал и он вслед за своим спутником.

В автомобиле, откинувшись на кожаную подушку, держа в руке нераспустившуюся темно-красную, как кровь из вены, розу, сидела Людмила Петровна Галаган.

Она кивнула обоим головой, а когда после короткой заминки машина двинулась вперед и совсем уже поравнялась с Асикритовым и Федей, Людмила Петровна, высунувшись из автомобиля, быстро вдруг протянула оторопевшему Феде цветок и скороговоркой бросила ему.

— Помните... я жду вашего звонка, Калмыков!

Серо-зеленый автомобиль с флажком Красного Креста выкатился на проспект и помчался к Троицкому мосту.

Асикритов подмигнул Феде:

— Ишь ты, покоритель сердец!.. А я думал, барыньки на Елагин покатыт,— усмехнулся Фома Матвеевич, глядя на убегавший автомобиль.

Федя вопросительно посмотрел на него.

— Почему на Елагин?.. А там сегодня грандиозное «корсо» — большущее гулянье, мой друг. Призы за лучшую шляпу и костюм, за разукрашенные экипажи и авто. За наиболее откровенный цинизм и мародерский размах жизни! — уже выкрикивал журналист, обращая на себя внимание прохожих. — Так почему же таким барынькам не поучаствовать в «корсо»? Почему не попорхать, когда все равно духовная бедность одолевает?! Пир во время чумы, мой друг. Слыхали рассказы Льва Павловича? Чай, и мы не можем бороться, как англичане, с роскошью, расточительностью и легкомыслием?.. Да сбавьте вы, милый, шаг — чего это вы припустили так: догнать автомобиль хотите — не иначе?

«Вот... завел пружинку, заворчал...» косился на него Федя. — Какого черта он придирается к ней, в самом деле! — бережно держал он в памяти устремленные на него глаза Людмилы Петровны. — Так вот ты какая... горячая! — думал он о ней. — Вот встре-е-ча! Обязательно позвоню. Завтра же. Непременно. Вот так штука с этой розой! Рассказать кому — не поверят. Ей-богу, не поверят! Ай да Федулка!» — не без самодовольства поощрял он себя.

— Откуда вы ее знаете? — переменял тон Асикритов.

— Мы земляки,— уклонился от точного ответа Федя. — А вы... давно знакомы?

— Я? Всю семью не один год знаю, слава те господи. Старший брат, инженер-путеец, Михаил Петрович Величко — старинный, можно сказать, друг-приятель, чего, впрочем, не могу сказать про Леонида, младшего, — не люблю оболтуса!.. А ту, вторую барыньку: с львиным лицом, казачку шестипудовую с всенародными грудями... знаете?

— Откуда же мне ее знать, Фома Матвеевич!

— Эта королева плоти — протопоповская возлюбленная, приятельница царскосельской б... Вырубовой. Заведует хозяйством в ее Серафимовском лазарете, старшей сестрой там числится. Звать ее Надежда Ивановна Воскобойникова, вдова донского подбесаула.

— Рад познакомиться! — засмеялся Федя. — Пойдите, Надежда Ивановна, говорите?

— Ну да. А что такое?

— Да просто так спросил... влюбился я в вашу казачку! — шутил Федя, пришедший в хорошее настроение с момента неожиданной встречи с серо-зеленым автомобилем. «Помните... я жду вашего звонка, Калмыков!» — повторял он в уме на разные лады эту фразу.

«Надежда Ивановна... так, так...» Он вспомнил теперь сегодняшнее посещение лазарета в Зимнем дворце и узколицего, с зелеными рачьими глазами краснокрестного чиновника: ну да, он, конечно он, называл это имя в суетливо-почтительной, полной

непонятных намеков беседе с вдовой поручика Галагана. Ага, вот что!..

— Как зовут Вырубову? — удивил он внезапным вопросом журналиста.

— Вырубову? Анна Александровна, — ответил тот.

— Я так и подумал.

— Чем сия весьма недоступная для вас дама обязана вашей заинтересованности в ней, мой друг?

— О, ничем, Фома Матвеевич!.. Мое дело будет в шляпе, уверяю вас. С осени — я в Петербурге!.. В Петербургском университете.

И он вспомнил вновь краснокрестного чиновника, взволнованно, запыхавшись докладывавшего на набережной: «Обе... Надежда Ивановна и Анна Александровна просили... Обе». Ну, теперь он знал, что, пожелай только, — вдова поручика Галагана без всяких трудностей выполнит просьбу о нем Георгия Карабаева. А тут еще... настойчивое приглашение Людмилы Петровны и эта роза (что-то же да означает она?!), — нет, не должно быть никаких сомнений: «Черт возьми, такие связи у нее!..»

— Фома Матвеевич, — предложил он вдруг, — а не поужинать ли нам вместе где-нибудь?

— А я и сам о том подумал, мой друг. Недалеко и ходить! — И Асикритов, когда прошли мост, повел Федю к Летнему саду: отбрасывая свет на торцы набережной, услужливо поджидал прохожего невольский поплавок.

— Тишкинский, — рассказывал Фома Матвеевич, — знаменитых рестораторов Тишкиных поплавок... Пошли.

— Ну, конечно! — ответил Федя.

Он очень любил ресторан и ресторанныю музыку.

## *Глава одиннадцатая*

### РАСПУТИН

Он был таким же, каким увидела его впервые Людмила Петровна в Серафимовском лазарете вечером, в комнате Воскобойниковой: в голубой шелковой рубашке, вышитая золотыми нитями застежка у ворота — «Н П», буква царя, — в плисовых широких штанах, в мягких, на низком каблуке сапогах с лакированными зеркальными голенищами.

Коренастый, с прямыми, четвертьаршинными плечами, темно-каштановая расчесанная борода с легкой кое-где искрой седины, небрежный, смятый пробор, разделяющий посередине легкие, тонкие и длинные волосы на вытянутой кверху голове, — Григорий Распутин, встав из-за стола, протягивая вперед руки ладонями вверх, словно готовился поднять или уже нес что-то на простертых руках, медленным, неслышным шагом пошел навстречу.

— Ну, пришла, милая, гордая... Ну, уважила... Не сердись только, не серчай, дусенька, — заговорил он, обхватив за плечи и целуя в висок.

— Я не сержусь... не сержусь,— уходя из его объятий, сказала Людмила Петровна, бегло оглядывая комнату, куда ввел ее и спутницу встретивший у входа хозяин — незнакомый доселе инженер Межерицкий.

Воскобойникова прильнула губами к руке Распутина, он перекрестил ее и поцеловал в лоб.

— Звонила ты утрием... не знал, чем порадовать, а вот Иван скажет тебе: сударь твой через день-другой выезжат домой... сюда выезжат из шведской столицы,— и он через плечо кивнул на стоявшего сзади человека с бритым и напудренным актерским лицом, пухлым и улыбающимся.— Поговори с ней, успокой, Иван Федорович.

— Имею достоверные сведения,— сказал, подходя к Воскобойниковой, Иван Федорович,— дня через два-три можете ждать сюда Александра Дмитриевича Протопопова.

— Лады, лады,— громким, густым контролем отозвалась Воскобойникова и пошла здороваться с сидевшими в комнате. Их было немного, и Людмила Петровна мельком оглядела всех: благообразный еврей-брюнет в темном костюме; какая-то кругленькая молодая женщина в розовом, с шелковой муфтой в руках — муфту все время держала на животе, пряча свою беременность; благочестиво улыбающийся генерал: раструб седой головы, напялил все ордена, обвесился медалями во всю грудь, как министерский курьер; узкий, гнущийся, необыкновенно длинный — в полтора человеческого роста — молодой человек в желтом клетчатом жакете; пожилая смуглокожая, с остро торчащим, как долото, подбородком горбоносая дама, еще другая лет тридцати, рыжая красавица в светло-сером легком платье, в белом берете с наколкой — золотой молнией-иглой; широкогрудый морской офицер в накрахмаленном белом кителе и с черной повязкой на одном глазу и еще какой-то толстый, низенький мужчина в бутылочного цвета костюме, с всклокоченной, выющейся пепельной бородкой и темными, но разными глазами.

— Садись, милая, гостьей будешь,— сжимая локоть Людмилы Петровны, вел ее Распутин к столу.— Заждались тебя, лебедь мой. Садись, садись... Все мы гости тут у него... у этого енжинера. Гости мы,— а, енжинер? .

— Уж такая честь моему скромному дому, Григорий Ефимович...— И голая, безусая губонинская губа подернулась кривой тенью сдержанной улыбки.— И счастлив, Григорий Ефимович, доставить приятное вам и вашим друзьям. Прошу, господа, к столу, прошу.

Людмила Петровна очутилась между Распутиным и старым генералом, круглый стол позволял видеть и всех остальных,— а это так важно было для нее сегодня!

Все время помнила разговор с Мамакиным: «Может случиться, что кому-нибудь из «наших» тоже удастся попасть туда. Но вы оба друг друга не будете знать: нельзя, нельзя без конспирации в таком деле!.. А дело...»— И капитан Мамакин быстрым

жестом (пальцем перерезал горло, пальцем другой руки рубя за-тылок) показывал, что за рискованное дело такое: или — или...

«Удалось попасть или нет? — не без любопытства всматривалась Людмила Петровна в лица присутствующих. — Вот авантюра!» — другое слово и не приходило на ум.

— Ешьте да пейте, — принял Распутин из рук горбоносой пожилой поклонницы бокал кагору. — Смирись, княгиня, да всем налей. Дусеньке моей налей, лебедю моему гордому, — и он положил руку на колено Людмилы Петровны, погладил его, но тотчас же снял руку и перекрестился ею: — Господи, ты сам выбрал и нас выбрал из глубины греховной в чертог твой вечный живота.

Кругленькая беременная женщина в розовом, краснея и только на него одного глядя в упор мигающими, кроткими, как у телят, глазами, молитвенно повторила:

— ...в чертог твой вечный живота. Еще, отец, еще...

Она по-детски жалобно открыла, показывая фарфоровую, кукольную дужку мелких зубов, пухленький чувственный рот.

— Я не слыхала такой молитвы, — сказала Людмила Петровна. («Вот позлю тебя, черт бородастый!») — Это вы выдумали, Григорий Ефимович?

— Сотворю в силе своей, мне господом нашим данной, для каждого, — отозвался тихим сипловатым говорком. — Хошь, и для тебя, блудной да гордой, сотворю?

Вокруг стола обежал короткий стесненный смешок. Бесстрастными остались длинный молодой человек в клетчатом жакете да благообразный черный еврей, сидевший напротив, — и опять вспомнилось Людмиле Петровне мамыкинское предупреждение: «Может быть, кто из них?»

— Хошь, сотворю?

Такова была манера: повторять дважды одно и то же последнее слово.

Близко-близко от себя Людмила Петровна увидела широкий проковырявленный оспой нос, синеватые, узкие, как графитная черта, губы Распутина, запрятаные под покровом мягких усов, и маленькие выгоревшие глаза со вздрагивающим желтым узелком на одном из них — правом. Темная морщинистая кожа, словно недавно обветренная и спаленная в пути под солнцем, складывалась теми длинными и узкими бороздами-лучами, какие видно на всех крестьянских преждевременно состарившихся лицах.

— Вишь, кака ты супротивна... супротивна, лебедь мой!

И громко уже, чтобы все слышали:

— Ерзает круг тебя ерники-то, — видать мне. Гони ты их к... (Никто, кажется, не смутился.) Ерник и в корне кривулина — знаешь? Кака не сведуща ты, лебедь мой: от ерника балда, от балды шишка, от шишки ком, а черт ли в нем, — а?

— Черт здесь! — рассмеялась Людмила Петровна и заметила испуганные, укоризненно смотревшие лица горбоносой княгини и беременной розовой дамы.

За светлой оболочкой выгоревших, притаившихся глубоко

глаз, скошенных в ее сторону, Людмила Петровна увидела скользкую, бегающую, как ртуть, мутную искорку распутинского взгляда — такого хитрого и лукавого («мужик, одурачивающий бар», — подумала), что стало вдруг искренне весело. Она подняла свой бокал и, толкнув плечом «старца», объявила:

— Пью за черта, господа. Знаете ведь: черт Ваньку не обманет — Ванька сам про него молитву знает! И еще какую!.. Разве не так, Григорий Ефимович?

И она быстро, по-мужски, осушила бокал, уже не глядя ни на кого. А лица вытянулись почти у всех по шестую пуговицу!

— Дурачиться в таком обществе — сомнительный поступок! — прокартавил кто-то за столом.

— Ишь ергочут! — сипло прикрикнул Распутин. — Будя, говорю, — слышь?.. Гм, про черта вспоминала... Ей в церковь ходить — вот совет дайте... вот што, в церковь, говорю я!

— Верно, верно, отец, — кротко поддакивала беременная дама, не спуская с него взгляда. — Наставьте нас, отец, на истинный путь совести.

— Тебе вредно волноваться, Катрин, — угрюмо, но заботливо сказал ее сосед в желтом клетчатом жакете, и только сейчас Людмила Петровна поняла, что это — муж.

— Совость всем без языка говорит про свой недостаток. — Распутин ткнул пальцем Людмилу Петровну в грудь. — Всем надобно поглядеть на нее, тут никакой грех не утаим и в землю не закопаем. А всяк грех — что пушечный выстрел: все узнают... все! О, какой обман, кака беда! — скажут ей, и взглянут, и увидят.

Теперь он говорил тихо и медленно и, полужакрыв глаза, смотрел только на застывшую в одной позе беременную Катрин, откинувшуюся на спинку стула.

— На море всем видна болезнь, а на берегу неведома никому, — нешто не так с каждым? Человек потеряет образ сознания и ходит — туман руками разгонят. Царям говорю про то же... Слушают меня, и бог с ними... Боже, говорю, дай тишину душевную! Ты чиста, чиста ты теперь, Катька — мать вскоре, но без церкви не проживешь, она до всего доспевает, церква-то... А ей (ткнул опять в грудь)... ей раньше приходиться надобно ко мне — она сама знает теперь... А Катьке просить бога, бога просить следоват, чтобы дал терпение, а потеря земного — подвиг велик, говорю я... В киевскую лавру поезжай, бывает хорошо там. Когда опускают мать божью и пение возносится «Под твою милость прибегаем» — знаешь? — то замирает душа, и от юности вспомнишь свою суету сует... и пойдешь в пещеры, и видишь простоту: нет ни злата, ни серебра, одна тишина дышит, и почиват угодники божии в простоте без серебряных рак — только простые серебряные гробики...

Короткая пауза, все молчат, и только генерал с орденами во всю грудь, подумав, вероятно, что проповедь окончена, крикает: «Н-да-а!» — и обращается к соседу с всклокоченной вьющейся бородкой:

— Выпьем, друже, под осетринку. Нам, православным да военным, всё нипочем: был бы ерофеич с калачом!.. Вон того, друже, ерофеича... с травинкой!

— И помянешь свое излишество, которое гнетет и гнетет и ведет в скуку,— к смущению генерала, продолжал «старец».— Горе мятущимся и несть конца! И всяка блудница скажет: бес в друге, а друг — суета. И всяка блудница, замолвив грех, скажет: господи, избави меня от друзей — и бес ничто!.. Царям про то говорю. Папа слушат меня, и мама слушат, и добро смуту покроет, и добро станет.

— Здоровье его императорского величества! — воспользовался случаем неудачливый генерал и, встав, опрокинул в рот своего любимого «ерофеича» и закусил корнитоном, еще заранее приготовленным для этой цели.

— Приехал генерал наниматься... да шапку ломат! — усмехнулся Распутин Людмиле Петровне. — Язык коричневым выкрасился, бо ж... лижет с превеликим усердием, а борода, вишь, не запачкана... серебряна борода!

— А почему, если «наниматься», то — к вам? Вы не военный министр и не командующий.

Он рассмеялся мелким, разливающимся всхлипом и показал пальцем на вышитую золотыми нитями застежку своего ворота с буквой царя.

— Енерал уважат меня! — подмигнул он. — Понимашь?.. Ну, откушай, лебедь, ну, угощайся. Беседа у нас с тобой еще будет, — охота мне с тобой.

И он сам принялся за еду. Нож и вилка оставались нетронутыми: он все брал руками, обеими сразу, и отирая их о скатерть. Скатертью же утирал губы.

«Пропало платье!..» — брезгливо и сокрушенно подумала Людмила Петровна, почувствовав вновь на своем боку и колене его скользящую и ощупывавшую руку, только что возившуюся с плававшей в масле сардиной.

Он клал все на одну тарелку, — рыбное, мясное, овощи, пирог.

И когда отодвинул ее от себя, горбоносая княгиня, встав, через весь стол протянула к ней тонкие свои, матовые, со склеротичными венозными прожилками мягкие руки, схватила ими тарелку и, поставив ее перед собой, невозмутимо и сосредоточенно стала рыться в остатках распутинской еды, съедая кусочки балыка, подбирая крошки от пирога, прожевывая недоеденный огурчик.

— Всегда так... — улыбнулась одним глазом Воскобойникова, взглянув на Людмилу.

Но когда подали фрукты и сладкое, она обратилась к Распутину:

— Отец родной, из твоих рук бы яблочко!

— На, грудаста! — И он надкусил ранет, оставив на румяной коже мокрый след своих зубов, и протянул Воскобойниковой.

— Мне и мне!.. — по-ребячьи стонала, просила беременная женщина.



— Не жаль, — на!

Он надкусил второе яблоко, потом третье таким же образом и протянул яблоко рыжеволосой, в светлом берете, сидевшей рядом со снисходительно все время усмехавшимся Иваном Федоровичем. Она взяла яблоко, хотя и не просила его, и положила на тарелочку.

— Брезгаешь, сука! — заметил Распутин и бросил в нее фруктовым ножиком, но не сердито, беззлобно.

— Григорий Ефимович, время идет... — перестало улыбаться, а на миг даже нахмурилось бритое, актерское лицо Ивана Федоровича: он о чем-то напоминал, очевидно.

Вокруг шеи Людмилы Петровны легла вздрагивающая рука в голубом шелку.

— Она хороша, настояща... знаю, что хороша. Ты ходи ко мне, ходи. Я тебе все докажу — понимаешь? Первое — любви! Наставлю, как и што. Знаешь што... покайся — и радость опять твоя...

— В чем же мне каяться?

— Ну... мало ли в чем! — весело прищурились кругленькие глаза Ивана Федоровича. — Знаете, быват так, — копировал он «старца». — Быват так в жизни каждого: либо в стремя ногой, либо в пеня головой, как мудро сказано.

«Кто он? Отчего вдруг ввязался в разговор? Что такое... о, кажется, на что-то намекает... неужели же... — И неожиданная мысль, от которой вздрогнула, пришла Людмиле Петровне. — Нет, не может быть... откуда он может знать про Мамыкина?»

— Не встревай! — прикрикнул «старец» на Ивана Федоровича. — Бес в друге, а друг — суета, говорю я... Приходи, лебедь, и царство божие сладкими скорбями наследуешь.

Он обхватил ее, крепко сжал, заглядывая своими ртутными глазами в ее зрачки, и поцеловал в губы, но легко, бесстрастно, не пошевелив их, — и Людмила Петровна удивилась столь внезапной смене ощущений.

— Говори, — он склонил голову немного набок, как священник в час исповеди, — стих церковный знаешь?

— Знаю. Православная.

— От юности моя мнози... знаешь? От юности моя мнози боют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой. Понимашь?

— Ну, и что же?

— Постой, постой... ах, как тороплива-то!

Он прижался к ней, щекой к щеке, и зашептал:

— Я тебе все докажу... все. Спасу, дусенька.

— А от чего, собственно, спасать меня?

— Тс-с-с... он моги́т услыша́ть!

— Кто? — уже невольно шепотом спросила Людмила Петровна.

— Все докажу. Хошь... выдь со мной!

— Куда?

— Туда. — И он показал глазами на полуоткрытую дверь в соседнюю комнату.

— А он пойдет? — спросила Людмила Петровна, никак не догадываясь, кто такой этот «он».

— Не посмет!

«Чего он хочет от меня?..»

Впрочем, она могла предположить его желания (он был откровенен с первой же встречи), но «...неужели же он посмеет, когда тут сидят все! — подумала Людмила Петровна, не зная, что ему ответить.— А все-таки, о ком он говорил?»

— Иди, когда покличу.

— Не сейчас, значит?

— Не, когда покличу,— повторил он и, поцеловав в лоб, отвернулся от нее и вступил в разговор с другими.

— Я давно не видела, чтобы кто-нибудь пришелся ему так по душе, как вы, Людмила,— говорила ей Воскобойникова, отозвав к дивану.

— По душе...— усмехнулась Людмила Петровна.— У них в деревне это иначе называется... ха-ха-ха!.. «По душе»!.. Мнози борят мя страсти... слышали, как он говорил? Слышали?

— А вы его не злите, Людмила!

— Еще не того дождется!

— Что ж... вы для того и поехали сюда?

— Нет, конечно... Просто любопытно!.. Надежда Ивановна, скажите мне, кто этот явный иудей с неумным лицом, с бриллиантовыми кольцами на руках? Он все время молчит и усердно ест.

— Не знаете? Но ведь это Симанович! Бессменный личный секретарь Григория, правая рука по всем делам. Между прочим — большой ювелирный магазин на Владимирском.

— Вот оно что! А тот, что целует... смотрите!.. в ушко рыжеволосую, у которой вид греческой Лаисы?

— Иван Федорович? Ну, неужели и его не знаете?!

— Откуда же?!

— Иван Федорович Манасевич-Мануйлов.

— О-о!..— воскликнула Людмила Петровна и вспомнила опять мамыкинские разговоры.— Аферист... сторукый и стоязыкый петербургский Рокамболь!

— Что вы, Людмила! — схватила, ее за руку Воскобойникова.— Вы много, кажется, выпили... Он очень милый и полезный человек. И к тому же ближайшее доверенное лицо премьер-министра Штюмера.

— А кудлатый, с грязной бородкой... у которого глаза разные?

— Вот этого не знаю. И лейтенанта не знаю. А не все ли вам равно. Людмила? Каждый пришел сюда по своему собственному, личному делу. Каждый пришел за помощью к Григорию.

— Но, кстати, почему сюда, а не на его квартиру?

— Случайная житейская причина: эти дни у Григория Ефимовича ремонт в квартире на Гороховой. Я ведь вам уже рассказывала, Людмила!.. Вы очень рассеянны, голубка, или... очень много выпили.

Пожалуй, она действительно выпила сегодня больше, чем

следовало. Это была неосторожность с ее стороны, от которой предостерегал все тот же Мамыкин.

Она могла оказаться не в меру разговорчивой, болтливой и тем,— случайно, может быть,— навредить своим друзьям и себе самой.— Людмила Петровна озабоченно подумала об этом.

В тот час, когда Людмила Петровна находилась на Ковенском переулке, в квартире «инженера Межеричского», а Федя Калмыков ужинал с журналистом на тишкинском поплавке, на водах Большой Невки неторопливо плыл, ничем не выделяясь среди других, светло-голубой моторный катер, держа путь от Аптекарской набережной к Гренадерскому мосту.

На катере находилось четверо мужчин (трое в военном, а один в цивильном платье). Они сидели вплотную друг к другу, занятые оживленным разговором.

Вернее, говорил больше всего «штатский», пыхтя от одолевшей одышки. Это был жирный, тяжелый, трехподбородый человек ниже среднего роста, с загнутой узкой эспаньолкой, с темными подстриженными усами во всю губу; прическа — ежиком, глаза темные, смеющиеся светлячки.

— И вот,— продолжал свою речь толстяк.— Я, думаю...

— Позвольте, кому поручено охранять Распутина?

— Погодите, Мамыкин!.. Вы помешали Алексею Николаевичу.

— Нет, отчего же, господа! — возразил рассказчик.— Вам следует это знать. Без этого дела не сделаете. Вы — офицеры, и вам нужно ясно представлять дислокацию, так сказать.

Он стряхнул за борт пепел ароматной дымившейся сигары, громко посапывая, сделал затяжку и продолжал:

— Наблюдение — дело охранного отделения собственно. Но они все проверяют друг друга. Начальник департамента полиции, например, не верил охранному, а дворцовая полиция не верила им обоим... Потом охранные автомобили, которые всегда Гришку оберегают. Затем знаете, «секретари», целый штат охранников! Секретари там у него по очереди дежурят. В последнее время к нему двадцать четыре агента было приставлено. Один из секретарей — жид Симанович, другой — Волинский был, затем бывший инспектор народных училищ, Петушков по фамилии: пренеприятный субъект с разноцветными эдакими, блудливыми глазами, с всклокоченной такой бородкой. На него дело было: приводил к себе на квартиру учениц... капли давал, а потом... и того! Эти секретари при нем постоянно. Я задался целью выяснить: кто из них «политикой» занимается, а кто другими делами.

— Мародерством!

— Так точно. Я успел обыскать их всех. У кого двадцать — тридцать дел — самых грязных дел! — было для проведения. В особенности у этого инспектора народных училищ и у Симановича. Запечатанные конверты с письмами Распутина такого со-

держания: «Милой, дорогой, сделай...» А по какому делу — не сказано. Эти письма могли ходить без его ведома.

— Это очень на руку, я это знал! — сказал Мамыкин и подтолкнул локтем своего соседа-офицера.

— Да-а, письма без адреса, — секретари ими промышляли. Для самого грязного свойства! Например, история помилования ста дантистов, которая дала секретарю около ста тысяч, а Гришка жаловался, что получил только шубу енотовую да шапку. Врет, каналья! Когда я начал обыски, то получил вдруг приказание прекратить их.

— Приказание?.. Вам? Министру внутренних дел?

— Да, мне.

— От кого же?

— Привез мне Губонин такой... восходящая звезда в охранном. Привез от Вырубовой письмо, что, мол, императрица повелевает мне не делать ничего такого, что могло бы понапрасну расстроить «святого старца». А через день заехал ко мне сам Штюрмер с тем же и потребовал это письмо обратно.

— И вы отдали?

— Отдал.

— У вас не сохранилась копия его, Алексей Николаевич? Ах, жаль, что отдали!

— Поверьте, это было не так просто! Когда я это письмо получил, то по привычке (если неприятное письмо, то я его всегда рву) — прочел, разорвал и бросил в корзину. А когда с меня стали его требовать, я говорю, что у меня его нет. Но, к счастью, оно в корзине нашлось, так что его пришлось подклеивать... Они думали, что я смогу шантажировать, и требовали вернуть письмо. Страшный труд — подклеивать, господа! Но иначе могли не поверить. Говорит мне Штюрмер: «Вы спрятали его. Покажите! Такой важный документ, боже мой...» Пришлось отдать. Зато у меня другой документик припрятан. Не здесь — в деревне у себя храню на всякий случай. Я об этом вам рассказываю, господа, как дворянин дворянам, не правда ли? Вы должны иметь представление обо всем.

— Да, да, мы должны иметь представление обо всем, — в один голос отозвались трое военных.

— У меня есть копия нотариальных бумаг: сделка, господа, с продажей земли в пограничной полосе немецкому заводу Штрауха. Ай-ай-ай... кто же продал! А продал всего лишь год назад не кто иной, как сам Борис Владимирович Штюрмер — премьер, глава правительства!.. И при помощи своего наперсника Манасевича-Мануйлова! Имелись сведения, что царица знала это и благословила.

— Всех на виселицу, все подкуплены немцами! — глухо сказал один из офицеров и крепко-крепко выругался при общем сочувствии.

— Ох, немцы! — подхватил словоохотливый толстяк. — То ли еще, господа, творится?! Распутин...

— ...Он очень удобная педаль для немецкого шпионажа. Хотя я его не улавливал в этом деле, но логически мне казалось всегда, что он шпион... Не сознательный, возможно, но безусловно подходящий «инструмент» для немецкой разведки. Через него очень легко узнавать, что делается в Царском... Вот вам факт... извольте, господа. Гришка ездил в Царское, а Рубинштейн Митька дал ему поручение: узнать, будет ли наступление или нет... Причем Рубинштейн объяснил близким, что это ему нужно для того: покупать ли в Минской губернии леса или нет... Потому что если будет наступление, значит, можно покупать, а если не будет — деньги в другую сторону можно повернуть. Понимаете?.. Гришка очень хорошо выполнил шпионское поручение и получил от приятеля неплохой куш. Он же сам рассказывал... «Приезжаю, говорит, в Царское, вхожу: папашка сидит грустный. Я его глажу по голове и говорю: «Чего так?» А он отвечает: «Все мерзавцы кругом! Сапог нет, ружей нет — наступать надо, а наступать нельзя»... И государь привел факт: рассказывали ему, будто бы часть войск — полк — приводили представляться, а полк проходил в новых сапогах. Затем проходил другой полк — тоже в новых сапогах. Оказывается они за пригорком переобувались! Пара сапог на двоих солдат! Царь просил проверить это. Оказывается, все верно. Вырубова — та все знает и тоже говорит: «Ах, верно...» Ну, так вот, государь говорит: «Наступать нельзя», — «А когда будешь?» — спрашивает Гришка. «Ружья будут только через два месяца: раньше не могу. Ружья французы обещали, а пока не дадут — не могу».

— Кроме того, что вы нам рассказывали, Алексей Николаевич, вы не вспомните еще каких-либо фактов?

— Еще?.. П-пф-фу... мало ли что можно еще вспомнить, господа! Ведь в моем распоряжении... хм, в моем распоряжении были такие штучки... хм, было!

Он бросил на воду недокуренную сигару и торопливо, словно кто-нибудь мог помешать ему сейчас, продолжал:

— Всею России известно, как я боролся, когда имел власть, с немецким засильем. И я нажил врагов... я, правый человек, русский роялист... эх, господа! Против меня все эти челядинцы: Распутин, Штрюмер и другие... А с чего это началось? Когда я был еще в Думе, то обратил внимание на историю воссоздания русского флота... Мое внимание обратила на себя ревизия сената Нейдгардта... После моей речи о синдикатах я имел случай получить от одного лица всеподданнейшую докладную записку Нейдгардта — сводку о данных его ревизии. В этой записке он указывал на существование синдиката судостроительных операций, который образовало «Общество русских судостроительных заводов» вместе с различными немецкими фирмами: например, Виккерс и другие... Смысл этого синдиката, господа, был тот, чтобы отдельные фирмы не могли брать дешевле тех цен, которые назначит это судостроительное общество, причем в синдикате было сказано совершенно откровенно: прибыль — ровно рубль на рубль! Каково?.. При таких условиях, рубль на рубль, можно построить не сто кораблей.

например, а только пятьдесят. Кому это на руку — вы понимаете. Тут дело пахло военным судом, если быть честным и не смотреть на эту компанию покровительственно. Финансировал их «Международный банк». Тот самый, который, говорят, обещает сейчас Протопопову деньги на газету... заметьте это, господа! Патенты на оборону, патенты на миноносцы — все банку было известно в лице определенных лиц. А такими лицами оказались немецкий банкир Ландсгаузен (главный пайщик!) и австрийский подданный Заруба — удавший шпион, который частенько бывал у Распутина... Э, не все, не все еще, господа! — воскликнул толстяк, заметив, какое сильное впечатление производит его рассказ. — П-ф-ф... а что еще было! Меня, например, интересовали электрические предприятия. Я был министром внутренних дел, — ну как же мне не интересоваться было всеми этими махинациями?! И вот мне агентура давала справки: когда заказывали фирме «Сименс и Гальске» и они в срок не исполняли, то неустойка с них не взыскивалась, а перекладывалась на дальнейшее. Когда же русские фирмы пробовали выполнять такие же заказы и запаздывали, с них взыскивали, строго взыскивали, а заказы отбирали. Я пробовал вмешаться. Тогда один человек из кружка Бадмаева и Распутина пришел ко мне и говорит: «Вы, Алексей Николаевич, не в свое дело вмешиваетесь. Вы вылетите вон, потому что пошли дурным путем». Я только рассмеялся, а недели через три показывают мне одну немецкую газету, а там пишут про меня, что скоро я уйду в отставку, что при дворе мной недовольны и всякое такое. И, правда, вышло так, как вам уже известно! П-п-ф-ф... я так разволновался господа... Я до сих пор страдаю от этой несправедливости... Вы знаете... у меня ведь такое больное сердце... Вы сами, вероятно, догадываетесь...

Он замолчал, свесил голову, и тогда жирный, трехскладчатый подбородок его и свисающие, как опора, свиные щеки переползли через накрахмаленный стоячий воротничок, целиком почти закрыв его, и лицо, на котором уже не было видно сейчас опущенных долу всегда посмеивающихся, поблескивающих глаз, смертвилось, потухло.

— Вы не волнуйтесь, — сказал молчавший все время офицер в пенсне с модными квадратными стеклышками, с крылатыми рыжими бровями и нафабренными торчащими усами в «унтер-офицерскую» стрелочку. — Возмездие, Алексей Николаевич, скоро придет. Смыть позор с царского дома, вот что надо!

Он переглянулся со своими друзьями, и капитан Мамыкин вслед за ним повторил:

— О, возмездие придет... Собака получит собачью смерть. Не сегодня, так завтра, но это случится, — поверьте князю, Алексей Николаевич!..

Бывший министр поднял голову.

— Что вы хотите сделать, господа?

— То, что не удалось вам, ваше превосходительство, — вежливо, но чуть-чуть насмешливо ответил офицер в пенсне.

— Это не так мало! — усмехнулся толстяк. — Я все понимаю... Помогите вам бог, господа. Русские люди скажут вам от души «спасибо».

Бывшего министра Хвостова высадили у причала Петровской набережной.

Он сошел на берег в сопровождении одного из офицеров, то-ропливо, необычайно легко сбегал по трапу, семена коротышками ногами, — тяжелый, весь налитой жиром, бочкообразный, с апоп-лексически раздутой шеей.

— Ванька-встанька! — сказал о нем князь, хозяин катера, — А под Гришку все-таки лег. Тоже, знаете, скажу я вам, типус! Нанималась лиса на птичий двор... беречь от коршуна!.. Ну, вас куда теперь, капитан?

— Наискосок! — указал рукой капитан Мамыкин на ярко освещенный вдаль, тихо покачивающийся поплавок.

Катер, перерезав Неву, взял курс к Летнему саду.

## *Глава двенадцатая*

### НА ТИШКИНСКОМ ПОПЛАВКЕ

Музыка играла почти непрерывно. Мягко ступая, с подносами в руках, раскачивающейся походкой канатоходцев, налетая друг на друга, но не сталкиваясь и не задевая никого из гостей, шмыгали между столиками татары-официанты в белых передниках. Теплой, густой струей шел запах кухни. Хлопали лов-ко выдернутые из бутылочных горлышек пробки, звенело стекло бокалов и рюмок, стучали ножи и вилки, — поплавок жил полной своей ночной жизнью.

— Еще мороженого хотите, Федя?

— Хочу.

Кивок официанту, и через минуту две вазочки — со взбитыми сливками и шоколадным мороженым — были на столе.

— Не будем торопиться, — сказал Асикритов. — Ночевать вы будете у меня.

— Вы думаете, дороги не найду домой? Чепуха! Я совсем не пьян.

— Я и не говорю, что вы очень пьяны.

— А, не очень?

— Не притирайтесь, мой друг! Пойдем ко мне, на Ковенский. Квартира пуста, мои хозяева все на даче, — сможете располо-житься как захочется. От меня позвоните своему дядюшке, чтобы не волновался...

— Уговорили!... — И Федя с благодарностью посмотрел на Фому Матвеевича.

Он чувствовал довольно сильное опьянение, но сознаться в том не желал: в конце концов не так уж много выпили они се-годня, чтобы иметь «право на слабость», иронически усмехался

журналист, и Федя, преодолевая себя, старался не выдать своего состояния.

Как всегда, когда пьянел (а это иногда случалось во время студенческих пирушек), охватывала дрожь и некоторый озноб в коленках; так и тянуло схватить их и сжать цепкими руками; непременно холодными почему-то становились уши, и жесткая сухость ощущалась во рту: она поражала язык, он становился тяжелым, шершавым, трудно было говорить, и все время хотелось пить, пить или глотать что-либо холодное.

Мороженое сейчас совсем кстати, и Федя медленно, расчетливо — маленькими порциями — глотает его, запивая водой.

Ему кажется, что он постепенно трезвеет, да это и в самом деле так. Что ж, можно еще посидеть, понаблюдать публику, не правда ли, Фома Матвеевич? Журналист охотно соглашается: это входит даже в его планы. Он подзывает официанта:

— Один раз лампопо!

Федю смешит это непонятное, впервые услышанное слово, напоминающее почему-то цирковое восклицание эквилибриста или фокусника. А Фома Матвеевич, оказывается большой поклонник этого напитка из холодного пива и меда с лимоном и ржаными сушками. Он пьет его и сам к себе обращается шутливо:

— Рцы ми, о, лампописте, коея ради вины к душепагубному умопомрачающему напою — алемански же речется лампопо — пристал еси?.. Хорош дьякон... а? — смеется он.

Между прочим, и здесь Фома Матвеевич не теряет зря времени: он давно уже вынул из портфеля и выложил на столик ворох сегодняшних газет и записную книжку, бегло просматривает статьи своих единомышленников, политических противников, делает какие-то заметки и одновременно поддерживает разговор со своим собеседником.

Растрепанная левая бровь спускает вниз, на желтоватое веко, один длинный свой, непокорно торчащий волосок. Фома Матвеевич то вытягивает его еще больше, то закручивает его пальцами вверх.

— Вы мне завидовали,— говорит Фома Матвеевич, глотает из кружки свой желтый напиток и крикает, причмокивая.— Это верно: я знаю много и многое. Знаю больше вашего, мой друг. Но постойте, постойте... это ведь чепуха, которая и вам, молодому человеку, вполне доступна. По-одумаешь! Я знаю имена египетских фараонов, начиная с Хеопса, я знаю властелинов средней истории и не ошибусь годами «до» и «после» рождения Христова... во время их больших и малых грабежей! Я знаю легенды о жизни Гватамы Будды, имею представление о пророчествах францисканского монаха из Оксфорда — Рожера Бэкона, или, например, знаю хорошо историю наполеоновских войн. Ну, и что же?.. Все это верно... Я, как и вы, умею извлекать квадратные и кубические корни, помню еще интегральное исчисление и — наизусть — державинскую оду «Бог» и «Мцыри» Лермонтова... Я знаю много и многое, Федор Мионыч. («Отчего это он вдруг по имени-отчеству?» — удивился Калмыков.) Но вот тех знаний, ко-



торые помогли бы мне в поисках ответа на один, главный, всегда стоявший передо мной вопрос: «Зачем все это и для кого?» — этих знаний мне никто не дал, — вот что! Вы понимаете меня, Федор Мироныч?

Теперь Феде нетрудно, конечно, уразуметь, к чему клонит старик.

Старик? На миг Федя и сам удивился тому, что так подумал об Асикритове. Какой же он, в самом деле, старик?.. Лет ему сорок или чуть-чуть больше, походка быстрая, сам он юркий, очень подвижной, Ириша рассказывала, что «дядя Фом» любит при случае поволочиться за женщинами, — так можно ли его причислить к старикам?! А вот слушаешь сейчас Фому Матвеевича, глядишь на него — иного не скажешь.

— ...Нет у меня, друг мой, знаний, нет уверенности, чтобы ответить на вопрос: «Камо грядеши, почтенный Фома Матвеевич?» Чай, не так? Я не один такой на Руси. Ждешь чего-то, все время ждешь, а чего — и сам точно не знаешь и не понимаешь. Жили-были, да с дороги своротили — так про нашего брата сказать можно. Вы первый, может быть, и скажете.

— А почему я? — спросил Федя.

— Молодость, путь только начался, хватка у вашего брата должна быть иная — вот что!

— Хм... «у нашего брата», — встрепенулся теперь Федя. — А знаете ли вы большинство нашего брата? «Молодость... Путь только начался» — эти простые и знакомые слова, испокон века передаваемые как истинное одобрение детям их отцами... напутственные слова эти не всегда предрекают успех, — знает ли о том Фома Матвеевич? Ведь часто отец оказывается моложе сына, — разве не бывает так, Фома Матвеевич?

Возражения свои Федя делал сначала нехотя как будто, спокойно и вяло, ожидая, что вот Фома Матвеевич перебьет его, закусит удила, подстегнутый этим возражениями, но этого не случилось, журналист — словно того только и ждал — быстро принял вид вежливого и внимательного слушателя.

— Посмотрите, пожалуйста, на афиши ваших самых модных петроградских театров! А они переполнены до отказа. В летнем «Буффе» на Фонтанке — похабнейшая оперетка «Их невинность». В Троицком — «Наша содержанка»: фарс из «современной жизни евреев-финансистов» — можно догадаться, какова ценность этих произведений «искусства», — а? В театре «Лин» подвизается шарлатанка, «ясновидящая Люция», предсказательница будущего... Вот духовная пища, которую преподносят и старым и молодым. А что страшно? Ведь многие молодые жрут ее и ни о чем другом и не мечтают, — вот ведь в чем дело!

Всекие «вечерки», захлебываясь, расписывают, что творят «звери немцы», и температура вашего «патриотизма» дает скачок вверх: а молодой «возмущенный» земгусар, сидя в тылу, гневно пристукивает сапогом, любуясь своей шпорой. Он думает заплатить свой долг родине фальшивой монетой звонких фраз, — моло-

дой подлец с недавно полученным аттестатом зрелости, трусливое, благодушствующее существо.

А разве история русских культурных людей не есть настоящая роковая борьба за русское счастье, постоянная жертва, вековая боль за народное страдание? Затерянные в бесконечной русской равнине, среди жизни грубой и грязной, вступили русские интеллигенты в борьбу за великую, счастливую Россию. Бессонные ночи в думах и спорах о родине, безрадостные жизни в служении ей даже на каторге, — разве можно, Фома Матвеевич, без глубокого волнения и гордости вспомнить эти славные страницы русского прошлого?.. Какие недосягаемые образцы нравственного совершенства дали нам наши идейные предки! Что, разве не так?

Помнит ли Фома Матвеевич трогательную историю пушкинского «бедного рыцаря», всю жизнь отдавшего божественной идее? Этот рыцарь невольно вспоминается, когда читаешь историю русской интеллигенции: «Все безмолвный, все печальный, как безумец умер он...»

Да, было безумие в самопожертвовании декабристов, в аскетизме ходоков в народ, в подвижничестве земских врачей и учителей, но это было святое безумие, это безумие было благороднейшей и высшей ценностью русской культуры, которую оставили нам в наследство наши отцы и деды. А мы, молодые земгусары и им подобные, а их немало, Фома Матвеевич, безжалостно, с тупым и грубым вандализмом растрачиваем это наследство до последней идейной копейки, подменив трагический образ «бедного рыцаря» образиной жирного лавочника, с молодости мечтающего о теплом и доходном месте.

Эх, эх, Фома Матвеевич!.. «Песнь торжествующей любви» сменили на песнь торжествующей свиньи, — посмотрите на койкого из сидящих здесь, на вашем прославленном тишкинском поплавке, и вы убедитесь в том.

А России нужны граждане, нужны подвижники, потому что слишком будет тяжела и велика после окончания войны работа для обыкновенного «профессионала»... Наполовину вспаханное историей поле останется невозделанным, неосуществленной — мечта о великой и свободной России.

О, мы не Гамлеты, Фома Матвеевич! Тени замученных отцов не тревожат нас так, как тревожили они благородного датского принца...

Но у той части молодого поколения, к которой причисляет себя Федя, не иссяк еще благородный идеализм. Да, да, Фома Матвеевич... Если эта война не принесет освобождения стране, если понадобятся жертвы и впредь, если придется для служения народу запереться в глуши, уйти от личного благополучия, то нужно принести и эту жертву. Надо доказать, дорогой Фома Матвеевич, что молодежь не забыла заветов революционной и демократической интеллигенции, не стала Иваном, не помнящим родства, — вот оно что!

Маленькие наследники великого наследства — пусть не о нас будут сказаны эти обидные слова!

— Еще раз лампопо! — крикнул Асикритов официанту.

— Еще? Кому же это? — спросил Федя.

— Мне и вам. Освежиться!.. Вам необходимо освежиться, ей-богу! — насмешливо сощурился маленький черный зрачок и отбежал вбок, смерив неторопливым взглядом сидевших за соседним столиком.

Вероятно, не в пример Феде, увлеченному своей речью, журналист уже и раньше обратил внимание на этих соседей. Ничего особо примечательного в них не было, разговаривали они тихо, и мало и больше, как показалось Асикритову, прислушивались к его беседе со студентом.

Их было двое: сухопарый, сероглазый с седыми бровями, наголо выбритый мужчина в сером клетчатом костюме, в таком же сером летнем галстуке, с гладким кольцом на мизинце с длинным розовым ногтем, и средних лет женщина с чуть-чуть раскосыми усталыми глазами, в соломенной, с нависающими полями, шляпе и синем строгом костюме — «тайер».

На столике, покрытом белой, оттопыревавшейся на сгибах и углах, накрахмаленной скатертью, на мельхиоровых блюдах и в судках, — салаты, соусы, вкусно пахнущий гарнир, от которого шел пар, отбивные свиные и бутылка вина. Седобровый и его спутница ели не спеша, — и, пожалуй, ошибся Фома Матвеевич, заподозрив их в чем-то...

Правда, откушав, асикритовский сосед глубоко откинулся на выгнутую спинку стула и теперь сидел очень близко, плечо у плеча, к Фоме Матвеевичу, так, что легко, без напряжения, мог слушать их разговор со студентом. Но, — кто знает, — может быть он и не преследовал этой цели: наблюдать и подслушивать, а просто так удобней было ему сидеть сейчас и смотреть вверх Фединой головы на вход сюда, на веранду? Действительно, сосед Фомы Матвеевича частенько поглядывал на серую полотняную портьеру, висевшую у входа на веранду, словно он поджидал кого-то.

Прихлебывая короткими глотками из бокала, седобровый время от времени обращался к своей даме с односложными фразами, на которые та отвечала так же кратко.

— Просрочка на целый час, Вера Михайловна, — сказал он, посмотрев на часы.

— «Швед» — человек аккуратный, что могло случиться? — Она посмотрела на своего собеседника растерянно, и в ее слегка певучем голосе послышалась досада. — Может быть, подождем еще?

— Но только недолго.

Он попросил официанта приготовить счет.

— Вы хоть немножко, да выпейте, Вера Михайловна! — тише обычного, скороговоркой бросил он ей через столик, и его седые и плотные, как белый гарус, брови укоризненно сдвинулись к переносице.

— Нет привычки! — улыбнулась она, протягивая руку к бокалу с золотистым напитком.

— ...Пейте. Ну, допивайте же остаточек, мой бедный рыцарь! — разглагольствовал между тем по соседству маленький, длиннорукий человек. — Вот так, хорошо! Ваше здоровье, господин российский Дон-Кихот!.. Чепуха, Федор Мироныч! Чепуха! — вдруг выкрикнул он, и, если бы не общий шум, звяканье посуды и надрывающийся квартет музыкантов, выкрик журналиста Асикритова услышали бы во всех уголках веранды.

Но асикритовское восклицание услышали только Федя да сидевший близко сухощавый человек в сером клетчатом костюме, допивавший в раздумье вино: вот теперь, правда, он стал прислушиваться к тому, что говорилось за соседним столиком.

— А в чем чепуха? — озадаченно спросил Федя.

Хотелось поскорей уйти отсюда: ему было не по себе, мучила отрыжка, неприятно сосало под ложечкой. «Что за дурак вифлемский: после сладкого — пить эту дрянь!» — упрекнул он себя и злился на Фому Матвеевича, которого считал теперь виновником своего недомогания.

— В чем чепуха? — переспросил тот. — А в том, что вы тут накрутили, простите меня, дорогой мой! Ну-ну... только не сердитесь, не обижайтесь на меня. Мы ведь с вами друзья — правда?

Фома Матвеевич налег всей грудью на столик, положив глубоко на него согнутые в локтях руки со сцепленными пальцами, и устался на Федю.

— Так, говорите, маленькие наследники великого наследства, а? Хи-хи-хи, — скрипуче захныкал, не сумев засмеяться, Асикритов. — Искусство не нравится, а?.. Песнь торжествующей свиньи?.. Происходит, дорогой друг, происходит... Знаменитый солист его величества Эн Эн (он так и произнес) Фигнер заведует складом имени Алисы, торгует солью из своего имения, купил угольное дело и взял подряд на два миллиона рублей для московской фабрики, которую завел с братом. Околоточные кварташки дома покупают. И где же? В нищенских Миргородах, Нахичеванях, Дмитровках. Феденька, — простите, что я так фамильярно с вами. А заметили? Мальчики уже не бегут на фронт добровольцами, — цы-цы-цы, вот оно что! Вся порция романтики съедена у современных Петек Ростовых. В деревнях солдатики по мужу воют. В феврале, дорогой мой, под снегом, в заносы, шестьдесят тысяч вагонов с топливом, фуражом и продовольствием зарылись, — цы-цы-цы, вот оно что! А пушечки-мамочки такие французские привезли да в Царском поставили, а до фронта и не доехали... Водку запретили, так Россия самодельной ханжой вся повально упивается... ходит пьяный добрый молодец разгульно с шапкой набекрень. И похож сам на бутылку, знаете, с покосившейся, едва заткнутой в горлышко пробкой. Не так?.. Кафе, биржи... ох-ох! На болоте кроншнепы или кулени — спекулянты крупненькие... И поменьше... галантерея, мыло, керосин, дамские тувельки — пичужки-гаршнепы на болоте... А раненых все больше в пальцы рук, — заметьте!

Сами себя солдатики или по дружбе Иван — Петра и Петр — Ивана... Посмотрите на музыкантов, Федя. Они все слепые,— вы заметили? Не-ет? Как же, как же... Немецкие газы на фронте им выжгли глаза, а находчивый Тишкин купил их, безглазых!...

Свесив голову к столу, он не говорил, а словно что-то изрекал, не заботясь о том, все ли понятно его слушателю.

Казалось, он думал вслух сам для себя, и потому мысли его не нуждались ни в логической связи, ни в особом пояснении. Как будто произвольно вспоминал он и выкладывал наизусть где-то записанное им раньше без всякой последовательности.

— ...Лестницу метут сверху, а?.. Слышали, как наш почтенный старший «рыцарь бедный»... как Лев Павлович-то вдруг разразился? Вспылил, называется!.. Ох, Лев Павлович, несть вам числа во старости и во младости! Мести, сметать даже собирается, а все же...

«Дарданеллы, Sancta Rosa!»  
Воскличал он, дик и рыан,  
И, как гром, его угроза  
Поражала мусульман.

Так ведь, а?.. Почти по Пушкину!

Полон чистою любовью,  
Верен сладостной мечте —  
Лишь К. Д. своею кровью  
Начертал он на щите!

Что? И вы туда же, не дай бог? Ну, ну, не сердитесь: я не хотел вас обидеть,— с неподдельной, подкупающей искренностью сказал Фома Матвеевич.— На слом все, милый человек, на слом! Когда-то должно же взойти сотни раз воспетое поэтами солнце всечеловеческого счастья?! Ведь должно, а? Но теперь — через кровь... в крови оно родится, и оттого страшно, «страшно поневоле» людям с тихими душами. А знаете, Федя, я и сам не бог весть с какими крепкими, железными нервами, но... вот говорю вам: без большой реки крови не обойдется. Помните, поэт сказал?.. дайте припомнить... вот, вот: «Неужели,— сказал поэт,— надо восстать против прекрасного солнечного света только потому, что летучие мыши его не выносят?» Мудро сказано, а? «Пусть лучше тысячи из них ослепнут, чем ради них дать померкнуть солнцу». Оно еще не вошло, но... взойдет же, черт побери! Обязательно взойдет, и вы увидите, как шарахнутся в сторону в смертельном страхе все эти летучие мыши! Подумайте об этом, Федя, подумайте... Эй, официант, счет сюда... быстро!

Слепые тишкинские музыканты играли «ойру».

Одноглазый полузрячий пианист с вытянутой лошадиной челюстью и уродливым, крючком придавленным книзу, багровым носом высоко подбрасывал костлявые руки, иссиня-черные от густо проросших на них волос, быстро-быстро шевелил летающими пальцами в воздухе, прежде чем бросить их вновь на пожелтевшие клавиши.

Он ежесекундно оборачивался, лихо тряс своими длинными смолянистыми кудрями, подмигивал уцелевшим шустреньким глазом, выкрикивал «ойра-ойра», и, словно подгоняемые им, люди за столиками подхватывали несложный икотный припев, не менее лихо поводя при этом плечами, пританцовывая и подмигивая друг другу.

Какой-то грузный широколицый мужчина в вельветовой толстовке, похожий с виду на откормленного, флегматичного кота из мучного лабазы, держа салфетку за кончик в одной руке и куриную ножку — в другой, бурно, но с угрюмым, все более и более свирепеющим лицом отплясывал у своего столика под «ойру» замысловатый, ни на что не похожий танец, выкидывал такое антраша, что все невольно гоготали.

Под этот шум Федя и журналист покинули поплавок.

Почти тогда же ушел и их сосед со своей дамой. Расплатившись с официантом, он вынул из бокового кармана маленькую записную книжку в мягком кожаном переплете, минуту подумав, что-то написал в ней и, вырвав этот листок, протянул его своей спутнице:

— Меня удивляет и беспокоит отсутствие Ваулина. Завтра обязательно дайте объявление в вечерних газетах, Вера Михайловна.

Она мельком взглянула на записку:

Купец 1-й гильдии Савва Абрамович Петрушин  
и его супруга Евдокия Николаевна  
разыскивают сына Сереженьку, ушедшего  
из-за домашней ссоры от родителей.  
Просьба к православным помочь  
за большое вознаграждение в розысках.  
Телеф. 1-77-87 или до востребования  
почтamt С. А. П. № 4721.

Официант низко пригнулся, провожая почтительным взглядом седобрового барина.

### *Глава тринадцатая*

#### **В КВАРТИРЕ НА КОВЕНСКОМ**

Дежуря в хозяйском кабинете, верный губонинский Лепорелло — Пантелеймон Кандуша — внимательно прислушивался и приглядывался к тому, что происходило в соседней комнате. Дверь туда была приоткрыта, кабинет слабо освещен одной лишь настольной лампой под зеленым колпаком, стоявшей в глубине комнаты, и Кандуша, никому не бросаясь в глаза, никем не стесняемый, выполнял свою наблюдательскую и охранную службу.

Ею был занят не он один: в прихожей и на кухне расположились два агента охраны, да еще во дворе и на улице, — уж доподлинно это знает Кандуша, — торчат в различном одеянии скороходы-филеры. Может, это Ивана Федоровича люди, может — департаментские, то есть одного с ним, Кандушей, ведомства,

а возможно даже — дворцового: царскосельские молодцы из тайной императорской охраны оберегали от неприятностей Григория Распутина так же, как членов августейшей семьи.

За последний год, выполняя поручения Губонина и неся тем самым свою департаментскую службу, Пантелеймон Кандуша неоднократно сопровождал знаменитому «старцу»: «Вилла Родэ», где в закрытом кабинете, окруженный цыганским хором, отплясывал зело пьяный Григорий Ефимович; секретная департаментская квартира на Итальянской, второй дом от Фонтанки, где устраивались свидания с министром внутренних дел; в Александро-Невской лавре, в покоях митрополита Питирима или в квартире самого «старца» Григория на Гороховой, — всюду, где только доводилось, Пантелеймон Кандуша — верный губонинский глаз — зорко, неустанно следил за Распутиным.

Чего только не узнал он в долгие часы своих дежурств!

Поглощенный своими новыми служебными обязанностями, ведя «столичный» образ жизни, Пантелеймон Кандуша почти совсем порвал связи с семьей, с далеким уездным Смирихинском, с примостившейся за окраиной города маленькой Ольшанкой. За все время он написал туда раза два, не больше, заключив свою переписку с отцом, Никифором, обидными для того, насмешливыми словами: «Жизнь наша сурьезная здесь, мяздрой, папаша, не воняет, а вполне государственная и, можно сказать, Санкт-петроградская. О том знайте вы с мамашей, но языком не болтайте. Вам проселком ходить, а сыну вашему асфальтовой панелью. Значит: наша Марина вашей Катерине двоюродная Гарпина, — не больше!»

«Запасным тузом», о котором никогда не забывал, был Иван Теплухин.

Ну, погодите же, гордый Иван Митрофанович: презрительно называемый вами Пантелейка еще наложит на вас свою руку... Он держит в ней невидимые другим концы человеческих жизней и страстей, чтобы — придет же время! — сомкнуть их и узреть их порочную, ослепительную вспышку. Горе тогда вам, самонадеянный Иван Митрофанович!

А помните ли вы, голуба Иван Митрофанович, утерянное вами письмо от некоей, хорошо знакомой вам особы? А где-то то письмо, пилль-поплль?!

И нужно было взглянуть на вспыхнувшее лицо Кандуши, когда увидел сегодня здесь появившуюся Людмилу Петровну, когда услышал ее голос!

Гос-с-споди, боже мой, за кем же смотреть теперь? — глаза разбегаются!.. Ну, пусть простит на сей раз любезный друг, Вячеслав Сигизмундович: каждому зерну — своя борозда, всякий Демид — себе норовит, — решил про себя Пантелеймон Кандуша и старался теперь не пропустить ничего, что касалось бы Людмилы Петровны.

Он видел, как много вначале пила сегодня, как неуверенной, сбивающейся походкой проходила по комнате, задевая угол стола бедром, отдвигая с шумом стоящий на пути стул, протягивая руки

вперед, словно желала за что-то ухватиться. Ай-ай, она быстро, очень уж быстро опьянела, а тут еще этот толстенький, разноглазый господин Петушков подливает да подливает ей и грудастой Воскобойниковой, карась пузатый! Хэ-хэ-хэ, куда же это годится, миленькая Людмила Петровна? Вы, того-этого, как простая солдатская бабенка на погулянках хлещете, — разве можно так? — огорчается за нее Кандуша.

Ну, вот — правильно: сядьте, посидите, содовой водички выпейте... лимончика, лимончика бы еще, — должно помочь в таких случаях... Ивана Федоровича артисточка, госпожа Лерма, рыжая, знать, больше привычна к питью: дернула тоже не меньше вашего, а, обратите внимание, в полной форме барынька, только шляпку с головы долой, напевает тихохонько — и ничего чтоб лишнего!

Эх, хороша канкубина у Ивана Федоровича! Если бы не такую силу человек в министерстве взял, надо полагать, сам бы друг, Вячеслав Сигизмундович, начал бы обхаживать рыжую. Но против Ивана Федоровича и выгоды нет и не без опасности, пипль-поплль... Сунулся тайком, снюхавшись, к артисточке берейтор один, Петц, — показал ему Иван Федорович... хэ-хэ-хэ... что бывает за такое обучение верховой езде: скинул господина берейтора со своего собственного «седла» и в порядке «охраны» упек «наездника» на арестантскую квартиру — по обвинению... в шпионаже! Шутка ли, — Иван Федорович! Сам Григорий Ефимович, — на что уж до прекрасного пола падок, — остерегается трогать артисточку.

Вот восклицает Григорий Ефимович оракулом:

— ...И вокруг престола, говорю я ему, четыре животных, исполненных очей огненных спереди и сзади, и папашка крестится и просит: просвети меня, говорит, Григорий, и вразуми.

Смеется — сипленьким и мелким, как рассыпавшийся горошек, смехом и, прищурив завапшие глаза, обводит всех ими, и мало что понятно из путаных, апокалипсических речей Григория Ефимовича.

«Великий комедиант» — так однажды, в минуту откровенности, отозвался о тобольском мужике умница наставник Губонин: человек Григорий Ефимович — упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывает обид и мстит жестоко и к тому же большой силы магнетизер, но об этом, Кандуша, тс-с-с!.. Уж будьте спокойны, Вячеслав Сигизмундович: любую такую эпителию Кандуша-наперсник, конфидент ваш верный, выдержит до конца. А кто есть на самом деле «святой черт», Григорий Ефимович, и что вышел он, можно сказать, из конопель по солнышку, — про то будем с вами вместе знать, дорогой Вячеслав Сигизмундович... Только не требуйте вы сегодня от Кандуши ревностного служения, не требуйте, чтобы глаза проглядел, уши вытянул: что кому и как сказано было Григорием Ефимовичем... Вы уже сами сегодня, любезный друг Вячеслав Сигизмундович, а Кандуша своим, особым делом займется: знаете, Вячеслав Сигизмундович, — всякая сосна своему бору шумит!

...Обхаживает, обхаживает разноглазый Петушков госпожу Воскобойникову: то один ей бокал, то другой, рядом садится, коленкой прижимается.



На столике перед диваном — фрукты, пастила, цукаты, напитки, рюмочки и бокалы. Вот украдкой берет Петушков один из них — пустой, с позолоченным ободком, отходит в сторону и, — успел только Кандуша отскочить за дверь и завернуться в портьеру, — вбегает в губонинский кабинет. Зачем ему сюда?..

Кандуша, не шевелясь, подглядывает: Петушков вынимает из жилетного кармашка маленький плоский флакончик, поспешно открывает его и несется к письменному столу, где больше света. В одной руке — бокал, другая — осторожно, с коротким счетом отливает на дно его бесцветные капли из флакончика. Это что еще, пипль-попль?!

Через минуту Петушков опять рядом со своей дамой; в бокал с позолоченным ободком крутой, шипящей струей падает холодная сельтерская из принесенного сифона: пейте, пожалуйста, дорогая Надежда Иванова, и, если позволите, я провожу вас до дому... («Ах, прохвост, что делает, что делает!» — тихонько посмеивается Пантелеймон Кандуша.)

Симанович что-то говорит Людмиле Петровне, вынимает большой бумажник и оттуда — тщательно завернутую в папиросную бумагу чью-то фотографическую карточку. Это фотография Распутина, надписанная им.

— Лутшаму ис явреев... — смеясь, читает Людмила Петровна.

— Вот видите, — говорит Симанович, пряча карточку, — значит, со мной можно иметь дело. И всегда с пользой, я вам говорю,

— Какое же у нас с вами может быть дело? — спрашивает Людмила Петровна, берет со столика свой бокал с сельтерской и отпивает глоток. То же самое делает теперь и Симанович, утирая губы крошечным розовым платочком.

— Какое дело? — переспрашивает он, глядя то на нее, то на ее соседей по диавану. По всему видно, у него есть действительно какое-то дело, но он не решаетя сейчас сказать о нем.

«Ну?.. — вопросительно смотрит на него Людмила Петровна. — Говорите, все говорите: может быть, тогда я пойму, для какой точно цели меня пригласили сюда». Она порядком устала, вся эта компания достаточно неприятна ей, а о мамыкинском поручении она почти уже и забыла.

— Адольф Симанович, вероятно, хочет сыграть с вами в макао. Это его любимая игра... — вмешивается в разговор, трунит над распутинским приятелем Петушков.

Симанович незлобив.

— Я уже наигрался, слава богу, в макаву, — покачивает он головой.

Он понял насмешку Петушкова, но, ей-ей, он, Адольф Симанович, незлобив... Верно, он когда-то усиленно играл в «макаву», все его преуспеяние в жизни пошло от умелого обращения с игральной картой: никто не умел так незаметно, так виртуозно сделать «накладку», будучи банкометом.

Но это было давно — во время русско-японской войны, на полях Маньчжурии, куда Адольф Симанович привез для утехи

и развлечений русских офицеров пятерых бесшабашных, веселых маркитанток из Киева и Одессы и потерявший чемоданчик новеньких атласных карт.

С тех пор прошел не один год, и кто посмеет всерьез упрекнуть Адольфа Симановича в том, что он не оставил своего прежнего занятия?

Мало его векселей у Адольфа Симановича?! Кажется, при одном «деле» состоят, — так что это за некорректное поведение, которого так не любит сам Григорий Ефимович! Ведь он, Симанович, никому ни гугу про петушковские «капельки», — у-у, свинья какая!

— Я мог бы посоветовать вам, Людмила Петровна, одно дело, — говорит он. — Но... но мы потом с вами поговорим. Когда мне скажут, так я к вам заеду, и — честное слово Адольфа Симановича! — вы не будете на меня в претензии. Наоборот!

— То есть как это «наоборот»?

Она недоуменно смотрит на его синие, словно отмороженные руки, на лоснящееся, не дочиста выбритое лицо, в его черные бараньи глаза, неопрятно прикутившие в уголках, у переносицы, беленькие пузырьки закиси, какая бывает у людей после тяжелого, недолгого сна, — и, ничего не спросив, отворачивается от него, уже не скрывая своей брезгливости.

Украдкой переглядываясь с Губониным-Межерицким, громко, на знакомый мотив «Две гитары за стеной», поет теперь под свой собственный аккомпанемент на откуда-то появившейся гитаре песнь терских казаков рыжеволосая, раздумывавшаяся Лерма:

Из-за кочек, из-под пней,  
Лезет враг оравой.  
Гой, казаки, на коней —  
И айда за славою!  
Мать! не хмурь седую бровь,  
Провожая сына.  
Ты не плачь, моя любовь,  
Зоренька-дівчина.

— Ай, ладно! — притоптывает ногами вставший из-за стола Григорий Ефимович и медленным, мягким шагом приближается к сидящим на диване.

Песнь продолжается.

— Ну! Ну!.. — трясет бородой, взмахивает сжатыми в кулак руками развеселившийся Распутин, и все, уже хором, присоединяются к запевающей артистке.

— Тюли-мули-растудули! — хриплым, срывающимся тенорком выкрикивает Петушков и похлопывает себя по животу.

Горбоносая старая княгиня сидит глубоко в кресле, закрыв глаза. Ее острый подвижной подбородок конвульсивно вздрагивает, она молчит. Песнь продолжается:

Отшвырнем с родной земли  
Немцев в их берлогу.  
Хоть бы даже к ним пришли  
Черти на подмогу.

Пусть придут! Среди гостей  
Будет больше крику,  
Потому что и чертей  
Мы возьмем на пикю!

— Еще! Еще!..— кричит, приказывает Григорий Ефимович послушным гостям и — заглушаемый шумом песни — коротко говорит Людмиле Петровне, тянет ее за руку:— Ну, пойдем, милая! Жаждалась,— а?

На ходу он берет со столика наполненный бокал с позолоченным ободком: небось пить там захочется («Дурак Петушков: чего обомлел так?..»), кусок пастилы и, пропустив вперед себя Людмилу Петровну, входит с ней в губонинский кабинет.

(Ух, пипль-попль,— едва успел выскочить оттуда в ванную, по соседству, Пантелеймон Кандуша! Ну, ничего: и отсюда все будет слышно.)

— Садись, лебедь,— сказал тихо Распутин и сам опустился рядом на оттоманку.

Однако тотчас же встал, подошел к двери в столовую, плотно закрыл ее и вернулся обратно.

— Садись, лебедь,— повторил он, хотя Людмила Петровна уже сидела и не делала никаких попыток встать.

Бокал с сельтерской он поставил на пол, у оттоманки, а пастилу, нисколько не заботясь о соблюдении чистоты, положил на одну из ее подушек.

— Ну, вот... Ну, вот, дусенька,— оглядывался он по сторонам, словно искал что-то, и, найдя вблизи электрический выключатель, повернул его — к полной неожиданности Людмилы Петровны насторожившейся и готовившейся к другому.

В комнате стало светло — светлей, чем было в столовой. Неужели так и останется: полный свет? — вот удача-то загнанному в ванную, притаившему дыхание Пантелеймону Кандуше.

Где-то, за тонкой стеной, в соседней квартире били приглушенно, как тряпичной булавой по медному тазу, часы: двенадцать ночных ударов.

## *Глава четырнадцатая*

### НЕМНОГО О ФЕДЕ КАЛМЫКОВЕ

Как уже было сказано, этот вечер принес Феде неожиданное приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное до сих пор в Петрограде.

Точней,— не вечер, а ночь, потому что было уже начало первого часа, когда покинул он вместе с журналистом Асикритовым тишкинский поплавок, направляясь к Ковенскому переулку. И если бы он знал, что ждет его впереди, часом позже,— смело

можно сказать, что досаду и дурное настроение, в котором сейчас пребывал, он легко и быстро сменил бы трепетным и радостным возбуждением...

Ах, все было бы хорошо, если бы не этот последний разговор с Фомой Матвеевичем! Если бы не его собственная, Федина, «речь», которую, по справедливости, назвал журналист «чепухой»... Такие речи может произносить смирихинский, провинциальный помощник присяжного поверенного, либеральная бала-лайка бесструнная, как, например, Захар Ефимович Левитан, а не он, Федя,— революционер, каким считает себя искренне...

Ах, как стыдно, стыдно за всю ту словесную дребедень, которую нес с таким жаром сегодня... Как прав, надо сознаться, Асикритов! «Только подумать, о чем я говорил! — сокрушается Федя.— Трагический образ «бедного рыцаря» так же пристал мне, как корове седло. Гамлет и «тени замученных отцов» — ведь это же все для красного словца, книжность все это — и не больше. Святое безумие, жертвенность и жизнь в глуши... страдания». Сколько глупостей наговорил он сегодня.

О какой такой интеллигенции, безупречной в своих свободолюбивых помыслах и, главное, поступках, он трубил? Разве она едина, черт побери! Разве одного и того же жаждет, к одному и тому же стремится? Маленьким наследником-растратчиком какого точно «великого наследства» он так поспешно, безраздумно признал себя! Какой «традицией» он, собственно, дорожит? Традицией неустанной революционной борьбы (вспомнился тотчас же десяток бесстрашных имен революционных деятелей) или той, к примеру, которой следует хотя бы тот же Лев Павлович Карабаев — всегдашний кандидат в члены «ответственного министерства» Николая Второго?! Почему же он, социалист, Федя Калмыков, ничего об этом не сказал? Ничего — о войне, о своем отношении к ней, ничего — о громадном рабочем движении, бурлящем в эти годы в десятках российских городов, ничего — о себе самом, — ведь с Фомой Матвеевичем можно быть вполне откровенным...

«Мы с вами в клетке исторических, но мерзких очертаний, — вспоминает он асикритовские слова. — Патриотизм, долг, семья, политические верования, народное благо, личное счастье — все требует уже новой формулы. На слом все... на слом!»

Почему сказал все это Фома Матвеевич, а не он сам, досаждает Федя, молчаливо шествуя с журналистом по безлюдной набережной к Литейному мосту. «Глупо вышло: думал одно, а говорил другое».

Но он тут же, защищаясь, спрашивал сам себя: «А все ли, что говорил я, такая уж ахиня? Все ли было уж так непростительно наивно и неверно?» — И, успокаивая себя, решал, что не все уже было так глупо и фальшиво в его словах, как показалось вначале. Он старался вспомнить каждую свою фразу, каждую изреченную свою мысль, — однако все вспоминаемое, чем мог бы быть доволен, что мог бы вновь повторить, ища снисхождения, Фоме Матвеевичу, не разрушало, увы, его общего досадного чувства, испытываемого сейчас.

Ночь была теплая, мягкая, а он шел и часто вздрагивал, как от холода, и кожа на теле,— чувствовал,— стала гусиной, в мелких лихорадочных пупырышках. «Вот ведь до чего расстроился!— упрекал он себя.— В Гамлеты полез, осел вифлеемский! Тоже... рыцарь бедный нашелся! Лживо и театрально: разве я такой? Что у меня общего с той молодежью, о которой я так говорил? Почему я не привел в пример Колю Токарева?»

...Встретился Федя с ним в день, глубоко запавший в память.

Смирихинск отправлял на войну первые эшелоны призванных из запаса.

Воинские части, построившись у здешней казармы, за Петровским парком, охраняемым теперь часовыми, под музыку оркестра отправлялись на вокзал.

Может быть, свежееиспеченным прапорщикам с новенькими хрустящими желтыми ремнями крест-накрест и хотелось покрасоваться перед высыпавшими из всех домов местными жителями и потому пройти центром города, но начальство распорядилось по-другому: пришлось «топать» кратчайшим путем — по боковым, немощеным улицам, по пыльным пуховикам, за клубившимся, как смерч, под ногами солдат и бежавшей рядом оравы мальчишек.

Когда оркестр умолкал и музыканты, отплевываясь, прочищали на ходу свои альты, корнеты и тромбоны, вытряхивая набившуюся туда пыль,— где-то в рядах, встрепенувшись, заводил песнь осторожным, стеклянным тенорком ротный «запевала», и ряды подхватывали ее, унося далеко вперед:

Оружием на солнце сверкая,  
Под звуки лихих трубачей,  
По улице пыль поднимая,  
Проходил полк гусар-усачей.

Жгло тяжелое полуденное солнце. Оно проливало на ссохшуюся, истомленную от засухи землю горячий свой, беззвучный ливень. На лицах солдат — запыленных, распаренных — текли грязно-серые ручейки пота. Гимнастерка на лопатках была влажна. Сжатая ковшиком ладонь, поддерживавшая приклад винтовки, взмокла и стала до неприятного клейкой.

В тень бы, черт побери... В речку броситься и не вылезать до вечера!..

На улицах, на Ярмарочной площади, через которую проходили теперь солдаты, все гудело от музыки, от гула толпы, от ржания пугливо вздрагивавших, бросающихся в сторону лошадей, от бабьего воя и причитаний.

В светлых праздничных узких кофтах с вытянутыми вверх на плечах рукавами-крылышками, в ярких, разноцветных «спидницах» — жены, матери и сестры беспорядочной толпой бежали вслед воинской части, они часто прорывали солдатский строй, втираясь в его ряды, чтобы в последний раз, на прощанье, слезно сказать ласковое напутственное слово, всунуть в карман солдата кусок мясного пирога или зеленую трехрублевку.

Еще с рассвета, а то и с вечера, забыты были все постоянные дворы и большой двор калмыковской почтово-земской станции. Парными деревянными свечками торчали вскинутые кверху оглобли крестьянских возов и телег, тарантасов и одноколок-«бедушек», на которых понаехали в город крестьяне окрестных сел. Ратники ополчения пересекли Ярмарочную площадь, срезав ее у забора махорочной фабрики Георгия Карабаева, и продолжали путь к вокзалу. Спрыгнули к себе, на фабричный двор, покинувшие на минуту свою работу, висевшие гроздьями на заборе любопытные работники. Вернулись в столетние, мшавые амбары, деревянными срубами выстроившиеся в одном углу площади, купцы и приказчики, продавцы и мужики-покупатели: сына — на войну, а в деревню — соли бы, махорки, скобяного товару...

Двери амбаров открыты, и тянет оттуда свежим душистым сеном, травинку у которого так и хочется взять на зуб, тянет крупной и горошком в мешках, золотистым овсом, мучной пылью.

Потревоженные, взлетевшие на купол соседней кладбищенской церкви бездомные голуби-сизяки и воробьи, усеявшие многорядную телеграфную проволоку, как музыкальные значки нотную бумагу, — вновь слетались теперь к амбарам: ворковать, щебетать, подбирать брошенное тут зерно.

Гремят и скрежещут ржавые цепи амбарных весов, громыкает глухо сброшенная на деревянный пол, бессильная — от тяжести — покатиться, пузатая двухпудовая гиря.

И, как сброшенная с весов тяжелая гиря, громыкает здесь уроненная дважды, трижды, четырежды многовековая каменная мужичья ругань.

Кому точно послана — неведомо еще, но — от всего растрепанного сердца: эх, мать да мать, — сей день Михайлу взяли, а завтра — велют — веди в присутствии еще Михайлиного коня! Федя провожал солдат до самого вокзала.

Там, когда эшелон уже тронулся, — под приветственные, воинственно-патриотические крики одних и заунывно-истерический, истощный вопль других: все тех же крестьянских баб, — кто-то стоявший позади притронулся к Федину локтю и осторожно пожал его, Федя оглянулся — Токарев.

— А-а... Николай! Здравствуйте! Кого-нибудь из ольшанских провожали?

— Провожа-ал, — хмуро, досадливо отозвался Токарев. — Не люблю, понимаете, похорон! Вы удивляетесь? Какие же это похороны? А по-моему, так самые настоящие. Только без обыкновенных гробов, а все остальное — чин чинном: и в церкви молились, и священники тут, и, глядите, рев какой, и смерть будет всамделишная. Я вот стоял здесь и думал: сколько гробов на колесах — вагоны-то эти! Довезут их до Киева, скажем, или куда там, выгрузят будущих калек и покойников, пригонят обратно вагоны и погрузят в них, как всегда это, скот. И повезут куда-то: на убой, обыкновенным манером. Так само и солдат! И никакой разницы: и то мясо, и другое тоже. И скот с поля согнали, и этих тоже со

степи да с других мест,— верно я говорю? А для чего, в общем? Кто про это верно скажет? Кто смельчаком будет?

По дороге в город, ведя разговор все на ту же тему о войне, он сказал еще:

— Вот думаю я так, Федор Мироныч: драться люди могут тогда только, когда интерес у них один... общий. Тогда друг друга искать будут, чтоб идти вместе. Сами в том случае сбегутся... безо всякого понуждения, без урядников, по своей собственной охоте. Это тогда, когда не драться, значит, нельзя уже. Тогда каждый отвечает за себя, и реветь тут нечего. Может, и неверно говорю,— как думаете?

— В общем, так, конечно,— растерявшись, согласился Федя.— Но все-таки, дружище Николай...

Однако почему он так быстро согласился с ним? И, с другой стороны, с чем, собственно, он не согласился, против чего соби-рался возражать? Ах, разве знал все это тогда Федя! Ничего не знал он точно, ни в чем до конца не был уверен, должен сознаться... Но где же правда? — тщетно искал ее Федя. И, право, это было мучительно!

Высказывания Токарева,— в общем, такие простые, бесхитростные, как колумбово яйцо, и, казалось бы, даже знакомые, но прозвучавшие неожиданно,— поразили его, ввели в смущение.

Конечно же, война — это убой ни в чем не повинных людей, цепь несчастий, народное страдание, но как можно не воевать, когда на тебя так грубо напали, когда хотят захватить твои земли, разграбить твою родину? Другое дело, что родина — полицейская, с приставами, урядниками, жандармами,— это, конечно... что и говорить. Но — родина!

Все газеты писали горячими перьями о том же и еще о том, что войне быть не больше трех месяцев,— велика была Федина вера, и короток еще шаг его годов... Ах, где теперь Токарев, в каких сидит окопах, жив ли? Как много мог бы сказать и рассказать ему Федя сейчас, через два года после той памятной встречи!

## *Глава пятнадцатая*

ЛЮДМИЛА ГАЛАГАН

Он, Распутин, все, все знает, и ничего от него не утаить!

Завистники дворяне да министры-неудачники спят и видят, как бы убрать его с божьего света. Шутка ли дело, простой мужик, а царю помощник!

Войну кончать надо,— он худого «папашке» не посоветует, а его убивать задумали: все ему, все известно...

«Хвост» (недавний министр внутренних дел Хвостов,— сообщила Людмила Петровна) отравить его хотел, пищу опоганил, но бог милостив: все кошки в квартире издохли, а он, Распутин, богом посланный царский хранитель, уцелел, жив остался,— сама видит, дусенька...

«Хвост» тот самый не унимался: слугу своего, газетного писаку Бориса Ржевского, жулика, с большими казенными деньгами отправил за границу, в Норвегию: откупить у царицынского монаха-расстриги Илиодора «записки про святого черта» (про него, Распутина), чтобы «папашке» их показать потом, опорочить ложью бесовской заступника царского трона.

— А откуда узнали?

Но он только посмеивается — тихим, сипловатым смешком, застревающим, кажется, у гортани, и снисходительно говорит:

— Ай, Хвост-Хвост... чего не поделил, — а?

Но все эти дела не в счет, — смотрит он на нее своими выгоревшими глазами, и за светлой оболочкой их глядит кто-то еще: лукавый, хитрый, скользкий, — все это он рассказывает для того, чтобы уразумела она, почему ей именно знать это надо.

Людмила Петровна не без волнения, скрыть которое всячески старается, догадывается, к чему клонит он речь. Господи, да он *au courant*<sup>1</sup>, он знает значительно больше, чем она сама!

В ставке Северо-Западного, рассказывает он, подобралась группа дворянчиков-офицеров, руководимая кой-кем из князей, поклявшаяся лишить его жизни. За ним охотятся, его хотят заманить в разные места и там расправиться. Подосланной бабой хотят заманить.

Но его оберегают, его берегут как зеницу ока, — так велели «папашка» и «мамашка», и горе тому, кто осмелится причинить ему вред. Так пусть и знают все его враги: сознательные и невольные!.. Каяться надо, каяться!

По временам, казалось, он разговаривает не с ней, Людмилей Петровной, а с кем-то другим — невидимым своим слушателем и собеседником. «Старец» отворачивал голову, жестикулировал в сторону, хмурился и усмехался, не взглянув на нее, протягивал кому-то руки, сжимал их в кулаки. Но потом, вспомнив, очевидно, о своей гостье, придвигался на тахте, обнимал за плечи, заглядывал в лицо и настойчиво искал своими узкими, как графит синеватыми губами упругие дольки ее отворачивавшихся, сопротивлявшихся губ. И стоило только Людмиле Петровне громко запротестовать и пригрозить, что сейчас же уйдет или кликнет из соседней комнаты Воскобойникову или какую-либо другую из женщин, — он отпускал ее, отодвигался и возвращался к прерванному на минуту разговору.

«Ну, скажи уже, черт бородатый, скажи уже, что ты знаешь, зачем я пришла сюда, что подослана я, для какой цели и кем, что ты выдашь меня своим охранникам, если я не соглашусь и не уступлю твоим домоганиям, — и мне уже станет легче, я буду знать, что делать. Зачем же ты хитришь?»

Однако Людмила Петровна отнюдь не знала, что стала бы делать, как точно поступила бы, если бы он разоблачил цель ее прихода.

---

<sup>1</sup> В курсе (*фр.*).



Вот, вот... он скажет все, обвинит в лицо, чего-то потребует, станет угрожать... Может быть, позовет сюда своего союзника, Ивана Федоровича (кажется, это он за столом намекал ей на что-то: «Либо в стремя ногой, либо в пень головой» — препротивная морда!..), и они вместе начнут изобличать ее, назовут имя Мамыкина, потребуют показаний и еще бог знает чего...

И, чтобы увести себя от вплотную приблизившихся глаз Распутина, она свесилась с тахты, подняла с пола бокал с сельтерской и медленно отпила несколько глотков.

Ему хотелось, очевидно, пить, и он тоже потянулся к бокалу, но Людмила Петровна отстранила его руку:

— Не дам. Сама хочу. Потерпите, потерпите... Бога просить следоват, чтоб дал терпение,— умело подражая его придыхающему сибирскому говорку, сказала она.

Он засмеялся:

— Ишь ты, кака строга игуменья!

— Сами учили!

— А мне доспеть с тобой, доспеть...

— А я не покушаюсь на ваши... доспехи! — в тон ему, нарочито двусмысленно и грубо сказала она, заметив его непристойный жест.

— Чего? — спросил, не поняв, Распутин.

— Того, дедушка!..— дразнила она его.

Он развеселился, громко и зычно, как ни разу еще не слышала Людмила Петровна, хохотал, схватив себя за бороду.

«Распоясался... похабник!» — настороженно следила она за его движениями, но была рада сейчас, что разговор благодаря этому соскользнул с опасной для нее темы.

Она с силой оттолкнула от себя Распутина, когда тот попытался позволить себе больше дозволенного, но когда он, недовольно бурча, смирился и отодвинулся на минуту,— Людмила Петровна поймала себя на том, что ей, пожалуй, приятна была эта борьба.

«Горе мятущимся... мне это. Что же это со мной? — спрашивала она себя.— Он на меня действует... магнетизер? Грязный мужик, животное! Нет, нет, не он... не может это быть!» — решила Людмила Петровна. Теперь ей надо побороть, преодолеть самое себя, справиться со своим состоянием (она осушает до конца бокал с сельтерской), не поддаться, не дать спутаться мыслям...

Год назад, когда началась война, она бросила свой усадебный Снетин и помчалась госпитальной сестрой на фронт: она, как все вокруг, ощутила толчок, который должен был помочь ей преодолеть инерцию тяготившей своей серостью, как считала сама, докучливой жизни. Весь мир, казалось, стал жить пожаром горячих, лавиной ринувшихся на землю страстей, и в громадном огне их она рассчитывала легко и быстро «сжечь»,— писала в одном письме,— свое душевное недомогание». Кажется, к Ивану Теплухину в письме говорила она незадолго до войны, что «утратила компас в жизни после неожиданного самоубийства мужа, Сергея»?.. Ну, так, может быть, теперь она вновь обретет этот компас, а с ним вместе и самое себя?

Собственно, она не знала, что именно может найти впереди,— в тот момент она и не раздумывала об этом: она помчалась в армию, на фронт, чтобы утратить самое себя, какой была она тогда. Чтобы только утратить!.. Ее поступок родные, друзья, знакомые, соседи приписывали патриотизму, самоотверженности, гуманности, может быть — увлечению (ведь ничто не обязывало ее к тому!), но никто не подумал бы об истинной причине такого стремительного решения. И вот прошло два года,— она могла бы пожелать для себя лучшего!

Необычное, не воображаемое раньше в отцовском генеральском доме и в петербургской квартире брата, владевшее еще вначале, в первые месяцы военной жизни, Людмилой Петровной,— стало теперь до изнурения привычным, знакомым и докучливым. В общем, она, конечно же, любила жизнь (другое дело, что могла иронически и зло отзываться о собственном и чужом бытии...), и почему, в сущности, и для кого следовало растрачивать себя? — нередко задавалась она вопросом.

Пробыв год на фронте, она, пользуясь связями и знакомствами, оставленными в наследство отцом, генералом Петром Филадельфовичем Величко, легко переключалась в Петроград: и отдохнуть потребность была, и поразнообразить хотелось жизнь. Случайное знакомство с капитаном Мамыкиным и его друзьями предоставляло теперь эту возможность: она была остра и прельщала Людмилу Петровну большой волнующей игрой, прямой участницей которой она становилась.

«Вот авантюра!» — не раз говорила она себе, но не порицая, а радуясь тому, что так случилось. Ее мало заинтересовала политика офицерского кружка заговорщиков. Не многим больше занимал ее мысли и тот, за кем они «охотились», по его собственному выражению, хотя она, как и все в обществе, презирала «темного старца» и возмущалась его ролью при дворе. Она довольна была уже тем, что от нее потребовалось какое-то действие, в зависимости от которого находились удача или поражение других людей.

Поединок на Ковенском сейчас, в незнакомой комнате незнакомой квартиры, куда зазвал ее этот всеильный плут, этот «черт бородатый», как все время называла его, должен был в какой-то степени решить этот вопрос. Но вот быть осторожной, рассудительной и уверенной в себе мешают сейчас непонятно почему пришедшие желания («А может, действительно блудница?..» — думает она о себе) и возникший в памяти совсем уж неожиданно, бог знает в какой связи, образ студента-земляка — Феди Калмыкова.

Монгольский разрез синих глаз, прическа, мягкие черные усики, нажим в лице скул,— господи, он чем-то так напоминает близкий, запечатлевшийся навсегда образ Сергея, мужа!..

Почему она раньше этого не заметила?! Почему поняла это только сейчас? Или память и воображение... лгут? Нет, что она, в самом деле. Конечно, тут нет никакой ошибки: похож, похож,— разве не бросилось ей в глаза это сходство сегодня днем? Она

только не вдумывалась в это как следует, мысль мелькнула и — спряталась, чтобы вновь заявить о себе.

«А цветок? Почему я дала ему цветок?.. Господи, какие странные вещи бывают на свете! — думает Людмила Петровна. — Кажется, я ему назначила на завтра встречу? Обязательно, обязательно надо мне повидать его... Я устрою его, может быть спокоен: я переведу его сюда в университет», — вспоминает она о письме Георгия Карабаева.

И вслед за тем:

«А что, если под этим предлогом...» — и уже рядом со студентом Кальмыковым встает в памяти узколицый, с неестественно прижатыми ушами Мамыкин.

— Георгий Ефимович, — говорит она, наклонившись к нему, — у меня к вам просьба.

— А у меня до тебя одно дело есть, дусенька. Кака просьба?

— Окажите протекцию одному моему знакомому студенту, Григорий Ефимович. Ему нужно перевестись из Киева в здешний университет. Я имею сама кое-какие связи, но ваша записка, даже без указания адреса... — И она впервые за все время ласково улыбнулась ему.

— Может, другой раз? Пошто торопишь?

— Ну, пожалуйста... Вы мне откажете? Я не верю!

Она вскочила с тахты, схватила его за руки, таща за собой к письменному столу. Распутин слабо упирается.

— Лады, лады... — усаживался он в губонинское кресло. — Ну, я коротко. Пратецию напишу, а ты сама, кому знашь, отдай.

Оторвав листок настольного календаря и взяв перо, он стал писать. По особо присущей неуверенным в своей грамотности людям он шептал вслух каждое выводимое медленно слово и водил дрожащим пером так, словно не держал его в своей руке, а было привязано оно к чужой и мало послушной.

Писал он криво, крупными, разбросанными буквами, как будто старался налепить их на бумагу. Поставив букву, он некоторое время приглядывался к ней, точно не доверял: не пропадет, не отклеится ли она, — и пальцами зажимал переносицу, как если бы придерживал кто сползающее пенсне.

— Не люблю писать. Ох, не люблю. Слово живо — с ним дух от тебя, а слово мертво, слово писано — што сажа. Чисто сажа! Во, гляди, только и написал, — и он протянул ей листок.

«Милой дорогой ни аткажи пропусти устрой ево лучше во всех корнях отростелях.

*Григорий», —*

пробежала она глазами.

«Мамыкин может быть доволен! — подумала Людмила Петровна, пряча записку. — Такая записка ему пригодится!»

— Спасибо, отец, — впервые назвала она так Распутина. «Ну какое у него теперь ко мне дело?»

На сей раз он говорил просто, безо всяких иносказаний, уверток, забыв как будто о своей всегдашней манере пересыпать речь церковными словечками и неожиданными метафорами. Таким

Людмила Петровна его еще ни разу не видела. Перед ней сидел осторожный, себе на уме, мужик-купец, степенно, как старые гостинодворцы, разглаживавший свою темную длинную бороду. Он широко улыбался, и тогда видны были его белые хлебные зубы и мягко, приветливо светились выгоревшие глаза, упрятавшие подстерегающий доселе и крадущийся взгляд.

Речь, к ее удивлению, повел о сахарном заводе. «Вот так штука!»

Говорят, она и младший брат хотят продать сахарный завод, оставленный в наследство батюшкой, генералом Величко? Лады, лады, правильно делают: куда там уследить за таким хозяйством, да еще таким молодым, неопытным хозяевам!

Денег много можно взять теперь за сахарный завод, много больше чем стоил он покойному генералу. Не обманул, не обидел бы только кто из покупателей — вот забота должна быть. Верно он говорит, — а? Умница, умница, дусенька, — сама понимает. Он, Распутин, любя ее, даст хорошего, справедливого покупателя: ему и продать, только ему.

А с деньгами что? С деньгами по-хозяйски надо. Он и тут поможет, научит: богатство хранить надо — вот что!

У него банкир есть знакомый, услужливый такой банкир. Отдать ему деньги, а он «перепишет» их на иностранные, лучше всего на «вашингтонки»: ух растут, поднимаются те «вашингтонки» каждый день, словно дрожжи в них положены...

— Симанович-друг заедет к тебе, лебедь, обговорит все, велю я ему, — понимаешь?

Он встал с кресла, подошел к Людмиле Петровне, положил руку на ее плечо:

— Выдь в столову и скажи ему, когда заехать к тебе. Согласна?

«Что ответить?»

Людмила Петровна понимала, что никакого дела вести она не будет с Симановичем, что никогда она и не вела бы его с ним — темным распутинским дельцом, что вообще продавать завод решила бы, посоветовавшись только с Михаилом Петровичем, братом, что, наконец, сейчас и разговора о том быть не может, так как еще раньше решили они всей семьей продать завод Георгию Карабаеву, и письмо, которое получила от него сегодня днем, почти целиком посвящено этому вопросу и подводило итог всем имевшим место переговорам настолько, что Георгий Павлович просил назначить время, когда мог бы приехать в Петроград для оформления всего дела.

Надо было сказать о том Распутину, но почему-то не решалась сделать это сейчас.

— Приходи ко мне грех замаливать, — уже прежним тоном, сильным, придыхающим говорком сказал он, прижимаясь к ней.

— А зачем?

— Доспеть надо... очистить надо, слышь? А офицеров-ерников гони от себя: пропасть с ними можешь. Все, все знаю... Ну, бог вразумит. Ну, говорю: не путайся, а то отступлюсь от тебя, и беда

тебе будет,— угрожал он.— Ну, выдь, лебедь, к другу Симановичу,— понимаешь?

И он быстрыми шагами прошел в столовую, к своей компании, закрыв за собою дверь.

Людмила Петровна осталась одна. Но только на несколько секунд: она не успела заметить, откуда появился в комнате незнакомый, ни разу не виденный ею человек, нерешительной, спотыкающейся походкой приближавшийся к ней.

— Не уходите... одну минуточку, Людмила Петровна! — просил он, протягивая одну руку вперед, а вторую прикладывая к губам — показывая, что ей, Людмиле Петровне, не следует громко подавать свой голос сейчас.

«Это кто еще?! Откуда меня знает,— удивилась Людмила Петровна, всматриваясь в незнакомца,— неужели... кто-нибудь из мамыкинских?!» — И она, оглядываясь на только что закрывшуюся дверь, пошла ему навстречу.

Кандуша бесшумно подскочил к выключателю и повернул его, гася яркий свет верхней лампочки. «Это правильно»,— одобрила Людмила Петровна, хотя теперь трудней и неудобней было наблюдать за его лицом.

— Вот натурально планида свела! — выдохнул из себя Кандуша.— Не пожалеете, Людмила Петровна, благодарны будете, другом называть станете. Гос-споди, боже мой, каким еще другом, позволю себе сказать!

— Вы это о чем? — недоумевала Людмила Петровна, удивляясь его словоохотливости не ко времени и не к месту.

— Касательно того, что и не подозреваете, Людмила Петровна.

Он приложил руку к сердцу и потупил глаза.

— Касательно того (поднял их вновь), позволю себе сказать, что тиранит вашу душу.

— Ну-с, что же тиранит мою душу, милый человек? — не скрывая насмешки, спросила Людмила Петровна и стала приводить в порядок свои растрепавшиеся волосы, вынимая из прически гребень, шпильки: стесняться присутствия «такого» человека, пожалуй, не приходится... (То, что он не «мамыкинец»,— уже поняла.) — Так, говорите, тиранит? И сильно тиранит? — повторила она, держа шпильку в зубах, так как руки были заняты закладыванием кос, и взглядом искала, не висит ли где-либо в комнате зеркало, в которое можно посмотреться но его, к сожалению, не нашлось.

«Заиграешь ты у меня, дорогая сударынька, сейчас! — подумал Пантелеймон Кандуша, разглядывая ее исподлобья.— Кудах-кудах, курочка!»

— Касательно преждевременно погибшего вашего мужа! Касательно его хотел бы дружески сказать — вот что! — ошарашил он ее.— Сообщеньице имею, Людмила Петровна.

Рука ее быстро вынула шпильку из рта, и рот по-детски широко, испуганно раскрылся, и это позабавило сейчас Кандушу.

— Вы его знали? — шагнула к нему Людмила Петровна. — Как ваша фамилия?

— Не в том суть, — усмехнулся Кандуша.

— А в чем же тогда? — теряла терпение она.

— Обидчика знаю. Истинного обидчика, пипль-поплъ! По всем статьям готов изложить все дело. А обидчик — лют человек! Казнит и не поморщится. Только мы гордыню его... ушатою холоденьким, ледяным ушато! Зашипит, зашипит горячее железо, как в кузнице, — примерно говорю, — и остынет, мертво станет: тогда его и бери голыми руками, вот что-с!.. Гос-споди боже мой! Да разве можно простить обидчику, дорогая, — извиняюсь за непозволенное слово, — Людмила Петровна! Он, смею удостоверить, живет-наслаждается, на двух конях, можно сказать, и выезжает в жизни своей скрытной: авось да небось — те лошадки его в жизни. А про то не знает, хи-хи, что авоська-то веревку вьет и небоська петлю накидывает. Мы его, Людмила Петровна, дорогая, — извиняюсь! — мы его, обидчика...

И Кандуша, увлекшись, затопал ногами, показывая, как плохо придется кому-то, если испытает тот его гнев.

— Как ваша фамилия? О чем вы говорите? — переспросила вновь Людмила Петровна. — Говорите ясней и поскорей, пожалуйста, а то могут войти сюда!

— Вот то-то и оно, — остыл и опомнился уже не в меру разгорячившийся Кандуша.

— Кого вы называете обидчиком?

— Рассказ долгий и конфиденциальный, — уклонился он от прямого ответа. — Конфиденциальный, можно сказать, а место здесь вполне рискованное. Мне бы только ваше согласие иметь — приду и все сообщеньице сделаю. Адрес ваш, осмелюсь?

Людмила Петровна назвала.

«А может быть, не следовало?» — подумала после того, но тотчас же отогнала эту мысль. Да и рассуждать не приходилось: заскрипела в ту минуту нерешительно открываемая дверь из столовой, — и Кандуша шмыгнул туда, откуда появился: в темную ванную комнату.

— Глядите! — предостерегающим шепотом бросил он.

«Бегите!» — почудилось Людмиле Петровне, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, она на цыпочках побежала за ним. В темноте она натолкнулась на его грудь, наступила ему на ноги, но так и осталась стоять — не зная, где находится, боясь неосторожного шума.

— Людми-ила Петро-овна! — протяжно окликал ее (узнала по голосу) Адольф Симанович.

Из столовой прорвался теперь хохот рыжеволосой Лермы и шум беспорядочных, взбудораженных голосов.

— Куда же она пропала?.. — приближался голос недоумевающего Симановича. Он шел в глубь комнаты.

«Если двинется сюда, скажу — нельзя, туалетом занята... не

смейте входить!» — притаив дыхание, как и застывший Кандуша, соображала Людмила Петровна.

Но Симанович, пробурчав что-то, повернул обратно.

— Вячеслав Сигизмундович сейчас придет, он сразу раскумекает... Ой, что наделали, пипль-поплль! — тоненьким, едва слышным шепотом, процеженным до свиста сквозь зубы, сказал Кандуша. — Ну, теперь один вам выход: отсюда в прихожую, а там... как уж изволите!.. Не купаться же вам тут!

«Так мы, значит, в ванной? — без любопытства подумала Людмила Петровна. — Ванная внутри квартиры... У нас тоже дома так... Уйти разве совсем отсюда? Сейчас, ни с кем не прощаясь, не дожидаясь Надежды? — бежали ее мысли. — Да, да, скорей домой, на свежий воздух, а то черт знает до чего дойдешь здесь! Со мной что-то странное сегодня, ей-богу... Нет, нет, — домой, спать, а завтра все соображу: насчет Симановича и всего...»

— Где прихожая? — спросила она.

— Сюда... Тихохонько только.

Кандуша взял ее за руку, они сделали несколько шагов и, обогнув какой-то выступ, очутились у низкой двери, прорезанной в стене.

— Не стукнитесь. Нагните голову.

Кандуша толкнул дверь, они вошли в маленькую, узкую комнату, до половины освещенную отброшенной в нее бледной, скупой полосой света из окна квартиры напротив.

— А теперь уж сами, Людмила Петровна: как выйдет!.. — И Кандуша бегом вернулся обратно.

Долго раздумывать не приходилось: подошла к плотно закрытой двери, — она отворилась бесшумно, и Людмила Петровна шагнула в прихожую.

У столика, над которым висело зеркало без оправы и — на гвоздях — две платяных щетки с ввинченными в них кольцами, сидел, облокотившись на стол, заложив ногу на ногу, свесив коротко стриженную сивую голову, какой-то шупленький бритый человек в зеленоватой тужурке с тусклыми оловянными пуговицами.

«Это что еще за фигура?» — насторожилась Людмила Петровна.

«Фигура» явно спала, склоненная к тому усталостью, вероятно, после целого дня «работы», а также вследствие неумеренного, очевидно, и несвоевременного потребления вина, запах которого давал себя чувствовать во всей прихожей.

«Тем лучше! — обрадовалась Людмила Петровна. — Ах, ты... охранный елистратишка!» — уже склонна была она и пошутить, поняв, на кого наткнулась.

Она нашла свою шляпу, жакет, перекинула его на руку, не надела, решив не задерживаться здесь (опять вдруг хлынул из столовой шум голосов. «Ищут меня!» — подумала), и, переступив порог тамбура, повернув винт французского замка, осторожно толкнула дверь и выскользнула на площадку.

— Людмила Петровна, куда же вы?.. — услышала далеко позади себя чей-то голос и — короткую, глухую брань.

«Охранника это он... Инженер, кажется!» — пронеслось в уме.

Стоявшие у только что открытой парадной двери Федя и Асикритов услышали, как с площадки этажом выше сбегал кто-то поспешно, быстро-быстро, мелким, легким шагом, стуча, как дробью, каблучками. И еще: гудели наверху чьи-то голоса.

— Как будто погоня за кем-то — а?

Фома Матвеевич задрал кверху голову:

— А ну-ка...

Тук-тук-тук-тук...

Уже с середины лестничного марша Людмила Петровна увидела их, а они ее.

— Что так?! — вскрикнул пораженный Асикритов.

На бегу она ткнула себя в грудь и той же рукой показала на дверь его квартиры.

Поравнявшись с ней, вбежала в асикритовскую прихожую, и журналист, втолкнув туда же ничего не понимающего Федю и сам входя за ним, захлопнул мягко за собой парадную дверь.

## *Глава шестнадцатая*

### СЕЛЬДИ АНДРЕЯ ГРОМОВА

На Клинском рынке, что у Забалканского проспекта, в поздний послеобеденный час торговля почти замирает, и редкая хозяйка или прислуга с кошелкой, а еще того реже — с корзиной в руках, обходит ряды выстроившихся здесь ларьков, лавочек, рундуков. Торговцы, сидя у прилавка, пьют чай, — теперь кирпичный чаще всего, подогревая в очередь медные тяжелые чайники на жаровне соседа. Это — зеленщики, мясники, рыбники, бакалейщики. Еще час торговли и — шабаш: на рыночной площади останутся тогда бездомные, бродячие собаки, босяки-грузчики, ломовые извозчики, торговки крендельками и баранками, под которыми на дне корзины лежат бутылки и бутылочки с «ханжой», и еще прикорнувший в тени навеса, ждущий смены городской.

В этот поздний послеобеденный час из-за угла Серпуховской вышел к рынку низенький, полный человек в длинном не по росту вельветовом пиджаке и в полотняной кепке, сдвинутой на затылок так глубоко, что открывался упрямо взбитый кирпично-рыжий хохол на голове. И, как этот петушиный тупей, огнем горели под широким мятым носом неровно подстриженные во всю губу усы — густые и колкие. Он шел, держа в одной руке желтый деревянный баульчик, — широко размахивая им: так, что стучала плохо державшаяся на одной петле фанерная крышка. Другую руку он держал в кармане застегнутого пиджака.

По быстрому шагу, по вспотевшему лицу, по неаккуратно упавшей набок тулечке его сдвинутой на затылок мягкой кепки, по всему его внешнему виду можно было безошибочно сказать, что



человек этот очень торопится. Но торопливость эта не покидала его лишь до того момента, как завернул в один из торговых рядов, где от прилавков шел сильный запах рыбьей сырости и овощной плесени, куда заходящее солнце уже не проникало, где густо отдавало холодком открытого погребка даже в самый жаркий час.

В этой торговой улочке, где было теперь не больше десяти — пятнадцати покупателей, не спеша переходивших от ларька к ларьку, ощупывая каждую репу, пересчитывая количество редисок в каждом пучке прежде, чем их купить, — человек со взбитым хохолком и кирпично-рыжими усами, сделав несколько быстрых шагов, изменил вдруг свою походку и, уподобившись другим, стал медленно, вяло слоняться. Так, еще ничего не купив, он дошел до самой крайней лавчонки торговца зеленью и сельдями Андрея Громова.

На минуту он задержался здесь, окинул безразличным взглядом хозяйина и его жену, прикурил от папиросы одного из двоих собеседников Громова — соседа по торговле — и удалился куда-то за угол.

— А тут и думать не надобно: ясность полная, Иван Осипович, — вел разговор Громов.

— Я вам даже прочитаю, судари мои. Собственноручно писано, с самих позиций доставлено.

— Ну-ну, читайте прокламацию, — усмехнулся Громов, перетаскивая одну из корзин с овощами с прилавка в лавчонку.

— Какая така прокламация, Андрей Петрович? Оскорбляете, ей-богу! Чай, не уплетюшить хочу, а истинный документ показываю...

Это было продолжение разговора, начало которого не слышал только что удалившийся человек с желтым баульчиком.

— А ну-ну, позвольте взглянуть, Иван Осипович, — заинтересовался второй громовский сосед и протянул руку к письму, которое тот вынул из огромного кошелька, туго набитого деньгами и какими-то бумажками.

— Мы сами, — отстранил его Иван Осипович и, щелкнув затвором кошелька, водворил его обратно в брюки, а письмо расправил и стал читать:

— Вот, пожалуйста, судари мои... «Письмо от известного вашего квартиранта, Петра Ивановича. Многоуважаемый Иван Осипович, и вы, Клавдия Алексеевна, и вы, Егор Иванович. («Намедни забрали того Егора Ивановича в кутузку», — сокрушенно сообщил он...) Уведомляю вас, что я пока жив, слава богу, затем кланяюсь, значит, вам всем вообще, вам, Клавдия Алексеевна, и вам, Иван Осипович, и вам, Егор Иванович, и Паше и Мише, и желаю вам от господа бога нашего доброго здравия и всего хорошего в вашей жизни. И передайте Дуне моей, ежели не забыла своего русского солдатики, что ежели я, бог даст, буду в добром здравии и приду домой, то я дома жить не буду, а уйду на должность. А еще очень рад, что прописала Дуня, что скоро возьмут полицию и которые остались по болезни».

— Насчет полиции не слышать что-то! — подал реплику Громов.

— «А мы ждем миру,— продолжал Иван Осипович.— Верно, ждать замирения нечего, его и не будет. Каждый день много наступаем, а еще очень много отступаем. Он («Немец, значит», — пояснил Иван Осипович) наш полк разбил в пух-прах. Только одна пехота мается, а батареи все молчат, нечем стрелять, а он более бьет нас из пушек. Пропишу насчет пятнадцатого года молодых солдат. То их пригнали на позицию, прямо в бой. Когда по немцам стали стрелять из орудий, то зеленые парни, которые пятнадцатого года, то они все стрелкача дали и стали сами себя стрелять больше в правую руку. Так ежели старых солдат не будет, то немцы всю Россию пройдут. Затем, Егор Иванович, я пропишу вам...»

Короткая пауза,— Иван Осипович поглядел по сторонам, заметил у своего рундука какую-то покупательницу в синем жакете, с новенькой корзинкой, крикнул жене: «Клава! Отпусти барыне, что есть свежего,— слышь!» — увидел, что Клава и сама не даст промаха, и продолжал чтение:

— «...Затем, Егор Иванович, я пропишу вам про бунты в России, на дорогой родине. Так чтоб все сделали в полной исправности насчет этого самого, чтобы делали бунт, чтобы делали скорее замирение. Мы только ждем, как начнутся бунты, так мы и забастуем, более не будем воевать. Все дела стоят за Россией. Ежели не будет бунтов, то не останется в России хорошего народу. Пропишу вам про то, Егор Иванович, что понятливый вы, Егор Иванович, заводский человек и сами знаете, конечно, кто войну сделал, чтобы убивать хороший народ. Пропишу я вам еще про одного нашего прапорщика, хучь офицера, а солдату сочувствие дает. Дело говорит тот прапорщик, по имени Николай Ильич, мир можно самим сделать всем войскам, ружья к ноге, довольно, пошти два года полных побили нашего брата безо всякой пользы. Половина России калек и сирот».

Иван Осипович опять посмотрел по сторонам и снизил голос:

— «Надо писать прокламации во все части войск, чтобы все войска порешили больше не стрелять, тогда, может, скорый мир будет. Пишите на все фронты нашим знакомым, чтобы они про то передавали друг другу, и тогда будет согласие. Засим прощайте, Иван Осипович с семейством вашим и друзьями, и прошу вас, как отцов и мать родную, помолитесь господу про дарование жизни известному вашему квартиранту, значит мне, Петру Ивановичу, рядовому Салфеткину, Дуниному жениху, ежели не забыла своего любимого солдатика, какие слова прописала мне сюда на передовую позицию».

— Вот и вышло по-моему,— сказал Громов, подмигивая чтецу.

— Чего так? — не понял Иван Осипович.

— А насчет прокламаций! — поспешил выказать свою сообразительность второй громовский сосед.— Благодарствую, Надежда Ивановна,— отвлекся он в сторону, принимая из рук громовской жены вскипевший на жаровне чайник и тщательно обма-

таявая тряпкой горячую ручку его, чтобы не обжечься.— Пошли, соседushка, что ли? Первый прокламатор и есть, Иван Осипович,— так и вышло... Ну, и пошутить уже нельзя, в сам деле! — переменил он тон, заметив, как испуганно помрачнело одутловатое, с нездоровой желтизной лицо Ивана Осиповича.— Ну, чего буркалами хлопать-то? Пошли, пошли, соседushка!

Узенький, сухожилый, с загнутыми вверх усами, льняного цвета, в кончиках которых торчали порознь, как у кота, иглы-волоски, и с такими же кошачьими, жмурящимися глазами, не позволяющими взглянуть в себя,— он фамильярно подталкивал растерянно емотревшего Ивана Осиповича, терся запанибрата о его грузную, широкую фигуру, приговаривая:

— Ну, и фатюк же вы, Иван Осипович, ай какой фатюк, в сам деле! Капиталы даже имеете, а такой...

Не досказав, он чихнул неожиданно — крепко, дважды подряд — и сам себя поприветствовал:

— Будьте здоровы, Илья Лукич!.. Апчхи! Салфет вашей милости... красота вашей чести!

— Я не про политику,— отозвался теперь Иван Осипович и строго посмотрел на него.— Мне политика ни к чему, мое занятие — рыба, и человек я приставу известный.

— Сальных свечей не ест Иван Осипович, чернил не пьет и стеклом не утирается,— что и говорить напраслину! — подсказал пословицу Громов и ухмыльнулся.

— То-то и оно,— оживился Иван Осипович.— Не такой я человек, чтобы!.. Квартирантово письмо, судари мои, читал для обыкновенного интересу. А обыкновенный интерес, думаю, воспретить никто не может.

— Пристав-то и может! — бесстрастно бросил реплику Громов и тем же спокойным, деловым тоном спросил: — С той недели торговать сельдь как будем, купцы святые?

— Уже промеж себя андреевцы и лейхтенбергцы, известно мне, совет держали: делать накидку или нет? — еще больше оживился теперь Иван Осипович, задержавшись у порога.

— Рынок рынку не приказ,— засуетился и узенький, с кошачьими повадками Илья Лукич.— Обговорить надо завтра по всему ряду: как и что, Андрей Петрович. Я так думаю,— кругляк — медяшку справа поставить к довоенной цифирке: для ровного счету.

— То есть? — спросил Громов.

— Двадцать семь сей день отпускали,— так? А два года назад, известно,— три копейки цена. К цифирке круглячок, нолик поставим: он и даст удобный, ровный счет. Нолик — это, скажу вам, самая главная цифра-командир бывает: смотря, какое место ей дашь. Не гляди, что дырка это, не выразительна цифра... Благодарствую, Надежда Ивановна! — откланялся он и за себя и за своего соседа.

И когда отошли оба, Громов вполголоса сказал жене:

— Надя! Видала «чиновника»?

— Нет, где это? — удивилась она.

— Эх, в твоей работе глаза собирать надо, не то что!.. — Громов не договорил и укоризненно посмотрел на нее: — Становись, душа, к прилавку, — придет обязательно. Передачу перетащи поближе. Приготовь.

Ну, раз сказал «душа» — значит, не сердится. Надежда Ивановна поспешила выполнить распоряжение мужа.

Тот, кого он ждал, появился у лавчонки минут через пять. Все так же размахивая порожним баульчиком, он быстро шагал вдоль ларьков и, только приблизившись к громовскому торговому месту, замедлил шаги и поднял голову, мельком оглядывая редких прохожих.

— Почтеньице, хозяин! — громко сказал он, остановившись у прилавка. — Моркови мне, селедочки и прочего...

— Здоров, браток, — тихо, дружески отозвался Андрей Петрович, принимая из рук пришедшего желтый баульчик и передавая его жене. — Посылочку принес или тебе брюквы, салатца?..

— Выгружаю сейчас, Андрюша...

— Дело, Бендер!.. Так вам, господин, шотландку или астраханскую позволите? — сует Громов в кадку длинные деревянные щипцы и вытаскивает оттуда несколько штук сельдей и кладет их на оторванный полулист газетной бумаги. — Еще чего изволите? Морковочки, брюквы, салатца?

— Не морочь голову, Андрюша! — исподлобья усмехается одними глазами тот, которого называли Бендером. — Чего изволите, чего позволите! — передразнивает он Громова. — Сыпь скорей да у меня забирай, а то, гляди, карман прорвет.

— А ума не хватает парусиновый или холстовый сшить?

— А пиджак-то мой? Ты узнай раньше! Или в чужой карман пришивать, — скажешь тоже!

— Эх ты... «чиновник»! — насмешливо, но без всякой злобы поддразнил приятеля Андрей Петрович. — Ну, чисто чиновник! Хохол бы свой, коллежского регистратора, срезал да сбрил, а то посмотри, каким петухом ходишь. Сколько раз сказано тебе? Пристало разве такое украшение нашему брату?

— Ты меня в солдаты бы сдал, лишь бы причесать по-своему! Мало что! А мне, может быть, твое горбатое, петушиное горло не нравится... кадык твой пономарский! А не высказываю я, молчу ведь.

Начав свою встречу неожиданной и необидной пикировкой, они между тем делали каждый то, чего требовала от них эта встреча.

На дно баульчика легла пачка каких-то листов, заботливо уложенных рукой Надежды Ивановны; поверх пачки, накрытой куском рогожки, Громов положил сельди, завернутые в газету, потом пяток картошек, пучок луку, щавель, а кирпично-рыжий Бендер вынул из кармана какой-то продолговатый, правильной четырехугольной формы столбец, аккуратно обернутый плотной серой бумагой и крест-накрест стянутый в два ряда шпагатом, и, перешагнув порог лавчонки, вручил его — с предостерегающим

словом «осторожно» — Надежде Ивановне, сразу же удалившейся в темный угол, где стояли ящики и кадки.

— Какой шрифт? — спросил Громов.

— Латинский мелкий, кегль десять, Андрюша. Что на прошлой неделе.

— Голова одним, а хвост другим, — фу-ты!

— Не взъищите, — что под руку попало. И за то спасибо скажете.

— Да я ничего. Не в красоте суть, а в смысле.

— То-то и оно. Приходить, что ли? Или сами управитесь?

— Сами.

— Швед что? — спросил Бендер.

— У меня он. Полагаю, ищут...

— Наверно, Андрюша. Еще узнать хотел: двух девчонок видал на прошлой неделе у тебя тут, — проверены?

— А что?

— Не навели бы по дурости или по другой причине, — а? Что за девчонки? Лицом приятны, а, между прочим, не в лице суть, а в голове.

— Швед прислал: ему видней!

— Ну, Швед так Швед! — пожал плечами Бендер, беря в руки наполненный баульчик. — Кланяюсь всем, прощайте.

— Да ты хоть, браток, вид подай! — остановил его Громов. — Осторожности больше! Набрал — и айда?

— А-а... — вспомнил забывчивый «покупатель» и, порывшись в кармане, сделал вид, что платит деньги.

— Душа человек! — сказал о нем Андрей Петрович, оставшись вдвоем с женой.

## *Глава семнадцатая*

### ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРГЕЙ ВАУЛИН

Рука быстро перенесла необходимую цитату на мелко исписанный листок тетради в клеточку.

«Что же является существенным двигателем человечества? — заносил в нее Сергей Леонидович Ваулин. — Научное познание действительности устраняет несбыточные утопии, содействуя построению достижимых идеалов. В то же время оно придает мужество и силы в великой жизненной борьбе».

«Проанализируем...» — написал от себя Ваулин, но вместо того чтобы продолжать свое занятие, которым был поглощен вот уже три часа подряд, да, пожалуй, и еще два отдал бы ему, так как увлечен был работой, — он отложил вдруг ручку в сторону, приподнялся со стула и, взглянув мельком в окно, уже не переставал теперь глядеть в него — в широкую щель раздвинутой занавески.

Напротив, на подоконнике наполовину раскрытого двустворчатого окна, держась ручонками за раму, стояла белокурая девочка лет четырех-пяти. Подайся вперед рама или один неосторожный

шаг, закружись голова,— и ребенок, слетев с пятого этажа на камни двора, разобьется насмерть! Да сколько таких случаев бывало!..

Казалось, кроме него, Ваулина, только еще одно живое существо было свидетелем происходившего, но это живое существо... дымчатая кошка, дремавшая, вытянувшись во всю длину, в углу того же подоконника! Девочка, присаживаясь на корточки, гладила неподвижно лежавшее животное, девочка и сама ложилась на подоконник, свесив голову вниз, и вновь подымалась, со смешной деловитостью, тщательно оправляя свое коротенькое розовое платьице, из-под которого торчали, как у больших кукол, кружевные топорщащиеся панталончики.

На ней был широкий кожаный пояс темного цвета — совершенно излишний, как решил вдруг в ту минуту Ваулин: он подумал, по ассоциации, о своей собственной дочурке, ему припомнилось, в чем она ходит, как одевает ее бабушка... Но все это — на одну секунду, на одну терцию, потому что мысль целиком, напряженно отдана была маленькому белокурому существу, стоявшему сейчас, как убежден был, на краю гибели.

И никто не видит этого, кроме него, Ваулина! Никто не может предотвратить неизбежное несчастье, которое должно вот-вот произойти... Вероятно, в квартире никого нет сейчас, ребенка на время оставили одного, а когда возвратятся, будет уже поздно.

— Ай... ну, что она, в самом деле! — выкрикнул он и, забыв обычную свою осторожность, отдернул занавеску, распахнул окно и высунулся в него. — Назад, девочка! — крикнул он, но, поняв сам, не так громко, чтобы ребенок мог его услышать.

Половинка закрытого до сих пор окна оттолкнута ручонками девочки, а сама она лежит животом вниз на подоконнике, болтая поднятыми босыми ногами: потерять равновесие было делом одного мгновения.

— Слезай, Лялька! (так звали его дочку) — не сдержался Ваулин и замахал руками, и голос его гулко разнесся по всему двору.

Девочка подняла голову, ища глазами кричавшего. Она увидела Ваулина.

— Ах ты... Разве можно так? Убьешься! — грозил он пальцем и быстрыми жестами показывал, что она должна сделать.

Девочка отодвинулась немного, но не изменила своей позы. Задрав голову и надув недоуменно и капризно губы, она поглядывала на незнакомого человека, вмешавшегося не в свое дело. Что это еще за дяденька такой?

«Кончится тем, что она убьется», — нервничал Ваулин, не зная, как дальше следует ему поступить.

На один момент мелькнула мысль, что надо сбегать вниз, подняться в квартиру, где живет девочка, позвонить, предупредить о грозящей ей опасности любого, кто откроет дверь, и тем спасти ребенка. Но он тотчас же отклонил эту мысль: стоя здесь и наблюдая за девочкой, он по крайней мере сдерживает ее поступки,

он, видимо, влияет на нее своим присутствием, а что может случиться за то время, пока добежит до ее квартиры?!

Девочка быстро вскочила, повернув голову назад.

— Ох ты!..— вздрогнув, уронил Ваулин.

Девочка откликнулась, по всему видно было, на чей-то зов. В глубине комнаты Ваулин увидел теперь голову, плечи и руки рыжей женщины, державшей сковородку. «Ну, слава богу...» Он был убежден, что мать (в этом он не ошибся) немедленно бросится к ребенку и снимет его с подоконника, и на том, наконец, кончатся его, Ваулина, собственные волнения. Однако женщина ничего подобного, к его возмущению, не делала. Она возилась со сковородкой, разжигала керосинку, выходила несколько раз из комнаты и вновь появлялась, что-то говорила девочке, а та, не отвечая, не покидала своего опасного места.

С громким мяуканьем прыгнула с подоконника встрепенувшаяся дымчатая кошка,— на теплый зов приготавлившейся еды.

«Избить мало такую мать!»— расстраивался Ваулин.

— Сударыня!— закричал он, когда та приблизилась к окну.— Девочку заберите... разобьется!

Рыжая женщина улыбнулась ему, кивнула головой, что-то сказала дочке. Девочка посмотрела на Ваулина, сделала вдруг реверанс и, приложив ручку к губам, послала ему воздушный поцелуй. Мать взяла ее на руки и, все так же улыбаясь— снисходительно со сдержанным лукавством, сняла с подоконника. И тогда только Ваулин закрыл свое окно, задернул занавеску и сел к столу.

Вся эта сцена продолжалась минут пять или того меньше, перерыв в работе был незначителен, но продолжать ее,— почувствовал Ваулин,— он уже не мог. Ваулин понял теперь, только теперь, как сильно устал, как глухо шумит в ушах и тяжелы руки от локтя до пальцев. Он зевнул— несколько раз в течение минуты: это лишний раз говорило о его усталости и в то же время о том, что она уже проходит,— его организм был крепок, и какие-нибудь полчаса отдыха возвращали ему силы.

Тетрадь с листом в клеточку, казавшаяся до того теплой, живой, наполненной сосредоточенной энергией его мыслей, вобравшая в себя весь «сок» ее, лежала остывшей, позабытой словно. Порыв ветерка (когда распахнул окно) перевернул без счету, напроказничав, ее страницы, и на открытых чистых листах тонким слоем серела налетевшая, набившаяся пыль, еще больше омертвившая страницы.

Он смахнул пыль, отбросил вправо поваленные ветром страницы и нашел ту, последнюю, на которой так случайно оборвалась его мысль.

Но все — напрасно... Работу не сдвинуть было с места,— не клевало.

Так часто случалось с Ваулиным, и, зная эту особенность своего характера откладывать работу, когда она не спорилась, ибо выходила она в противном случае не такой, какой хотелось,— он захлопнул книги и тетрадь и улегся на кушетке. Через минуту ему

стало неудобно на ней: клеенчатая, с твердым подголовником кушетка была коротка, и, чтобы не свисали ноги и не надавливало в затылок, он приставил к ней стул, а из соседней комнаты принес подушку, — словом, расположился так, как делал это всегда, укладываясь здесь на ночь.

Наконец тело его обрело покой.

Он лежал и думал — беспорядочно, не останавливаясь долго на одном и том же.

Мысли его шли примерно так:

«Ничего, ничего, вот только отдохну немного и допишу статью... Ах, какое глупое дитя: ну, еще один шаг — и такое несчастье! А я ей, кажется, «Лялька» крикнул? Да, да — «Лялька»... Солнышко ты мое, Лялька моя родная, девочка родненькая... Какой ужас был бы... Где это комар звенит?.. Надо матери сказать, чтобы внимательно следила за ней. Тоже ведь высоко живут. Ну, счастлив, что они обе здоровы... А рыжая (это про женщину в окне) — дура!.. И если бы я только мог... Кажется, никто, кроме нее, не видел, но все-таки надо быть осторожным... Лялечка, солнышко мое родное, девонька моя ясная. Ничего, ничего... «Вырастешь, Саша, узнаешь»... Бедная, бедная Надя...»

Здесь, подумав о жене, он вспомнил (какой раз за эти годы!) день, которому суждено было, вероятно, всегда стоять в памяти неповторимым, острым до мелочи знаком.

...Роды наступили раньше, чем оба они ожидали. Это случилось четыре года назад, летом, в Царском Селе, в дачном домике Надиного отца, полковника в отставке. Ваулин лежал в гамаке в саду, читая газеты. «Молодой человек, делом займитесь!» — услышал он взволнованный голос тестя. Ваулин вскочил и побежал в дом, — жена сидела на диване, глубоко откинув голову на его массивную овальную спинку красного дерева, упершись руками в сиденье. На первый взгляд — то ли она хотела осторожно сползти, то ли, напротив, упиралась, влекая к низу тяжестью круглого, выпячивающегося живота. Она стонала, в лице ни кровинки, и коричневатые, растекающиеся пятна на скулах, как это бывает у многих беременных женщин, еще больше темнили сейчас ее широко раскрытые плачущие глаза.

Через четверть часа, когда прекратились первые схватки, Ваулин доставил ее в местную больницу: возвращаться домой в Петербург, — и думать не приходилось. В вестибюле больницы схватки возобновились с еще большей силой, жена приседала, хватаясь за живот, и не стонала уже, а кричала громко, пронзительно, — и Ваулину было почему-то стыдно за ее крики; он испытывал неудобство и в то же время огромную жалость к ней, сострадание, которое — в суе — не знал, как выразить.

Ее положили на носилки и быстро понесли по паркетному коридору, — он не успел попрощаться с женой. Она протяжно, на разные голоса продолжала кричать, руки ее вцепились в ребра носилок, а голова приподнималась с подушечки, не забирая с собой («Как странно!» — подумал Ваулин) лежавших без движения плеч.



Ваулин остался один. Держа в руках поднятый с пола женин голубенький шарф, он вышел на улицу. Он слышал крик жены, крик этот преследовал его все время, много часов подряд: на улице, в поле, в лесу, куда забрался, чтобы никого не видеть, в дачном домике угрюмого, молчаливого тестя. Крик неумолчно стоял в его ушах, как жалоба и укор.

...Ваулин повернулся на бок и усилием воли заставил себя думать сейчас о другом.

Бедные люди, а Надежда Ивановна какая чистоплотная, аккуратная (это — об остекленном светлом шкафчике перед глазами, на полках которого в чинном порядке стояли чашки, тарелочки, чайник, вазочки)...

Скоро будут дома. Что, интересно, принесут?.. На углу газетчик... ну, что может быть нового в газетах?

Он лежал на разбросанных на кушетке газетах, — первую попавшуюся из них он вытащил из-под себя и стал читать. Верней — просматривать. «А-а...» — улыбнулся он тотчас же, взглянув на ее название. Скомкать и бросить под стол? Нет, врага надо знать, надо следить за ним.

Это была газета «Русский рабочий», издававшаяся фактически, — что являлось секретом полишинеля, — департаментом полиции. Редактировала ее «писательница» Елизавета Бор-Шабельская — мясистая, полнощекая женщина в боярском костюме и кокошнике: такой она изображалась на всех помещавшихся неоднократно в газете фотографиях.

Тут же, из номера в номер, рекомендовались читателю «увлекательные» романы ее: «Сатанисты», «Красные и черные», «За стенами Германского посольства». На первой полосе Ваулин прочитал стишки, написанные «путиловским рабочим» Шуваловым:

Если вся уничтожится рать,  
То пойдет хлебопашец и плотник,  
Ткач и слесарь пойдут умирать  
И последний домашний работник!

«Так, так...» — усмехнулся Ваулин.

Кажется, это были последние строки, которые прочитал: он заснул. Спал он крепко и глухо: он не слышал, как открыли парадную дверь, как вошли в квартиру хозяева, заглянули в его комнату, как возились они по соседству, разговаривая полным голосом. Он проснулся от прикосновения к плечу чьей-то подталкивающей руки. Ого, он проспал немало: в комнату вползал розовато-серый свет сумерек.

— Вставайте... вставайте, — будил его хозяин квартиры, Андрей Громов. — Обед давно готов, чаевать будем. И еще кое-что...

— Чудесно! — вскочил Ваулин, потягиваясь, протирая глаза. — Вы принесли конец набора? Я не ошибся, Андрей Петрович?

— Совершенно верно. В ночь отпечатаем.

Обедали в этой же комнате: их всего было две в громовской квартире — столовая и спальня.

Надежда Ивановна разливала суп, и Ваулин заметил, как старалась она положить в его тарелку побольше картофельной гущи, и единственный, кажется, кусок мяса, плававший в кастрюле, был поделен между мужчинами так, что Ваулину досталась большая его часть.

Он запротестовал, и Громов, погрозив пальцем, шутливо сказал:

— Партийный наказ такой... слушаться надо. Надежда знает, что делает.

За обедом он рассказал о Бендере, наборщике типографии «Просвещения», о последних новостях вечерней «Биржевки»: думский Протопопов из Стокгольма вернулся, и что-то много о нем писать стали, да еще о том, что в той же газетке меньшевики-оборонцы напечатали опять свое заявление.

— А что там? — заинтересовался Ваулин и глазами стал искать газету.

— Сейчас! — И Надежда Ивановна мигом принесла ее из спальни.

— На второй полосе, — ткнул пальцем Андрей Петрович.

Ваулин прочитал вслух:

— «...Раздающееся в известных кругах обвинение нас в подстрекательстве к забастовке — нелепо, ибо мы считаем, что они обессиливают рабочий класс и дезорганизуют страну, а мы стоим за организованность. Обвинение нас в «скрытом пораженчестве» мы считаем гнусной клеветой, ибо, если бы мы не стояли на точке зрения обороны страны, то не вошли бы в военно-промышленный комитет».

— Каково, а? — взглянул он на Громова, дожевывавшего мясо.

Андрей Петрович утер рот серым носовым платком и сказал:

— Об чем речь! Давно известно: господа оборонцы, с Гвоздевым и компанией во главе, блином, масляным блином в коноваловский рот лезут, прихвостни.

Он говорил спокойно, может быть чуть-чуть угрюмо, все время одним и тем же тоном — ровным и сдержанным, хотя, как знал это Ваулин, терпеть не мог оборонцев-меньшевиков, был непримирим к ним, своим политическим прогивникам.

Та же сдержанность покоилась на его маленьком и круглом, как яблоко, серокожем лице с розовыми и тонкими просвечивающимися ушами; и только в светло-голубых глазах его, опущенных книзу, держалась всегдашняя хитринка.

По отзывам товарищей из организации, да и сам Ваулин в том убедился, Андрей Петрович был незаменимым беседчиком-агитатором (может быть, и лучшим среди питерских рабочих-большевиков), и Петербургский Комитет партии им очень дорожил. Он входил в ПК вместе со старыми подпольщиками рабочими, сторонниками Ленина в социал-демократическом рабочем движении.

Громов был одинаково осторожен и выдержан на любой конспиративной работе, а вести ее приходилось в разных местах. В трактире «Лондон», на углу Лиговки и Курской, прозванном «Капернаум», где за бутылкой портера всегда можно было встре-

тить свою, рабочую публику всяческих профессий; в лиговском народном доме, часть помещения которого заняли под сборный мобилизационный пункт, что привело сюда немалое количество ругающихся и плачущих жен с детьми, быстро подававшихся антивоенной агитации; на собрании участников больничной кассы завода «Парвиаинен» на Чугунной, где не работал, но куда надо было обязательно попасть, чтобы умудриться всучить, «колеблющимся» листовки большевиков; в лесу, на сходке в районе Благовещенской и проспекта Петра Великого, куда в проверенную, в общем, компанию партийных единомышленников могли затеяться, уже наверно, агенты царской охранки,— всюду и всегда спокойствие и осторожность не покидали Андрея Громова.

За эту черту его характера да еще за умение путем толковой беседы внушить к себе доверие слушателей и влиять на них кто-то в шутку назвал его «Лекарь», и это стало его партийной кличкой; так же как Ваулина, по внешнему облику его, многие товарищи называли «Швед».

Андрея Громова Ваулин не только уважал и питал к нему приязнь, но и считался с его суждениями, прислушивался к ним, проверяя тем правильность своих собственных.

Ваулин был одним из тех немногих партийных литераторов-интеллигентов, уцелевших от ареста, кто составлял главную литературную силу разгромленной в войну петербургской организации. Надо было писать листовки, прокламации, статьи в изредка выходившие номера подпольной газеты, составлять конспекты речей рабочих-большевиков, которые те должны были произносить на безобидных, на первый взгляд, собраниях, писать сводки-корреспонденции в заграничный орган ЦК — «Социал-демократ», — за последние полгода на Ваулине лежало немало обязанностей. И Андрей Громов бережно, любовно, — замечал Ваулин, — хранил до поры до времени листки его рукописного имущества (и, чтобы не оставалось никакого следа, уничтожал их после печати); однако он часто вносил в них свои поправки. Он вчитывался в написанное Ваулиным, хвалил, но тут же прибавлял:

— А не разменять какой рубль на медяки?

И безобидная, ласковая хитринка светилась в его глазах.

Вначале Ваулин не понимал иносказаний Андрея Петровича:

— То есть... какие такие медяки? — но вскоре усвоил эту манеру речи своего приятеля.

— Разменять рубль на пятаки? А это вот что: написать надо просто. Громкие рублевые слова разменять на простые, на понятные всему нашему брату. Для кого пишем? Для рабочих пишем, — значит...

И он делал выразительный жест рукой, быстро раскрыв до отказа кулак, натянув ладонь и отогнув далеко в сторону большой палец: сами, мол, понимаете...

Чувствуя всю справедливость указаний Андрея Петровича, Ваулин соглашался с ним, старался писать листовки проще, выбирал слова точные, знакомые читателю подпольных прокламаций,

и только удивлялся каждый раз, насколько метки и правильны были всегда замечания этого типографского рабочего, умудренного опытом повседневной партийной работы. Прокламацию, посвященную аресту думских депутатов, писал Сергей Леонидович совместно с Грозовым.

— Как дочка? Может, надо передать что ей и матушке?— спросил в конце обеда Андрей Петрович.— Если интересуетесь, Надежда завтра сходит, все сделает.

— Да, да...— подтвердила Надежда Ивановна.— Мне что? Я мигом... Я ребеночка вашего повидаю и все расскажу вам потом. Записку отнесу, как прошлый раз.

Она смотрела на Ваулина уютным, услужливым взглядом темных, слегка навывате глаз. Обычно молчаливая — она вдруг оживилась теперь, краска залила ее узкое, смуглое, как у сербиянки, лицо с тонкими, сухими губами.

— Дочка у вас какая хорошая! Ножки стройные, голосок динь-динь-динь!

— Ничего, мать, поздоровеешь — своего заведем. Не сокрушайся, мать, не сомневайся,— встал из-за стола, подошел к ней и похлопал по плечу Андрей Петрович, и видно было, что хотел замять неудачно всплывший разговор.

Ваулин начал было рассказывать о девочке, едва не упавшей с пятого этажа, и о своих волнениях по этому поводу. Но вдруг показалось ему, что делает сейчас глупость. («Ах, надо было ответить разговоры о деталях, раз она так болезненно реагирует!..») И оборвал свой рассказ, виновато взглянув на смотревшего исподлобья Андрея Петровича.

Однако на этот раз он ошибся,— Надежда Ивановна, усмехнувшись, сказала:

— Эта Маргаритка хоть свалится, но никогда, ни в жисть, не разобьется. Мы с Андрюшей раньше тоже очень беспокоились, а теперь не обращаем внимания.

И она в два голоса с мужем сообщила Ваулину: Маргаритка — дочь цирковых артистов, работающих на трапециях. Хлеб зарабатывают всей семьей. Надежда Ивановна сама видала в цирке эту самую Маргаритку, висящую над сеткой на опущенных книзу руках своего отца. Она привычна к «высоте», и дома на подоконнике она стоит частенько, но упасть и разбиться не может, так как на ней надет пояс, а от пояса идет длинная, не замеченная, очевидно, Ваулиным, тонкая, но прочная веревка, прикрепленная предусмотрительно к ножке кровати или к дверной ручке. В том-то и весь секрет, и нечего было волноваться.

— А высовываться вам в окно — тоже ни к чему!— добавил Андрей Петрович.— Увидят! «Что за жилец такой новый?»— подумают. Кому это нужно? Попадись вы на глаза старшему дворнику, да хоть и вообще дворнику,— сразу неприятность. Сами привяжутся да еще хозяину доложат. А, между прочим, знаете, кто домовладелец наш? Хулиганье, черносотенец я-тте дам, гиена в мундире.

Но в каком мундире ходит громовский домовладелец, Ваулин уже не расслышал, верней — не обратил на то внимания. Оно целиком было отдано сейчас третьей полосе вечерней «Биржевки», которую, пробегаая глазами, держал в руках.

На этой третьей полосе, в правом верхнем углу ее, среди обычного текста городской хроники и фельетонов, Ваулину попало на глаза — на таком неожиданном в газете месте! — набранное крупным шрифтом объявление, оторвавшееся от всех остальных, взлетевшее наверх, в узорчатой квадратной рамке.

Он не спускал с него глаз: о, никакого не могло уже быть сомнения!.. Как же поступить? Ах, черт возьми, — ну, конечно же, так, как там сказано! На почтайт? Нет, теперь уже, пожалуй, письмо может запоздать. Он опять взглянул в текст объявления: «3-3» непарелью — это означало, что заказ издательством выполнен и объявление печатается сегодня в последний раз.

Да, да, письмо может опоздать, не дойти, — ведь он, черт возьми, прозевал минимум два дня, безвыходно сидя здесь, у Громовых, занятый работой над статьей для «легального» журнала. А в это время...

(Конечно же, Вера Михайловна вызывала его, как всегда, через корректоршу этого журнала, а та, вероятно, захворала и потому не могла выполнить данного ей поручения.)

Ваулин, едва сдерживая свое волнение и радость, встал из-за стола, сложил газету вчетверо и спрятал ее в карман.

«Один семь-семь восемь-семь», — повторял он в уме, словно боялся забыть эти цифры и порядок, в каком они следовали.

— Ну, успеха! — попрощался он через час с Громовым. — И мне пожелайте.

— Ночевать придете? — вышел из чуланчика Андрей Петрович.

Пальцы его растопырены, запачканы черной, пахнущей керосином краской, кистью руки он отбрасывал наверх сползшую на лоб прядь растерявшихся волос.

— Другого места нет. Хотя, знаете...

Ваулин что-то соображал.

— Вам видней, — не торопил его с ответом Андрей Петрович.

— Н-не знаю, — все еще не решил Ваулин. — А записочку матери моей пусть, пожалуйста, Надежда Ивановна отнесет завтра. Я там оставил... в конверте, — вспомнил он совсем о другом.

Громов кивнул головой.

— Только к Шурканову не ходите, — неожиданно сказал он, и Ваулин вздрогнул даже от удивления: вот сейчас, сию минуту он как раз подумал о том, что, может быть, придется отшагать сегодня на Выборгскую сторону, к старому большевику Шурканову, бывшему в прошлой Думе депутатом, избранным в Питере по рабочей курии.

Квартирой Шурканова, прекратившего одно время активную партийную деятельность, часто пользовались работники Петербургского Комитета для свиданий, ночевки, а некоторые — и для продол-

жительного пребывания в ней, для жилья. Шурканов — преданный делу человек,— так почему же Андрей Петрович советует не ходить к старику?..

Громов насупился, замотал своей маленькой головой:

— Шурканова квартира — фонарь для охраны. Это я верно говорю.

— От такого подозрения с ума можно сойти!— вскрикнул Ваулин.— Ведь надо же доказать это, Андрей Петрович! Доказать, а? Вы понимаете?

— Ладно, понимаю,— все тем же ровным тоном ответил, прощаясь, Громов.— Доказательства сами придут. А я — чувствую... Ключ взяли?— вернулся он к прежнему разговору.

— Взял,— проверил себя, нащупал Ваулин в кармане брюк раздвоенную бородку ключа.— Успеха!— дружелюбно бросил он вновь, глядя на запачканные черной краской руки Андрея Петровича.

И вышел из квартиры.

## *Глава восемнадцатая*

### СЕМЬЯ НА ДАЧЕ

Этой ночью приснился отчего-то Трафальгарский сквер, огромная ионическая колонна, наверху которой в туманных облаках, гордо подняв голову, стоял адмирал Нельсон. А он, Лев Павлович, держа за руку Юрку, стоит у памятника и объясняет что-то сыну.

Что именно — так и не вспомнилось наутро, но почему мог присниться английский сквер, да и не только он один, казалось понятным: весь вчерашний день он, Карабаев, и клювоносая, в золотом пенсне, Ольга Дмитриевна, помощница в делах, перечитывали заграничный дневник Льва Павловича. О да,— таинственно пропавший дневник очутился вновь в его руках...

Это случилось так. Вчера утром неизвестный молодой человек принес в редакцию газеты, где работает Ольга Дмитриевна, большой пакет и вручил его швейцару внизу. Пакет оказался дневником Льва Павловича. К нему была приложена кратенькая, двухстрочная записка, сообщавшая, что бумаги найдены в купе вагона во время уборки его. Прекрасная, исполнительная Ольга Дмитриевна немедленно примчалась на дачу. Какое счастье, господа: ни один листок не пропал, все лежало в полном порядке,— Лев Павлович был искренне обрадован, и даже мысль о том, что его записи побывали в руках охраны (а что это так — он был убежден), не омрачила сильно на сей раз его радости.

Ну, так вот: то ли еще могло присниться после прочтения дневника, после оживления в памяти всех заграничных впечатлений? Мысль во время сна — как ветвь, опущенная в соляное озеро: вытащишь ее, а на ней каждый раз в новых, причудливых сочета-

ниях кристаллики соли разной формы,— так и подумал о своих сновидениях Лев Павлович.

Подумал еще и потому, что, кроме Юрки, очутившегося у памятника английского адмирала, приснилась (что за черт!) всякая чепуха: бурая корова со сломанными рогами, бредущая по перрону Финляндского вокзала, а у колокола — лестница с наваленными на нее дамскими цветными шальями, и еще игра в футбол на здешней дачной площадке, разгоряченные, вспотевшие лица бегающих футболистов, среди которых то и дело мелькало смугло-матовое, усатое лицо, с узкой ямочкой на подбородке, Александра Дмитриевича Протопопова.

Впрочем, последнее-то было объяснимо, как и Трафальгарский сквер: на столике, у кровати Льва Павловича, лежала кipa вчерашних газет, а они почти полны были разных сообщений о возвращении на родину из Стокгольма товарища председателя Государственной думы А. Д. Протопопова, «удостоенное», как сообщала пресса, монаршего приглашения сделать доклад о поездке.

«Харя!» — подумал Лев Павлович о своем думском коллеге, хотя лицо того — благообразное, с правильными чертами — не заслуживало такого сурового отзыва, а сам Лев Павлович обычно избегал грубых слов по чьему-либо адресу. Но Протопопова он не любил, невзлюбил его давно.

«Харя... хвастун! — уперлась мысль Льва Павловича в одну и ту же точку. — И приснится же... как крыса: к какой-нибудь неприятности!»

Еще лежа в постели, он протянул руку к стакану с молоком и ватрушке, заботливо приготовленным для него Софьей Даниловной, быстро съел это и сразу же закурил, чего он не позволял себе делать натошак.

Он был один в комнате, — жена давно уже возилась по хозяйству, и он слышал ее голос, доносившийся со двора в открытое окно, занавешенное полотняной шторой.

Кудахтали куры хозяйки, изредка долетал в комнату ее финский говор, жужжал, биясь в стекло, гулкий шмель, голосил где-то на улице пройдоха-офеня, тарахтела на выбоинах крестьянская повозка, — но все это не разрушало еще накопленной за ночь тишины раннего солнечного утра за городом, в деревне, а Льву Павловичу, привыкшему к городскому шуму, тишина эта казалась и вовсе нерушимой, застывшей.

Дважды прокричавший в соседнем дворе петух отвлек на минуту мысль Льва Павловича, — он подумал о петухе и — тотчас же — о купающихся в речке ребятишках, о приземистых, с колокольчиками на шее, здешних коровах в реденьком лесу, о старушках финках, молчливо собирающих там же грибы, — ну, словом, о мирном идиллическом укладе тихой деревенской жизни, издавна близкой его сердцу, волей судьбы отданному, однако, другому.

И как, в сущности, ему приятны и любы эти молчаливые старушки крестьянки! Этот трудолюбивый, весь день в мерных

и мирных заботах, плотник, хозяин дачи, Вилли Котро — такой же дельный работника, как и все обитатели сельской России; как милы все эти белобрысые, резвые ребяташки, сражающиеся в «городки», удящие рыбу с умением опытных рыбаков, с детства привыкшие обращаться с топором, рубанком, сапожной иглой; все эти хлопотливые, выносливые, берегущие семейный очаг жены бесчисленных Вилли Котро, сидящих — от Балтики до Черного моря и от утраченных теперь польских деревень до Великого океана — на раздольной, широкой русской земле... Хороша, ах, как хороша могла быть жизнь на ней!

Могла быть, но... так угасла минута идиллической умиротворенности и мечтательности Льва Павловича: надо встать, одеться, приняться за работу, которую не счел возможным бросать даже на отдыхе.

Он протянул руку все к тому же столику, на котором стоял опорожненный стакан из-под молока, взял оттуда верхний, из тонкой стопки бумаги, наполовину заполненный листок и хотел пробежать его глазами: увидеть, вспомнить последнее, что написал еще позавчера, вспомнить и подумать о том, о чем следует еще вот сегодня писать («в газету... передать с Ольгой Дмитриевной... попросить, кстати, аванс под эти заграничные очерки...»), но, начав читать листок, не закончил чтения.

Забыл стряхнуть пепел от папиросы, — он упал на белое пижамное одеяло, и, заметив это, Лев Павлович всполошился, откинул одеяло, вскочив с кровати, стал вытряхивать его, как будто оно и в самом деле могло загореться от пепла.

«Нервы! — осадил себя Лев Павлович. — Проснулся, батенька, сразу же и одевайся».

И, как был в пижаме, всунув ноги в комнатные туфли, он вышел из дачи на крыльцо.

Умывался он тут же, во дворе, за выступом дачного домика. Софья Даниловна, стоя сбоку, слегка наклонившись, поливала из большого эмалированного кувшина, держа его обеими руками, широко расставив ноги — не хотелось облить водой свои кожаные желтые туфли.

— Приятно тебе, Левушка, правда? Еще хочешь? Сделай одолжение, друг мой, — любовно говорила она.

— Бр-р-р... давай, давай, Соня. Хорошая, холодная, чудная вода!

Тоже расставив широко ноги, нагнувшись, голый по пояс, Лев Павлович подставлял под кувшин чашкой приставленные одна к другой ладони с загнутыми вверх пальцами и воду не подносил к лицу, а, словно озорничал, бросал ее в лицо — в глаза свои, в бороду, в густые усы. Несколько раз он намыливал шею и тщательно, засовывая мизинцы в уши, промывал их и натирал докрасна. Мокрыми руками он хлопал себя по волосатой, трясущейся жирной груди, тер бока и плечи, просил жену «много, много воды» лить ему прямо на голову.



— Ну, хватит уже! — умеряла его пыл Софья Даниловна, опуская наземь кувшин. — Не простудиться бы, Левушка...

И она нежно похлопывала его по натянувшейся, гладкой спине и, как много лет назад, в первые годы их совместной жизни, щурясь и оглядываясь по сторонам, закусив губу, ласково, украдкой пощипывала его плечи.

— Скорей одевайся, а то соблазнишь всех местных красавиц! Стыдись... отец семейства!

И, отойдя уже, из-за угла дома окликнула его:

— Левушка, Лев Павлович! Мы все ждем к завтраку. Поскорей, милый!

Через несколько минут он закончил свой туалет, чувствуя себя бодрым, здоровым и в хорошем настроении.

На камне в сторонке лежало широкое, червонного золота, обручальное кольцо, снятое, по обыкновению, перед умыванием с пальца. Руке словно чего-то не хватало. Не только руке, но и всему Льву Павловичу, — он обрадованно нашел глазами кольцо и надел его: как будто пригнал для абсолютного порядка последний недостававший винтик.

Завтракали на остекленной веранде втроем: Ириша, он и жена. Юрку, как ни будили, не могли поднять с кровати после ночной ловли.

На столе — творог, сметана, редиска, крутые яйца, масло, кофе и миска свежей земляники — любимая пища всей карабаевской семьи, и Лев Павлович — бодрый, освеженный — с немалым аппетитом поглощал все это, а ягод и сметаны с сахаром откусал по две порции, — к великому удовольствию Софьи Даниловны.

За столом Лев Павлович рассказал о сегодняшних своих сновидениях, и Софья Даниловна заметила участливо, что нехорошо, когда снится так много снов: мозг не отдыхает, а ты, Левушка, к тому же такой впечатлительный, — нет, нет, хорошего тут мало, — надо не думать, совсем не думать на даче ни о какой политике. К чему это все? Успеется еще.

Ириша молча слушала материнские нотации отцу; она с охотой вмешалась бы в разговор, но ведь у нее свое мнение о политике, а это может вызвать только неудовольствие и раздражение родителей, — так уж лучше помолчать.

А Лев Павлович, дойдя в своем рассказе до «футболиста» Протопопова, вспомнил вдруг (очевидно, в прямой связи с вчерашними газетными сообщениями) об одном эпизоде в парижском отеле «Crillon», где останавливалась думская делегация.

И, вспомнив, почувствовал, что необходимо рассказать о нем, огласить хранимое в памяти теперь же, сейчас, хотя не думал, что это может быть интересно жене и дочери. Пусть так, — он все же расскажет, повторит для самого себя, потому что такова уже потребность «разделаться» с неприятным ему человеком, как Александр Дмитриевич Протопопов. Может быть, этим самым он выбросит его из памяти на целый день, чтобы ничто уже неприятное

не раздражало и не отвлекало во время отдыха и работы над очерками для газеты.

И Лев Павлович сказал:

— Ты знаешь, Соня, как я отношусь к этому человеку. В нем много... ну, много хлестаковщины, что ли, и этим все сказано. Но, надо признать, в течение всей поездки, особенно — пока мы ехали туда, ничего особенного, я бы сказал — странного, я в нем не замечал. Человек как человек, говорил довольно связно, довольно банально, мало интересно, но вполне прилично. Говорил по-английски, по-французски там, где надо, и нам этого было совершенно достаточно. (Пододвинь мне, пожалуйста, Сонюшка, редиску... Спасибо!) Ко всем членам миссии он проявлял чрезвычайно дружелюбное отношение. Не к чему было придаться...

— Так, может быть, ты, Левушка, не прав? — подала голос Софья Даниловна, протягивая дочери намазанный маслом кусок хлеба. (Так уже повелось в карабаевском доме, что всем в семье намазывала хлеб маслом сама Софья Даниловна.)

— В чем это не прав, Соня?

— Ну, в оценке этого человека. Ты сам рисуешь его джентльменом.

— А ты вот послушай! — обрадовался Лев Павлович тому, что жена с самого начала заинтересовалась его рассказом. — Я не хочу его умышленно чернить (я вообще не занимаюсь этим делом, как тебе известно!), хотя, повторяю, мне он глубоко чуждый и неприятный человек. Но вот тебе сценка...

Он принял из рук жены большую фарфоровую чашку кофе, забеленного жирными сливками, хлебнул из нее и продолжал:

— Да, вот тебе такая сценка... Как-то поздно ночью (надо тебе знать, что мы были заняты с девяти утра до глубокой ночи), возвратившись после какой-то официальной встречи, я пришел к себе в номер и старался набросать страничку своего дневника. В это время стук в дверь. Входит Протопопов: «Можно к вам?» — «Можно». — «К вам у меня очень большая просьба». — «Что скажете?» — спрашиваю. Он начал рассказывать, что затевает очень большую газету, европейского масштаба, которую субсидируют крупнейшие банки, что эта газета должна быть либеральной и беспартийной.

— Об этом во вчерашних газетах писали, Левушка...

— Да, да... Он надеется, понимаешь ли, с помощью этой газеты бороться на выборах с попытками их фальсифицировать, как это было сделано с четвертой Думой. В газету привлечены все лучшие люди, как он выразился, и что он просит также и моего сотрудничества.

— И ты дал согласие? — выпалила, покраснев, Ириша, да так горячо, что Софья Даниловна немедленно обменялась с мужем многозначительным, красноречивым взглядом: «Вот видишь... Обрати внимание!»

— Нет, курсёсточка моя, — спокойно ответил Лев Павлович, перехватив взгляд жены. — Я сказал, дорогие мои, что сотрудни-

чаю главным образом в «Речи» и что не могу себе представить свое участие в двух газетах, из которых одна «сомнительно-беспартийная». Тогда он говорит: «Там будут Короленко, Максим Горький, Амфитеатров, будет даже Меньшиков, и я думаю, что нужно, чтобы все, кто имеет талант, взялись за это дело». Ты понимаешь, Соня, эту «платформу»?! (Дай, голубушка, еще кусочек сахарку!) Я говорю ему: «Вы меня простите, Александр Дмитриевич, но это чепуха!» Он стал уверять все же, что это возможно: что газета пойдет, что все будет великолепно. Мне стало скучно говорить на эту тему, и я ему сказал: «Знаете, Александр Дмитриевич, вы меня оставьте с таким предложением. Я не могу в это дело войти, сотрудничество в такой беспринципной газете для меня невозможно».

— Папа, я тебя уважаю! — захлопала в ладоши Ириша.

— А я уже начал сомневаться в том, доченька! — не без намека на что-то ответил Лев Павлович и ласково посмотрел на нее: «Какая красивая, и лицо какое открытое, бесхитростное...» — Ну, так вот... Тогда он говорит: «Какой вы злой, Лев Павлович, нехороший!» — знаешь, капризно так, сюсюкал: взрослый человек, — фу, довольно противно это у него получилось!

Лев Павлович сделал брезгливую гримасу: ноздри сжались, усы опустились вниз.

— Да-а, «какой вы злой, нехороший», — говорит он, — пойду я к Павлу Николаевичу: он меня лучше поймет, он, наверно, согласится». Я на него посмотрел с изумлением и думаю: «Что такое?! Можно ли это говорить, когда я отказываюсь, а он пойдет... к кому?! К Милюкову? К Милюкову, который ведет «Речь», — пойдет просить сотрудничества в своей газете?! Сумасшедший! И шарлатан...» Я пожал плечами, — Лев Павлович и сейчас сделал то же, — и говорю: «Что ж, идите». Мне показалось удивительным, ей-богу, странным, как этот человек ничего не понимает. Как можно свести Короленку и Горького с нововременцем Меньшиковым и туда же пригласить Павла Николаевича! Это же чепуха, а он говорит, что это будет легко, доступно и возможно. Мне это показалось ужасной дичью... Затем — тоже в Париже: уже на обратном пути из Италии. Куда-то надо было нам ехать, — постой, я даже припоминаю куда: мы должны были ехать к Ротшильду: Павел Николаевич, он и я. Он присылает своего лакея, с которым, кстати, как барин, никогда не расставался, — присылает с сообщением, что болен и не поедет. Я решил его навестить. Прихожу. Он лежит в постели раздетый. Действительно: видимо, скверно себя чувствует — пульс высокий. Я стал, как врач, его осматривать. Между прочим: у этого барина всегда дурной запах изо рта... Стал осматривать его: не то инфлуэнца, не то малярия — неизвестно что. Однако думаю: «Нет, это не инфлуэнца, что-то другое». Говорю ему: «Может быть, вы просто нервничаете, Александр Дмитриевич?» — «Да, я переутомился, со мной нехорошо. Вы, однако, не имеете права мне сочувствовать: вы злой и подозрительный». Видала, Соня? Я злой и подозрительный!.. «Вы теперь меня не треплите, — не говорит, а жеманится. — Такая трепка не по мне, я за

себя боюсь. Со мной это иногда бывает, я иногда соскакиваю». В этом словечке, кажется, весь ключ... весь ключ к этому человеку. «Соскакиваю»!.. Патологический субъект, развинченный, неврастеник, враль!

Лев Павлович замолчал и стал доедать землянику.

— А почему враль?— поспешно спросила его Софья Даниловна, догадываясь, что что-то еще не досказано в повествовании мужа.

— Почему враль?— переспросил он, подбирая ложечкой с блюда последние ягодки, подталкивая их мизинцем: никак не взять было одной лишь ложечкой.— Вообще враль, а еще, в частности, потому, что в тот же вечер, как мы узнали, уехал куда-то за город в обществе весьма сомнительных женщин. Это больной-то!— с неподдельным, горячим осуждением сказал Лев Павлович.

Прислуга принесла забытую им в комнате коробку папирос, спички, ракушку-пепельницу. Лев Павлович обратил внимание на то, что вот уже второй день в пепельнице лежит недокуренная на три четверти папироса, которую, конечно же, давно пора бы выбросить, но остальные окурки Клавдия, прислуга, выбрасывает, а этот оставляет, кладя куревом вниз.

Подумал о ней иронически, но с любопытством: «До чего хозяйственная крестьянка!»— окурочек на ее глазах выбросил в окно, закурил новую папиросу.

К концу завтрака пришел Юрий: темные волосы прилизаны, ниткой — тонкий пробор на боку, темноглазый, немного продолговатое лицо с прыщиками на подбородке, нос заметен, острый, — весь очень похож на Георгия Павловича, на дядю, — отмечала всегда Софья Даниловна.

— Карасей восемь штук и мелкой рыбы фунта два!— объявил он, садясь к столу, шумно пододвигая стул. — Дезертир помогал.

— Какой дезертир?— в один голос спросили оба родителя.

— Ну, известно, какой — обыкновенный!— фальшивым юношеским баском ответил сын. — Тот, что воевать не желает и от властей прячется. Изменник отечества, короче говоря. Субъект наказуемый.

Родители переглянулись: не понять было сразу, каким тоном говорит их сын — насмешливо или серьезно. И оба предпочли не повторять своего вопроса.

Но Ириша поллюбопытствовала:

— Каким же это образом он тебе помогал, Юрик?

— Не образом, а руками, мадемуазель. Сидели мы оба и удили. Вот и все. Удили и разговаривали, — тут я и понял из разговоров, с кем имею дело. Чистопробный дезертир: денег попросил на дорогу. На билет. Сам он из Тихих вод.

— Это что за местность — Тихие воды, какой губернии?— задала вопрос Софья Даниловна, очищая для него яйцо от скорлупы.

Он рассмеялся и снисходительно, как показалось Льву Павловичу, посмотрел на мать.

— Местность эта не имеет губернии, но встречается теперь часто, мама!

— Что за манера... Ты усвоил, кажется, очень плохую манеру, Юрик, отвечать загадками и каким-то странным тоном, друг мой!— рассердился на него вдруг Лев Павлович.— Потрудись отвечать по существу.

— Я ничего особенного не позволяю себе,— смутился, к удовольствию Льва Павловича, Юрий.— Извольте, я вам все объясню. «Тихие воды»— так называют в шутку солдаты поднадзорную воинскую команду, из которой они убегают.

— Ну, не все убегают!— отрезал Лев Павлович.

— Не всем удастся, но все хотят,— сказала как бы невзначай Ириша, встав из-за стола.— Спасибо, мамочка... Я пойду к гамаку, в рощу.

Проходя мимо отца, она вдруг приблизилась к нему и, не глядя в лицо, поцеловала его в щеку. Он ощутил ее теплые, мягкие губы, они отдавали слегка запахом свежего молока, сладкого творога, пеклеванного хлеба. «Ах ты мой теленок родной!»— подумал о ней нежно, хотя еще секунду до того готов был, как и на Юрку, рассердиться.

Через минуту Ириша вышла со двора, пересекла песчаную рыхлую дорогу, взбежала на зеленый бугорок и, обхватив сзади сцепленными руками голову, медленно и плавно, немного раскачиваясь, что напоминало походку матери, Софьи Даниловны, направилась в лесок.

Лев Павлович долго провожал ее взглядом, сидя в плетеном кресле на веранде.

Вот она свернула направо, пошла какой-то тропинкой, и, чтобы видеть ее, надо повернуть в ту же сторону, направо, голову,— и Лев Павлович, отвернувшись от стола, глядит теперь вдаль, сквозь стекло широкой верандной рамы.

Но стекло озорничает, как кривое зеркало в Луна-Парке,— волнистое, «пьяное» стекло, приобретенное экономным, малоимущим плотником Вилли Котро, смещает, ломает перед взглядом безукоризненно прямые сосны, превращает в смешной зигзаг тропинку, раздваивает, обезображивает плавно идущую фигуру Ириши. Лев Павлович ищет ровное, «трезвое» место в стекле Вилли Котро, для этого встает даже, не спуская взора с удаляющейся дочери.

«А ведь нам следовало с ней поговорить, пооткровенничать. Чую, что надо...— решает он вдруг, как бы отвечая каким-то другим своим мыслям, пришедшим уже не только сейчас, а еще раньше, в первый день возвращения из-за границы. Верней— в первую ночь разговора с женой, Софьей Даниловной.— Да, да, объясниться надо. Только бы найти подходящий случай».

Он и не предполагал в ту минуту, сколь скоро представится этот «подходящий случай».

## Глава девятнадцатая

### БОЛЬШЕВИКИ: СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ

Когда познакомились и прошли первые пять минут беседы, Ваулин искренне признался:

— А я и не подумал бы раньше, что вы такой!

Сухопарый собеседник стянул серый гарус своих бровей, улыбнулся и сказал:

— Такой, Сергей Леонидович, каким полагается быть в данный момент. Ленин, хваля, очевидно, за способность преобразаться, называет меня Парацельсом. Знаете, в шестнадцатом веке существовал такой известный реформатор алхимии. Все сохранившиеся тридцать пять портретов его очень мало походят один на другой. А настоящее имя его не Парацельс, а вот такое: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Вот, извольте запомнить,— так и со мной иногда!.. Ну, да ладно, поговорим о деле, товарищ.

— Во всяком случае,— отвечая улыбкой на улыбку, сказал Ваулин,— на нашего русского купца первой гильдии Савву Абрамовича Петрушина вы действительно не очень смахиваете. Надо думать, что и «купчиха» Евдокия Николаевна...

— ...ничего общего с замоскворецкими купчихами не имеет,— закончил ваулинский собеседник.

— Да, Савва Абрамович. (Так и просил называть себя.)

— Позвольте, вы откуда звонили мне?— скачками шли его вопросы.

— Из аптеки.

— Никто не слушал вас?

— По-моему, никто.

— Это хорошо. Вы сами понимаете, что за вами, конечно...

— ...слежка,— кивнул головой Ваулин.— Я осторожен, как могу: шел сюда буквально волчьими шагами. Я хорошо знаю Петербург и, узнав адрес, вспомнил, что можно пройти сюда двумя сквозными дворами с Мойки. Но я не ожидал, что попаду...

Недоговоренное заменил жест (развел руками) и удивленный огляд комнаты во все стороны: мол, довольно шикарно тут у вас.

Савва Абрамович назвал фамилию хозяина квартиры: крупного фабриканта, главы акционерного общества, широко известного в Европе.

«А-а, квартира шефа...» — тотчас же вспомнил Ваулин рассказы товарищей о Савве Абрамовиче.

— Мы одни в квартире, если не считать прислуг. Семья хозяина в Крыму, а сам он хотя и в городе, но придет сегодня очень поздно.

Они сидели в разных концах крытого розовым шелком узкого диванчика с инкрустациями на изогнутой спинке, с выгнутыми, позолоченными ножками, выточенными из карельской березы. Вся мебель в комнате — стулья, столики, второй диван — была точно такой же. «А все-таки безвкусица!» — не одобрил Ваулин, огля-

дывая комнату. Понравились только атласные, без всяких украшений и узоров, обои, словно дававшие мягкий дополнительный свет к электрическому, горевшему высоко под потолком.

Прислуга в белой наkolке принесла на подносе кофе, сливки, печенье. Когда закрылась за ней дверь, Савва Абрамович сказал:

— Теперь нам никто уж не будет мешать. Рассказывайте, дорогой Сергей Леонидович, как обстоят дела. Так вот вы какой, вот какой,— повторил он дважды, прежде чем начать слушать, и посмотрел дружелюбно на Ваулина.— О вас писал нам несколько раз за границу очень похвальные вещи Бадаев. Ну-с, хорошо. Рассказывайте, рассказывайте, что знаете.

Но вышло так, что через несколько минут он больше сам стал рассказывать, чем слушать, что было только приятно Ваулину.

Последнее время Савва Абрамович, инженер-директор одного из предприятий русско-бельгийского акционерного общества («и старый большевик социал-демократ!»— все время не забывал этого Ваулин), большую часть года проводил на Западе, занятый там — официально!— делами фирмы. Он отлично умел организовать транспорт нелегальной литературы из-за границы и «технику» подпольной работы в крупнейших рабочих центрах России. Все это Ваулин, в числе немногих членов питерской организации, знал со слов все того же товарища Бадаева.

— ...Пожелаем всем нам такую энергию, какую он проявляет! Его стремление быть в курсе всего, что происходит в России, не знает пределов.

Так ответил Савва Абрамович на вопрос Ваулина о Владимире Ильиче Ленине.

Савва Абрамович дважды за эти полгода ездил к нему в Швейцарию и несколько раз получал от Ленина письма в Лондон,— ого-го, какой человек Владимир Ильич! Неукротимый, страстной воли и энергий человек! А работоспособность... работоспособность дьявольская.

Ваулину было странно видеть Савву Абрамовича таким взбудораженным: насколько он успел приглядеться к нему, тот был до сего времени спокоен и сдержан, с жестами размеренными и неторопливыми, а тут вдруг — словно прорвало человека! Значит, есть кем восхищаться: Сергей Леонидович никогда не встречался с Лениным и ни разу его не видел.

— Что он делает сейчас?— задал простой вопрос.

— Все, что можно только, что удастся делать в интересах партии!— несколько торжественно, как показалось Ваулину, ответил Савва Абрамович.— В частности, заканчивает для книгоиздательства «Парус» большую брошюру. Она называется «Империализм, как высшая стадия капитализма». Этому вопросу Ленин, имейте в виду, придает громадное значение. Он считает, что настоящей, глубокой оценки происходящей войны нельзя дать, не выяснив до конца сущности империализма как с его экономической, так и с политической стороны. Вы знаете,— холодно уже улыбался вишневым тонким ротом Савва Абрамовича, и гладко вы-

бритый подбородок его слегка дрогнул, — что Пифагор, передают историки, открыв свою знаменитую теорему, будто бы принес Юпитеру в жертву сто быков. И вот с тех пор все скоты дрожат, гласит пословица, когда открывается новая истина. «Ochsen zittern», — говорят немцы в таких случаях. Наши и европейские меньшевики могут поистине, как Ochsen, дрожать: работа Владимира Ильича — сокрушительный удар по их прогнившим теориям.

Последний раз не так давно удалось съездить в Цюрих и познакомиться Владимира Ильича. Живет он в узком переулочке, в старом, покосившемся доме с грязным, вонючим двором, в семье бедного сапожника Каммерера.

Ваулин удивился:

— Неужели нельзя было лучше его устроить? Лучше?

Конечно, имелась возможность лучше устроиться. Все товарищи советовали ему переехать к фрау Прелог, например, где он столовался, но уж таков он: пришлось по душе — и все тут!..

Семья Каммерера была революционно настроена и всячески осуждала войну. Да и вся квартира там, как на подбор, интернациональна: в двух комнатах — семья сапожника, в одной — жена немецкого солдата-булочника с детьми, к которым Владимир Ильич вообще неравнодушен, в другой — какой-то полуголодный итальянец, в третьей — австрийские актеры с замечательно красивой рыжей кошкой, играть с которой Владимир Ильич также находит время. Однажды, — рассказывала Савве Абрамовичу Крупская, — у общей газовой плиты собрались женщины, жившие в квартире, и фрау Каммерер возмущенно воскликнула: «Солдатам нужно обратить оружие против своих собственных правительств!» После этого Ленин и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату.

В маленьком кафе «Zum Adle»<sup>1</sup> собирается цюрихская группа и ее местные друзья из «циммервальдской левой». Но и в этом узком кругу друзей Владимир Ильич не всегда в большинстве: принципиальная резкость его суждений о войне, его непримиримость пугают некоторых даже самых близких ему европейских социал-демократов.

(Савва Абрамович вставлял в это слово мягкий знак, говорил «социаль-демократ», и тогда каждый раз казалось вдруг Ваулину, что не только это слово, но и всю фразу произносит он с каким-то иноземным акцентом: не то эстонским, не то немецким.)

— Кстати, я вас должен предупредить, — инструктирует Савва Абрамович. — На днях в Россию должны приехать эстонский социал-демократ Кескула и голландец Трульстра. Никакого доверия к этим господам! Они оба немецкой ориентации, и, кто знает, только ли Шейдеман их посылает (а и этого уже достаточно!), или секретные люди из окружения самого генерала Людендорфа. Нам, за границей, известно, что они будут предлагать деньги русскому

<sup>1</sup> Быки дрожат (нем.).



бюро ЦК на революционную работу и вообще всякие услуги. Эти люди только запачкают нашу работу.

Вообще надо помнить Ваулину и всем русским товарищам: некоторые «иностранцы», получив отпор от Ленина за границы, будут стараться теперь раскалывать большевиков в России. Будут это делать и антантовские молодцы и германские.

Не поддаваться на удочку «дружелюбия»!

Максимум осторожности, товарищи!

— Надо все время помнить,— подчеркивал Савва Абрамович,— что отношение большевиков к конгрессам и конференциям, которые устраиваются сейчас на Западе, не было (и не может быть!) одинаковым. Заметьте себе, газета «Социал-демократ» много внимания уделяет этому вопросу. Кстати, я хотел у вас спросить, как доходит до вас эта газета? Владимир Ильич столько усилий прилагает к тому, чтобы каждый номер был переправлен в Россию! Знакомы ли вы со статьей о прошлогодней Лондонской конференции, напечатанной в «Социал-демократе»? Большевики отказались от участия в этой конференции: товарищ Максимович-Литвинов огласил декларацию, осуждающую ее социал-шовинистическое направление, и тотчас покинул зал заседания... Иное отношение у нас к такого рода конференциям, какой являлась, например, интернациональная женская конференция в Берне... Собравшиеся там были воодушевлены лучшими пожеланиями, но и они не наметили боевой линии интернационализма. Как метко определил Ленин, такие конференции — не что иное, как «шаг на месте».

Развивать стачечное движение под лозунгами: демократическая республика, конфискация помещичьей земли, восьмичасовой рабочий день — по-прежнему остается важнейшей задачей революционной социал-демократии. В агитации необходимо отводить должное место требованию немедленного прекращения войн.

Он помолчал минуту, а потом, улыбнувшись, продолжал:

— Мы как-то спросили Владимира Ильича: «Что бы сделали мы, партия пролетариата, если бы революция поставила нас у власти в теперешнюю войну? А?» — «Мы предложили бы мир всем воюющим», — ответил он. — Мир всем воюющим на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов».

Затем Владимир Ильич прочел нам целую «лекцию» об империализме; я уже говорил вам, что этот вопрос стоит сейчас в центре его внимания. С знакомой нам несокрушимой, железной логикой он подвел нас к непререкаемому выводу: империализм — есть канун социальной революции.

Савва Абрамович не без торжественности произнес эту фразу.

«Да-а, вот они уже о чем там!» — подумал Сергей Леонидович уважительно и мечтательно.

— Больше того,— продолжал Савва Абрамович,— Владимир Ильич развил перед нами новую мысль, развил ее со смелостью, присущей, я бы сказал, гению, прозревающему дальнейший ход истории. Владимир Ильич утверждает,— чеканил каждое слово

Савва Абрамович, — что новые закономерности, характеризующие эпоху империализма, вызывают необходимость пересмотра одного из традиционных марксистских представлений. Привыкли думать, что социальная революция произойдет во всех крупных капиталистических странах одновременно. Но усиление и обострение неравномерности экономического и политического развития создают возможность победы социализма первоначально в немногих и даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Разумеется, победившему в этой стране пролетариату пришлось бы вступить в столкновение с капиталистическим миром. Но взявший власть рабочий класс стал бы могучим притягательным центром для угнетенных всего мира.

Ваулин впился глазами в собеседника, стараясь, не проронить ни одного слова, запомнить в точности все, что он сейчас услышал.

Несколько раз звонил телефон, и прислуга просила дважды Савву Абрамовича пройти в хозяйский кабинет, — он уходил и, возвращаясь, каждый раз говорил:

— Пусть вас не смущает: это все деловые звонки.

Он вынул золотые часы и посмотрел на них:

— В нашем распоряжении еще добрых два часа, дорогой друг. Я попрошу вас только, поскольку вы уполномочены на то, сделать мне исчерпывающий по возможности доклад.

Он так и сказал: «докладец».

Слово это почему-то не понравилось Сергею Леонидовичу. Он взглянул на «Петрушина» и живо представил себе: вот в таком же строгом, как сейчас, черном костюме (может быть, в несколько другой позе: за письменным столом, положив на него руку и немного отставив мизинец с непомерно длинным розовым ногтем) сидит он в своем деловом кабинете акционерного общества и выслушивает почтительный «докладец» какого-нибудь юрисконсульта или младшего инженера.

Но если чем-то на минуту смутил его Савва Абрамович, то сам он, Ваулин, разве не подмечал в свое время некоторой насто-роженности и любопытства, сквозивших во взглядах и выпрашивающих беседах с ним рабочих, рядовых членов партии? Подмечал. И не раз. Кто знает, — может быть, кто-нибудь из них сначала и питал недоверие к нему? Наверно даже.

Одежда (всегда выутюженные брюки, галстук в цвет костюму), плавная, «литераторская» речь, по форме своей мало отличавшаяся, возможно, от манеры говорить какого-нибудь другого интеллигента из либерального или меньшевистского лагеря; иногда неосведомленность его, Ваулина, о характере той или иной рабочей профессии (спутал как-то фрезеровщиков с револьверщиками, участвуя в заседании забастовочного комитета, вырабатывавшего экономические требования к администрации завода); неумение, частенько бывало, выслушать до конца скучное по изложению повествование своего рабочего собеседника (на полдороге беседы уж догадывался правильно, о чем хотел тот рассказать) и некоторые другие грехи, которые чувствовал за собой, — все это, пожалуй,

до настоящего, проверенного общей работой, знакомства с товарищами по организации — литейщиками, булочниками, грузчиками, трамвайщиками, слесарями, прядильщиками — могло, как думал тогда, повлиять на них: «А ну-ка, мы еще поглядим на тебя, посмотрим, какой ты!»

Но он помнит также, как то, что считал одним из своих «грешков», послужило на пользу однажды его товарищам и друзьям.

Это было на одном из рабочих собраний год назад. Большая, просторная комната панинского народного дома, занятая устроителями собрания под очередную «культурно-просветительную лекцию» на бог весть какую, нарочно безобидную тему, которая не должна была обеспокоить полицейских агентов, превратилась час спустя в место горячих и шумных споров, не предусмотренных темой лекции.

Отойдя от нее, лектор, исподволь сначала, а потом и откровенно, повел речь о военно-промышленных комитетах, о наступлении германского империализма, о долге «сознательных» рабочих, которые должны, — убеждал этот меньшевик, — принять участие в обороне страны, выбирая своих представителей в рабочую группу военно-промышленных комитетов. С кого брать пример? Со старого, всем известного питерца-рабочего, с Кузьмы Гвоздева брать! Вот он не выдаст!..

«Лисица да оборотень твой Кузьма Гвоздев!» — неожиданно прервал его скрипучий, слегка заикающийся голос из задних рядов, неподалеку от сидевшего там Ваулина, и он, приподнявшись со скамьи, посмотрел вбок на говорившего. Это был рябой, с голым вытянутым черепом и бледными, словно отцедили у них всю кровь, губами седоусый рабочий с невеселым лицом: человек лет пятидесяти.

«А ну, ну!» — глядел на него Ваулин.

«Т-таких на т-тачке вывозят, вот что!» — не унимался седоусый и, когда открылись прения, первым вышел к желтой дубовой кафедре.

Он не взшел на ее помост, — там все еще стоял меньшевистский лектор.

Седоусый старик, стоя у кафедры и обращаясь то к докладчику, то к аудитории, держал свою речь. Она несколько разочаровала Сергея Леонидовича.

«Не по тому месту, совсем не по тому месту бьешь сейчас, старик! — досадовал он. — Тут тебе никто ничего не возразит».

А старик только и рассказывал о письме своего сына, присланном с оказией из окопов. Сын возмущался несправедливостью и порядками в армии.

Ввели в войсках телесные наказания. Высшее начальство ни во что не ставит миллионную массу рядовых солдат. В тылу много штаб-офицеров — от капитана до генерала, а на позиции чуть не полком командует прапорщик, а какой-нибудь полковник, пролети за полверсты снаряд, уже «контужен» — едет в Россию лечиться. А солдата — не успеют еще раны зажить — гонят уже в окопы.

Все отпускаемое для солдат до них не доходит. Все разбирается по интендантским карманам. Иной войны не видит, а наживается так, что просит, чтобы война еще лет пять продолжалась. — «Гучковы, да Коноваловы, да хозяева нашего завода!» — как будто вернулся старик к теме спора.

Нет правды! Вот, например (Ваулин насторожился)... все рапорты на нижних чинах о представлении к наградам корпусный командир возвратил. («Эх, поехал, поехал опять... ревизор военный!» — махнул досадливо рукой Ваулин.)

— А начальник дивизии, — тщательно пересказывал старик письмо сына, — за тридцать верст от позиции — вон оно что, и командиры полков получили георгиевские кресты, произвели их в генералы и высшие должности дали. Что же это такое в самом-то деле, — а?

«Действительно, безобразие», — соглашался легко докладчик и сопел в густые усы.

«Про Гвоздева сказать надо! Насчет панского присобачника!» — несло из аудитории, к удовольствию Ваулина.

Никто не пытался здесь защищать гвоздевскую компанию, и из пятерых, выступавших после «сбившегося», заикающегося старика, трое громили меньшевистскую затею, гучковский военнопromышленный комитет, всех и вся.

Но говорили все они несвязно, не умея найти наилучших доказательств в споре с докладчиком. Они не обладали для того нужными сведениями, как общими, так и партийными, о положении дел, — сожалел Сергей Леонидович. А один из них, открыто отрекомендовавшийся сторонником большевиков, хотя и был больше всех других в курсе борьбы партии, но говорил по форме хуже остальных, часто делал паузы, и навязчивое слово «значит», этот бич для многих плохих ораторов, рассекало на мелкие кусочки каждую его фразу, раздражая и приводя в ироническое настроение всю аудиторию.

Ой, как использовал все это лектор в своем ответе!.. Он легко, воодушевляясь, расправлялся со своими противниками на этом словесном поле брани.

Кажется, здесь кто-то пытался говорить от имени большевиков, от «раскольников», «сектантов» — большевиков, ссылаясь на их программу? О, тем лучше!.. И следовал каскад цитат — откуда только угодно: они должны были без промаха сокрушить всех врагов меньшевизма, всех инакомыслящих и просто «мало вдумчивых» и «отсталых» людей.

И, как припев в песне, он бросал по адресу своих противников, после трех-четырех связанных между собой одной мыслью фраз, — одну и ту же, освященную упоминанием Маркса: «Помните, товарищи, невежество еще никому и никогда не приносило пользы!»

Он быстро разделался со своими оппонентами, и большинство аудитории, не соглашаясь в душе с ним, досадуя, должно было признать, что победа в этом споре оказалась за меньшевиком.

Не утерпеть было! Поднялся со скамьи Ваулин, взмолился на

кафедру, и двадцать минут оружие меньшевистского противника: речь, оснащенная знаниями, остроумием и страстностью,— было обращено на него же самого. Сергей Леонидович хорошо помнит, как откликнулась тогда аудитория: она громко, издевательски смеялась над посрамленным меньшевистским лектором, она была гневна тогда, шикала, не давала ему отвечать, и обескураженный «гвозздевец», растерянно мотая головой, громко сопя в усы, вынужден был покинуть поле брани. Рабочие обступили Ваулина, каждый хотел с ним поговорить, и все они смотрели на него с уважением и открытым любопытством: «Ишь какой: ему бы по виду с лектором в одно петь, а, гляди, как загнул тому салазки!»

Весь этот эпизод мгновенно вспомнился Ваулину в минуту схожих коротких раздумий его о Савве Абрамовиче.

И доклад был сделан.

Савва Абрамович, очевидно, помнит, что не далее как в сентябре прошлого года «Социал-демократ» писал, что в Питере три социал-демократические организации: Петербургский Комитет большевиков, объединенцы и «окисты», включая группу «Нашей зари». Тогда «окисты» объединяли человек триста, примиренцы — человек восемьдесят всего, а ПК — свыше тысячи двухсот. За восемь месяцев численность большевистской организации выросла вдвое,— в настоящее время Петербургский Комитет объединяет более двух с половиной тысяч человек.

Организация Петербургского Комитета такова: по одному представителю от восьми районов, по одному от латышей и эстонцев и один от торговых служащих. ПК ведет сношения с целым рядом городов, снабжает их литературой, посылает докладчиков. На прошлогодней конференции в Ораниенбауме были представители четырех южных городов. Партийная интеллигенция? Она группируется вокруг журнала «Вопросы страхования». Совсем недавно удалось отбить у «ликвидаторов» и другой журнал: «Печатное дело». Но у меньшевиков есть, как известно, легальная газета «Утро», а у нас в основном прокламации.

— Вы прикреплены к какому-нибудь районному комитету?— спросил Савва Абрамович.

— К Выборгскому...

И Ваулин, выполняя желание своего собеседника, тщательно, до мелочей расспрашивавшего его обо всем, стал перечислять состав Выборгского Комитета.

Членами районного комитета состоят преимущественно секретари заводских ячеек, выбираемые из среды партийных уполномоченных в цехах. Секретарь района входит в ПК. Туда же передают через него членские взносы. Там на листке ставят печать, листок этот показывают на заводской встрече коллектива, а потом уничтожают, чтобы не попал случайно в руки полиции.

— Наша районная печать — обычная, круглая, в середине рукопожатие.

— Ну, это больше похоже на кооператив,— засмеялся Савва Абрамович.— Ну, а как: «лавчонки» имеете?— осведомлялся он

о «технике», в дело которой в свое время вложил столько изобретательности, инициативы и энергии.

— Торгуем, Савва Абрамович, торгуем...

И Ваулин рассказал о двух ларьках, на Клинском и Лейхтенбергском рынках, где происходят прием и передача шрифта, валиков, красок и листовок. Рассказал о том, как на квартирах происходит печатание прокламаций и воззваний ПК.

Савва Абрамович выслушал все очень внимательно, а под конец сказал вдруг:

— Да. Товарищей бы сюда из ссылки. Там, у нас,— он мотнул головой в сторону занавешенного окна, словно за ним сразу же начиналось это «там», за граница,— у нас все единодушно так думают. К сожалению, невозможно...

Он уже минуту сидел, низко пригнувшись к сиденью дивана, заботливо вдавливая пальцем в дерево вылезший оттуда крохотный гвоздик обивки. Он не разогнул спины, пока не привел все в порядок. Ваулин с любопытством наблюдал за ним.

— Кстати, как работает бюро помощи политическим ссыльным?

Сергей Леонидович и об этом рассказал все, что знал.

Они сидели еще с полчаса, потому что Савва Абрамович задержал расспросами, делал последние указания, давал советы, а под конец разговора вручил Ваулину брошюру Александры Коллонтай «Кому нужна война», которую всячески советовал перепечатать и распространить среди рабочих, и письма из Швейцарии.

— Может быть, мы еще увидимся,— прощался он.

— Здесь?

— Нет, теперь уже не сюда звонить надо. Не сюда.

Он назвал номер телефона.

— А кого спросить?— поинтересовался Ваулин.

— Вы спросите сначала Веру Михайловну и предупредите, когда она возьмет трубку, что хотите поговорить об электрическом кабеле для Баку, и вам скажут, можно ли его получить,— смеялся он, провожая до парадной двери.

Ваулин пожал его руку: она была сухая, горячая и крепкая.

Через Марсово поле, по Троицкому мосту, по Каменноостровскому и вбок от него, по одной из прилегающих улиц, мимо скверика, переходя с одного тротуара на другой, меняя походку,— Ваулин шагал на Выборгскую сторону.

Несколько раз он останавливался в пути, осторожно, как бы невзначай оглядываясь: нет ли примелькавшегося «попутчика», но все, казалось, обстояло благополучно. Пристал только повстречавшийся сильно пьяный, хоть выжми его, слюнявый босаяк в белой в горошках рубашке, вылезшей из продранных брюк, лохматый, без картуза: положив руку на плечо Ваулина, требовал дать прикурить, и, чтобы поскорей он отстал, пришлось отдать ему свою дымившуюся папиросу.

Не доходя до узкого четырехэтажного дома с округлыми башенными выступами, Ваулин вдруг замедлил шаг, не зная, как поступить сейчас — повернуть обратно или быстрее прежнего, стремительно двинуться вперед: из подъезда дома вышли двое, из которых один был ему знаком и мог, того гляди еще, некстати его окликнуть. Это был студент Калмыков, знакомый по карабаевскому дему. Он и его спутник неуверенным шагом шли навстречу, — Ваулин круто повернул обратно, пересек дорогу к скверику. Через три минуты, благополучно избежав этой встречи, Сергей Леонидович шагал по скверу, а затем, свернув в переулок, уже не думал о студенте, занятый своими прежними мыслями.

Кто был калмыковский спутник — и вовсе не заинтересовался, не обратил на него внимания, потому что никогда и не знал о существовании Пантелеймона Кандуши, департаментского сотрудника.

## Глава двадцатая

### ПОЕЗД ИДЕТ НА СЕВЕР

Поезд на север шел с явным опозданием: теперь стоять бы уже в Гомеле, а до него еще — добрых два часа!

Часто умывавшийся в дороге голубоглазый, с черными, щеточкой подстриженными усиками, с мягкими, дрябло спустившимися щеками француз, хорошо говоривший по-русски, время от времени раскрывал карту путеводителя, находил в ней первую ближайшую станцию, на которой предстояло сделать остановку, и оповещал своих спутников:

— Здесь готовы кормить.

Или:

— Здесь не рассчитывают на наш аппетит.

— Тем хуже! — откликался каждый раз одной и той же фразой верхний сосед его, полковник с кожаной скрипучей протезой вместо левой руки. — Приятно наблюдать, сударь, такой аппетит. На что уж мы, русские, но и то...

— О да! Я люблю покушать, люблю хорошо покушать, — сознался француз. — Бывают у каждого свои *réchés mignons*... привычные слабости, грешки.

Он вез с собой чемоданчик с провизией (в нем было немало всяких вкусных вещей), но на больших остановках выскакивал из вагона, бежал к буфету, и, глядя в окно, Теплухин видел, как энергично он расталкивал на перроне устремившихся туда же остальных пассажиров. Все три соотечественника: Теплухин, Георгий Карабаев и калека-полковник — так и окрестили его: «месье Обжор».

Поезд шел лесистыми и болотистыми местами, в открытое окно купе текла приятная прохлада, исчезающая тотчас же, как только поезд прибывал к станции. Тогда вагон наполнялся запахом жженого угля, всяческих отбросов, валявшихся на путях, мокрой,

гниющей соломы, положенной на подстилку скоту в товарных вагонах.

Встречались на остановках воинские эшелоны, военно-санитарные бани-поезда, платформы с артиллерийскими орудиями: на их зеленых дулах важно, но поглядывая трусливо по сторонам, ходили вперевалку слетавшиеся бог весть откуда сплетничающие галки.

На верхних полках санитарных летучек видны были пергаментно-желтые, бородастые лица больных и раненых солдат. Некоторые из них, свесив головы, заглядывали, окно в окно, в синий, первого класса, вагон, ставший рядом, — и Теплухин видел их горящие, разливавшиеся во весь помутневший глаз, лихорадочно зажигающиеся зрачки. Любопытство, зависть, недоверие, злобу, скуку — кто знает, что должно было прочесть в них...

Как медленно подымающаяся ртуть в градуснике, отмечал поезд свой путь вверх по маршрутной карте француза. Он стоял у открытого окна и, вздыхая, обращаясь словно к самому себе, говорил:

— Россия — страна ползущая... Есть страны шагающие, есть страны бредущие, есть бегающие, прыгающие, а Россия — страна ползущая. Громадный это, мировой глетчер. Утомительная страна.

Георгий Павлович поднял голову, насторожился. Француз продолжал:

— Никакое общество не доступно чувству скуки в такой мере, как общество русское. О, я никого не хочу обидеть! Мое сердце отдано России... Но ни одно общество не платит такой тяжелой данью этому нравственному бичу. Я наблюдаю это изо дня в день. Леность и вялость, оцепенение и растерянность, утомленные движения, зевота, внезапные пробуждения и судорожные порывы, быстрое утомление от всего и в то же время жажда перемен, потребность развлечься и забыться, — разве это не свойственно России?.. Безумная расточительность, любовь к странностям, к шумному, неистовому разгулу, отвращение к одиночеству, непрерывный обмен беспричинными визитами и бесчисленными телефонными разговорами, расточительное излишество в милостыне, страсти к болезненным мечтаниям и к мрачным предчувствиям, фатализм. И все эти черты характера и поведения представляют лишь многообразные проявления одного чувства — скуки!

— А у вас как? — гмыкнул полковник и обвел, как заговорщик, глазами обоих своих соотечественников. — А у вас всюду так-таки весело всегда, месье... (он чуть-чуть не выпалил: «Обзор!»)

— У нас? — повернул голову француз. — Конечно же, не всюду и не всегда... Вы во всем ползете глыбой, страшной, невероятной тяжести и высоты глыбой, и не многие в Европе могут взлететь умом в высь догадок и знаний, чтобы попытаться разглядеть оттуда, что остается позади этой глыбы.

— Позади — это не важно, — бросил Георгий Павлович. — Вот... что впереди — это действительно... — горько усмехнулся он своим собственным словам и мыслям.



Он сидел у самого выхода из купе, заглядывая в коридор, где, высунувшись в окно, стояла молоденькая соседка по вагону, еще во время посадки, в Киеве, привлекая к себе внимание равнодушного к хорошеньким женщинам Карабаева. Он охотно слушал француза, мог бы его во многом поддержать, а кое о чем и поспорить, но лень было, не хотелось ввязываться сейчас в политические разговоры, и гораздо предпочтительней было наблюдать хорошенькую соседку, с которой не прочь был свести знакомство: у каждого человека, говорил француз, есть свои грешки!..

— Вы правы, естественно,— откликнулся француз.— Но для того чтобы предполагать, что впереди, надо очень хорошо стране знать свой сегодняшний и вчерашний день. Вы хотите мне возразить?

— Нет!— быстро сказал Иван Митрофанович, да так решительно, что полковник, желавший было возражать французам, примолк на минуту: не то озадаченный, не то из солидарности с Теплухиным.

— Ишь ты!— вскрикнул он вдруг, схватив что-то на подушке француза.— И жирная, смотрите, как корова!.. Так и есть: хлеб с глазами, как говорится, вино с игрой, сыр со слезами, а постель с блохой...

Он упорно и долго растирал, сжав пальцы, пойманное так удачно насекомое и, когда раздавил его, нimalo не смущаясь и ничуть не брезгуя, показал свой большой палец с пятном от блошиной крови.

— Фи, гадость!— поморщился француз, и его брезгливо растянувшийся рот пополз книзу.

— А если человек так,— ничего?— неизвестно почему вдруг серьезно и хмуро спросил полковник, отогнув для еще большей выразительности все тот же палец.

Вопрос был прост и неизвестно почему задан, и все потому промолчали. Француз, захватив несессер, побежал мыться: а ведь полчаса назад бегал!.. Возвратился он, однако, быстрее обычного: мыл только руки, как будто не полковник, а он сам запачкал их только что.

В Гомеле накупили последних петербургских и московских газет и журналов, и минут на двадцать наступила в купе тишина. Все четверо углубились в чтение, прерываемое частенько восклицаниями и короткими комментариями то одного, то другого из спутников: в газетах были новости, по-своему интересовавшие каждого из них.

Рескриптом царя был уволен министр иностранных дел Сергей Сазонов, на его место назначался Б. В. Штюрмер.

«Так, так... «ушли» единственного, пожалуй, «европейского» министра, который был приятен стране и союзникам за границей»,— Георгий Павлович недовольно покачивал головой.

— «В лице Сазонова»,— читал он вслух выдержки из «Русских ведомостей», и все слушали,— мы имели опытного руководителя нашей иностранной политики, пользовавшегося полным

доверием как русского общества, так и наших союзников, и недаром его положение в министерстве считалось исключительно прочным... Не меньшее значение имеет, пожалуй, факт замены С. Д. Сазонова именно Б. В. Штюмером, человеком, бывшим до сих пор совершенно чуждым ведомству иностранных дел. Очевидно, что на Б. В. Штюмера, сохраняющего к тому же должность председателя совета министров, возлагается не простая миссия заведования текущими делами министерства, а руководства иностранной политической России в определенном направлении», — многозначительно, следуя курсиву передовой статьи, которая совпала (он улыбнулся) с его собственным мнением, закончил Георгий Павлович.

Француз выжидательно молчал: сжал губы, вжегся голубыми глазами в Карабаева. Полковник здоровой рукой поправил свою скрипучую протезу, повернул на винте кисть, ударил себя с отчаянным видом по багровой щеке, закачался всем туловищем и «с сердцем» сказал:

— Вы простите, господа, грубость военного человека, но... вы представляете себе пьяный публичный дом в темную ночь... горит он, пожар, а кругом еще наводнение?!

И никто не порицал его, все ответили:

— Да, да, это верно, господин полковник.

А француз добавил теперь, медленно, задумчиво пощипывая черную щеточку своих усов:

— История знает такие случаи. Они известны... Своевольный Калигула назначил ведь своего любимого коня римским сенатором! Вот и вы теперь подражаете чужой «античности».

— Вы, вы! — огрызнулся полковник. — При чем здесь мы? Где это вы видите в самом-то деле? Кто из здесь сидящих повинен в эдаком б...ке? Вы все, сударь, только-с насмехаетесь... Вы, наш союзник!

— Нет, нет, я не насмехаюсь, — придвинулись к нему голубые, чуть-чуть выпуклые глаза. — Я очень все сердечно, поймите вы меня. Я француз, а не немец, которого назначают имперским министром, у меня жена русская, и у нас трое детей...

— Ну, вот, сами же должны чувствовать...

— Я не насмешник, — усмехнулся он. — Но они действительно существуют: я их видел в вашей стране там, где вы не предполагаете. Знайте: насмешники часто делаются пророками. И — в своей собственной стране, вопреки старому изречению!

В газетах было еще:

На фронте без особых перемен (уже недели две писали так).

Сообщалось, что в Петрограде, на улице Гоголя, в помещении общества Гартман, состоялось оживленное совещание представителей нескольких крупных банков по вопросу об издании новой большой газеты «Русская воля».

Петроградская судебная палата постановила уничтожить «Железную пята» Джека Лондона, так как комитет по делам печати усмотрел в ней призыв к бунту, предусмотренный 129 статьей уголовного уложения.

Во всех газетах — фотографии А. Д. Протопопова в связи с его поездкой в Ставку царя.

Предсказание о холодной, суровой зиме в Петрограде и заметки о стараниях городской думы обеспечить столицу дровами и продовольствием. Покупка той же думой большого каравана верблюдов (лошадей не хватает) для перевозки грузов.

Очерк о сербском короле, престарелом Петре Карагеоргиевиче, удалившемся на остров Эвбею.

Рецензии на «Современную Аспазию» Гамильтона Файфа в театре Яворской и на «Дипломата» в Палас-театре. («Надо посмотреть», — запомнил это Георгий Павлович.)

Карикатура: поезд — парламентский «прогрессивный блок», на перевозе два фонаря, отбрасывающие свет: общественные организации и прогрессивная печать. Бородатый мужик в поддевке отскакивает от железнодорожного полотна, и — подпись: «Несмотря на все попытки злоумышленников, пользующихся тьмой, поезд избежит крушения на Романовской железной дороге».

— Хорошо сделано! — весело перемигивались в купе. — Гм, «темные силы», — понятно?

— Сходства в лице не дали, но поддевка, поддевка-то и борода! Как это не конфисковали еще?!

— Язвительно сделано и... не зря!

— А хотите, что-то покажу? — по-мальчишески высунул полковник кончик языка из приплюснутой щели рта и — колени в колени в узком проходе — придвинулся к сидевшему напротив Ивану Митрофановичу.

И, не дожидаясь ответа, полез в свой чемодан и вытащил оттуда, со дна, несколько журналов. Один из них оказался немецким «Lustige Blätter».

— Вот! — прицокнул полковник и, развернув его, показал своим спутникам.

На цветной карикатуре Вильгельм измерял метром высоту германского оружейного снаряда. Рядом, стоя на коленях, русский царь вымеривал аршином... громадного мужика в поддевке — Григория Распутина!

— Комментарии, как говорят, не требуются.

В том же номере журнала, на «распашке», помещен был красочный рисунок, изображающий Тиргартен. Небо густо усеяно звездами. Вдали видна колонна Победы, а на первом плане — колоссальный, уродливый, ошетинившийся гвоздями деревянный идол — фигура фельдмаршала Гинденбурга (перед рейхстагом). В этого идола, как известно было всем, каждый берлинец, посетитель Siegesallee, мог, приветствуемый музыкой инвалидов, вбить за особую плату гвоздь: за одну марку — железный, за десять — посеребренный, за сто — позолоченный. У одного из ботфортов истукана стоит Христос-младенец с молоточком в одной руке и с гвоздем в другой. Шляпкой гвоздя служит сверкающая звезда. Под рисунком стихи, — Георгий Павлович перевел их вслух:

— «В тихую святочную ночь младенец Христос извлек из

небесного свода звезду-гвоздь, которую принес на землю. Воздавая по заслугам истинному героизму, готовому пожертвовать кровью, Христос-младенец вколачивает гвоздь в почетную броню фельд-маршала, прославившего германское оружие.

— Вот тебе и дружба с господом богом!

— Погибели предшествует гордость и падению — надменность: царь Соломон имел в виду немцев, когда говорил это! — скорчил гримасу француз. — А это что у вас, господин полковник?

В русском иллюстрированном журнале какой-то анонимный бездельник предсказывал окончание войны в следующем, семнадцатом году. Почему? Да потому, что сумма порядковых цифр имен прусских королей, всех Фридрихов и Фридрихов-Вильгельмов вплоть до Вильгельма Второго, — равна была 171. И то же число получалось, если сложить «державные цифры» всех воюющих сейчас европейских государей: Николаев — русского и черногорского, Петра сербского, Альберта бельгийского, Виктора-Эммануила итальянского, Франца-Иосифа, Фердинанда болгарского, Георга Пятого и Вильгельма Второго. Вот как тут не верить такому совпадению?!

Полковник написал на бумажке:

Жо : Фр	Пут : Ник
Фр : енч	Ник : олай

и засмеялся:

— До этой символики у нас в дивизии один офицер додумался. До царя дошло: повелел благодарить за смешленость... Ничего, интересно выходит, — а? Воевода сербский Путник и Николай, Жоффер и Френч: все союзники, — каково?

Теплухин сидел, откинувшись в угол, касаясь головой металлической рамы вещевого узенькой сетки, скрывал от солнца и спутников свое лицо.

На стыках вагон подбрасывало, и Теплухина ударяло слегка по затылку: сидеть было не очень удобно, но он не менял своей позы. Он был зол (у него свои причины к тому!), презирал глупого, разболтавшегося багрового полковника с лиловой паутиной жилкок под глазами, с неспрятными, неровно подстриженными, с плешинкой под носом, серыми усами, со скрипучей, при каждом движении, ручной протезой; раздражал, неизвестно отчего, и француз.

Сердился (уже и по другой причине) на Георгия Павловича: ну, не надоело разве слушать этого пехотного либерала?! Морда такая, что кирпича просит, а голос жидок, как у скопца!

А полковник, обрадовавшись внимательному слушателю (хо-рошенькая соседка по вагону ушла к себе), говорил, словно насы-щался:

— Вот вы о кавалерии изволили спросить. Хм, кавалерия!.. Позовите честного офицера, понюхавшего пороху как следует, и он вам расскажет, что делается. Была-с лишь система нагуливания тел к смотрам и парадам. Не больше! Генералы-чистоплюи ограничивали свои смотры тем, что вытирали круп лошадей носовым платком и тыкали платок в нос подчиненным, если он после этого не оставался белоснежным. Вот что-с!.. Показная сторона.

Через минуту критикнул какого-то генерала:

— Хм, командовал корпусом, помню, в мирное время. О чем же, главное, заботился,— а? Подумайте, только: обращал особое внимание на знание каждым солдатом дня своих именин, престольного праздника их деревенского храма и жития святых, изображения которых висели, знаете ли, в казарме и над кроватями. А больше — ничего его не трогало, ничего не доходило до сердца. «А что, масло есть?.. А что, Гродно взято?» — о том и другом. о мелочи и о важнейшем — флегматично, одним и тем же тоном. А приедет начальство, — он благочестиво улыбается!

«А ведь он, кажется, не так уж глуп, — невольно прислушиваясь к разговору, снисходительно подумал о полковнике Иван Митрофанович. — Но уж если полковники так открыто критикуют, куда ж тут дальше?!»

Он мельком взглянул на Карабаева, потом еще раз и еще — и уже не отводил от него из угла свой резкий, рысий взгляд.

Георгий Павлович, заложив ногу на ногу, облокотившись на валик диванчика, слушал словоохотливого, тонкоголосого полковника. Слушал так, как привык делать это, когда собеседник или внушал ему особое уважение, или рассказывал такое, что до сего времени не было известно, но было интересно Георгию Павловичу, или, напротив, не возбуждало никакого интереса, но не мешало думать в этот момент о чем-либо другом. Слушал он, застыв в одной позе, хорошо и удобно выбранной, сосредоточенно, молчаливо, следя неразгаданным, проверяющим взглядом за своим собеседником. Если тот почему-либо терял нить в разговоре и на минуту умолкал, не досказав еще всего, Георгий Павлович умелым подсказом или вопросом помогал ему продолжать рассказ; или, если не был уже заинтересован в том, заключал беседу какой-нибудь безразличной фразой, в которую можно было вложить любое содержание, — фразой, подготовленной в уме задолго до конца беседы: «А вы говорите — купаться!» Или: «Вот так, дорогой друг (следовало имя-отчество или фамилия, если человек этот был попроще)... вот так оно и происходит в жизни!»

Под этим великолепным по своей бесформенности «оно» можно было подразумевать все, что ни заблагорассудилось бы! Ох, как хорошо узнал за эти два года своего шефа Иван Митрофанович!..

Ехали они сейчас в Петроград по телеграфному срочному вызову вдовы Галаган: согласие на продажу сахарного завода дано, — надо немедленно оформлять эту сделку. Получив телеграмму, Ге-

оргий Павлович сказал Теплухину: «Вы едете со мной. Сегодня же».

Гора сытого благоденствия и удач уже не казалась, как в молодости, такой крутой и трудно одолимой: Георгий Павлович шел «в гору», как говорили о нем в Киеве, да и не только в Киеве — в широких промышленных кругах, — шел на гору легким, неустоящим шагом «счастливчика», и перед ним услужливо расстилались невидимые снизу, но давно проторенные другими тропы и тропинки известности, богатства и успеха. Он был теперь владельцем нескольких промышленных предприятий, разбросанных на юге и на западе России.

Карабаев приобретал все, что считал по тем или иным причинам выгодным купить. Так, он по дешевке приобрел фанерную фабрику и лесные участки в восточных губерниях Белоруссии, хотя это было рискованно, так как место было не так уж далеко от линии фронта, но зато трусость продавца он оплатил до удивления малой денежной суммой!

Еще три-четыре года назад он мечтал: эх, ему бы не здесь, не в маломощном Смирихинске, быть, — ему бы распоряжаться рудниками и шахтами, сталелитейным гигантом или богатейшей мануфактурой где-нибудь под Москвой или в самом Петербурге... Разве не хватит умения, разве не станет распорядительности, энергии и воли?... Он не переоценил своих сил — и он доказал это: в донецком бассейне он приобрел, в компании с одним промышленником, два рудника, в Смирихинск вывез и оборудовал фабрику грубых сукон, перекупленную у беженца-еврея из Волыни, в самом Киеве, выдав половину деньгами и половину векселями, купил на Пушкинской пятиэтажный дом в тридцать квартир и таким же образом стал владельцем завода гвоздей на Демиевке. Но... то ли еще обещало быть впереди!

Еще недавно, говоря о своей смирихинской махорочной фабрике, приносившей, кстати, большие доходы, он тем не менее снисходительно-иронически отзывался о ней: «Большая коробка нюхательного табаку!» Серая крестьянская махорка, раскуриваемая простонародьем — мужиками, извозчиками, рабочими, — недостойна была того, чтобы на ее «копеечной» упаковке помечалась фамилия ее высокомерного фабриканта!

Но теперь... махорка в новенькой зеленой упаковке, аккуратно сложенная пачками в фанерные белорусские ящики, заколоченные демиевскими гвоздями, раз в три дня грузилась в вагоны военного ведомства и, испытав бог весть какие легкомысленные приключения по пути, попав в липкие руки всяческих интендантов, прибывала в армию, а еще раньше того — в лавки и лавчонки разных городов, сел и местечек. Она заметно, как и все на рынке, вздорожала: оттого ли, что Георгий Павлович разрешил поставить на ней свою громкую фамилию фабриканта, или, может быть, по другой причине, о которой единодушно молчали безвестные интенданты, и мог, пожелай он, догадаться Иван Митрофанович Теплухин, ставший во многих делах правой рукой своего шефа.

Вместе с махоркой Георгий Павлович Карабаев поставлял военному ведомству кожу, сукно и гвозди, а донецкие рудники выбрасывали железным дорогам свой уголь.

Когда в доме пошли разговоры о покупке еще сахарного завода наследников генерала Величко, Татьяна Аристарховна шутливо сказала мужу:

«Жоржа, у тебя получается какой-то громадный магазин колониальных товаров! И то, и другое, и третье...»

«У нас с тобой!» — поправил он ее, так же шутливо отвесив поклон признательности и услужливости, и горделиво провел рукой по своему смолянисто-черному цыганскому усу.

«Хм, большой магазин колониальных товаров...» — вспоминал он теперь ее шутливое замечание, занятый своими делами: он слушал словоохотливого полковника, но совсем не вдумывался, — как и мог предположить Теплухин, — во всю эту болтовню.

«Ну что ж, Танин, — разносторонняя деятельность! Это не так уж плохо, право. Надо понимать, что такое сахар, дорогая моя! — мысленно обращался он к ней. — Да еще сахарный завод на левобережье Днепра, а не на правобережье, где каждый день угрожают тебе военные неприятности. Ну, да что говорить! Получу запродажную, и тогда действительно можешь меня поздравить... Хм, сахарный завод! — ухмыльнулся он, и ноздри его дрогнули, и беззвучно шевельнулись губы, едва не уронив горячее восклицание. — Шутка ли дело? Если он им такой доход дает (подумал о Людмиле Петровне и ее брате) — это при полном-то неумении хозяйничать, при страшном обворовывании на месте, — то что говорить, когда в моих руках будет! Надо понимать, Танин! — был он настойчив, словно она ему когда-либо могла перечить. — Это давно другие поняли, и какие люди поняли!..»

Вчера он говорил о том же Теплухину:

— В нашем крае сахарная промышленность будет фаворитом после войны. Мы еще поборемся с австро-венгерскими конкурентами — сахарными Круппами! Грешно сказать, — у нас есть образцовые хозяйства, Иван Митрофанович... Вы, вероятно, не очень-то в курсе, кому они принадлежат? Бродский и Бабушкин — это еще не все. Множество имений, свекловичные плантации, интенсивные хозяйства и заводы — знаете, в чьих руках? Ого, сэр... У владельцев герб — первый во всей стране! У императрицы Марии Федоровны и других членов царской семьи прекрасно поставленные заводы в Подольской губернии. Не хуже, смею вас уверить, оборудован сахаро-рафинадный в курском имении великого князя Михаила Александровича. Из биржевых и банковских кругов идут сведения, что ряд самых влиятельных дворцовых лиц ищет для своих капиталов все тот же сахар — прекрасное белое золото! Вы понимаете, — я не буду скупиться! — сделал он логический вывод. — Соберитесь в путь!

Но вот именно этого: ехать сейчас в Петроград — и не хотелось Ивану Митрофановичу. У него были на то свои причины.

За день до телеграммы Людмилы Петровны он получил письмо от «инженера Межеричского». Он предлагал настойчиво выехать, под каким угодно предлогом прервав служение Карабаеву, на несколько дней в столицу «для важных, очень важных переговоров».

«Не вздумал бы он только отказываться!»— писал Вячеслав Сигизмундович, ибо «потеряет больше, чем может приобрести уже на всю свою спокойную (было подчеркнуто в письме), мирную жизнь»,— загадочно сообщалось в нем.

«Подлец!.. Еще интригует...— выругался Теплухин, пряча письмо (а может, оно пригодится?..).— Обычный, уже испробованный прием. Торопиться некуда, тем паче что недавно бзделись. Не поезду!»— твердо решил он.

И вдруг — телеграмма и карабаевское распоряжение, от выполнения которого никак не отказаться было,— всю дорогу Иван Митрофанович был хмур и недоволен.

«Какого черта в самом деле?»

Протест был наивен и бессилён,— Иван Митрофанович и сам сознавал свою беспомощность перед обоими: и перед Георгием Павловичем Карабасевым, и перед «охранником» Губониным.

...Спутники, выйдя в коридор, курили. Полковник залез на свою верхнюю полку и, лежа на животе, обдумывал, писал что-то на длинном синем телеграфном бланке.

Поезд набирал скорость, вагон мчался так сильно, что казалось, его вот-вот сбросит с насыпи и он ударит, загнувшись на миг, хвостом по стенке своего переднего, убегающего по рельсам соседа. В коридоре шла обычная беседа. Женщина, пугаясь такого сильного покачивания, признавалась, под снисходительный смех мужчин, что боится и не хочет умереть сейчас: ее ждет в Петрограде муж и заново отделанная квартира. И философствовал в ответ француз, до удивления хорошо владевший русским языком и,— как заметил Иван Митрофанович еще раньше,— дока по части иностранных изречений и поговорок:

— О мадам, это не одна из тех настоящих смертей, о которых говорит старая турецкая пословица!

— А какая? Если старая, говорите,— так у них не было тогда, у турок, противных железных дорог... Ай, как бросает! И чего это сумасшедший машинист!..

— Тем не менее, мадам, только четыре случая дают настоящую смерть: ждать — и не видеть, что уже идут к вам. Просить — и не получить. Трудиться — и безуспешно. Ложиться — и не уснуть... Такова восточная мудрость.

— Новоявленный горьковский Лука какой!— сказал громко Иван Митрофанович. Он все еще был раздражен.

— Лука?— поднял голову лежавший наверху полковник и перестал писать.— Лука?— переспросил он, не поняв, очевидно, теплухинской реплики.— Нет, не Лука, сударь мой, а...— вдруг убежденно сказал он, но запнулся и тотчас же замолчал. А через секунду продолжал уже по-иному:— Образованный он господин.



Очень образованный. Такие, я думаю, у них, во Франции, поэты бывают. Такие,— а?

«Круглый идиот!»— обругал окончательно Иван Митрофанович багрового полковника и вышел из купе в коридор.

На станции Орша стояли долго: меняли паровоз, да и общий железнодорожный беспорядок не позволил двигаться по расписанию.

Медленно к закату уходило солнце, готовясь погрузиться в громадный рыхлый мешок вздутых дождевых облаков. Воздух парной. Духота садится на плечи, и тащишь на себе ее незримую липкую тяжесть даже в тени.

В вокзале и окрест, у деревянных, грязно-серых базарных лавчонок, торгующих кислым студнем, кружочками чесночной колбасы, напитками, махоркой, папиросной бумагой, баранками, огурцами и крутыми яйцами,— длинные беспорядочные очереди.

Кружится рой мух над прилавком,— хватай их полную горсть... Собаки с опущенными хвостами и высунутыми мокрыми языками бродят около лавчонок, неподвижно лежат в тенистых углах, откинув в сторону как будто отрезанные, сонные морды, путаются под ногами суетливых пассажиров в буфете вокзала, оглашая гулкий, забитый людьми зал пронизательным, долгим жалобным воем, если кто-нибудь случайно наступит на лапу.

В тарелках с отбитыми кусками вокзальная еда. Высоко подняв руки, все время выкрикивая почему-то извозчище «берегись, берегись!», пробирались сквозь потоки спящей толпы вспотевшие, быстроглазые официанты, разнося по длинным дубовым столам щи и супы, биточки и рыбу. Кричит — уши затыкай!— младенец в одеяльце на чьих-то уставших покачивающих руках.

В коридоре вокзала перед билетной кассой — перебранка и ругань из-за места в очереди. Наскакивая на разбросанные вещи пассажиров, томящихся в ожидании поезда, и ударяя их самих, катят носильщики багажные тележки. Хуже мух — надоедливые, слезливые нищие: старухи с растрепавшимися грязными волосами, в полосатых красных чулках, с неутертыми сизыми носами; босые, тонконогие дети и подростки в заплатанной одежде из мешков; инвалиды — ползающие и на костылях: со стыдливо протянутыми руками: евреи, поляки, белорусы — с мученическим клеймом «беженцев».

Били на перроне в колокол, звонил колокольчиком в зале первого класса престарелый швейцар, извещающий о том, куда и когда уходит поезд. Настораживал, пугал только что выскочивших из вагона недоверчивых пассажиров случайный паровозный гудок, и они бросались обратно, хотя им сказано было кондукторам, что стоять тут придется порядочно и что могут, не торопясь, прогуляться на привокзальный базар.

Была обычная теперь сутолока русских станций, нагруженных к тому же беспокойством и хаотичностью прифронтовой полосы.

Иван Митрофанович потолкался в буфетном зале, выпил с

жадностью целую бутылку сидро и от нечего делать вышел из вокзала на прилегающую к нему пыльную «толкучку». Поглядел, побродил минуты три. Ничего интересного здесь не было («Зачем зря болтаться?..») — и он повернул обратно со скучающим видом.

На крыльце, у входа, его обогнал солдат с рукой на перевязи, оглянулся, заворчал на какого-то долговязого парня, неловко налетевшего на него впопыхах, и... остановился вдруг, воззрясь на Теплухина.

— Иван Митрофанович, кажется?.. — нерешительно сделал шаг навстречу солдат.

И Теплухин взглянул на него: «Какое знакомое, но, очевидно, изменившееся лицо. Кто бы это мог быть?»

— А и в самом деле — Иван Митрофанович! Вот встреча! И где только?! Не узнаете? Нет?.. Ну, Токарева, Николая Токарева — помните? Колю — иначе? Ну, вот видите... В Смирехинске, в Ольшанке, на заводе?.. — старался напомнить солдат.

— Фу-ты? Тебя и не узнать сразу, — обрадовался, сам не зная почему, оживился сразу Иван Митрофанович и, секунду подумав, пожал здоровую руку солдата.

— Ну, как же, — в Ольшанке, на заводе!.. Еще помните, про каторгу нам, молодым, рассказывали? Помните? — тише обычного, но все так же быстро, забрасывая словами, продолжал Токарев, как будто ему мало было того, что узнал, а хотелось непременно напомнить уже все, что его связывало с Иваном Митрофановичем, — подосадовал теперь последний.

— Отойдем в сторонку, — прервал он его. — Только, на всякий случай, поближе к перрону. — И они двинулись туда.

— А хочешь, пройдем к поезду? — решил Теплухин. — Мой на втором пути, петроградский. А твой где? Или ты, может быть, вообще здесь обретаешься? — расспрашивал он его на ходу. — Хотя нет... зачем же тебе тащить эту колбасу?..

— Нет, что вы? Чего мне здесь быть?.. Мой состав на четвертом, Иван Митрофанович, через путь от вашего. Пойдите, зачем обходить? Лезьте прямо через площадку... Вот сюда, через площадку чужого вагона. Не бойтесь: поезд еще когда тронется!.. Ну, лезьте сюда...

Они укоротили свой путь и очутились у поезда, в котором ехал Иван Митрофанович.

В узком проходе между двумя составами они ходили минут десять взад и вперед вдоль поезда, но от своего синего вагона, находившегося в хвосте, Иван Митрофанович держался подальше и поворачивал каждый раз, как только они к нему приближались. Он хотел, — еще по неясной самому причине. — скрыть от Токарева, что едет не один.

— Угораздило? — показал он глазами на подвязанную руку.

— Так точно! В плечо, навывлет. Лежал сколько... А теперь ничего: трехмесячный на излечение дали. Домой еду. Не приходилось вам, Иван Митрофанович, видеть меня таким. Оттого и не узнали сразу. Смотрите...

Он посмотрел по сторонам: не идет ли случайно где-нибудь поблизости какой-либо офицер, перед которым надо бы встать во фронт по форме.

— Глядите, каков стал: красоту свою потерял,— засмеялся он, обнажив на минуту голову.— Куда волосы мои расчудесные делись! Окорнали всего, «серую порцию»— молодого солдата! Еще хорошо, что селедка,— шашка, по-нашему,— сбоку не болтается, а все остальное чин чинном, Иван Митрофанович. Глядите: фуражка с царским плевком («Кокарда...» — сообразил Теплухин), за голенищем, известное дело,— книжка рядового служаки запасного батальона, в сердце, как полагается,— клятвенное обещание на верность службы истинному и природному всемилостивейшему,— тьфу!— великому государю императору... ну его к такой-то, извините, матери!— зло вдруг и запальчиво сказал он, и Теплухину почудилось, что он слышит скрип его зубов.— Ну, да не в том дело!.. Как же здоровьице ваше, Иван Митрофанович? Кажись, ничего?— с любопытством посматривал он, приостанавливаясь, на Теплухина: раздобывшего заметно, прямей будто ставшего фигурой, в славном, хоть и не щупай его, синем костюме. Глаза те же: с коротким, протыкающим взглядом, и рот тот же: губы полные, одна от другой как бы отстегнута, с густой тяжелой кровью,— кажется так Николаю Токареву.

— Что думаешь делать, Коля?— спрашивал Иван Митрофанович, идя рядом и, задрав голову, поглядывая в открытые окна вагонов, словно высматривал, не услышит ли кто их разговор.

— Лечиться, Иван Митрофанович.

— Обязательно надо, Коля.

— Плечо лечить и, где можно, людей вылечивать, Иван Митрофанович...— покосились со смешинкой в его сторону глубоко уползшие глаза, и колючие, словно подстриженные, рыжеватые брови Токарева поднялись вверх да так и продержались на лбу несколько мгновений: «Спросит или не спросит он?..»

И Теплухин спросил:

— То есть как? Кого лечить собираешься ты?

И остановился у подножки вагона, где никого не было, как будто предчувствуя, что Токарев скажет сейчас что-то неожиданное, что-то такое, чего не следует никому слышать.

И Токарев сказал:

— Да разве может такое долго быть?!

Глухо выругался по-мужицки, по-солдатски.

— Полегче, Коля... женщины могут...

— Уж извините меня, Иван Митрофанович, но как тут иначе это дело чувствовать?

— Ты все-таки не будь таким «чувствительным»!— засмеялся Теплухин.

Токарев продолжал:

— Растерялись, суматошятся люди в тылу, надеются еще черт знает на что... разве это дело?! Лечить надо от растерянности, от непонимания. Где можно, все надо объяснять народу. К чертовой

матери Николашку и всю его помещичью и буржуйскую свору! У них, у всех, сын в отца, отец во пса, а все вместе — в бешеную собаку!..

— Да ты потише! — сдерживал его Теплухин.

Но не остановить было:

— Порядки какие!.. Алтынного вора вешают, а полтинного чествуют... Кровь народная льется, океан целый горюшка... за что! Ну, за что, я вас спрашиваю? Кончать это надо... баста! Рабочие как начнут — солдаты сразу «ура» крикнут! На позициях того только и ждут: бунтов ждут. На немца винтовок не хватает, а на своих подлецов — найдутся. А то и голыми руками кадыки будут вырывать, бельмы выцарапывать, — верное слово!

— Ты страшен... Отчаянным стал... — заполз своим рысьим, испытующим взглядом Иван Митрофанович в его светлые до прозрачности глаза. Токарев не отвел их, смотрел прямо. — Ты страшен, брат мой, — задумчиво повторил Иван Митрофанович и притонулся к его локтю: «пошли дальше, что ли?»

Хрустел песок под ногами. Он был грязен, валялись на пути жестяные коробки от консервов, кости, осколки стекла, черные, брошенные смазчиками тряпки, густо пропитанные мазутом и керосином, и прочая дрянь, — Иван Митрофанович ступал медленно, с выбором места, стараясь не попасть во все это ногой.

Токарев рассказывал между тем:

Во многих войсковых частях ведется революционерами, большевиками социал-демократами подпольная пропаганда под лозунгом «война войне», солдаты с жадностью читают прокламации, и вот он сам, Токарев, распространяя их, едва избежал военного суда, если бы не ранили в тот день и не распотрошили весь его полк. Но ничего!.. Теперь всюду есть свои люди: одному не удастся — другой сделает...

Вот он лежал в госпитале: там настоящая «явка», — вот здорово! Там несколько человек из младшего персонала орудуют: наши хорошо поставили и это дело. Всем пример надо брать!

— В каком ты лежал госпитале? — заинтересовался вдруг Иван Митрофанович, и какая-то мысль (как возникшая — не отдавал себе отчета) мелькнула и сразу же исчезла, но пронзительный гудок подкатывавшегося задним ходом паровоза поторопил и его и Токарева.

— В лужском «Союзе городов», Иван Митрофанович... А что?.. Постойте, это, кажется, ваш подают! Ваш, конечно: ведь вам в ту сторону... — вглядывались они оба, на какой путь свернет паровоз после рельсового разветвления у сигнальной будки. — Ваш это, ваш... Пойдете? Ну, и я тоже. Ой, как рад, что встретились. Иван Митрофанович, — протягивал он руку, перекладывая завернутую в газету колбасу под мышку поврежденной руки. — Ну, прощайте. Увидимся еще, наверно... Стойте, руку вытру, а то она у меня, кажись, потная... не совсем того, простите!

Он засунул руку в карман штанов, вынул оттуда носовой платок и... растерянно посмотрел на Теплухина...

— Чего ты?!— спросил Иван Митрофанович.— Зачем карманы выворачиваешь,— а?

— Вот сукины дети!.. Пятерка была, синенькая,— сперли, вык-  
рали... Ну, что ты скажешь?! Вот народ! А?.. Затолкали на ба-  
заре и — сперли... Беда!

Он помял платок в кулаке и положил его обратно в штаны.

— На!— быстро вынул бумажник Иван Митрофанович и протя-  
нул ему «радужную» — двадцать пять рублей.— На, возьми, Коля.  
Не стесняйся: у меня есть...

— Много это, Иван Митрофанович. Да и вообще...

— Что вообще? Глупости!— искренне и серьезно выкрикнул  
Теплухин.— Ну, живо — бери! Отдашь когда-нибудь...

— А я возьму... знаете!— просто и весело сказал теперь То-  
карев.— Ведь знаю, от кого беру... не подачку, не милостыню, а от  
товарища? Правда?

— Ну, конечно...— опустил глаза Иван Митрофанович.— Про-  
щай, Николай!

И, не оборачиваясь, забыв, что ли, пожать руку ему, он зато-  
ропился к своему вагону, хотя знал, что поезд не сразу еще тро-  
гается.

— Прощайте!— крикнул ему вслед Токарев и пошел к свое-  
му составу, что-то напевая.

Он шагал, грузно втапывая свои тяжелые солдатские сапоги  
в рыхлый грязный песок, отшвыривая по-мальчишески носком  
вбок лежавшие на пути всякие отбросы.

В вагоне четвертого класса, с маленькими, узкими, с кресто-  
образной рамой окошечками, он нашел свое место среди таких же  
солдат, как и он,— уволенных из армии на время или без срока:  
искалеченных, с отравленными легкими, безруких, безногих, хро-  
мых.

Когда поезд тронулся, кто-то затынул, и все поддержали:

Ты прости-и-ка, прощай,

Сыр-дремучий лес

С летней во-о-лею,

С зимней сту-у-ужею...

Песнь распевалась в землянках, на фронте, вдали от родного  
дома, увидеть который жаждал каждый, но никто не надеялся:  
любую минуту была перед глазами смерть.

«Ну, а теперь зачем же петь? Домой ведь едут?..»— не раз думал  
Токарев, но тут же сам подпевал: «...Эх, да с летней во-о-лею!»

— Возьми волю!— убеждал он солдат.

— А где взять-то ее?— спрашивали иные.

— А там, где сдуру отдали, земляк!— отвечал он, присма-  
триваясь к «земляку»; внемлет ли тому, что будет дальше сказано,  
или языком только зубы чешет,— бывали и такие...

— Читаешь, браток?— свесив голову, спросил курносый, боро-  
датый казак, лежавший над ним, на третьей полке.

— Интересуешься или так просто?

— Интересуюсь, что бают в газетине!

— Бают, что тебя, казак, есаулом награждают!— отозвался по соседству чей-то голос с явно выраженным еврейским акцентом.

— А тебя, жид, ермолкой!

— Жидов нет, все евреи,— поправили в соседнем отделении.

— Газета фальшивая, черная,— сказал Токарев.— Да не газета, а оборвыш от ней. Не читаю, а так себе... Газету эту вчера на пункте в Витебске даром раздавали: взял на завертку и на простые надобности. «Русское знамя» называется... Читать ли нашему брату такую всерьез?

— Кадетов газета или как?

— Бери похуже, черной сотни, браток!

— А-а...— исчезла голова.— Вона какое холуйское дело.

Смеркалось. Вот-вот упадет крупный, тяжелый дождь. Первый гонец его — торопливый, разгоняющий духоту ветер врывается в бегущий вагон. Сквозняк... Слетает с полок чья-то бумага, с шумом раскрывается плохо затворяющаяся, залатанная фанерой дверь в тамбур. Во всем вагоне говорят: быть грозе. Кто-то признается: пуше смерти боится грозы, и это всю жизнь так, а на позициях никогда не было такого страха,— кто б объяснил, отчего это?.. Над ним смеются, зато сочувствуют другому: тот пуше штыковой атаки страшится зубоврачебного кресла,— приходилось садиться в него в лазарете, так ни за что рта не откроешь, увидя клещи в руках зубодня...

На нижней полке полуистлевшими картами дуются в «фильку».

Сиплый, простуженный голос по складам читает последнее письмо от «жинки», ведут речь об урожае,— охают, насвистывают. Вспоминают всякие военные случаи: быть и небылицу, ругают начальство, толкуют про политику, про несчастных мошенников и плутов:

— Известное дело... Важный чин на ём, на плуте, что звонок: звук от его и громок и далек, ребятки!

Токарев, не вдумываясь в прочитанное, пробежал глазами обрывок газеты:

«Кто желает без затраты капитала заняться какой-нибудь промышленностью, должен выписать книгу «Я сам — хозяин!». Цена с пересылкой 2 р. 75 к.».

«Вышла книга А. Котомкина-Савинского «Князь Вячко и меченосцы», посвященная августейшему поэту К. Р. Историческая поэма из эпохи войн XIII столетия: завоевание немцами Прибалтийского края».

«Для гг. регентов!!! К современным событиям! Последование молебного пения ко господу богу, певаемого во время брани против супостатов, находящихся на ны. Сочинение П. Чеснокова».

Еще сообщалось в объявлениях (Токарев улыбнулся) о «волшебной книге». Она ведь могла научить: заморозить воду в жаркое летнее время, заставить снег гореть в блюде. Вырастить бобы в полчаса. Разрезать ниткой стекло. Превратить железный прут в свечу. Зажечь сухие дрова водой,— и прочим «чудесам».

«Чем занимаются... паразиты!— подумал Токарев.— Фокусы им

на уме да молебные песни против супостатов. Вот будет вам «находящих на ны»!.. Дайте срок!»

На маленькой станции за Оршей, где никто почти не выходил из вагонов, хотя поезд и здесь стоял больше полагающегося, к окошечку телеграфиста подскочил человек в офицерской форме и торопливо протянул бланк вместе с деньгами.

— Сейчас отправить,— слышите? Деньги сосчитаны, можете не трудиться. Ну, живо! Я кому говорю?! Квитанцию, жевжик, быстро! Чтоб немедленно отправил,— понятно?.. У-у, сукины дети, вас бы за смертью посылать — до того медлительны!..

И заторопился обратно к поезду.

«Жевжик» — молодой телеграфист с конвульсивно подергивающейся, как после контузии, головой и бурым пятном волчанки вокруг глаза,— стараясь не напутать, передавал по линии депешу:

«Петроград департамент полиции превосходительству генералу глобусову немедленного представления проверил взял киева известного эсдека точка встречает петрограде кавычки жена кавычки потому считаю нельзя взять одного точка прикидывается французом корреспондентом точка фигурирует странностями отпустил английские усики костюм серый панам голубой лентой чемоданчик желтый точка вагон конце поезда точка осмелюсь ждать наградных запятая салопятников точка».

— ...Запятая Салопятников точка,— повторил вслух телеграфист и снял закоптелое стекло с лампы, чтобы зажечь ее: густо вползали сумерки.

## *Глава двадцать первая*

### СНОВА НА ТИШКИНСКОМ ПОПЛАВКЕ

Федя собирался позвонить, но парадная дверь была полуоткрыта, на площадку падал свет из прихожей, слышны были голоса,— и Федя решил повременить минуту и остановился у порога.

— Вы не студент Калмыков?— услышал он вдруг свою фамилию, произнесенную чьим-то незнакомым голосом, и вздрогнул даже от удивления и неожиданности.— Людмила Петровна просила передать...

— Нет, я не студент, позволю себе сказать... Ее высокоблагородие Людмила Петровна знает, по какому я делу.

— Как ваша фамилия?— спросил все тот же голос.

— Моя-с?..— на секунду замялся посетитель.— К-кандуша, позволю себе назваться... Ну, и что же из того, что фамилия?..— досадливо и растерянно, как показалось Феде, продолжал он.— Осмелился прийти так поздно по очень важному делу.

— Действительно поздно!— согласился хозяйский голос, приближаясь к двери.— Людмилы Петровны нет. Она уехала надолго из Петрограда. Честь имею!

— Куда — осмелюсь?..

Эти слова были произнесены уже за порогом, на площадке, потому что хозяин, инженер Величко, весьма решительно закончил разговор и захлопнул дверь перед самым носом попятившегося назад Кандуши.

Оглянувшись, он увидел топтавшегося на месте студента: а-а, конечно же, это был тот самый, о котором сию минуту шла речь,— и Кандуша, мельком оглядев его, сказал с сочувственной улыбкой:

— Господин Калмыков, вы к Людмиле Петровне? Так ее нет дома! Она уехала надолго из Петрограда.

«Это мне теперь и без тебя известно!— разгорячился Федя.— Но она просила что-то передать мне,— как бы узнать это?»— не знал он, что нужно делать, и не отходил от двери.

— Не верите, может быть?

— Нет, помилуйте, верю!— стало неловко почему-то Феде, и он опустил на одну ступеньку вниз.

— Так, так,— покачал головой Пантелеймон Кандуша, продолжая улыбаться.— Значит, будем знакомы! Пойдемте... что же тут делать?— предложил он, обернувшись на захлопнувшуюся дверь.

— Погодите минуточку здесь — хорошо?— остановился Федя на лестнице.— Если, конечно, хотите? Раз я уже пришел... вы понимаете?...— Прижком взлетел он на площадку и, отрезав путь для сомнений, позвонил и услышал смелое жужжание звонка.— Я сейчас же вернусь, господин Кандуша.

Его впустили в квартиру, дверь захлопнулась.

«Ну, и что же из того, что фамилию?.. Сболтнул! Само как-то выскочило... Э-э, инженер и слышать не слышал про меня, а Калмыкову, если что, так вотру, что разлюли малина!»— успокоил себя Пантелеймон Кандуша, оставшись один.

Гораздо досадней было, что не застал дома Людмилу Петровну. Готовился к встрече, все обдумал, на всякий случай утерянное Теплухиным письмо ее захватил с собой (мало ли, как разговор пошел бы!),— а тут вдруг такая история! «Не повезло! Да куда же уехать могла так внезапно?— вот вопрос, пипль-попль!»

«Надолго уехала, сказал Михаил Петрович... А может, врет? А зачем ему врать? Хотя!.. Проверим завтра, голубица, проверим завтра в госпитале. Разве я тебе, красавица, зла желаю? А вот они-с (подумал о Теплухине) сувенир получают,— это д-да...»— поджидая студента, размышлял между тем Кандуша. «Землячок!.. «Сицилист», наверно? А дедушка его капиталы растил, ямщиков, возможно, по мордасам лупил, хутор имел, с помещиками дружбу водил».

«И куда это он запропастился?»— поглядывал Кандуша на дверь, за которой скрывается студент.

Но прошло не больше трех минут с того момента, и дверь опять открылась перед вышедшим на площадку Федей Калмыковым.

— Сейчас...— бросил он стоявшему на лестнице Кандуше и, развернув письмо, быстро пробежал его глазами, потом вновь



принялся за него, замедленным шагом спускаясь со ступеньки на ступеньку.

«Интересно, наверно, позволю себе думать?— поджидал его у лестничного окна во двор Пантелеймон Кандуша и нацелился глазом на бледно-голубой почтовый лист, стараясь зацепить хоть несколько слов из чужого письма.— Людмилкин почерк, ей-бо-гу!— успел он только заметить: студент уже прятал письмо в карман тужурки.— Удивить? Предъявить ему той же прелестной ручкой написанное,— а?.. Вот игра-игрушка получится!»— шалил сам с собой Кандуша.

Они вышли из подъезда, учтиво провожаемые седобородым толстеньким швейцаром, и, словно сговорившись, оба повернули налево, держа путь к Каменноостровскому проспекту, гремевшему издали колесами, тормозами и звонками пробегавших трамваев. Теплая лунная ночь удерживала людей на улицах, сулила мечтательную прогулку и возможность приятных встреч.

— Как вас зовут, простите?..— спросил Федя своего спутника.

— Петя,— не моргнув глазом, соврал на всякий случай Кандуша.— А вас как, осмелюсь узнать?

— Федя. А отчество — Миронович. А ваше?

— Отца звать Никифор. А мы ведь с вами и Людмиллой Петровной из одних мест, кажется!

И пошли воспоминания: о родном городе, о живущих в нем, о «гимназических пристанях» на речке Суле, где устраивались так часто пикники,— ой, и самовар взяли с собой, и пропасть всяких закусок, и кондер там варили на костре, и, случалось, вино попивали, и шуры-муры разводили... А по той же речке к старинному монастырю Афанасия Сидящего — дорога какая чудная! А в самом монастыре? Чего только не стряпают тебе буквально за грош!.. Или пойти, например, гулять «за линию», вдоль железнодорожного полотна, до самой станции Солоницы,— природа какая, одно удовольствие,— а?.. А в Солоницах,— давно, говорят,— клад зарыт поляками, когда еще князь Иеремия Вишневецкий на смирихинской горе замок себе выстроил,— гос-с-поди боже мой, кто только не пытался откопать тот клад, но никто еще не набрел на тайное место...

Заходит разговор о Людмиле Петровне.

— Красивый бабец очень!— говорит о ней Кандуша и, коротко крикнув, бросает в воду (они уже на набережной Невы) положенные кем-то на выступ парапета свеженькие корки от апельсина.

Федя чувствует, как краснеет,— отворачивает лицо, останавливается у парапета, глядит в воду.

«Что его смутило?— следит за ним украдкой Кандуша.— А ну-ка, еще раз попробую!» И он продолжает:

— За такую женщину, если иметь деньги, ничего не жаль. Полюбить можно такую женщину сильно. Да разве нашему брату (я про себя говорю) иметь когда любовь с такою? Ни в жизни!..

Федя молчал.

— Ни в жизни! — повторил Кандуша, вздохнув. Подскочил, сел на гранитную ограду. — Такая женщина, полагаю, меньше чем знатного офицера или важного чиновника из министерства и не приметит. Или банкир какой соблазнит деньгой да увеселением. А нам с вами не соваться!

— Возможно... — старался быть как можно равнодушнее Федя.

— Эй, официант, еще парочку!

Второй раз Федя ночью на тишкинском поплавке. Все так же много народу, все те же татары-официанты с раскачивающейся походкой канатоходцев, все так же хлопают, как из пугача, бутылочные пробки. Играет оркестр слепых, одноглазый, с вытянутой лошадиной челюстью пианист (Феде кажется, что с того раза он очень похудел) трясет по-прежнему длинными смолянистыми кудрями и поводит плечами.

— Вам что, Федор Мироныч!.. Обыкновенная, так понимаю я, записочка... Ну, не может исполнить просьбу. Ну, преждевременно уехала, так... а? Вторую страничку не показали, — воля ваша! Частное дело, пыль-попыль... Вполне частное. Ну, что там может быть?

— Ничего особенного, — уверяет его Федя.

— То-то и оно. «Готовая к услугам и прочее», как пишется... Верно я говорю?

— Да, — нетерпеливо говорит Федя и не спускает глаз с конверта, лежащего тыльной стороной вверх на Кандушиной ладони.

— Удивить?

Кандуша осторожно вынимает письмо из конверта, разворачивает его и сует Феде под нос кончик последней странички:

— Узнаете подпись, — а?..

— Вот оно что! — восклицает Федя.

Угловатым, нервным почерком: «*Людмила Галаган*».

— Вам? — поражен Федя.

— Мне... — закрыв мечтательно глаза, покачивает головой Кандуша. — Вот именно — мне. Прочитаю.

Игравший за спиной оркестр мешал Феде ясно слышать содержание письма, — иногда приходилось переспрашивать, просить, чтобы повторил слово, а то и целую фразу. К тому же Кандуша читал невнятно, запинаясь, и Феде показалось, что он многое пропускает.

— «Любезный мой... Никифорович, — читал Кандуша. — Петр Никифорович! — через секунду громче обычного повторил он. — Чтобы внести раз навсегда ясность в наши взаимоотношения, я решила написать вам. Запомните, что этим я никак не могу себя скомпрометировать...» Чувствуете, Федор Мироныч? Не может скомпрометировать, — а?

— Дальше, дальше! — придвинулся вместе со стулом Федя.

— Ну, дальше... «К тому же я уверена, что вы сами захотите уничтожить это письмо, и это целиком совпадает с моими желаниями... Наши встречи приведут к чему-либо большему, чем то, на что могли надеяться остальные мои знакомые мужчины... — выби-

рал Кандуша из письма то, что ему нужно было. — Вы, я видела, отнеслись уже к этому недоверчиво, заподозрив с моей стороны обычную женскую игру». Ну, тут дальше... стыдливое, позволю себе заметить, — перевернул страничку Кандуша. — А вот отсюда... «...Вы для меня, естественно, должны были показаться человеком экзотическим. Вас все здесь чуждались, а для меня это было совершенно достаточно, чтобы поступить всем наперекор...» Видали-с? «...Ну, будем искренни, Иван Митрофанович!» — предательски произнес вдруг Кандушин язык, повинувшись его устремленному на письмо глазам, и они... посветлели даже, как показалось в ту секунду Феде, беспомощно остановившись на нем, — широкие, круглые, теперь растерянные...

Ох, многое может случиться, — изрек философ древности, — между краем губы и бокала! На один только момент опоздал Кандуша поднять глаза на своего собеседника: на тот самый момент, когда он подносил бокал к своим губам! А теперь студент Калмыков спокойно, невозмутимо допивал пиво, глядя на Кандушу если и с любопытством, то никак уже не внушающим подозрения.

«Ври, ври! Заливай, скотина! — едва скрывал теперь свою радость Федя. — Хлестаков несчастный... А насчет Ивана Митрофановича — интересно! Оч-чень даже. Вот тебе и каторжанин! Но когда же это было только?» — соображал он.

— Помню я, Федор Мироныч, забежали мы оба в темную ванную комнату...

О, до каких только пределов горячего вымысла не доходила в эту ночь не укрощаемая ничем Кандушина фантазия!

## *Глава двадцать вторая*

### ОТЕЦ И ДОЧЬ. ДОМАШНЯЯ ОХРАНКА В СЕМЬЕ КАРАБАЕВА

Дым от горячей недокуренной папиросы, брошенной в пепельницу, теплым едким облачком лез в слезившиеся глаза; одна и та же, замеченная, надоедливая муха садилась на оголенную до локтя руку, нахально забиралась под засученный рукав рубахи; за окном орала мальчишки, игравшие в городки; кричал на дороге мороженщик, — все это должно было мешать работе Льва Павловича. Но он был так увлечен ею, что не пытался уже отогнать как следует приставшую муху, потушить тлеющую папиросу, крикнуть мальчишкам, чтоб убрались подальше, закрыть окно, покуда не закончит статьи. Она получалась, на его взгляд, очень интересной и удачной.

Он заглядывал в свой заграничный дневник и вписывал в статью: «В Англии при населении в 46 миллионов народное богатство составляет 165 миллиардов рублей, а народный доход — 24 миллиарда в год. Народное богатство Германии (население — 68 миллионов) — 150 миллиардов и народный доход — 22. Посудите сами, читатель, — писал Лев Павлович, — в Англии на одну душу

населения приходится 3470 рублей народного богатства и дохода — 470 рублей, и в Германии — 2200 и 320 рублей. Сделайте сами вывод, любознательный читатель», — приглашал он.

Впрочем, кто его знает, какой вывод мог сделать не разбирающийся в цифрах читатель, — и Лев Павлович, подумав минуту, считая, как всегда, что следует, где только можно, все подсказывать русскому читателю, — закончил статью так:

«Вот и получается, что средняя семья из пяти душ обеспечена у англичан и немцев так, как у нас в России — мелкопоместные помещики или чиновники, занимающие приличные должности. Разве это не показательно?» — заключил всю статью жирный красноречивый вопросительный знак.

Лев Павлович собрал вместе все листки и вложил их в большой конверт, чтобы передать завтра же в газету.

Завтра с утра он поедет в город, он сам отвезет, — все равно имеет смысл побывать там: брат, Жоржа, известил телеграммой о своем приезде (остановился в Европейской гостинице), да и вообще всякие дела набегали за это время.

— Чудесно! — произнес вслух Лев Павлович, подытожив свои мысли.

Теперь только он отбился от нападавшей на него мухи, несколько раз ударив по ней носовым платком, выбросил за окно дымящийся окурок, погрозил пальцем сконфуженным мальчишкам и вышел во двор — мыть руки и освежить вспотевшее, лоснящееся лицо.

В даче никого из домашних не было: Софья Даниловна, захватив с собой Клавдию, уехала сразу же после обеда в город — закупать продукты, каких не было здесь, Юрка бог весть где пропал, а Ириша, — знал это Лев Павлович, — купается сейчас в озере, в версте от дома.

Было часов восемь вечера, солнце, покачнувшись вниз, все еще было ярко, но стало мягче, и Лев Павлович, прятавшийся обычно от дневной жары, подумал, что сейчас-то и лучше всего погулять. Оставить дачу можно было без всякого риска: «там, где финны, нет воровства», — убежден был он сам и Софья Даниловна.

Он вышел за калитку и, постояв некоторое время на одном месте, медленным шагом направился к реке.

В белых брюках и в белой, с отложным воротником, рубаше без галстука, с широким полотняным поясом, на котором нашит маленький кожаный кармашек для часов, в сандалиях, без шляпы, — Лев Павлович чувствовал себя сейчас настоящим дачником. «Ничем не хуже всех остальных», — подумал он о себе, присматриваясь к сходящему одеянию встречавшихся на пути мужчин и женщин, ходивших вдали от города в «вольных» костюмах.

Дачники оборачивались на него, и он чувствовал за своей спиной их любопытные, а может быть, и благодарные, дружеские взгляды, и долетало до слуха почтительное короткое восклицание, вызванное случайной встречей «в обычной обстановке» со знаменитым народным представителем...

Он не гордился, но ему было приятно, и, не зная этих людей, он испытывал к ним доверие и благожелательность.

А когда какая-то пожилая, с седыми буклями дама, завидев его, приостановилась и, давая дорогу, встречая прищуренными глазами, улыбнулась ему, — он тоже, проходя мимо, улыбнулся добро и сдержанно поклонился ей: не в знак знакомства, которого не было между ними, а из чувства взаимной, надо было полагать, приязни и взаимного понимания, не требовавшего ни слов, ни личного знакомства.

Разве не говорил он уже и с этой уважаемой, приветливой дамой, когда обращал свои речи ко всему народу, стоя на трибуне русского парламента?.. Нет, нет, он не гордился, но ему было очень приятно наблюдать такое внимание к себе!

Если бы он задержался минут на пять, то у самой калитки встретился бы с одним знакомым ему человеком, и, — кто знает, — как сложился бы тогда сегодняшний вечер. Может быть, и прогулка была бы сорвана или во всяком случае она не была бы такой спокойной, бездумной и приятной для Льва Павловича.

Человек этот, опоздавший на несколько минут, чтобы встретиться с Львом Павловичем, вероятно, не очень сожалел о том, потому что, войдя во двор, спросил хозяев не о Карабаеве, а о его дочери Ирине.

— Никого нет на даче, — ответила ему жена Вилли Котро. — Барышня на озере. Подождите ее, — добавила она, оглядев незнакомца, очевидно внушившего ей доверие. — Заморились, наверно, в поезде!

— А вы не знаете, скоро она придет? — поинтересовался он.

— Барышню я встретил полчаса назад, — вступил в разговор Вилли Котро. — Я возвращался с работы, шел мимо озера, а она только шла туда. Она любит вечером купаться, — правда, Густа? — обратился он к жене за подтверждением.

«Что же теперь делать? — соображал Ваулин. (Это был он.) — Пока будет купаться, пока вернется — верных полтора часа пройдет».

— Присядьте, подождите, — вновь предложила Густа, указывая ему на свободный табурет, стоявший у порога летнего обиталища всей ее семьи: чистенького, оштукатуренного сарайчика, крытого вперемежку красной и серой черепицей. — А если хотите — зайдите к ним на веранду: дача не запирается.

И она начала по-фински разговаривать о чем-то с мужем, предоставив возможность незнакомцу самому решить, как лучше ему устроиться.

Семья Вилли Котро собиралась ужинать. На столе с косыми крестообразными ножками — кастрюля с только что вскипевшим кофе, сухари, салат и козий сыр. Ваулин не прочь был бы и сам подкрепиться...

Ребятишки — их было трое — вслед за отцом мыли руки и рассаживались по своим местам. Вместе с первой чашкой кофе Густа подала мужу две финских газеты. («Культура...» — подумал

Ваулин, невольно наблюдая все семью финна.) Пройдет несколько минут,— Вилли Котро пробежит глазами сначала одну газету — финских социал-демократов, потом другую — гельсингфорского клуба ремесленников и не менее получаса будет читать вслух семье все важнейшие новости.

«Черт возьми... как же быть? — огорчился между тем Ваулин.— В моем положении бездействовать и убивать время на созерцание этой семейной идилии — не очень умно! Неужели не удастся увидеть Иришу? Обидно! И кто знает, когда еще?..»

— Простите...— прервал он финскую речь: «Кстати, спрошу, как пройти туда».— Простите, деревня Малая Метцекюле далеко отсюда?

— Малая Метцекюле? — поднял белобрысую, сжатую с боков голову Вилли Котро.— Ходить сорок минут по часам. Я хожу туда каждый день. Мы строим там новую церковь: старая сгорела. Вам, наверно, нужна там дача?

— Да, хотелось бы...— невинно солгал Ваулин.

— Там освободилась сегодня одна,— как-то странно заулыбался блуждающей улыбкой Вилли Котро.

Он что-то быстро сказал по-фински жене. Та удивленно спросила его:

— Хальме, Вилли? Ой-я-а!..

И, услышав знакомую фамилию «Хальме», Сергей Леонидович, имея все основания заинтересоваться, сказал:

— Меня просили для семьи одного господина посмотреть при случае дачу: в Малой Метцекюле... Мне даже адрес одного хозяина дали,— хитрил он, вынимая из пиджака блокнот и делая вид, что ищет в нем записанный адрес.— Вот... дом Зигфрида Хальме, напротив второго колодца.

— Вам не очень повезло,— нахмурился Вилли Котро.— Я как раз говорил жене про этого самого Зигфрида Хальме. Если тот, что против второго колодца,— так вам не очень повезло,— повторил он.

— Почему? — уже насторожился Ваулин.

— Как раз сегодня приехал в Метцекюле жандарм и забрал Зигфрида Хальме.

«Фю-фю!» — чуть не свистнул Ваулин, а вслух сказал:

— А что же за человек этот Хальме?

— Обыкновенный. Хромой только немножко. Тоже, как я, всю жизнь плотником работает. В Петербурге работал, в Выборге работал, в деревне тоже. Хотя, может быть, вы с его матерью сговоритесь,— жены у него нет.

«Я это и без тебя, милый, знаю...»

— Да, да, надо будет сговориться. Я так и передам своему знакомому,— с деланным равнодушием и спокойствием ответил Сергей Леонидович, а сам: «Ого, как глубоко копнули! Пустячки — провал на сей раз?! Ну, медлить нечего. Хальме взяли: куда же мне теперь идти? Обложили со всех сторон, как волка на охоте. Самым поздним, ночным — в город придется. А оттуда?.. А

оттуда — любим, куда только можно, из Петербурга!..» — решил он.

— Я напишу записочку, а вы, пожалуйста, передайте ее барышне Карабаевой,— условился он с плотником и его женой.

Он вошел в карабаевскую дачу, быстро набросал письмо Ирише, запечатал его в конверт, любезно предложенный Густой Котро, и оставил письмо на веранде, положив его кончик под графин с водой, стоявший на столе.

— Значит, не будете ждать? — спросила жена плотника.

— Нет. Пойду... может быть, выкупаюсь... Я приду через часок,— сбивался он в своем торопливом ответе.

Он вышел на дорогу, пересек ее, взбежал на холмик и направился в лес.

Путь к речке, где купались мужчины, лежал совсем не в ту сторону,— хотел крикнуть об этом приезжему приветливый и обязательный Вилли Котро, но Ваулин уже был далеко.

«Ирине»,— прочитал Лев Павлович надпись на конверте, сделанную карандашом.

«От кого бы это?» — подумал он.

Утолив жажду, графин с водой поставил на место, а письмо оставил в руке. Вышел во двор, расспросил финнов, кто приходил; по описанию их сразу же догадался — что новый знакомый Ириши, Сергей Леонидович, а фамилии так и не знал.

«Ах, вот оно что: Мефистофель Иришин!..» — вспомнил Лев Павлович сейчас прозвище, данное женой Иришину знакомому, и — поморщился, сам не зная почему.

Сергей Леонидович ничем не походил на Мефистофеля: ни внешним видом, ни поведением своим, насколько мог заметить это Лев Павлович во время первой и пока единственной, правда, их встречи. Напротив,— он показался Льву Павловичу приятным и умным человеком.

Но он был старше Ириши лет на десять, и эта разница в возрасте питала родительское сердце всяческими догадками и подозрениями по поводу истинных отношений между дочерью и этим человеком. К тому же факт, о котором в свое время рассказала Льву Павловичу Софья Даниловна, должен был взволновать их обоих и усилить имевшиеся подозрения.

«О Левушка, он настоящий искустель! Опытный, себе на уме!..» — была настойчива в своем мнении Софья Даниловна.

Месяц назад в комнате дочери она нашла случайно два экземпляра гектографированного текста. Подумала, что записанные лекции какого-нибудь профессора,— хотела положить на место, но бросился в глаза странный заголовок:

К РЕВОЛЮЦИОННОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ РОССИИ

Стала читать:

Слава победы лишь славным дается,  
Срама не знает погибший в борьбе...

Юность! Тебе наша песня поется.  
Вечная слава тебе!..

«Выходите на работу, товарищи! Идите в нелегальные социал-демократические рабочие организации! Создайте свои студенческие организации для борьбы с войной и ее виновниками. Берите на себя инициативу выступлений! Разбивайте всеми возможными средствами обломки иллюзий освобождения народов штыками всероссийского деспота! За работу! За работу, товарищи!

...ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Это слова первого Циммервальдского манифеста. Вы слышите ли? «Два года мировой войны. Два года опустошения. Два года кровавых жертв и бешенства реакции. Кто несет за это ответственность? Кто скрывается за теми, которые бросили пылающий факел в бочку с порохом? Кто давно уже хотел войны и подготовил ее? Это — господствующие классы!

Во время мира капиталистическая система отнимает у рабочего всякую радость в жизни, во время войны она отнимает у него все, даже жизнь!.. К ответу царскую монархию! Долой войну! Да здравствует революция! Вперед! За временное революционное правительство! За российскую демократическую республику! За социализм! Да здравствует Третий Интернационал революционного пролетариата!»

«Левушка, что мне было делать? — жаловалась Софья Даниловна. — Я чувствовала буквально, что у меня почва уходит из-под ног. Я спрятала прокламации и ничего не сказала Ирише... Иринка, наша Иринка и... попала в какую-то подпольщину?! Да ведь так недалеко до тюрьмы! Ты понимаешь, что я пережила? Я думала: кто ей дал эти прокламации? Один момент я готова была обвинить Фому: он какой-то странный стал за последнее время — ругает всех, каркает как старый ворон. Однако нет, думаю, не станет он мне пакость делать: все-таки кузен... Потом я решила: Федька Калмыков! Привез, может быть, из Киева, как подпольный коммивояжер... Э-т-то, знаешь, с политическим уклоном мальчишка! Но проверила, как могла, и отказалась от этой мысли. К тому же на этих бумажках значится подпись какого-то Петербургского Комитета... А теперь начинаю, кажется, понимать, откуда ветер дует! Видишь ли, Ириша не так давно познакомилась с одним человеком...»

Лев Павлович хорошо хранил в памяти волнующий рассказ жены в первую же ночь по возвращении из-за границы. Он прочитал прокламацию и уничтожил ее. Было решено ни слова не говорить дочери, но поглядывать за ней и, когда нужно будет, — вмешаться.



«А может быть, она только одна из многих курсисток, которым агитаторы всучили свои бумажки, а сама-то она ни при чем?» — высказывал догадку Лев Павлович и надеялся, что дело обстоит именно так.

Но Софья Даниловна, ссылаясь, как всегда, на свою «материнскую интуицию», ждала больших неприятностей — и для дочери и тем самым для всей семьи.

«Я тебе говорю, Левушка: он, именно он — искуситель, Мефистофель какой-то! Он в организации революционной, — я чувствую! А знаешь, когда женщина чувствует...»

«Не в полицию же сообщать о нем?!» — по-своему противоречил ей неожиданно Лев Павлович, и тогда она обижалась.

...Торопливо заклеенный конверт легко и без порчи открывался: его язычок пузырился и отставал, и стоило только осторожно всунуть под него тонкое лезвие перочинного ножика или дамскую шпильку — и... А потом так же легко можно заклеить: еще крепче прежнего!

Лев Павлович прогнал эту мысль. «Перлюстрация чужих писем?» — сказал он себе, и этого было достаточно, чтобы легко и просто устоять против соблазна.

Ну, ладно... Письмо, конечно, он не вскрыет: он отнесет его в комнату дочери, положит его там. А вообще-то говоря, может он, отец, который всегда так близок был со своими детьми, — может он поинтересоваться поглубже знакомыми дочери, ее отношениями с ними, ее раздумиями, вообще — ее жизнью?.. Может или нет? «Должен даже! — говорил себе Лев Павлович. — Ведь она еще дитя... прекрасный мой, чудный теленок! Разве она отвечает за свои поступки? Надо объяснить ей это — в честном, прямом разговоре растолковать. Соня, конечно, не сумеет этого сделать, она чересчур вспыльчива бывает, — рассуждал Лев Павлович. — А я сумею: ведь Иришка так меня любит! Ну, пусть пооткровенничает со мной курсисточка моя!.. — просил он ее мысленно. — Мы вместе и обсудим, если что есть... Какие у нее, например, дела с Федей этим самым. Неужели продолжается детский роман? Или нет?.. Мне этот студент нравится, напрасно Соня как-то неприязненна с ним. Эх, молодежь, молодежь: надо ведь ее понимать!» — словно спорил он с кем-то в эту минуту, и, как если бы спор увенчался его успехом, Лев Павлович пришел опять в хорошее настроение.

Он уже знал даже, как начнет разговор с дочерью. Он не сразу, не в лоб, — нет, нет, он схитрит, он начнет (приходит тут в голову Льву Павловичу)... с «биологического» примера: как естественник подойдет он к этому деликатному делу.

«Однажды, — расскажет он Ирише, — лесник ехал ночью верхом на лошади по лесу и в темноте наехал на лосиху, которая, испугавшись, отбежала в сторону. Лесник продолжал свой путь. К великому его изумлению, в деревню за ним пришел и лосенок. В чем же дело?.. А в том, что лесник отрезал случайно лосенка от матери, за которой он всегда бегал, и теперь он побежал так же за

лошадью, как раньше за лосихой. Здесь мы имеем дело, — пояснит он Ирише, — с наследственной реакцией, биологически весьма важной, так как благодаря этим реакциям детеныш спасается, пока не окрепнет и сам не образует своих условных связей по отношению к внешнему миру. Это и есть пример примитивной подражательной реакции».

«Поняла сию научную притчу? — спросит он свою дочь, своего милого, прекрасного «лосенка», в темноте и запутанности современной жизни могущего, подражая бог весть кому, отбиться от семьи своей и неразумно побегать куда-то прочь. Вот как начнет он с ней разговор! Весело (главное — весело!), шутливо, но в то же время достаточно серьезно.

И зачем дело откладывать в долгий ящик? Разговор он начнет с ней сегодня же: благо никто не помешает им, так как Софья Даниловна задержалась в городе (он посмотрел на часы) и придет оттуда, наверно, только завтра утром.

Лев Павлович направился в комнату дочери, чтобы отнести туда ваулинское письмо. Войдя в комнату, он положил его на подушку: вернется Ириша — сразу бросится ей в глаза — рассудил он.

Он оглядел обитель дочери. «Хм, какой, однако, беспорядок у Ириши, — подумал Лев Павлович. — Вот уж не похожа в этом на мать! Нехорошо...»

На подоконнике разбросаны шпильки, одна из них каким-то образом попала на желтую липкую бумагу «смерть мухам». Зеркало на комод в пыли. Тут же тарелочка с недоеденными ягодами, и на них — осы и мухи. Упала с вешалки полотняная простыня, закрывавшая висевшую одежду. В разных углах валялись пояски от платьев, косынка, голубой сарафан, а на столе — тючок свежее-отлаженного белья, только сегодня принесенного деревенской прачкой.

«Нехорошо. Неаккуратно... Как будто раньше не замечалось за ней это? — удивился Лев Павлович. — Надо ее немножко пристыдить: сделаю, а потом скажу!»

Никогда не занимаясь этим сам в своей комнате, он решил сейчас навести порядок, хотя бы относительный, в комнате дочери. Он собрал валявшуюся одежду, повесил ее, как мог, на вешалку, накрыл ее поднятой с пола простыней, а свежее белье решил положить в комод: все вместе: и ночные рубахи, и лифчики, и чулки, и платье, и носовые платки, — все вместе! «Пусть уж там сама разберется!»

В комод было три больших ящика и два маленьких — верхних. Льву Павловичу не хотелось садиться на корточки и очень низко нагибаться, но, — соображал он, — вряд ли белье хранится в маленьких ящиках, — и решил выдвинуть первый из больших, что и сделал.

Ему повезло: именно в этом ящике, — увидел он, — лежало остальное белье (правда — только белье!) Ириши. Узенький — он был почти полон, и Лев Павлович с трудом укладывал в него

Иришины вещи, для чего потребовалось вынуть на время из него уже лежавшие там.

Занятый этой неблагоприятной для мужчины работой, он нащупал случайно между лежавшим бельем какой-то твердый, плоский предмет и сразу же определил, что это — тетрадь. «Почему она здесь?..»

Не зная еще, для чего, он вытащил ее: действительно — толстая клеенчатая общая тетрадь. Он неловко перелистал ее — и оттуда выпали какие-то бумажки и тонкий засушенный ореховый лист. Лев Павлович быстро нагнулся, поднял все это, — он не знал, как точно следует его положить.

Уже осторожно он вновь стал перелистывать тетрадь со многими исписанными страницами и, когда увидел между двумя из них точно такого же формата листки, как и выпавшие, — обрадовался и присоединил к ним слетевшие на пол.

Продельывая это, бегло сличая листки, он натолкнулся взглядом на кем-то, неизвестным почерком, написанную свою собственную, карабаевскую, фамилию, употребленную во множественном числе. Ну, как тут не заинтересоваться?.. Да еще если фамилия к тому же почему-то... зачеркнута?!

И он остановил свой взгляд на одной этой строчке:

«...либеральной буржуазией и ее глашатаями — Гучковыми, Милюковыми, Карабаевыми...»

«Что такое? В чем дело?..»

Не думая уже ни о чем, что могло бы его удержать от этого поступка, Лев Павлович набросился на чтение листков, не обращая внимания на порядок, в каком они следовали.

«Товарищи! — писал кто-то круглым красивым почерком. — В годы реакции, в годы трудной будничной работы совершившееся в нашем студенчестве расслоение не могло обнаружиться с достаточной определенностью за отсутствием вопросов, требующих для своего разрешения определенных действий. И в смрадном маразме ублюдочной конституции...»

«Господи, слова-то какие, слова-то!..» — скривил рот Лев Павлович.

«...выросли и окрепли те буржуазно-мещанские настроения студенчества, которые только теперь проявились со всей силой, свидетельствуя о полном идейном банкротстве студенчества, как целого, его идейном банкротстве и бесшабашном оппортунизме. Казавшееся когда-то единым по своему революционно-демократическому настроению, оно теперь, с обострением классовых противоречий в обществе, раскалывается, как орех (зачеркнуто «как орех»), на две противоположные друг другу группы: буржуазно-оппортунистическую, идейно связанную с сильно окрепшей за последние годы либеральной буржуазией и ее глашатаями — Гучковыми, Милюковыми, Карабаевыми (...как ни возмущен и сердит был сейчас Лев Павлович, подумал, усмехнувшись, о чтении письма в «Ревизоре»), и — революционно-социалистическую с интернационально-классовой идеологией мирового пролетариата.

Совсем не желая обращаться с призывом к первой части, обращаемся к товарищам, разделяющим наши убеждения, но почему-либо стоящим в стороне от социалистической работы пролетарских организаций.

Товарищи! вы должны знать...

На другом листке:

Вечная память погибшим за дело святое!  
Вечная память замученным в тюрьмах гнилых!  
Вечная память сказавшим нам слово живое!..

...Совершенно очевидно было — черновик какой-то прокламации! «Эге, дело серьезное,— встревожился Лев Павлович.— Боже мой, боже мой, как Соня была права! Спасать, спасать надо... Ведь это же не шуточка, ведь бог знает что может случиться с Иришей! — с тревогой подумал он о дочери.— Кто его знает, что здесь еще в тетради?»

Она в его руках, минуту он заглядывает в нее, убеждается, что это дневник Ириши, о существовании которого он никогда раньше не знал,— господи, он, отец, ничего не знал!..

Но читать ли весь дневник сейчас?

Прежде чем начать смотреть его, Лев Павлович решает сделать другое: он подбегает к кровати и берет положенное им на подушку письмо.

Через минуту он убеждается, что поступил правильно.

Шпилькой он легко вскрывает конверт и вытаскивает оттуда записку Ваулина: тот же самый, знакомый уже почерк — круглый, красивый.

«Ирина! Обстоятельства вынуждают меня покинуть Петроград. Надеюсь — только на время! Не унывайте, дорогой друг, все будет ладно. Советую сейчас отдыхать, держаться в тени. Ждите от меня вестей. Просьба большая: зайдите к Шуре, вместе с ней — к моей матери, успокойте, крепенько поцелуйте Лялечку. Не оставляйте моих, я буду думать о них и о Вас всегда. Если ларек не закрылся (пусть Шура посмотрит), все равно не покупайте там без меня. Помните: Вы мне очень, очень близкий человек,— вот Вам еще раз мое признание! А признание — сестра покаянию: простите меня за все неприятное, может быть, что причинил Вам. Лялечку и мать обнимите за меня. Отсюда выберусь самым ночным.

*Ваш С..*

Заклеенный конверт водворен на место. Но все равно до последней запятой запечатлелось это письмо в памяти Льва Павловича! Кажется, всю жизнь будет помнить...

— А я хотел ей о лосенке рассказывать... Вот тебе и «лосенок», ай-ай-ай-ай-ай!..— горестно вздыхал он. И, словно не хва-

тало сейчас воздуху для дыхания, подошел к окну и высунул на минуту голову в него.

Увидев побагровевшее, насупившееся лицо Карабаева, притихшие мальчишки, расположившиеся под кустом палисадника, хотели уже разбежаться, но Лев Павлович вдруг ласково сказал:

— Играйте, ребятки, играйте: я вам не запрещаю. В лосиху и лосенка умеете? А?.. Ну, я вас завтра научу,— и отошел от окна.

«Господи, что я такое говорю?..» — испугался он сам за себя: подкрадывались к горлу спазмы, стреляло, как всегда, когда волновался, в правом, с детства простуженном ухе.

Кое-что в письме ему было непонятно, особенно — фраза о ларьке, и это только усиливало его волнение, разжигало его подозрения и догадки, в одно мгновение сменявшие друг друга десятками. Боже ты мой, до чего только он не додумывался!.. Но одно было ясно: ни он, ни Софья Даниловна не уследили... Нет, нет,— не уследили! Дело зашло слишком далеко, и как теперь его исправить,— а? Ириша, его дочь, связана безусловно с какой-то подпольной организацией («И прокламация и эта записка — одним почерком!»), и, того гляди, в любой день жандармский офицер или какой-нибудь агент охранки придет за ней и уведет под конвоем в грязный участок.

«Как проворовавшуюся проститутку, вместе со всяким сбродом, с цыганами!» — пришло именно это в голову Льву Павловичу. Он сознательно уже пугал себя, чтобы резче и как можно только болезненней почувствовать весь ужас предстоящего, всю силу оскорбления, которое тем самым будет ему, Карабаеву, нанесено.

А какая-то другая мысль пыталась успокоить: «Нет, что ты? Не дай бог! Зачем же цыгане, зачем проститутки?.. Бог с тобой! Могут, конечно, забрать — это правда, но ведь связи в министерствах, Родзянко, положение в Думе, в обществе?! Вмешаются, не допустят скандала, вернут немедленно Иришу,— что ты, Левушка?!» — словно уже говорили ему ласково, по-родственному, услужливо и Родзянко, и министры, и вся Дума, и все люди вокруг.

«Заслужил я или не заслужил того?» — спрашивал он их мысленно и слышал уже, как это часто бывало во время его думских и иных речей, громкое, дружеское и преданное одобрение.

«Правые только, негодяи, могут использовать этот семейный скандал. Начнут улюлюкать, обругают и меня революционером, скажут, что я в сговоре с безответственными крайними элементами. Ах, Ириша, Ириша! Что ты наделала? — негодовал и скорбел Лев Павлович.— Как это все случилось?..»

И вдруг одна мысль пришла, как страшный, позорный ответ на растерянный вопрос Льва Павловича.

«Боже мой, боже мой... Ни я, ни Соня этого не переживем!» — обреченно сказал он себе.

Он раскрыл тетрадь и, как можно только, быстро стал ее просматривать: эти страницы должны были подтвердить то, о чем он подумал.

Среди нескольких десятков записей он выбирал для своих умозаключений те, в которых разбросан был и таился, по его мнению, ответ на его последнюю мысль. Он переставал читать все, что не касалось существа ее: о профессорах, о театре, о книгах, о влюбленных Иришиных подругах, о прогулке на Стрелку, рассуждения на разные темы и прочее. Собственно, и это было ему интересно, и в другое время он не пропустил бы ничего, что так или иначе касалось Ириши, но сейчас... сейчас он искал главное.

«Как следователь охраны!» — подумал он и тотчас же отбросил эту мысль.

«...Я так благодарна Артемиде за это знакомство! Какой он умный и, кажется, хорошей души человек! Мы много говорили с ним, мне так хотелось пойти вместе домой, но он почему-то ушел раньше всех. Шура живет в одной квартире с ним, его матерью и ребенком. Он вдов, потому что жена его умерла во время родов, ребенка он боготворит, но почему-то не живет с ним вместе. Вот этого уже не могу никак понять.

...Сегодня Шура рассказывала мне все, что знает о его жизни. Ей откуда-то все известно. Шура уверяет, что он видный здесь «политический» человек, но почему-то нигде открыто не выступает. Он с Шурой очень хорош, она хочет быть его «личным секретарем», как сказала. Он расспрашивал ее обо мне. Неужели? Шура говорит, что я ему очень нравлюсь...»

«Шура да Шура! Какая это такая Шура? — злился Лев Павлович, стараясь вспомнить всех бывавших у него в доме Иришиных подруг. И отыскал-таки в памяти: «А-а... вот та самая — кубышка с черненькими глазками, с растрепанными темно-золотистыми волосами!.. Ходит она всегда в поношенной, обшитой барашком кофточке, в кругленькой шапочке. Кажется, большая сладкожема и часто жалуется на зубную боль!.. Нет, ничего, симпатичная!..» — вынужден признать Лев Павлович, хотя не прочь был бы сейчас придаться к любой из Иришиных приятельниц.

«...Прошло полгода, ровно полгода с того дня. А могла ли я думать тогда? Родной мой, хороший, ты доставил мне столько радости!.. Чувствовать тебя, дышать с тобой одним воздухом, думать вместе с тобой!.. все, все скрывая от чужих людей!..»

— Какая радость! — горячим шепотом сказал Лев Павлович. «Несчастливая... развратница!.. — закончил он уже в уме, не в силах, чувствуя, произнести это слово вслух. — Ирочка, Иришка, что сделала с собой и со всеми нами?» — опустил он на стул, не замечая уже того, что неудобно сел на кончик его.

Теперь все казалось понятным, теперь не в чем уже было сомневаться.

Пришла странная мысль — подтверждение того, что узнал из дневника: состояние Ириши сказалось и на ее обращении с вещами! Неряшливость, никогда раньше не замечавшаяся за ней, беспорядок в комнате, разбросанное, валяющееся где попало белье. «Нет, нет, это не девичье отношение к предметам: это распушенность женщины, утаивающей, что она стала ею! — утвердился он

в своем наблюдении.— Это проявление бессознательного, вероятно, бесстыдства, которого раньше не было у Ириши».

И чулки ее, лифчики, смятый сарафан — вещи, которые он подбирал здесь, трогал руками,— показались ему теперь не просто запывлившимися, не свежими, а грязными, в каждой складке своей хранящими следы чужого и греховного к ним прикосновения.

Этого он никогда не замечал, но сейчас ему казалось, что подошел нижней Иришиной юбки неприлично ниже верхней, и кружева его всегда грязны и, распустившись в петлях, волочатся ниткой по полу...

«Как цыганка, как проститутка с грязным подолом... пойдет со всяким сбродом»,— опять приходит в голову болезненная, оскорбительная мысль, и он неожиданно ощущает потребность вытереть руки носовым платком, словно он и впрямь только что ими держал замаранный подол чье-то белья.

«Теперь,— нашел он на одной странице,— Шура созналась мне, что давно помогает их революционной организации. Они борются с царем и против войны, и разве вся моя душа не с ними? Шура спросила меня, хочу ли я тоже помогать общему делу. «Будешь подручной»,— сказала она.— Ведь ты курсистка, а лучшие из студенчества всегда шли с рабочим классом». Я сказала ей, что мой отец — бывший земский врач, а капиталов у нас нет. «Дело не в твоём отце, если быть откровенной»,— сказала Шура,— а в тебе самой, Ириночка. И с отцом тебе нечего советоваться: у нас с ним разное политическое вероисповедание, хотя он и не царский человек».

...Федя пишет, что приезжает сюда. Пускай приезжает, буду очень рада Федулке. Теперь мы с ним друзья, только хорошие, настоящие друзья. Жизнь корректирует все отношения — всегда говорит мой папа: так и у нас с Федулкой. Интересно, понравится ли ему мой С. Л.?

...Все мы дома с нетерпением ждем возвращения из-за границы папочки. Сначала газеты очень много писали о них, о их поездке, а теперь стали меньше. Папа — настоящая знаменитость!

В университете стали относиться ко мне с особенным уважением, меня некоторые так и называют: дочь будущего министра. С. Л. шутя говорил мне: «Ну, зачем вам, Ирина, Константинополь и проливы?» А Шура серьезно говорила: «Лев Павлович не плохой, вероятно, человек, но зачем он служит буржуазии, а не рабочему классу?» Еще года два тому назад я обиделась бы, а теперь кое-что начинаю понимать.

...По просьбе студенческой группы С. Л. составил проект воззвания. Там упоминалась фамилия папы. Писал у меня в комнате. Я посмотрела на листок и, как дура, покраснела. Он нежно обнял меня за талию и сказал: «Из песни слова не выкинешь». Черновик остался у меня на сохранение. Я знаю, что это глупость, но, когда он ушел, я зачеркнула папино имя».

«Доченька ты моя...» — умилился Лев Павлович, забыв на секунду о своем негодовании, и громко, от волнения, засопел в усы.

«...Сегодня первый раз была в ларьке у «зеленщика» с Шурой,— читал он дальше.— Как все замечательно они устроили!...»

Опять о каком-то таинственном ларьке? Он ничего не понимал: какой-токой «зеленщик»?

«...сначала было страшно, а потом — ничего. Жена зеленщика очень проворно и уверенно все делала, а я вся дрожала».

И хотя больше ничего о ларьке не было сказано в тетради, Льву Павловичу показались эти строчки самыми страшными во всем дневнике. Между этой и последующей записью шел пропуск в десять дней, и он только усилил отчаяние и подозрение Льва Павловича.

«Была больна она... Настолько плохо себя чувствовала после аборта, что не до дневника было! Господи, за что ты караешь нас?» — кажется, всерьез вспомнил он о боге, к которому давно-давно не обращался.

И вдруг через две страницы:

«Вчера ночевала у меня Шура. Говорила о многих вещах и о любви. Ей очень понравился Федулка. Дурачились, расспрашивала меня о моем бывшем романе с ним. Я ей все откровенно рассказала. Потом заговорили о С. Л. Шура не верит, что мы с ним ни разу не поцеловались. Вот глупая! Ведь я-то знаю, что это, к сожалению, правда. Ни разу!.. Но если придется когда-нибудь,— я пообещала ей открыться в этом.

...Ура! Сегодня получена телеграмма, что через день возвращается с делегацией папа! Какая радость!..»

«Какая радость! — повторил про себя Лев Павлович, хотя хотелось теперь крикнуть об этом громко, во всеуслышание.— Лосенок мой, родной мой, прости меня за всякие недостойные, пакостные мысли! Как я мог думать даже?! Ах, нервы... нервы... Мы все так издергались за это время, так подозрительны, недоверчивы стали. Дитя мое! Самое важное, самое главное ведь,—а?..»

Радость была сильна и остра. Его дочь осталась «чиста», как и была раньше.

Но, чтобы утвердиться в своем чувстве, он бегло перелистал тетрадь: «А вдруг в самые последние дни что-нибудь да произошло?» И когда не нашел ничего предосудительного,— уже окончательно повеселел.

Ириша была при нем, при отце,— он это чувствовал теперь... ну как чувствовал при себе носовой платок и кошелек в кармане, как биение часов в кармашке широкого пояса, обтягивающего его тело. И как можно в любую минуту вынуть все эти вещи и посмотреть на них, зная, что ты один только их обладатель, так мог он уже уверенно ощутить по-отцовски и свою дочь.

Он поспешно сунул клеенчатую тетрадь на место, задвинул ящик комода и вышел из комнаты дочери.

Еще минут десять — и она застала бы его на месте преступления.

Впрочем, он не считал это преступлением.

«Я — отец, и ничего дурного не могу желать своей дочери, на



мне лежит ответственность за ее жизнь и поступки, я обязан ей советовать делать лучшее и помогать в том, милостивые государи! — отвечал он словно кому-то приставшему к нему с укором и возмущением. — Всякие девчонки Шуры и подпольщики всякие (это им говорил Лев Павлович сейчас) не пощадят Иришу в своих нелепых целях, а я и мать только и можем ее защитить — понятно это?.. Ну, прочитал тайком дневник... Да, прочитал, ну так что же? Подумаешь, какое преступление сделал?! — уже убеждал он себя в своей собственной правоте. — Разве я кому-нибудь стану рассказывать об этом, разве я выдам кому-нибудь Иришу? Я даже Соне ничего не скажу», — решил Лев Павлович.

Он зажег свет и ходил по всей даче, напевая — для бодрости — вспомнившееся вдруг «Типперери». Он напевал, вставляя в песенку свои собственные слова, получалась нелепица, но зато с «особым смыслом»:

Далеко вам до Типперери,  
Далеко вам, господа,  
Не видать вам ишей Мери,  
Не ходите вы сюда!

На минуту его увлекло даже это занятие — стихотворный экспромт. И он вновь запел. И не без самодовольства:

А нам близко до Типперери,  
Потому что мы отцы,  
Не видать вам ишей Мери,  
Подлецы вы и глупцы..

— Вот так песенка! — услышал он сзади смех Ириши.

— А-а... — шагнул к ней Лев Павлович. — Ты пришла? Вот хорошо! — И он почувствовал вдруг, что смутился.

Она стояла на ступеньках крыльца, согнув и выдвинув одну ногу вперед, готовясь сделать последний шаг к веранде, но замедлив с ним.

Волосы, собранные в длинную, густо скрученную косу, лежали на груди, касаясь концом своим согнутого колена. Опершись на него локтем, она держала завернутые в газету купальные принадлежности, другая рука, голая до плеча, легла на спускающиеся вниз короткие деревянные перила.

— Ну?.. — сказал Лев Павлович. Ирина мигом очутилась на веранде.

— Какая вода сегодня, папа! Ходить только далеченько. Вот бы это самое озеро да возле дома! Я бы все время тогда сидела в воде... Наши до сих пор не приехали из города?

— Как видишь.

— Ну, значит, заночуют. Придется мне покухарничать. Одну минуту, и я все сделаю: будешь сыт и доволен. Разве я у тебя плохая дочка?

— Я этого не говорю пока.

— Одну минуточку: я только отдохну капельку... Юрка не возвращался? Обрати внимание на Юрку, папа, — все так же оживленно, но уже серьезно добавила она.

— А что такое произошло?  
— Да ничего особенного, конечно...  
— Говори ясней, Иришенька.  
— Все-таки водить ему компанию с офицерами расквартированной здесь части ни к чему!

— Вот как? Почему же водить компанию с офицерами нашей армии так уже неприлично? — слегка вызывающе усмехнулся Лев Павлович. — Среди них много отличных людей, рискующих жизнью, всем своим дорогим...

— Ах! — прервала она его. — При чем здесь это? Ты уже сразу... как член Государственной думы! Ой-ой, как «по-граждански» все это! А я тебе простую вещь хочу сказать: озеро женское, там только мы купаемся, а офицеры ходят туда и подсматривают. А папа Юрка тоже хорош!

— Я ему такое задам! — строго сказал Лев Павлович.

«Сейчас ей сказать о письме или потом?» — думал он, поглядывая на нее украдкой, боясь, что в прямом его взгляде она прочтет плохо скрываемую, вероятно, тревогу и взволнованность. «Не видать вам нашей Мери, подлецы вы и глупцы!..» — неотвязчиво, но уже без всякого песенного мотива лезло почему-то в голову и раздражало теперь Льва Павловича.

— Ты ему, как старший друг, сделай внушение, пожалуйста, — удовлетворилась его обещанием Ириша.

— Да, да, как старший друг, — вот именно! — многозначительно подхватил Лев Павлович, приближаясь к дочери.

Сидя на стуле, она высоко заложила ногу на ногу, снимая сине, под цвет сарафана, балетки и вытряхивая набившийся в них песок. Она тут же сняла чулки и погладила от колена вниз, — как будто песок и здесь мог прилипнуть, — голую, еще не тронутую загаром ногу. И вдруг она вскочила со стула, подбежала к отцу и, так как была ниже его ростом, вытянула к нему, закинув назад, голову, заложила за нее голые полные руки и поднялась на цыпочки. Он увидел близко ее большие светлокарие глаза настезь: в них не дрожала ни одна точка («Вся на ладонке!» — подумал он), но где-то глубоко-глубоко горел, словно опрокинутый внутрь, рыжеватый короткий луч смеха.

— Вот какая у тебя дочь... Папа, папа, я вижу кусочек себя в твоих глазах! Как интересно! Стой, стой, не шевелись!

— Бесстыдница, сама себя хвалишь, — тихонько шлепнул он ее кончиками пальцев по лбу и повернулся боком. — Ей-богу, ведешь себя будто тебе не девятнадцать, а девять лет! — не мог уже не улыбнуться, завоеванный ее живостью и непосредственностью: «Ну, как тут говорить с ней о серьезных вещах?» — А еще студентка, а еще... (чуть-чуть не сорвалось насмешливое «социал-демократка»)... а еще невеста! — так же необдуманно уронил он.

Она засмеялась:

— Возможно! Возможно, Лев Павлович... А что, — разве никто не возьмет? Ой, как еще!

— Не говори глупостей, Ириша! — вдруг помрачнел Лев Павлович и стал быстро закуривать. — Всякие Шурки тебя бог знает чему научат. Как будто я не знаю?..

— Что?.. Чего это ты вдруг?

— Того!

— Что ты знаешь?

Она заглядывала в его лицо строго и неласково:

— Ты, дорогой мой, совсем не знаешь Шуру, чтобы ее ругать. Ну, что ты знаешь? Говори же!

— Ничего... — сожалел уже о своей вспыльчивости Лев Павлович. Он сломал надвое спичку, затем другую, бросил их с каким-то нечленораздельным восклицанием за окно, зашагал по веранде.

— Чего ты это вдруг? — тихо повторила Ириша, наклонясь над своими балетками и поднимая их с пола.

«Ах, легче было бы, если бы не спрашивала!..»

— Чего? — сказал Лев Павлович и остановился посреди веранды. — Так, деточка. Просто так.

И вдруг заговорил не своими словами:

— Знаешь, горе, которое молчит, нашептывает отягченному сердцу до тех пор, пока оно не разорвется! Вот... и мне нашептывает... — совсем уже готов был разоткровенничаться Лев Павлович и долгим, неуверенным глотком вобрал в себя воздух.

Ириша не знала наизусть цитат из Шекспира, — она спросила:

— Что нашептывает, папа?

— Ничего, ничего, родненькая, — махнул он рукой и постарался заулыбаться. — Давай поужинаем, — а?

— Сейчас. Прости меня... — собирала она свои вещи, разворачивая газету, вынимая купальный костюм. — Сию минуточку. Прости меня, пожалуйста.

«Кажется, я была нечутка, — бранила она себя. — Пришла... тараторила о всяких пустяках и не заметила, что он, вероятно, был чем-то очень озабочен. Ой, как нехорошо получилось! Что-то очень легкомысленная я сегодня. Ну, ничего: за ужином замолю свои грехи... Вот, Клавдия в городе, а ты тут возись со всеми этими мисками, керосинками, тарелками!» — быстро сменилась одна мысль другою. И, не заходя к себе в комнату, с купальными вещами в руках, Ириша побежала босиком в кухню — посмотреть, что можно подать на ужин.

Принеся посуду на веранду, она застала отца склоненным над измятым, но расправленным теперь листом газеты, лежавшей на столе.

— Как она к тебе попала, Ириша? Мы не выписываем этой дряни! — задержал ее на минутку Лев Павлович.

Ириша взглянула на газету.

— Ей-богу, не знаю. А-а, вот что, папка... На пляже разные ведь соседки бывают: вероятно, какая-нибудь из них принесла. По ошибке я завернула вещи не в свою газету, а мою взяла соседка... А что такое, папа?

— Нет, ничего, лосенок мой,— нежно и, как самому показалось, жалобно сказал Лев Павлович и несколько раз поцеловал ее в голову, уткнувшись носом в Иришины волосы.

— Лосенок? Этого я еще никогда не слыхала,— удивлялась она и радовалась перемене в настроении отца.— Теленочек, курсёсточка, еще всякие слова... А вот лосенок — первый раз! Почему лосенок?

— Потому — вот и все!.. Ну, давай, давай отцу пищу. Быстро, лосеночек! Одна нога здесь, другая там! — гнал он ее в кухню.

Газетная заметка, на которую случайно наткнулся глазами минутой позже, по-особенному взволновала его и породила мысли, сильнее всех прежних:

#### «ДЕТИ ПРОТИВ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ»

Вчера в дачной местности покончила саомубийством на почве крупных семейных раздоров дочь депутата Государственной думы К — ва. Понятно, что такой противоестественный поступок молодого несчастного существа...»

Дальше следовали нравоучительные соображения черносотенной газеты, недвусмысленно старавшейся бросить тень на «атеиста»-депутата, не сумевшего якобы воспитать свою дочь в духе требований православной церкви и истинно русской семьи.

Лев Павлович обругал газету и в то же время, как ни странно, был благодарен ей теперь: «Дочь... В дачной местности... А что, не дай бог, у меня бы так случилось?! Ведь с ума можно сойти! Слава богу, слава богу, что я не начал этого объяснения сегодня... Когданибудь, в другой раз, но не сегодня... нет, нет!» — обуюло его нечто вроде суеверия.

«Маленькие случайности предостерегают от больших неприятностей...» Кто это сказал, — а? Фу, черт, кто же это сказал? — никак не мог вспомнить Лев Павлович, а вспомнить обязательно хотелось: потратил минуты две, но так и не удалось сейчас это.

«Да, да, это так! — маленькие случайности предостерегают от больших неприятностей! — И вдруг понял теперь, что нечего вспоминать, что высказал эту мысль, что вообще никто ее никогда не высказывал, а что это он сам, Лев Павлович, случайно изрек мысленно такой афоризм. — Вот так штука!»

Он был доволен. Он решил запомнить удачное свое изречение, чтобы использовать его, когда потребуется, в думской речи или в газетной статье.

В конце ужина он сказал:

— Да, я забыл, Ириша, прости меня. Кто-то принес тебе письмо, отдал нашей хозяйке, — я положил его у тебя в комнате.

И опустил глаза к блюду с киселем.

— А, это, наверно, дачница-портниха, с которой я вчера условились, — равнодушно сказала Ириша. — Она обещала мне и маме написать, сколько нужно точно купить материалу на некоторые вещицы... Положить тебе еще киселя?

— Угу-угу,— пробурчал Лев Павлович.

«Хорошая портниха!» — думал он, но ничего не возразил дочери, ничего больше не говорил о письме, боясь вызвать ее подозрения, когда она уже прочитает его.

Сидя за столом друг против друга, следили оба со сосредоточенным любопытством за большой мерцающей желтой звездой, удивительно быстро перемещавшейся на белесом вечернем небе. Вот над верхушкой одной сосны, через минуту — уже над третьей...

— Убегает от чего-то... — задумчиво сказал о звезде Лев Павлович.

— Или бежит к чему-то,— подумала вслух Ириша.

— А это не одно и то же? — улыбнулся он.

— Нет, конечно. Это не одно и то же. Смотри... А ведь мы познаем...

— ...видим предметы, мир,— хочешь сказать ты? — насторожился Лев Павлович.

— Звезду! — просто сказала она, не поняв, очевидно, его намека.

Он остался доволен ее ответом. И вдруг подумал: «А ведь я мог уничтожить письмо, и все было бы хорошо! Предупредил бы финнов, чтобы не говорили: соврал бы им что-нибудь на всякий случай... Как я не догадался?»

Но сейчас — понимал — уже поздно было это делать: Ириша встала из-за стола и направилась к себе в комнату.

### *Глава двадцать третья*

#### ДОКЛАД ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ГЛОБУСОВА

Своего шурина, начальника отдела по охранению общественной безопасности и порядка в столице, генерал-майора Глобусова Губонин застал, как всегда, за работой.

Генерал-майору было немногим больше сорока. Прилизанный, приглаженный, с фигурой и лицом женской складки, с вкрадчивыми манерами, с тихим, как бы журчащим голосом, особенно когда говорил по телефону, всегда мягко и вежливо улыбающийся в сознании своего превосходства (может быть, скрытого еще для собеседника, но — превосходства!), Александр Филиппович Глобусов был неутомимым руководителем порученного ему дела.

Работал он много и аккуратно, никогда не повышал голоса на своих подчиненных, даже на самых мелких, был с ними очень вежлив и любому писарю говорил «мерси», картавя на парижский лад.

Военный человек действительной службы, он ходил в брюках навыпуск, со штрипками, всегда в одних и тех же, тончайшей кожи, отлично сохранившихся за долгие годы сапогах почти без каблуков, и только горничная знала и удивлялась, как зверски барин стаптывает их в пальцах — почти до дыр, размером каждая

в пятак. Однако никто как будто не замечал, чтоб генерал-майор Глобусов ходил на цыпочках.

Жил он на казенной квартире, соединявшейся узеньким, коротким коридором с его служебным кабинетом. Этим ходом и прошел к нему Губонин, предупредив о себе по внутреннему телефону.

— А, Вячек, здравствуйте, садитесь, — пригласил его Александр Филиппович.

И, уже предвидя естественный вопрос гостя, увидевшего, что Глобусов сейчас не один в кабинете, тотчас же добавил:

— Пожалуйста, пожалуйста, вы мне не мешаете... Правда? — обратился он к человеку в штатской одежде, стоявшему навтыяжку у стола.

— Так точно, ваше превосходительство! — сорвавшимся дискантом почтительно сказал тот, но по тому, как побагровело и без того достаточно багровое лицо его и мало дружелюбен был коротко брошенный в его сторону взгляд, — Губонин понял, что его приход совсем некстати для этого человека с кожаной протезой — заметил — вместо одной руки.

— Я ненадолго, совсем ненадолго, — сказал Губонин, отсаживаясь в сторону и улыбаясь: он отлично знал, что, на сколько бы ни пришел, человеку с протезой все равно придется закончить разговор в его присутствии, раз пожелал того Александр Филиппович.

Между тем Глобусов продолжал прерванный на минуту разговор:

— «Мертвые души» читали, — а?

«В чем дело?» — прислушивался Губонин.

— В юности, ваше превосходительство! — стараясь говорить тише, ответил человек с багровым лицом и опять скосил глаза на Губонина. — Это про Чичикова произведение, ваше превосходительство.

— Зам-м-мечательно, ишь ты! — одобрительно смотрели на него темные, блестящие, с густой поволокой глаза Александра Филипповича. — Ну, прямо зам-мечательно, скажу вам... Вы, оказывается, хорошо знаете к тому же русских классиков?

— Чему учили — то уж до гробовой доски в памяти, ваше превосходительство! — не замечая насмешки генерал-майора, старался уже его собеседник.

— Так, так, мой дорогой. А повесть о капитане Копейкине тоже читали?

— Не буду вводить в заблуждение ваше превосходительство: что не читал — того не читал. Завтра же озабочусь отысканием этой книжицы, ваше превосходительство.

— О капитане Копейкине не слыхали, значит? А «Мертвые души» читали все-таки? И целиком прочли?

— Так точно.

— Вот реприманд неожиданный! — не меняя улыбки, осевшей на пухленькой бритой губе, покачал головой Александр Фи-

липпович, стрельнув глазами в Губонина, и тыльной стороной пальцев похлопал по ладони другой руки.— А помните...

— Что именно, осмелюсь спросить, ваше превосходительство?

— А помните, Салопятников,— глядел Александр Филиппович не на него, а мимо: на раскинувшегося в одном из кресел Губонина.— А помните вы такое место... Они (это о приятелях Павла Ивановича Чичикова идет речь, Салопятников!)... они тоже, со своей стороны, не ударили лицом в грязь: из числа многих предположений было, наконец, одно: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон!.. А по-вашему?

«Издевается Шурик!» — внимательно наблюдал со стороны Губонин.

— Вот запомятовал, ваше превосходительство, как это было!

— Запомятовали? Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон...— повторил Александр Филиппович.— Так и вы, Салопятников... догадливы! Я вас не задерживаю,— медленным наклоном прилизанной головы, посередине которой засветилась теперь маленькая розоватая лысинка, похожая на аккуратенький аптечный пластырь, отпускал он Салопятникова.— Я вас вызвал для того, чтобы сказать вам, что глупость — не всегда добродетель, дорогой мой, и что в прямой связи с этим печальным обстоятельством награды выдать вам не могу. Понятно?

— Так точно, ваше превосходительство...— заскрипела повернутая на винте кожаная протеза.

— Вы, кажется, Александр, читаете своим сотрудникам курс лекций по художественной литературе? — рассмеялся Губонин, когда за Салопятниковым закрылась дверь.— Я всегда знал ваше пристрастие к изящной словесности, но...

— Он не очень умен, этот человек, а любит играть в полковники! — встал из-за письменного стола Глобусов и сделал несколько шагов по ковру.— Принял овцу за лису.

— То есть?

— Вез из Киева одного крупного социал-демократа пораженца, а на поверку на вокзале оказалось, что...

...бакалейщика какого-нибудь доставил? — высказал догадку Губонин.

— Хуже, дорогой Вячек,— своего! Одного из лучших моих людей, работающего среди сотрудников иностранных миссий и среди журналистов! Вы понимаете наш общий конфуз? Своя своих не познаша... Как Аннет, дорогой Вячек? — перешел он на другую тему.

— Она уже две недели в Кисловодске на водах, к вашему сведению.

— Ах, вот что? Я думал, что сестра еще здесь. А детишки?

— С ней. Вот что, Александр, я к вам по делу,— беря папиросу из его портсигара, сказал Губонин.— Мне надо выяснить одно обстоятельство.

— У меня? Что ж, готов, дорогой мой. А я-то думал, что вы почище нашего стараетесь,— заиграла благосклонная улыбка на

всем молодежам, розоватом лице Александра Филипповича, и он дружески похлопал свойственника по груди.— Мне передавали, что сам Борис Владимирович Штюмер только вас и признает теперь, Вячек. А?.. Искренне рад. Хвалю.

— Рад, что меня хвалит муж, другим хвалимый! — любезностью на любезность ответил Губонин.— Если нас — Борис Владимирович Штюмер, то вас — бери повыше еще, любезный Александр!

— То есть? — прикинулся непонимающим Глобусов и сложил по-бабы руки на низко опущенном своем животе, словно желая согреть его.— Что вы имеете в виду, хотел бы я знать?

— Я имею в виду избавление от опасности Григория Распутина! Мне известно, что вы получили благодарность государя.

— Ах, вы уж знаете! — с напускным равнодушием сказал Александр Филиппович.— Как знать,— могло бы кончиться кровью!

— И не окончилось на сей раз...— как будто непроизвольно сделал ударение на последних словах Губонин.

— Да, да, вся эта компания сегодня будет выслана из столицы, а кое-кто и очень далеко. Будут перемены в штабе Северо-Западного: за попустительство!.. Князь и его офицеры отведают сухой туркестанский климат.

— А женщина? — спросил Губонин.

— Говорите прямо — Галаган?

— Вы не ошиблись

— Она еще вчера отбыла.

— Куда?

— Я вижу, Вячек, вас очень интересует именно она — со знайтеся!

— У меня есть особые основания к тому. Я не скрою, что мой приход в значительной степени связан и с ее делом. Но об этом мы еще отдельно поговорим,— предупреждал Губонин.

— Она отправлена на родину, в деревню. Пусть посидит там до окончания войны! Было бы хуже с ней, если бы не неожиданное заступничество.

— Вот как?.. Простите, Александр, а это установлено, что именно она раздобыла для капитана Мамыкина записку Григория, послужившую фрондерам пропуском?

— Вам известно, дорогой Вячек, я имею дело только с проверенными фактами! — тише обычного сказал генерал-майор.— Но погодите вы все о делах... Не мешает нам с вами, Вячек, облегчить нашу боль,— правда ведь?

Это была всегдашняя его игра слов: «боль» — любимый напиток Александра Филипповича, который приготавливал сам, радушно угощая им своих друзей.

— Как раз адмиральский час: пора закусить. Прошу вас, дорогой Вячек...— пропустил он вперед Губонина, и оба узеньким коридором прошли в квартиру Александра Филипповича.

— Мои тоже в отъезде,— говорил он о своей семье.— Один,



один совсем,— вздыхал он, открывая дверь квартиры.— Глафира! — уже через минуту распоряжался он.— Вы нам приготовьте сейчас... Ну, что бы сегодня такого? — сосредоточенно раздумывал он, как будто это было очень, очень важное дело, требовавшее одного только и самого верного решения.— Ах, вот что, милая Глафира. Вы нам, пожалуйста, икры салфеточной четверть фунта, масла туда прованского, уксусу, горчицы, лучку накрошить надо, сардинки, пожалуйста, огурчиков нежинских, несколько вареных картофелялин...

— Ерундопель, значит, Александр Филиппович? — серьезно, с неподвижным лицом смотрела на него массивная по виду — геркулесовой силы желтоглазая Глафира. И так и казалось: вот-вот козырнет в ответ на распоряжение своего барина.

— Совершенно верно: ерундопель,— подтвердил он.— Знаток она у меня, Глафира!

— Вы «Мертвые души» читали? — хохотал Губонин.— Помещика Петра Петровича Петуха помните? Ух, обжора же он был, дорогой Александр!

— Вот уж не то, вот уж не то!..— делал обиженное лицо Александр Филиппович.

В столовой, засучив рукава своего белого кителя (открылись сухие, безобразно волосатые руки, на которых на разглядеть уже было кожи), генерал-майор Глобусов занялся приготовлением «боля».

Смесь старинного рейнвейна, клубники, апельсина и сахарного песку была сразу же, после первого глотка, одобрена по достоинству Вячеславом Сигизмундовичем.

Завтрак продолжался недолго (генерал-майор Глобусов все делал по часам), но прошел приятно для обоих: каждый с удовлетворением занес кое-что в свою записную книжку, а самое важное — никуда не записывая, крепко поместил в своей памяти.

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ  
ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ВРУТРЕННИХ ДЕЛ

Определения по охранению общественной безопасности и порядка в столице.

ДОКЛАД

«По поступившим агентурным сведениям некоторые из членов обследуемой наблюдением в г. Петрограде преступной группы социал-демократических работников, известных под наименованием «ленинцев», заметили за собой наблюдение филеров и сообщили об этом сочленам, вследствие чего ими было вынесено решение имеющуюся у группы «технику» немедленно перевести за пределы столицы, а именно — в деревню Малая Метцекюле, близ Териок, и там продолжать печатанье прокламаций и доставлять их для распространения в г. Петроград.

Изложенные агентурные сведения, нашедшие себе подтверждение в результатах наружного наблюдения, понудили меня по-

спешить с ликвидацией этой группы, дабы воспрепятствовать разъезду активных революционных работников по иногородним местностям Империи и предупредить возможность скрытия созданной ими техники для печатания прокламаций.

Ликвидация была начата в ночь на 17-е и продолжалась до 19-го с. м., так как партийные работники начали расползаться и не держались на своих квартирах, и многих из них пришлось устанавливать наблюдением и задерживать на улице по указанию филеров. Так, в частности, был опознан и арестован сегодня деятельный работник подпольного Петроградского Комитета партии большевиков Сергей Леонидов Ваулин по кличке «Швед».

Ликвидация дала следующие результаты:

Около 12 часов в ночь на 17-е на Финляндский вокзал прибыл известный подведомственному мне Отделению мещанин г. Старой Руссы Яков Васильев Бендер. С ним шел неизвестный человек, потом оказавшийся содержателем рыночного ларька Андреем Петровым Громовым, и нес тяжелую корзину, поставив которую на вокзале, скрылся. Затем Бендер, купив проездной билет, обратился с просьбой к находившемуся неподалеку от него какому-то парню, прося помочь перенести корзину в вагон, и когда они ее понесли, то Бендер и его помощник были тут же задержаны и доставлены в дежурную жандармскую комнату, а оттуда — во вверенное мне Отделение.

При осмотре в Отделении корзины и пакета с предметами, отобранными при личном обыске у Якова Бендера, оказалось:

В плетеной корзине размерами 14×7×5 вершков:

1. Вполне оборудованная ручная типография.
2. Рукопись на 8-ми четвертушках под заглавием: «Обзор деятельности Петербургского Комитета», полную копию коей прилагаю при сем вашему высокопревосходительству.
3. Рукопись на 3-х четвертушках под заглавием: «О германских шпионах». «За последнее время, — говорится в рукописи, — в буржуазной печати попадают статьи, разоблачающие немецких и австрийских шпионов. Особенно старается в этом смысле «Современное слово». По мнению этой — «что прикажете» — газеты, революционная работа в нашей армии ведется на немецкие деньги... Правительство в тревоге, и вот гг. либералы приходят на помощь царизму, пишут гнусные статейки, заведомо лгут, пытаются вместе с самодержавием задавить растущую революцию в армии и в тылу».
4. Рукопись на 7-ми четвертушках под заглавием: «Наша задача». «За войну или против войны — этот вопрос стоит сейчас ребром, — говорится в этой рукописи. — Пролетариат уже дал свой ответ на этот вопрос.

Война войне — вот он! Но есть среди марксистов кучка отщепенцев, кучка беспочвенных интеллигентов — неунывающие гг. Потресовы, Маевские, Масловы и компания; они ратуют за победу Антанты и отечественной буржуазии... Союзников для свержения

самодержавия пролетариат найдет в лице крестьянства и особенно — армии».

5. Рукопись под заглавием: «Война и германские социал-демократы». «Русская буржуазная пресса,— говорится в рукописи,— до сих пор приводила сведения лишь о тех выступлениях германских с.-д., которые говорили о их «воинственности». Приводимые нами мнения о войне некоторых вождей с.-демократии говорят о совершенно противоположных настроениях германских товарищей».

Далее наклеены вырезки из газет, в которых приведены мнения Розы Люксембург, Либкнехта и Меринга.

Обнаружено у Якова Бендера в числе прочих вещей:

1. Полулист бумаги, исписанный одним почерком.

На первой странице дословно написано: «Гвардейский запасный батальон (Петергоф). Были у нас рабочие листки. Начальство озлилось, пугает больно: повесим первого попавшегося. А мы, солдаты, знаем свое дело и потихоньку почитываем листки, где рабочие пишут про правду-матку о войне и о наших муках. Скорей бы, товарищи, нам бы подняться на борьбу с царем Николаем».

На днях пошлем вам еще письмо в номер вашей подпольной газеты...»

На 2-й и 3-й странице: «От редакции. Выход № 1 нашей газеты задержался, но мы надеемся, что следующие №№ нам удастся выпускать регулярно». Затем несколько заводских корреспонденций.

На 4-й странице: «Из армии. Кексгольмский пехотный полк».

Не так давно в нашем полку появились листки военной группы при П. К. партии. Начальство не на шутку встревожилось. Забегали отцы-офицеры по казармам, начали искать шпионов. Ан нет их как нет! Настроение солдат хорошее, в бой не рвутся, ждут мира, охотно читают листки. Наша группа поручила мне послать вам, рабочим — борцам за свободу, свой горячий привет. Будем бороться вместе. Ваш солдат Кузя».

2. Письмо, подписанное «Швед», крестьянину деревни Малая Метцекуле Зигфриду Хальме, в коем содержится просьба «устроить дачу мужу, жене и их племяннику».

На допросе в Отделении Яков Васильев Бендер признал, что «племянник» это он и есть, а кто такие «муж» и «жена», отвечать отказался».

Александр Филиппович Глобусов перевернул последнюю страницу, дочитывая свой доклад:

«По совершенно достоверным сведениям, полученным мной сегодня от чиновника государственной службы господина Губонина, преступная, разрушительная деятельность П. К. большевиков с.-д. успешно протекает также в госпитале Союза городов, расположенном в г. Луге, вследствие чего мною отдается распоряжение о повальном обыске среди лиц среднего и низшего персонала, обслуживающего названное учреждение».

...Оценивая полезную деятельность, возвращаясь к вопросу о ходатайстве, лично мне изложенном бывш. членом Г. думы от рабочих В. Шуркановым, о чем я имел честь сообщить вашему высокопревосходительству в особой докладной записке № 87 от 12-го с. м., настоящим вновь прошу удовлетворить ходатайство названного Шурканова о выдаче ему нового паспорта на другое имя, дабы он, заподозренный теперь своими товарищами, мог покинуть на время столицу, переселившись в Казань».

— В Ка-зань! — произнес полным голосом Александр Филиппович, вставая из-за письменного стола.

В два часа ночи — усталый, но испытывавший немалое удовлетворение от работы — генерал-майор Глобусов закончил свой служебный день.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Конст. Федан. Михаил Козаков и его роман «Крушение империи».....</i>	<b>3</b>
---	----------

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### От Смирехинска до Петербурга

<i>Глава первая. На почтово-земской станции зимой 1913 года.....</i>	18
<i>Глава вторая. Депутат Государственной думы Карабаев.....</i>	26
<i>Глава третья. Федя Калмыков, братья Карабаевы и другие.....</i>	37
<i>Глава четвертая. Речь смирехинского Златоуста в новогоднюю ночь.....</i>	47
<i>Глава пятая. Ротмистр Басанин и Пантелеймон Кандуша.....</i>	62
<i>Глава шестая. Обед в чиновничьем клубе.....</i>	79
<i>Глава седьмая. Друзья Феи Калмыкова.....</i>	90
<i>Глава восьмая. Выпускной экзамен.....</i>	105
<i>Глава девятая. Начало тайны.....</i>	111
<i>Глава десятая. Хмельной июньской ночью.....</i>	117
<i>Глава одиннадцатая. Недавнее прошлое Ивана Теплухина. «Колесуха».....</i>	125
<i>Глава двенадцатая. Что услышал Кандуша.....</i>	132
<i>Глава тринадцатая. Последний мирный день на заводе Г. Карабаева.....</i>	141
<i>Глава четырнадцатая. Так было в Петербурге.....</i>	150
<i>Глава пятнадцатая. Война! Царь и петербуржцы.....</i>	155
<i>Глава шестнадцатая. ...Лишь для возгласов «ура!».....</i>	173
<i>Глава семнадцатая. В ночь на 6-е ноября 1914 года в Петрограде.....</i>	188

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

#### От Петрограда до Лондона и Парижа

<i>Глава первая. Каждый дипломат, живя в чужой стране, должен найти там друзей своего отечества.....</i>	192
<i>Глава вторая. Что хотел Карабаев увидеть и потому увидел это на Западе.....</i>	197
<i>Глава третья. Иносказательное интервью, или Смятение чувств Л. П. Карабаева.....</i>	207
<i>Глава четвертая. Кандуша в Петрограде.....</i>	215
<i>Глава пятая. Возвращение.....</i>	221
<i>Глава шестая. Первая встреча.....</i>	226
<i>Глава седьмая. Думы и нервы либерала.....</i>	230
<i>Глава восьмая. «Это детская сказка, приуроченная к уровню поли- тических младенцев».....</i>	239

Глава девятая. Ананьев Ляксей и капитан Мамыкин.....	242
Глава десятая. Вторая встреча.....	250
Глава одиннадцатая. Распутин.....	254
Глава двенадцатая. На тишкинском поплавке.....	265
Глава тринадцатая. В квартире на Ковенском.....	272
Глава четырнадцатая. Немного о Феде Калмыкове.....	277
Глава пятнадцатая. Людмила Галаган.....	281
Глава шестнадцатая. Сельди Андрея Громова.....	290
Глава семнадцатая. Что делает Сергей Ваулин.....	295
Глава восемнадцатая. Семья на даче.....	304
Глава девятнадцатая. Большевики: старший и младший.....	312
Глава двадцатая. Поезд идет на север.....	321
Глава двадцать первая. Снова на тишкинском поплавке.....	337
Глава двадцать вторая. Отец и дочь. Домашняя охранка в семье Карабаева.....	341
Глава двадцать третья. Доклад генерал-майора Глобусова.....	359

*Михаил Козаков*

## КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

Первая и вторая части

*Печатается с издания издательства «Художественная литература», Москва, 1986 г.*

Редактор Н. Иванова  
Наблюдающий за выпуском Е. Яковенко  
Художник Г. Проспирин  
Художественный редактор У. Набиев  
Технический редактор А. Горюкова  
Корректор Н. Ибраимова

ИБ № 4190

Слано в набор 27.01.87. Подписано в печать 21.05.87. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская №2. Гарнитура «Тип. таймс». Фотонабор. Усл. печ. л. 23,0. Усл. кр.-отт. 23,3. Уч.-изд. л. 27,68. Тираж 200 000. Заказ №10. Цена 2 руб. 30 коп.

Слано в набор 27.01.87. Подписано в печать 21.05.87. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Тип. таймс». Фотонабор. Усл. печ. л. 23,0. Усл. кр.-отт. 23,3. Уч.-изд. л. 27,68. Тираж 200 000. Заказ № 10. Цена 2 руб. 30 коп.

Издательство «Узбекистан». 700129, Ташкент, Навои, 30. Договор № 370– 86.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета Узбекской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 700129, Ташкент, Навои, 30.



2р.30к.

УЗБЕКИСТАН